ISSN 0012-6756

ДРУЖБА НАРОДОВ

ДРУЖБА НАРОДОВ 12/2015

12'2015

Вячеслав Шаповалов
Трактаты Чуйского тракта
Стихи

Валерий Бочков
Время воды
Роман

Акрам Айлисли
Там, где ирисы не растут
Повесть. С азербайджанского

Константин Симонов
Наше время ещё занесут на скрижали...
Записи в рабочих тетрадях

Сергей Шаргунов
Катаев и война
Главы из биографии

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/druzhba/
LiVEJORNAL: http://drujba-narodov.livejournal.com/

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.рф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.10.2015.
Подписано в печать 25.11.2015.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 1588. Цена свободная.

Дружба народов

12'2015

Редакционная коллегия

Главный редактор	Александр ЭБАНОИДЗЕ
	Лев АННИНСКИЙ
	Леонид БАХНОВ
	Ирина ДОРОНИНА
Зам. главного редактора	Наталья ИГРУНОВА
	Галина КЛИМОВА
	Владимир МЕДВЕДЕВ
Ответственный секретарь	Сергей НАДЕЕВ
Зам. главного редактора	Александр СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Рамазан АБДУЛАТИПОВ
Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Резо ГАБРИАДЗЕ
Алла ГЕРБЕР
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Александр КЛЯЧИН
Валентин КУРБАТОВ
Ольга ЛЕБЁДУШКИНА
Захар ПРИЛЕПИН
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

16+

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Вячеслав ШАПОВАЛОВ. Трактаты Чуйского тракта. *Стихи* ***3***
Валерий БОЧКОВ. Время воды. *Роман* ***9***

Фестивали и конкурсы
Лауреаты открытого Чемпионата Балтии по русской поэзии — 2015
Вадим ГРОЙСМАН. На лестнице миров ***73***
Михаил ОЗМИТЕЛЬ. Так велит дух Манаса ***75***
Анна МАРКИНА. Шиповник внутри страниц ***77***
Надя ДЕЛАЛАНД. За дыханием сквозящим ***79***

Акрам АЙЛИСЛИ. Там, где ирисы не растут. *Повесть. С азербайджанского. Перевод автора* ***81***
Максим КАЛИНИН. Холодным воздухом провинций. *Стихи* ***116***
Лера МАНОВИЧ. Будь тут, будь рядом. *Рассказ* ***119***
Алексей А. ШЕПЕЛЁВ. Темь и грязь. *Рассказ* ***127***
Владимир ВЕСТЕР. После поминок. *Рассказ* ***137***

Эхо Великой войны

Константин СИМОНОВ. Наше время еще занесут на скрижали...
Записи в рабочих тетрадях: беседы и размышления ***142***
Сергей ШАРГУНОВ. Катаев и война ***167***

Культурный слой

Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Страна между двумя берегами.
Калмыцкая сказка. Окончание ***187***

Публицистика

Александр МЕЛИХОВ. Мы соль земли, мы украшенье мира ***215***

Критика

ЭХО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
Роман СЕНЧИН. Два «Возвращения» ***225***

Книжный развал

Ольга БАЛЛА. Есть город золотой ***233***
Александр КОТЮСОВ. Роман для людей ***237***
Ольга БУГОСЛАВСКАЯ. Полная остановка или полный вперед? ***241***
Владимир КОРКУНОВ. Жизнь и ее цена ***244***

Эхо

Естество безопорности. *Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ* ***247***

Содержание журнала «Дружба народов» за 2015 год ***249***
Summary ***256***

© «Дружба народов», 2015

Вячеслав Шаповалов

Трактаты Чуйского тракта

12.12.12

Уводит лань за собою лихого стрелка
На гиблый обрыв качнувшегося мирка,
И молча молит скала о смертной стреле,
И кровь высыхает у жала на острие,

И сука, скуля, уносит щенка от норы,
И молча волчьи обрушиваются миры,
И не уйти от пожара, кишки волоча,
Через флажки державы несытого палача,

И плачут млечный агнец и серый брат
У самых светлых, у запертых райских врат,
И плачут все дети, и плач их ясен, как смех,
Обо всех закатах, о звездопадах всех,

И серый ветер таится у млечных высот,
И облако слёз до Бога он донесёт,
И тот всё услышит, поскольку сам из сирот —
И всё-то Он знает, бедняга, всё наперёд...

Недоиммигрант

бежит навстречу мал и кривоног
ворот тяжелых трудно движет створку
хозяев встретит к вящему восторгу доложит всё он выучил урок
мичурин хренов пламенный ламарк в сырые ночи робкий сторож дачи
треск топот шорох уханье и плачи
весною алый летом белый мак
стреляют азиатка цепь грызёт дрожат клыки от грома и свободы
там за шоссе дробятся дни и годы
и каждому удару свой черёд
дурак пермяк ушаст и редкозуб запуган любопытен детство было
экспериментом пьяного дебила папаша в орденах и стар и глуп
в россию подались оставив дом
к родне но вся родня сплошной свинарник
отец лёг помирать в воспоминаньях
а сын в бездомный мир шагнул с трудом
ай молодцы менты и погранцы немедля отловили нелегала
что за нога беднягу не лягала
земля отцов

Шаповалов Вячеслав Иванович — поэт, переводчик тюркской и европейской поэзии. Родился и живет в Бишкеке. Народный поэт Киргизии, лауреат Государственной премии КР, Русской премии, заслуженный деятель культуры, профессор, доктор филологии. Директор научного центра «Перевод» в Киргизско-Российском славянском университете. Автор двенадцати книг стихов. Постоянный автор «Дружбы народов».

да где ж они отцы
вернули тут же в рабство угодил батрачил в хлопковой тюрьме узгена
восточного поднахлебался гена пришёл туда откуда уходил
меня в россию взяли б вы тогда
я дом построю даром я умею я по шнурку стена а я за нею
журчит бессвязной повести вода
про телескоп ли про велосипед про звезды про нашествие тимура
льёт дождь
собака с кошкой дремлют хмуро
вот жизнь которой не было и нет

Пешечный гамбит

Памяти Натальи Горбаневской

... Вокруг — Шестидесятые года,
вот только имена поизносились,
таблички стёрлись, лозунги забылись,
мир вымер, очужели города.

...Ковчег-планета. Выпускают пар —
семь чистых пар и семь нечистых пар.
Бастилии порушим, с нами Бог,
наш день велик, хотя и век убог! —
срифмуем клиповое либерал
попарно с «убивал» и «умирал»!

...Бивариантны сыскарей труды,
надежд стигматы и галош следы,
кенедианты в старом водевиле,
рейганомонстры, шляпы крокодильи,
андропофаги с черепом во рту —
все бдят: — Евреи тут не проходили?
– Дык вон они, отплыли поутру!

...Ковчег-авианосец. Пекло вод.
Зад — pussy, но в межбровье — кукловод.
Два игрока склонились над доской.
Упали веки. Восковые лица.
Грядет оргазм томительного блица,
гамбит промеж нью-йорком и москвой.
Вот клетки: восемь-н*а*-восемь, дресс-код
(для клеток) — черно-белые одежды,
попарно пилигримствуют все те, что
зовут в новоегипетский исход.

...Ау, Шестидесятые года! —
прошли, полны невыдуманной болью:
грозы не знали пешки над собою,
секиры грязной взлёта над судьбою —
ах, не про них во облацех вода! —

льнут, юные, к чужому водопою:
темна инакомыслия беда.
Но, тронута холёною рукой,
юнцов и юниц сблёвывает площадь —
и молча государственная лошадь
косит зрачком с кровавою каймой.

...Я дурачка родного обниму.
Но я не сторож брату своему.

Те с лэнгли, те с лубянки — братаны,
чьи лица стряпало одно лекало,
в чьих запонках играет карабах,
полярных стран достойные сыны,
в заветных устремлениях равны,
сдвигают утомленные бокалы
за мёртвых в укреплённых городах.

...И к праху ветром прибивает прах.

Руна

Кремня и воздуха язык...
О. Мандельштам

жизнь сползает по склону судьбы неопознанный натиск
рокот рек ропот скал звёздный гул сновиденья снегов
разноцветная осень в ущельях расколотых наспех
серый каменный идол в теснине арчовых лугов
упокоен в незыблемой эре колхозных угодий
зрит смирение пастбищ где внутренний взор напряги
и два юных ягнёнка зовомых Кирилл и Мефодий
иероглиф озвучат движенью морен вопреки

омертвелых пространств собеседник истлевшее время
нет мгновенная смерть в поцелуе столетней пчелы
нам дороже чем жало на старой стреле оперенье
чем случайная жизнь на которую обречены
как зовёмся теперь отыгравшие с вечностью в жмурки
на безмолвном наречье бросавшие вызов судьбе
безымянные хетты шумеры ли гунны ли тюрки
в мясорубке кочевий почившие в вечной семье

кто услышит движенье вселенной и чем он заплатит
за дарованный миг за бессмертья загубленный сад
бесконечно стада созерцают вращенье галактик
и галактик толпа наблюдает вращение стад
узкий взор улыбается в плоском гранитном овале
и змеится яремная жила вселенского зла
мы любить и страшиться любимых не переставали
и любовь эта силы года и надежды взяла

выбей слово в граните и юною кровью набухнет
этот первый надрез мирозданья наскальный чертёж
память вцепится в смыслы века наслоятся на букве
убивай этот мир летописцев его уничтожь
пусть заплачет скрижаль но столетья глаза поднимая
будут слушать пророков и пялиться молча во тьму
ибо нечего ждать кровь на камне не есть пониманье
и чужие грехи искупить не дано никому

в камне плотность звезды и забытая сага о громе
длящем тысячелетье восходов где время тщета
мы надрез на граните мы крохи запёкшейся крови
бренность сретенье жизни и смерти меча и щита
небо грянуло в недра а воды разгладили грани
что нам ложь этих правд что нам тварная эта заря
нам последышам жертвенной силы что нам умиранье
говорящим опарышам что нам душа алтаря

возвращаю подарок небес ибо не был прозреньем
ада с небом посредник на ком эта кровь запеклась
я из этих сирот так пронзи меня током подземным
сердце между мирами успеет ударить хоть раз
и как девочка с красной косынкою на повороте
смертным жертвенным вздохом откликнется эта страна
и блеснёт на прощанье в письмовнике меркнущей плоти
сумрак каменной руны мираж золотого руна

Чуйский тракт

мёртвый пейзаж под луною наш чёрный квадрат
снежной страной нефтяною гордимся мы брат
вышка пизанская башня чумной вавилон
речь наших вёрст бесшабашна — и всё о былом
вся как нетленная страта реймона кено
русское слово без мата — немое кино
смысла безмерного шире — воз золотаря
опохмеляются в мире три богатыря
русская троица тройка триумф тринидад
стойким борцам неустойка на грудь принимать
от сыктывкара до сочи архангел в огне
неба сиротские очи ночь даун в окне
вечный димитрий-царевич нам время творит
коли с утра не зарежешь — в ночь метеорит
долго ли околевати среди хиросим
сало в чужом шоколаде в душе керосин
Боже сквозь воздух морозный цельсия — верняк
в сиплой тоске тепловозной прёт товарняк
сумрачный огнеопасный на лбу письмена
инок нездешних экспансий дитя харбина
наша не наша ли эра зачем же с тобой
вера нездешняя мера безмерная боль —
вдруг ниоткуда прольётся и вспыхнет ясна
словно Звезда из колодца
в канун Рождества

Хроники прекрасной эпохи

...росший на антрацитах чёрен худ и лобаст
вечный полёт тридцатых небо урал донбасс
как серафим саровский мысля наверняка
в доле людской сиротской с мордой призывника
в неповторимо юной нищей стране родной
грозной земной чугунной пламенной и стальной

...знать бы порой в бараке в дымном прекрасном сне
ангел в истлевшем хаки явится на стене
пальцами прокуренными чадам слепит щепоть
а время идёт по кругу и Ты услышан Господь
плачущие овчарки дальний обвал облав
храм христовой тачанки чёрен золотоглав
чёрные автомобили памяти волчья сыть
дожили реабили
били и будут бить
звёзды буровят кровлю падая свысока
щерится бурой кровью арктик ночных река
смотрит белки кровавя беглых надежд цинга
складки приоткрывая белых одежд ЦК
всё что в снегах хранится судорожно собирать
трепетные зарницы нищего серебра
нищенского осколка нежить тунгусскую твердь
живы мы все насколько
разве только на треть
разве что повторяя и не смыкая глаз
Господи в кущах рая
Боже услыши нас

...драмы чужой подмостки чванный державный шаг
запах будённый конский тёркинский шум в ушах
пламенный плач плаката гулкий на смерть призыв
вечер ума палата залп молодых борзых
крупская илиада хрип разбуженных недр
юного голиарда недошумевший ветр
ласково хорошея апофеоз мечты
дивная одиссея пламенной воркуты
нищие настрадались горе и с ним умы
греется нострадамус в тропиках колымы
тягостных наваждений чуждого языка
ангел-хранитель гений с нежностью мясника
эхом посеребрённый отшелестевший век
юный слепой влюблённый выпавший ночью снег
отблеск годов досадных улочек сон кривых
утро шестидесятых вечер сороковых
сомкнутых век мельканье вспышки в толпе витрин
радуга амальгама ласковый лён долин
музыкой наполненье новых эпох игра
мёртвое поколенье призрачных рыб икра
осиротевший остров ветер пинком под дых
бешеных девяностых
порченых всех иных

...кончился мир налей кум с гибелью пополам
крикнут варлам алейкум скажут шолом-шалам
в поступи многотрудной сердцу подставь плечо
русской литературдры али чего ещё
глянул в провал бездонный встречный почуял взор
ада пророк бездомный гений ночлежных нор
долгих годов минута снег осевший во снах
мерзостного приюта и замерзанья знак
тропка мимо реальной жизни в чужой москве
к мраморной мемориальной и гробовой доске

Монумент в дубовом парке

Вот гранитная пушка. Вот чёрная в космос дыра
для подземного пламени. Список при том погрёбенных.
Молодая мамаша в блаженстве забыла дела —
это с нищим цветком к обелиску топочет ребёнок.
Именуемый администрацией вечным огнем
(газ весьма нынче дорог и это, конечно, прискорбно),
гаснет адский костёр, где Вчера и Сегодня — вдвоём,
но грядущее славное явно наступит не скоро.
Сохнет дёрн под копытами тех безымянных полков,
коим век миновал, как и их беспробудным аскерам.
Золотится песок, бестолков, под железом подков.
К чаю голову Сухова здесь подадут на доске вам.
Сохнет эта долина и сонмы окрестных долин,
восходящих к ущельям, куда испарились повстанцы.
Ветерок тенгрианский сдувает с души нафталин.
Старики-чабаны пьют кумыс в предвкушении санкций.
Умирают дубы. Ржавы маузеры шалунов.
Поседел пионер, в некий горн неотзывчивый дунув.
Современники помнят скупую раздачу слонов,
но забылась давно материализация духов.
Монументы стоят, изрыгая огонь, в городах,
где басмач с первачом и кумач с басмачом побратались.
Облетает листва на столетий истерзанный шлях,
где бездомные души на вечном пути обретались.
Чей-то вздох, чей-то всхлип, чей-то оклик в столетней дали,
нет тут дела до вас в этой усекновенной вселенной! —
деды гнали коней и до этой твердыни дошли,
и расстрельные сны хороши под багровой Селеной.

Валерий Бочков

Время воды

Роман

За ночь вода поднялась еще на полкирпича. Филимонова присвистнула, наклонилась и процарапала гвоздем новую метку.

Спина затекла. Не вставая с колен, Филимонова медленно разогнулась. Охнула, выпрямилась, подперев кулаками поясницу. Тут главное не торопиться, усмехнулась она, если тебе уже не пятнадцать, обращаться с телом нужно бережно. Этим маем Филимоновой стукнуло ровно пятьдесят. На банкете она, перебрав смородинового крюшона, так и объявила: «Полтинник... Кто бы мог подумать, а? Мне — полтинник! Вот и я вышла в тираж...» А после не на шутку разревелась, сморкаясь в салфетки, громко икая и требуя не обращать на нее никакого внимания.

На сегодняшний день в тираж вышли и все остальные, причем независимо от возраста.

1

Вчера ей повезло: Филимонова выловила семь апельсинов. Один она тут же съела, вытерев об подол и ловко очистив зубами рыжую кожуру, от которой слегка воняло тиной.

Теперь от всего воняло тиной, ряской, болотом. Слишком много воды, подумала Филимонова, и прибывает слишком быстро. Если так дальше дело пойдет, то пропажа консервов окажется не такой уж серьезной проблемой. Хотя, конечно, до слез жаль. Особенно те две банки крабов. В собственном соку — она вспомнила этикетку, и рот наполнился слюной.

— Вот ведь мерзавец — красть у одинокой женщины, — и Филимонова, ворча, поднялась, больно ударив плечо о литой край колокола. Громко и от души выругалась. Потревоженный колокол отозвался низким гулом.

Валерий Бочков — прозаик, художник (более десяти персональных выставок в Европе и США). Родился в Латвии в семье военного летчика. Вырос в Москве, на Таганке. Окончил художественно-графический ф-т МГПИ. Владеет русским, английским, немецким языками. С 2000 года живет и работает в Вашингтоне, США. Член американского ПЕН-Клуба. Лауреат «Русской Премии» 2014 года в категории «крупная проза» (роман «К югу от Вирджинии»). Лауреат Литературной Премии издательства «ZA-ZA Verlag» (Германия, Дюссельдорф) в номинации «малая проза»; книга «Брайтон Блюз» получила звание «Книга Года» (2012). В том же году — победитель международного литературного конкурса «Московского Комсомольца». Последняя публикация в «ДН» — роман «Медовый рай» (№ 2, 2015).

— Прости меня, Господи, — пробормотала она, тут же подумав, что в свете последних событий Он вряд ли всерьез обидится на сквернословие в церкви. Да и не в церкви, собственно, на колокольне. Считай, почти на свежем воздухе, решила она.

Филимонова называла себя гностиком — ей нравилось слово, да и беспечная безбожность пионерского детства заложила фундамент. Однако убежденной атеисткой она не была: филимоновское отношение к Богу было почтительно настороженным, ее тип гностицизма вполне допускал существование некой Высшей Силы. Почему бы и нет? На всякий случай она иногда даже ставила свечи и украдкой неловко крестилась в каком-нибудь темном углу церкви, на Пасху непременно красила яйца и от случая к случаю невпопад постилась. Христианское общество, построенное на братской любви, виделось ей милым идеализмом, впрочем, к организованной религии она относилась с недоверием. Скучные лики икон, мертвый Бог на кресте, выкрашенный розовой краской с красными капельками на лбу и ладонях, аляповатые росписи по стенам, свечной угар — это и есть надежда на спасение души?

Был и личный аспект: Бог Отец, он же Вседержитель, Творец неба и земли, всего сущего — видимого и невидимого. И если к Святому Духу и к Богу Сыну у нее претензий не было, то Бог Отец напоминал ей деда Артема, здоровенного бородача, пьяницу и охотника подраться. Родители несколько раз сплавляли ее на лето в ту приволжскую деревню, с кряжистыми домиками, воронами над кладбищем, глубоченным колодцем, на дне которого обитало гулкое эхо. Дед, источая сладкий сивушный дух, сажал внучку на колено, сдувал табачный сор с липких леденцов и страшным суковатым пальцем щекотал ее куриные ребра.

Старик Филимонов стал самым жутким воспоминанием детства — никогда ей не забыть то раннее июльское утро, когда она увидела деда Артема, повесившегося на кривой антоновке у сарая. Яблоня зимой замерзла и к следующей весне чернела мрачной корягой среди зелени сада. С тех пор Филимонова не ест яблок, при одном их виде у нее перед глазами всплывает перекрученный ремень, белая борода и костистые босые ноги, едва касающиеся острой высокой травы.

2

Филимонова взгромоздилась на широкий подоконник. Уперла руки в беленые балясины сводчатого окна, подалась вперед. Осмотрелась — да, вода явно прибывала.

Это было заметно и по деревьям. Макушки высоких лип едва торчали из воды косматыми низенькими кустами, в них кое-где еще мутнел утренний туман. Вдали темнела колокольня кирхи и шпиль с крестом. В проеме башенки маячил тощий силуэт пастора, заметив Филимонову, он замахал неуклюжими руками. Та лениво махнула в ответ и отвернулась.

Сейчас она жалела, что так и не заглянула в кирху, не познакомилась с пастором. Иногда, прогуливаясь по липовой аллее, она слышала утробное пыхтенье гудящего органа, да щурилась на радужные блики оконных витражей. Пастора, похожего на черную цаплю, она часто видела в городе. Ее кресло стояло у окна, проходя мимо парикмахерской, пастор всегда останавливался и церемонно наклонял голову. Филимонова делала вид, что занята.

Филимонова ловко соскочила на цементный пол, звонко шаркнув подо-

швами, несколько раз с удовольствием топнула ладными кавалерийскими сапогами. Сапоги были черной, мягкой кожи с высокими голенищами. Чуть велики, правда, так ведь не на танцы, подумала она. Танцы, похоже, закончились. Она с сожалением оглядела свои ноги, лаковый носок, пятку, наборный каблук — что-что, а танцевать она любила.

Сапоги ей достались от дезертира. Не подарок — скорее балласт. Дезертир улизнул под утро, прихватив мешок с филимоновскими консервами.

Дезертир появился два дня назад. Приплыл на автомобильном баллоне, похожем на гигантский черный пончик, увешанный авоськами и мешками с добром. Он сразу не понравился Филимоновой. Шмыгая носом, дезертир пялился на ее тугую грудь, торопливо бубнил, что надо двигать на запад. При этом махал рукой в сторону кирхи, хотя там определенно был север. Говорил что-то про топографию, Даугавпилсскую возвышенность, что он-де понимает карты и у него есть компас.

«Какая к чертям собачьим возвышенность! — зло подумала Филимонова. — Посмотри вокруг, дурак». Но дурак был прав — нужно двигать. Сидеть на месте нельзя.

Поджав под себя ноги и нервно почесываясь, дезертир торопливой скороговоркой нес околесицу, иногда озирался и, подавшись к Филимоновой, переходил на сиплый шепот:

— Вот этими вот глазами, убей меня Бог! Чего ж я врать-то, Анна Кирилловна, буду?... Поляка того, Мачека, прям на палубе... он не успел, а люки уже того... Задраили. Так вот они черепушку клювами в два счета, как орех... а после гляжу — мозгом лакомятся... Стервятники.

Филимонова молча сидела напротив, по-турецки сложив ноги. Огонек коптил, в его прыгающем свете лицо дезертира казалось желтоватым, как сырое тесто. На мизинце она заметила перстенек. Дезертир гордо выставил руку:

— Тайный орден! Не фунт изюма...

В черный агат был впаян золотой паук. Перстень был мал и глубоко впился в жирный палец. Угадав ее мысль, дезертир усмехнулся:

— Застрял. Теперь только вместе с пальцем.

Она посмотрела на его белую грудь, по-бабьи жирную и безволосую, в распахнутом вороте гимнастерки. Подумала: «Зачем он врет? Какие альбатросы в Латвии? Пытается напугать — зачем? — у самого вон поджилки трясутся. Тряпка...»

— А Голландии каюк... И Британии. Может там какие Альпы еще торчат, хотя за это поручиться трудно, — дезертир поскреб щетину на щеке. — Не поручусь за это. У нас рация накрылась, до этого американцы выходили на связь. Плавбаза «Цинциннати». Капитан Ласточкин говорит — это как город. Бассейны, рестораны, кино... Даже кегельбан есть. Вот бы куда добраться. Но как?

Вокруг, в непроглядной темноте, тихо ворчала невидимая вода, иногда что-то чавкало и царапало по наружной стене. В одном дезертир был безусловно прав — оставаться здесь нельзя. Вода прибывала.

— Я вам не баран! — он погрозил кулаком в темноту. — Какая к бесу присяга? Долг! Я-то знаю, что провизии на две недели осталось. Даже с урезанным пайком... Что, прикажете дожидаться, когда они друг дружку жрать начнут? Благодарю покорно, это уж без меня как-нибудь. Теперь каждый за себя.

Филимонова почти не слушала треп дезертира, она снова вспомнила школьный автобус на мосту, запотевшие окна, маленькие испуганные лица.

Вода, быстрая и мутная, подошла уже к верхним перекладинам опор. На ее глазах мост накренился и автобус, смяв заграждение, медленно, словно нехотя, сполз в воду. Течение подхватило его и потащило, крутя в водоворотах и сталкивая с вырванными деревьями, телеграфными столбами и разноцветным плавучим мусором. Желтая крыша мелькнула и исчезла.

Как же легко я утешилась! Такая же дрянь, как и этот вояка, сижу тут, как ни в чем не бывало. Слушаю треп, как спасти свою шкуру. Или это просто защитная реакция, чтоб не сойти с ума?

Сначала было оцепенение, сознание просто фиксировало происходящее вокруг. Безучастно, как автомат. Филимонова подумала, что, если бы тогда в этом принимали участие разум или душа, наверняка произошло бы короткое замыкание. Она бы просто чокнулась. Тогда у нее внутри что-то заклинило — все чувства оцепенели, застыли. Не было даже страха. Страх появился после, через пару дней, когда стали всплывать в памяти эти картины, этот страшный вой, мост, автобус. Потом пришло отчаянье.

Дезертир служил по снабженческой части. Был интендантом, которых Наполеон советовал вешать без суда через полгода службы. Император оказался прав: под утро вместе с консервами исчезла и колокольная веревка, дезертир срезал ее под самый узел.

В колокол Филимонова звонить не собиралась — она ж не пастор. Веревка, однако, могла пригодиться. Еще досадней была кража консервов. Филимонова съела апельсин, аккуратно спрятала корки в карман широкой цыганской юбки. Облизнула пальцы и стала всматриваться в горизонт.

3

Жизнь представлялась Филимоновой цепочкой нелепых случайностей. Почему спаслась именно она? Тем более в церкви. Да и вообще в этот Кронцпилс Филимонова угодила по недоразумению — застряла по дороге из Риги в Ржев. И если уж искать логику или, на худой конец, причину, то виной всему были латышские калачи. Душистые ржаные калачи с тмином.

Замешкавшись в привокзальной пекарне, она прозевала свой поезд. Следующий уходил только утром. Делать было нечего. Жуя горячий калач, она вышла в город: Кронцпилс оказался пыльным и сонным захолустьем, с коричневым тенистым прудом и ветхой готической усадьбой, которую местные называли «замок». В пруд забрела корова, так и стояла, лениво кивая большой головой своему рогатому отражению.

Выйдя из парка, Филимонова пересекла пустую площадь и свернула на центральную улицу. Она так и называлась — «Центральная». Она угадала прежнее название улицы — посередине площади в окружении жестких, пыльных кустов торчал пустой постамент, похожий на крашеный серебрянкой эшафот. По дырочкам вырванных букв она прочла имя.

Латышские вывески чередовались с русскими. Кособокие и рябые двухэтажные фасады неплохо было бы подмазать и освежить. А может, и не надо, — Филимоновой сразу пришлась по душе сонная провинциальность и неспешный уклад городка, золотистая пыль в летних лучах, луковка колокольни с горящим боком, темный липовый парк. На треснутой по диагонали витрине парикмахерской к солнечному блику приклеилась бумажка: «Требуется опытн. мастер в жен. салон». Ни мастером, ни тем более опытным Филимонова не была — так, стригла институтских подруг, вот и весь опыт. Диплома у нее не спросили,

поверили на слово. «Да, в Москве и в Риге работала», — неопределенно ответила она.

Калачи, поезд и объявление торжественно выстроились в логическую цепь, обрели вкрадчивую убедительность знаменья. Именно того, что русские обычно называют плохо переводимым на латышский словом «судьба».

Филимонова лежала на куче тряпья. «На запад, надо двигать на запад» — фраза крутилась в мозгу, не давала думать, сводила с ума. Было жестко, от тряпок несло болотом. «Нужен плот или лодка, колокольню затопит через неделю. Надо двигать на запад. Там горы, там Татры, Карпаты... Наверняка кто-то спасся, уцелел».

Колокольный зев чернел над ней, язык колокола, похожий на пестик от гигантской ступы, целил прямо в лоб. Она закрыла глаза. Раньше ей казалось, что с годами жизнь должна наполниться смыслом, мудростью, на самом деле все шло по убывающей и ничего кроме ненужного, грустного опыта и скуки под конец не осталось. Под конец? — спросила она себя. И так же безразлично кивнула — под конец. Страсть, радость, неутолимая жажда — все это когда-то было, и ни с кем-то, а с ней. Ее сердце тогда-то колотилось, безумно хотелось жить. Жить было интересно... Все неуловимо улизнуло... Уму непостижимо...

Вкрадчивое журчание убаюкивало, появилась деревенские крыши, пыльная улица, блохастый щенок, спящий в синей тени под лавкой, как же его звали? Он так потешно семенил за ней, когда она бежала на речку. А плавать так толком и не научилась. Сколько ей тогда было? Шесть, семь?

Чередой проплыли полустертые лица подруг. Ни имен, ни фамилий.

«Отчего-то, — подумалось Филимоновой, — я с годами разучилась дружить. А ведь как дружила — взахлеб! А теперь, вон, даже имен не вспомнить».

Она задремала, приоткрыв рот и чуть слышно похрапывая.

4

Если долго смотреть на воду, то начинала кружиться голова. Течение было вялым, тусклое небо в обрывках облаков будто приклеилось где-то у горизонта к бесконечной водной поверхности и двигалось теперь вместе с ним, словно наматываясь на барабан тоскливой и немой шарманки. Пейзаж плыл на запад.

Филимонова сидела на подоконнике, свесив ноги наружу. От утреннего азарта и уверенности, что именно сегодня ей должно непременно повезти, не осталось и следа. Пришла тупая усталость. Вода почти касалась подошв, вода прибывала. Ветер гнал мелкую рябь, блики мельтешили в глазах, ей иногда чудилось, что это она и ее колокольня плывут куда-то. Она жмурилась, мотала головой и снова всматривалась вдаль, лениво фантазируя, что вот-вот появится брошенная плоскодонка, беспризорный плот или хотя бы надувной матрас.

Как назло с самого рассвета течение муторно тянуло мелкий мусор и бесполезный хлам. Мимо плыли сучья и торчащие черными крючьями корни деревьев. Порой солнце зарывалось в облака, и рябь сразу гасла. Зеркало воды становилось прозрачным, превращаясь в коричневую стеклянную толщу. Присмотревшись, в глубине можно было различить застывшие кроны лип, а чуть глубже, среди скользящих теней, таинственно сияли кресты и золоченые луковицы церкви. Иногда Филимоновой казалось, что она видит тропинку, по которой она когда-то гуляла, скамейки с коваными спинками, надгробья старого кладбища. А потом неожиданно выныривало солнце, вода вновь застывала

плоским зеркалом, и ничего кроме отраженных облаков и бескрайнего неба там уже было не разглядеть.

На горизонте что-то блеснуло. Филимонова вытянула шею, всматриваясь. Нечто гладкое, поймав солнечный блик загорелось серебристым округлым боком.

«Рыба? — первое, что пришло в голову Филимоновой. — Ну да, как же — рыба-кит!»

Серебристое нечто, влекомое течением, двигалось прямо на колокольню. Филимонова вскочила, ухватила длинный сук, которым она выуживала хлам из воды. Приготовилась. Теперь было видно, что это какой-то шар или баллон, не меньше метра в диаметре.

У Филимоновой от волнения вспотели ладони. Она, зажав палку под мышкой, быстро вытерла руки о юбку и снова вцепилась в свой суковатый багор.

«Явно что-то надувное, может, спасательный плот или брезентовая лодка, — в голове замелькали заманчивые предположения, — наверное, что-то военное, какая-нибудь камера или баллон, вроде дезертирова колеса...»

Предмет приближался, лоснясь и влажно сияя на солнце.

Когда до него оставалось метров десять-пятнадцать, неясное предчувствие мерзким холодком пробежало между лопаток, будто мозг еще не осознал того, что она уже ощутила чутьем. А еще через мгновенье набежали облака, солнце потухло, и Филимонова ясно увидела, что было скрыто под водой.

Это была мертвая лошадь. Раздутый живот торчал на поверхности огромным пузырем, а сквозь желтую воду легко можно было рассмотреть большую голову с оскаленными зубами, белую гриву и длинный хвост.

Течение дотащило лошадь до колокольни, копыто зацепилось за выступ. Труп застрял.

— Господи... — выдохнула Филимонова и, стараясь не смотреть, принялась с силой отталкивать лошадь сучком. Вдруг деревяшка сухо треснула, и Филимонова едва не свалилась вниз. Она опустилась на колени и, морщась и стараясь не дышать, изо всех сил начала отпихивать труп обломком палки. Наконец тяжелое тело грузно стронулось и нехотя отчалило, лениво покачиваясь на волнах. Страшный неживой глаз, несколько черных пиявок на белой коже, замедленная плавность гривы — Филимонова зажмурилась. Она сползла на цементный пол, закрыла лицо руками и зарыдала.

— Ну что ты меня мучаешь? Что тебе нужно? — крикнула она, задрав голову.

5

Унылый колокольный звон незаметно вплыл и вплелся в сон. Филимоновой снилось что-то яркое, южное — толком рассмотреть ничего не удалось, лишь какие-то быстрые, пестрые пятна, острые веера пальм, а после все погасло и остался лишь нудный звон далекого колокола.

Филимонова открыла глаза, проворчала:

— Вот ведь чухна белоглазая, никакого угомона нет...

Пастор с непонятным упрямством и педантичностью звонил каждое утро. Она вылезла из кучи тряпья. От голода болела голова, но продукты нужно экономить. Особенно после пропажи консервов.

«Вода... Чертова вода. Надо замерить уровень», — думала она, перегибаясь

вниз, и тут увидела контрабас. Полированный, с фигурными вырезами, черным грифом и четырьмя медными струнами, он приплыл, пока Филимонова спала. Приплыл и причалил, уткнувшись в стену колокольни. От контрабаса пахло мокрым деревом и дорогим мебельным лаком. Филимонова тронула толстую струну, нутро инструмента басовито загудело. Филимонова улыбнулась, прошептав:

— Надо же...

Контрабас неожиданно оказался не очень тяжелым. Филимонова втянула его за гриф. Уложила на тряпье, села рядом, гладя рукой полированные изгибы, провела пальцем по струнам. Сочный низкий гул наполнил свод колокольни, заворчал в жерле колокола и тихо растаял.

— Надо же... — повторила Филимонова. Она задумчиво перевела взгляд на сваленный в угол хлам — ее выуженное богатство: несколько толстых коряг, две отличных сосновых доски, дверца от буфета с медной ручкой, пластиковые бутылки, пара канистр, рыжий буй с обрывком троса.

«Что с тобой, подруга? — сказала она себе, — теперь-то уж чего робеть. Поздно теперь бояться... Последний шанс. Три-четыре дня и все — крышка». Она заглянула в люк, ведущий вниз, в церковь. Вода добралась уже до верхней ступеньки винтовой лестницы.

— Ну, значит, так... — Филимонова встала, деловито хлопнула в ладоши и принялась с треском рвать тряпки на длинные полосы, помогая зубами и отплевываясь от ниток. Полосы она скручивала в жгуты, связывала их между собой узлами. Дергала, проверяя на прочность. От работы лицо ее раскраснелось, она приговаривала: «Так-так-так», локтем и тыльной стороной руки стирала с лица пот и убирая непослушные рыжие волосы.

После она разложила по обеим сторонам контрабаса деревяшки, прикидывая конфигурацию будущего плота. Дверца буфета идеально вошла под гриф, получилось что-то вроде подводного крыла. Справа и слева легли бревна и доски.

Филимонова работала с веселой злостью. Приговаривая свое «так-так-так», ловко приспосабливая и прилаживая деревяшки, словно весь муторный ужас ожидания и вся накопленная энергия бесконечного всматривания внезапно прорвалась и выплеснулась наружу. У нее закружилась голова и она, присев на подоконник, вдруг рассмеялась: она вспомнила большую лодку, которую Робинзон построил слишком далеко от моря, которая так и осталась навсегда на суше. Она перетащила контрабас на подоконник, решив, что окончательную сборку осуществит здесь, а после выпихнет катамаран наружу. Тем более что вода уже подползла к самому окну.

6

Небо было огромным, как в степи или открытом море. Филимонова, отдышалась и, справившись с дрожью в руках, крутила головой, с замиранием впитывая это ощущение бесконечного вольного пространства. Колокольня оказалась на удивление маленькой, с игрушечной луковкой и крестиком, она тихо уплывала, покачиваясь в своем отражении. У Филимоновой выступили слезы. Как-никак а именно колокольня спасла ей жизнь.

Она отвернулась и принялась грести в сторону костела. Из доски получилось неважное весло, у Филимоновой было больше надежд на вторую доску — хитроумно прилаженный к корме руль. Из инструментов у нее был лишь

консервный нож, как выяснилось, не слишком пригодный в столярном деле, но тем не менее «Чарли» (имя судну было дано в честь Чарли Хейдена, джазового контрабасиста) уверенно держался на плаву и был даже отчасти управляем.

Струны пришлось снять, сплетя их косичкой и обвязав у основания плотным брезентом, Филимонова смастерила плеть, юркую и упругую. И на редкость эффектную — пробуя на хлесткость, Филимонова так увлеклась свистом и блеском выписываемых кругов, что со всего маху стеганула себя по ляжке. Взвыв от боли, она задрала юбку — на ноге моментально вздулась красная полоса в мизинец толщиной.

Было еще рано, часов десять. Филимонова подумала, что привычное деление времени на часы и минуты уже почти исчезло из сознания, все сложней стало определять, сколько прошло времени — час, два или пять, да и какая разница? Остались лишь день и ночь, рассвет и закат. Солнце вставало за спиной, значит, там восток. Течение тащило ее на запад, а там горы. Теперь все сводилось именно к этому.

Она вглядывалась в воду, иногда ветви деревьев были совсем рядом, можно было потрогать рукой. Филимонова пыталась угадать, где она проплывает, иногда появлялось странное ощущение, словно она парит над землей.

В темно-зеленой глубине появилась черепичная крыша замка с флюгером. Там, внизу, за кованой оградой розовый сад, когда мимо проходишь — такой аромат! Особенно те, желтые, что пахнут, как сливочный пломбир. А дорожки посыпаны толченым кирпичом, от которого подошвы становятся оранжевыми. Дальше — открытая ротонда и сухой фонтан с прошлогодними листьями на дне. Подойдешь к балюстраде — такая даль открывается, аж дух захватывает. Далеко внизу гладь реки, широкая и спокойная, с длинными, вытянутыми островами, поросшими сочной зеленью и желтыми мысками уютных пляжей. Там прошлым летом Эдвард учил ее бросать спиннинг, она только путала леску. Потеряла две блесны. А после они ели щучью уху, от которой пахло укропом. А потом валялись в высокой траве, куря его жуткие французские сигареты, которые Филимонова презрительно называла пахитосками, кашляла, но все равно через минуту просила дать затянуться еще разок.

С Эдвардом ничего не вышло не потому, что он на семь лет был моложе, — занятно, она даже мысленно не говорила, что это она на семь лет старше.

«В какой же момент я выпала из жизни? То, давнее бегство из Москвы? Как музыкант в оркестре, потеряв ритм, после уже беспомощными нотами тычет в убежавшую мелодию... Так и я. А после все уже как-то наспех, невпопад... И вроде даже не живешь, а пытаешься куда-то воткнуться, пристроиться, да все не так, все мимо. Все наперекосяк».

Филимонова покачала головой.

«Да уж, второе замужество, побег в Африку — то были годы безусловного безумства. Даже по моим вполне безумным меркам».

У холостяка Новицкого горела командировка, без жены его не выпускали. Филимоновой почудилось, что это знак свыше, ее спасенье. Она хотела вырваться из Москвы любой ценой. Цена оказалась неожиданно высокой — Новицкого отправили на три года в Танзанию. Она там от жары чуть не рехнулась и от безделья чуть не спилась. Дар-эс-Салам был страшной дырой, работы в посольстве не нашлось, а за пределами совколонии работать не дозволялось. Новицкий экономил каждый шиллинг — копил на «Волгу» и на кооператив, запрещал включать кондиционер, поэтому весь день Филимонова мокла в тепловатом океане, изредка причаливая к плавучему бару и накачиваясь

ананасовым дайкири с дешевым ромом, ожидая как избавления, когда же мглистые облачка над слюдяной Килиманджаро приобретут наконец карамельный оттенок, жара спадет и можно будет пойти домой спать.

7

Пастор, черный и тощий, как сухой стручок, стоял в проеме стрельчатого окна и ждал.

— Вот ведь народ, ни удивиться тебе, ни обрадоваться — чертова немчура! — ворчала Филимонова, подплывая к кирхе. Откинувшись назад, она уверенно и даже отчасти изящно управлялась с рулевой доской. — Ну хоть улыбнись, что ли, селедка ты балтийская.

Пастор молча наблюдал, как она причалила. Подал ей руку и помог взобраться на подоконник.

— Лудзу... — пробормотала Филимонова, вдруг сообразив, что понятия не имеет, как к пастору обращаться — ни имени, ни фамилии она не знала, — пастор, ну и пастор.

— Вы — дамский мастер, — латышский акцент превратил «е» в «э», придав ее профессии галантный иностранный привкус.

— Парикмахэр, — не удержалась Филимонова.

— Тот солдат уворовал мои сухари, — безо всякого перехода сказал пастор, — говорил про черные альбатросы, а утром — уворовал. Я спал.

— Не солдат, дезертир. Дрянь... У меня мешок консервов утянул, горошек болгарский, лечо, ну, перец... Две банки крабов... В собственном соку... — Филимонова неуверенно закончила фразу и, замолчав, внезапно ощутила неловкость — говорить было совершенно не о чем.

Она отвела взгляд, разглядывая отсыревшую штукатурку, чертыхаясь про себя и чувствуя, что у нее начинают гореть уши, как у школьницы. А вон то пятно похоже на трехногого верблюда, дромадера, как на сигаретах. Новицкий такие курил, без фильтра, называл их солдатскими. Молчание стало невыносимым, и она спросила первое, что пришло в голову:

— Зачем вы в колокол звоните?

— Делаю аларм, сигнал.

— Надеетесь, что спасут?

Пастор вздрогнул, поджал губы и, чуть запнувшись, спросил:

— Вы верите в Бога?

Филимонова пожала плечами. Неопределенно кивнула.

Пастор резко развернулся, будто хотел уйти. Уйти было некуда, и он широкими шагами принялся ходить из угла в угол. Остановился перед верблюдом и начал ковырять стену ногтем.

— Счастливый вы человек, — пробормотал он глухо, — Бог для вас абстракция. Верхняя сила, как гром и молния.

«Абстракция, ну да... — подумала Филимонова. — Тебе б такую абстракцию»... У нее перед глазами проплыл дед Артем. Снизу вверх — жилистые ноги, холщевое сукно, бородища, ремень на горле...

Пастор подошел к окну и, морщась, уставился на солнце. Свет вспыхнул в седом ежике головы, вода снаружи журчала и весело хлюпала, забираясь под днище контрабаса.

— Я учил: Бог — ваш отец, он любит вас. Он строгий, но все простит, вы

только покайтесь... И он простит. И примет в Царствие Свое, — пастор запнулся, что-то пробормотав по-латышски.

Пастор повернулся к ней сутулой спиной, Филимонова видела, как побелели костяшки крепко сжатых кулаков.

— А после этого... — он замолчал на секунду, словно раздумывая, продолжать или нет. — Если Бог поступает так здесь, на этом свете, почему я верю, что на том свете, в Царствие Небесном своем, он будет добр? Да и есть ли оно — Царствие? His est enim calix sanguinis — ибо это есть чаша крови... Сына моего? — пастор почти вскрикнул, взмахнув рукой. — Сына! Он сына своего на казнь отправил... Что мы ему?

Филимонова внезапно поняла, как он напуган. Даже не напуган, подумала она, а потерян. Следующая стадия страха, та, что за паническим ужасом... Паралич воли... Люди религиозные вызывали у Филимоновой зависть: она была уверена, что у этих-то все разложено по полочкам, никаких неожиданностей с загробной жизнью. Не все так просто оказалось и тут.

Глядя на тощую шею и бритый затылок, Филимонова почувствовало, что ей стало жаль старика. Она тронула его плечо, осторожно положила ладонь на спину. Хотелось успокоить его, соврать что-нибудь, рассказать какую-нибудь бодрую чушь. В голове было пусто, а на душе скверно.

— А, может, его просто... нет, — произнесла она тихо. — Не существует его...

Вода тихо хлюпала, журчала. На солнце наползло облако, вокруг все погасло, стало серым и холодным. Филимонова медленно убрала руку, сунула в карман. Нижняя губа мелко дрожала. «Вот только этого не хватало», — подумала Филимонова.

— Это вам... — Филимонова проглотила всхлип и невпопад засмеялась. В руке у нее был апельсин.

Пастор повернулся. Уставившись на апельсин, он скривил рот, сморщился, гримаса скомкала его худое, небритое лицо. Он начал медленно раскачиваться, будто разгоняясь, и под конец беззвучно зарыдал.

8

Ветер стих. Течение лениво тянуло «Чарли» на запад. Вокруг плыли коряги, телеграфный столб, похожий на крест, мусор помельче. Филимонова разглядела школьный глобус. На горизонте, растопырив корни, ползла вырванная сосна. Рыжий ствол горел на солнце, как ржавая труба.

Филимонова догрызла сухарь. Подтянула ремень на спасательном жилете — подарке пастора. Она не хотела брать, отнекивалась, пока старик насильно не натянул на нее подарок. Жилет был пробковый и обшит оранжевой синтетикой с ярко-лимонными полосками на груди и спине. Из нагрудного кармана торчал обрывок веревки. Свисток, догадалась Филимонова. Она решила не спрашивать историю такого удачного улова. Наверняка жилет приплыл не пустой.

Разбухшие тела и сейчас время от времени всплывали грязными мешками и какое-то время ползли за «Чарли», а после тихо погружались или отставали. Филимонова старалась не смотреть, как выяснилось, привыкнуть к этому не удалось.

Стая уток, истошно крякая, пронеслась над головой. Филимонова вздрогнула и пригнулась. Птицы шумно приводнились, голося и хлопая крыльями. Угомонясь, принялись нырять, подолгу исчезая под водой.

«А может, вообще нет никакого смысла, — подумала Филимонова, — кто

сказал, что должен быть какой-то там высший разум? Если уж даже поп в такое отчаянье впал... Вот я прихлопну, допустим, комара, выходит, для комара я и есть высшая сила, ведь я могла его и пощадить. А может, надо мной, над нами, такая же Филимонова, вздорная бабенка, ветер в башке гуляет. Ей шлея под хвост попала, она — хрясь! — и от нас лишь мокрое место осталось. Какой тут высший смысл, скажите мне на милость?»

Утки закрякали, ругаясь, забили крыльями, как по команде снялись и улетели. Вдали, описывая плавные круги, парили две крупные птицы. Филимонова обернулась, кирха крошечной занозой еще торчала из горизонта, ее колокольни уже не было видно вовсе.

Ноги затекли, осторожно, стараясь не раскачивать плот, она легла на живот, раскинув руки крестом. Позиций оказалось не так много — она могла сидеть по-турецки или на коленях. Еще лежать на спине.

Солнце садилось. Она всматривалась в горизонт. Там, на западе, должны появиться горы. Рано или поздно. Карпаты или Татры. Там должны быть люди. Горные деревни, отары овец, виноград, теплое молоко, жесткие пресные лепешки с привкусом дыма. Филимонова щурилась, на горизонте поднималось зыбкое марево; розоватая дымка, уплотняясь, превращалась в дрожащие острова с едва различимыми садами и горбатыми мостами, с тонкими минаретами и прозрачными дворцами. Тусклые бусы мерцающих фонарей тянулись вверх и, ускользая, таяли, таяли в небе.

Глаза сами закрывались, разлепить веки трудно — да и зачем? — Филимонова на ощупь просунула кисти рук под веревки. Подумала, как ей все-таки жаль пастора и как вовремя появился жилет, теперь даже если во сне свалюсь в воду... Про это думать не хотелось, и Филимонова задремала, появились желтые вывески какой-то южной улицы с полосами синих туманных теней, она принялась их разглядывать, уплывая все дальше и дальше.

Кто-то нежный настойчиво тянул ее, вывески здесь уже были неубедительны, сделаны из растекающегося желе. И какой дурак делает вывески из желе, тем более на юге, подумала Филимонова, все ведь растает вмиг. Вывески на юге надо делать из бамбука и страусиных перьев или уж на худой конец вышивать кипарисовыми иголками по шелку. Впереди, за ослепительно белой горой, беззвучно играл невидимый оркестр, едва угадывалось тугое уханье большого барабана. Мерный звук приближался, она уже почти увидела барабанщика, необычайно гордого собой, этого красномордого усача, пьяницу и волокиту в малиновом френче с золотыми аксельбантами и здоровенной колотушкой в потном кулаке. Бух! Бу-бух!

За мгновенье до пробуждения, уже почти вынырнув из сна, Филимонова вдруг поняла, что это громыхало ее собственное сердце. Во сне она прижалась ухом к гулкому телу контрабаса и слушала свой пульс, многократно усиленный декой.

«Неужели спасение собственной шкуры и есть главная цель жизни? — подумала Филимонова и открыла глаза.

Огрызок луны пыльным ободом касался горизонта, в размытом отражении проплывали силуэты коряг. Таинственные и жуткие, они топорщили корневища и черными демонами скользили вслед за Филимоновой.

Она высвободила из-под веревки затекшую руку и, растирая запястье, перевернулась на спину. От простора и бездонной высоты у нее закружилась голова. Сначала все было черно, как тушь, — ей на ум пришло странное слово

«рейсфедер» (она никогда не любила черчения), потом проступили яркие звезды. Они сложились в угадываемые созвездия — вон Медведица, вон — Орион, с сияющей Бетельгейзе в левом кулаке. Когда глаза привыкли и замерцал бескрайний Млечный Путь, Филимонова отыскала в нем куропатку, пастуха и даже жабу. Змея, как и положено змее, ускользала, Филимонова никак не могла найти ее. Она плюнула и теперь просто глазела в небо.

— Ладно, черт со мной, кто такая Филимонова в конце концов! — пробормотала она. — Черт с ним, с Кронцпилсом, да и с Латвией — прихлопнули, как комара, и нету... Но как же предположить, что вот эта торжественная механика лишена логики и смысла? Что все эти галактики, миллиарды звезд и миров всего лишь нелепая дурь и сумасшедшая случайность? И что нет ни высшей справедливости, ни высшего добра, ни высшего разума? Нет ничего, кроме желания спасти свою шкуру. Свою старую, никому не нужную шкуру...

Порой в ночи раздавался всплеск, будто играла рыбешка, иногда что-то булькало, словно большие пузыри вырывались на поверхность из глубины. Потом донесся тихий вой, заунывный и едва уловимый. Филимонова, приподнявшись на локте и затаив дыхание, прислушалась, — точно, тоскливая мелодия теперь была отчетливо различима. Ей даже показалось, что теперь мелодию выводят два голоса, к муторному и глухому добавился второй, высокий и печальный.

Голоса становились громче. Стараясь не шуметь, Филимонова встала на колени. Закрыв ладонью луну, она всматривалась вперед. Голоса были совсем уже рядом. Она достала из-за пояса кнут, который сплела из басовых струн. В висках стучало, щекотная струйка проскользнула между лопаток. Когда глаза привыкли к темноте, она разглядела прямо по курсу острый конус. Вой доносился оттуда. Постепенно тьма распалась на квадраты и треугольники, появились балки, перемычки и перекрытия.

«Нефтяная вышка? — изумилась Филимонова. — Что за бред, откуда здесь нефть?»

— Эй, на вышке! — нарочито грубо крикнула она.

Вой оборвался.

Нервно поигрывая кнутом, Филимонова крикнула:

— Ну! Кто там?

Наверху заскулили. Гулко грохнуло пустым железом, как по водосточной трубе, кто-то завозился. Неожиданно вспыхнул фонарь. В его желтом свете Филимонова увидела старуху, к ее ногам жался тощий спаниель.

— А вы не Красный Крест? — спросила старуха, близоруко щурясь. — Без очков беда просто...

Филимонова помотала головой.

— Без очков беда просто, — огорченно вздохнула старуха, — мне б консервов для собачки, — проникновенно попросила она, — хоть баночку... А?

— Сухари есть. Немного.

— Да не ест он сухари... Я и так и эдак, ума не приложу, вот ведь беда, господи.

— Бабуль, ты б фонарь зря не жгла, — посоветовала Филимонова, разворачивая «Чарли» бортом к опоре.

— Фонарь-то... да что фонарь... — безразлично махнула рукой бабка, —

фонарь на солнечной батарейке, считай, вечный. Мне б консервов. Для собачки. Вы не Красный Крест?

Филимонова похлопала по крашеному железу опоры:

— Бабуль, а что это?

Старуха осторожно перегнулась вниз.

— Это... Радио это.

Спаниель завыл, по-детски всхлипнул и замолк.

— Ох, ты мой сердешный, — бабка согнулась, прижалась щекой, — собака лизнула старуху в лицо, — вишь, доча, как оно вышло-то. Зря мы отделились, сейчас русские солдатики нас вмиг бы спасли. А Европе-Германии до нас и дела нету, мы для них — второй сорт людишки. Потонем — не велика потеря. Я-то свое пожила, старая перечница, туда и дорога, а вот безвинная тварь за что? Или ты, вон, молодуха в самом соку, вся жизнь впереди.

Филимонова невесело усмехнулась про себя: «Как это так вышло — сначала вся жизнь была где-то впереди, все только и талдычили — Анька, у тебя вся жизнь впереди, а после — бац! — и полтинник. И впереди унылая старость с таблетками и болью в пояснице, а вся жизнь, оказывается, уже проскочила».

— Бабуль, а где мы? Что за место?

— Елгава, доча, Елгава. У нас тут такие места... — мечтательно протянула старуха и вдруг, оживясь, — меня-то по распределению направили, я ведь техникум Куйбышевский окончила. По мостам и мостовым конструкциям, а тут как раз станцию начали. Третья ГЭС по энергоемкости. А живу я в Жаворонках, хоть и далеко от центра — так какой мне центр, я уж на пенсии, да и Лоренцу там полное раздолье. Он в бору белок гоняет — будьте любезны. Пес ведь охотничий, с родословной, дипломами вся зала увешана. Только из меня-то какая охотница, — бабка хихикнула и подмигнула, — я, доча, свое уже отохотила. Теперь вот зверобой собираю, липовый настой тоже хорош. Я к нему василек добавляю — так, для красоты, голубенько. Во ржи, знаешь, по обочинам. А кофе врач запретил, еврейчик, забыла как его, чистенький такой, аккуратный. Говорит, у нас, Александра Васильевна, — гемоглобин и аорта, нам кофеин совсем не к чему. Хотел на обследованье положить в Дубулту — там финны такой центр отгрохали — будьте любезны, министры из Москвы ездят. Но я, знаешь, доча, врачам не очень... — зашептала бабка доверительно, — как они Бориску-то моего залечили. К ним ведь попадешь — обратно живым не выйдешь.

Филимонова слушала вполуха. Выходит, течение сносит ее на северо-запад. Филимонова представила карту, до Елгавы километров сто двадцать, она их прошла за сутки. В любом случае, хорошо, что ее не тащит в залив. Она боялась оказаться в Балтике.

Вдруг над водой возник звук, от которого у Филимоновой зашевелились волосы. Собачонка, присев, вжала голову, а старуха быстро перекрестилась. Это был нечеловеческий, мяукающий и тоскливый вой.

— Господи... — прошептала Филимонова.

— Сатана души грешные собирает... — испуганно пробормотала старуха, — сатана...

Вой висел в ночи, потом стих. Старуха выключила фонарь, тихо сказала из темноты:

— Ты уж постарайся, доча.

9

Такого тумана Филимонова никогда не видела, казалось, из него даже можно было что-нибудь слепить при желании. Гладкие бока контрабаса были мокрыми и скользко скрипели под пальцами. Медные колки на конце грифа едва угадывались в молочном мареве.

Филимонова развернула рулевую доску так, что «Чарли» постоянно сносило на запад. Должно было сносить на запад.

«Даугавпилсская возвышенность, — ворчала она, вспоминая треп дезертира, — Даугавпилс на востоке, умник. Тебя-то на твоем колесе куда, интересно знать, занесло... С моими-то консервами. Вот ведь дрянь...

Филимонова ладонью стерла влагу с лаковой поверхности контрабаса, достала консервный нож, помедлила в нерешительности, а после нацарапала кружок и написала «Кронцпилс». Вверх провела волнистую линию, река Даугава. Перпендикулярно реке начертила вогнутую дугу — Рижский залив. На пересечении дуги с рекой выцарапала кружок и написала «Рига».

Филимонова с детства обожала разглядывать карты, на дачном чердаке както раскопала старинный атлас. Лежа на животе и вдыхая горячую летнюю пыль, часами елозила пальцем по округлым материкам с воинственными мускулистыми туземцами, подталкивала ажурные каравеллы, летящие на пузатых парусах по бушующим океанам, чьи пенистые воды были населены усатыми морскими драконами, жуткими спрутами и пучеглазыми рыбами.

— Вот тут Дзинтари, — пробормотала она, — хотя это неважно. Елгава должна быть здесь, ниже...

Она нацарапала кружок и соединила его с Кронцпилсом.

— Вот так.

В тумане стали попадаться прорехи, уже можно было различить воду у бортов. Похоже, вставало солнце. Филимонова опустила руку, ей показалось, что течение усилилось. Вдруг «Чарли» ткнулся во что-то мягкое и застрял. Его стало разворачивать поперек потока, Филимонова налегла на руль, пытаясь выровнять накренившийся плот. Чертыхаясь и разгоняя курящийся туман ладонью, она наклонилась, пытаясь разглядеть, на что это она наскочила. «Похоже на скрученный рулоном ковер... с пятнистым орнаментом», — подумала Филимонова. И тут она увидела копыта. Это был жираф.

10

Дьяволы, собирающие грешные души и напугавшие прошлой ночью Александру Васильевну, оказались стаей тощих шимпанзе. Огромный вяз, на котором они обосновались, зацепился за шпиль костела и топорщил обглоданные сучья в светлеющее небо. Над водой висел устойчивый запах зверинца.

Приматы прекратили возню и, застыв, настороженно уставились на проплывающую мимо Филимонову. От пристальных взглядов ей стало не по себе, она вспомнила, что эти милые мартышки — каннибалы. Она сочувственно помахала им рукой.

В кильватер пристроилось двухметровое бревно. Приглядевшись, Филимонова различила среди наростов пару внимательных глаз. Она испуганно вскрикнула и принялась наотмашь лупцевать воду кнутом, поднимая веер брызг и

истошно крича: «Ах ты, гадина! Вот сволочь!» Крокодил с притворным безразличием зевнул и отстал.

Филимонова раскраснелась, от сырости волосы стояли дыбом. Тяжело дыша, держа наготове кнут, она крутила головой, вглядывалась в коричневую тьму, с омерзением представляя всех этих чешуйчатых гадов, рептилий и амфибий елгавского террариума, что притаились на глубине. Солнце встало и уже пекло вовсю. Парило, сырая духота дурманила, было душно. Потная блузка прилипала и резала под мышками.

Течение усилилось. Вода теперь закручивалась воронками, маслянисто перекатывалась упругими струями, вспучивалась пузырями и бурунами. Мартышкин остров почти исчез из виду, Филимонова еще раз обернулась — все, Елгава осталась позади.

— Курс — норд-вест! — громко скомандовала она, налегая на руль и разворачивая плот. «Чарли» послушно подчинился, весело прыгая на перекатах, зарываясь грифом и обдавая Филимонову брызгами. Она осмотрела размокшие веревки, проверила крепления боковых бревен. Узлы ослабли и растянулись. Она попыталась подтянуть крепления, но плот так болтало, что Филимонова оставила эту затею. Вцепившись в веревки, она распласталась на контрабасе.

— Главное, чтоб не вынесло в море, — бормотала Филимонова, — в море вынесет — каюк. Крышка. Хотя, какая здесь крышка — крабы сожрут, вот и все похороны.

Скользя локтями по мокрому лаку, Филимонова приподнялась, вглядываясь в танцующий горизонт. Бревна с мокрым стуком налезали друг на друга, носовая доска громко шлепала, а иногда зарывалась в воду, окатывая промокшую насквозь Филимонову.

На буруне «Чарли» подскочил — Филимоновой показалось, что она летит — а после со всего маху ухнул вниз. Раздался треск. Это трещало старое полированное дерево. Очень скверный треск. Словно внутри контрабаса что-то лопнуло, что-то непоправимо сломалось. Филимонова увидела белую трещину, разрезавшую ее карту между Ригой и Елгавой и уходящую вниз по деке. Неужели все? Вот ведь глупость... Сквозь тошную муть она увидела, что плот несет прямо в огромный водоворот, здоровенная сосна впереди вынырнула, как поплавок, корни пронеслись горгоновой шевелюрой, закрыв солнце. Оторванная белая дверь скользила по кругу, быстро приближаясь к центру водоворота. Подскочив, будто щепка, исчезла в воронке.

Она поняла, что тонет. Корпус контрабаса быстро наливался тяжестью. Вода перекатывалась уже через верхнюю крышку. Филимонова встала на колени, проверила замок на спасательном жилете и перевалилась за корму. Вода оглушила. Звук на секунду исчез, пузыри понеслись куда-то вниз, под ногами вспыхнуло тусклое солнце. Она вынырнула, голова шла кругом. Кашляя и отплевываясь, осмотрелась — «Чарли» нигде не было. Течение тянуло ее в водоворот.

Филимонова стянула сапоги. Колотя руками и ногами, она доплыла до бревна, оттолкнулась, ухватилась за корягу. Брызги слепили глаза. Она оставила корягу и, торопливо загребая, поплыла против течения, медленно удаляясь от водоворота.

11

Филимонова очнулась. Кто-то тормошил ее. Она открыла глаза.

Белобрысый мальчишка лет двенадцати, закусив нижнюю губу, тряс ее за плечи. Перегнувшись через борт плоскодонки и вцепившись в лямки ее жилета, он пытался привести ее в чувство, болтая из стороны в сторону.

— Милый, ты мне так голову оторвешь, — раскачиваясь, как пляжный мячик на волнах, сказала Филимонова. — Вот усердный-то...

Мальчишка перестал трясти и быстро убрал руки. Он оказался сероглаз и лопоух, с выгоревшими добела волосами.

Пытаясь забраться, Филимонова чуть не перевернула лодку. Сообразив, что так дело не пойдет, она велела ему сесть на нос, сама же перелезла через корму. Охнув, легла на спину, вытянула босые ноги, пошевелила пальцами, мальчишка улыбнулся.

— Да-а, — протянула Филимонова с сожалением, — а какие сапоги у меня были! Кавалерийские...

Течение стало вялым, вода тащила обычный мусор и разноцветную дребедень. Плыли обломки мебели, обрывки бумаги, куски пластика, подозрительно вздутое тряпье. Справа неровным гребнем торчали верхушки сосен, оттуда беззвучно взмыла стая золотистых пичуг — зарево покрасило полнеба в персиковый цвет, волосы и лицо мальчишки от заката тоже были рыжеватыми. Он сидел на носу, выставив ободранные коленки, упираясь чумазыми до черноты ступнями в спасательный круг. Это был настоящий корабельный круг, красно-белый, с полустертым названием судна по кругу: «Ласточка».

— Елгава где? — спросила Филимонова.

Мальчишка посмотрел на солнце, задумался. Почесал щеку — руки его были не чище ног — и решительно выставил руку, указывая куда-то за спиной Филимоновой.

— А Рига? — хитро щурясь, спросила Филимонова.

Парнишка вытянул другую руку.

Слабая, будто с похмелья, Филимонова привстала и огляделась вокруг. Никаких бурунов, никаких водоворотов — ленивая водная даль.

— Чудеса... — пробормотала Филимонова, собирая волосы в кулак и отжимая их. Вода застучала по дну, поползла холодными струйками по спине. Морщась, она расстегнула жилет, сняла. Подумав, стянула через голову блузку.

Мальчишка хмыкнул и, покраснев, перевернулся на живот.

Филимонова вылезла из юбки, изогнувшись, расстегнула лифчик. Ногой сгребла все тряпье в кучу и, зажмурившись, потянулась — хорошо!

Звонко прихлопнув на ляжке комара, она провела ладонями по бедрам, ухватила большим и указательным пальцами за кожу живота — от былой сдобы не осталось и следа.

— А ты говоришь — диета, — усмехнулась она.

Развесила по борту свои тряпки, потом уселась на корму и уставилась на закат.

Солнце уже наполовину ушло за горизонт. Парень, вежливо отвернувшись, лежал на носу. Филимоновой были видны оттопыренные уши и острый затылок, очерченный пушистой каймой света, как у кротких мучеников на полотнах позднего Караваджо.

Умиление сменилось тоской: дети напоминали ей, что она потерпела поражение на всех фронтах — и как мать, и как жена.

Прикрыла рукой глаза, тут же вспомнились больничные звуки — тревожный шепоток, шаркающий линолеум. Горькая вонь убежавшего молока, удушающая до рези в глазах хлорка, запах лекарств, лекарств и снова лекарств. Хруст ампул, словно кто-то обламывает по кусочкам твою душу, тонкую и хрупкую, как первый ледок.

Ей казалось, что общая потеря сближает. Должна сближать. С кем-то, возможно, так и происходит, увы, это был не их случай. Игорь захлопнулся, сам остался внутри. Страстно лелея свою боль, он так и не вышел из педиатрического отделения после той ночи. Он превратился в укор, стал бесконечной пыткой для нее и для себя.

Потом появилась свекровь — чуткая Римма Романовна. Заехав на выходные помочь по хозяйству («ну нельзя ж все консервы, у Игорька гастрит, ему бульончик с греночками, творожок»), застряла, обосновалась. Из страшной детской сладко потянуло французской парфюмерией.

Тогда Филимонова провалилась в какую-то сонную вату, ей стало безразлично. Главное, не думать, твердила она, главное — ни о чем не думать. Когда очнулась — было уже поздно. Она не винила никого — ни врачей, ни мужа, ни свекровь. Начавшись с трагической случайности, дальше сюжет развивался пошло и банально: стук кулака по столу и праведный надрыв: «Не смей так разговаривать с моей мамой!» Банальные фразы, нелепые позы. А дальше? Дальше, наревевшись всласть под грохот воды в ванной, вслушиваться в вечерний бубнеж из-за глухо прикрытых дверей кухни. А ночью, прикуривая от окурка и следя за красной точкой, скользящей вниз, отстраненно прикидывать: шестой — это достаточно высоко?

Короче, из первого замужества Филимонова вырвалась, как из вражеского котла, — оглушенная, израненная, потерянная. С намертво впившимся в душу страхом. Страхом потери.

12

Одежда почти высохла, Филимонова неспешно оделась. Подумав, натянула жилет. Щелкнула карабином.

— Эй, юноша, вы там не заснули на посту? — спросила она.

Мальчишка повернулся. Часто моргая, он застенчиво улыбался. Филимонова улыбнулась в ответ и спросила:

— Тебя как звать-то?

Мальчишка отчего-то смутился, покраснел. Опустив голову, пожал острым плечом. Соломенная челка скользнула на глаза.

— Ну-у, — протянула Филимонова, — оробел. Как барышня прямо. Так дело не пойдет, давай знакомиться...

Она, балансируя, перебралась на нос и присела на корточки перед ним.

— Я — Филимонова. Анна.

Мальчишка, прижав острый подбородок к шее, втянул голову в плечи. Шмыгнув носом, что-то буркнул.

— Что ж, так и будешь молчать? — Филимонова взяла его за плечи. — Ты что, немой? Или язык проглотил?

Мальчишка испуганно вздрогнул, словно ожидая оплеухи.

— Ну, ладно-ладно, — она осторожно притянула его к себе, гладя голову и прижимаясь щекой к теплой макушке, — ну, будет, милый, будет.

Неужели немой? Немота ведь может наступить из-за шока, нервного потрясения, думала она, пытаясь припомнить какие-нибудь истории, подтверждающие это. Не к месту вдруг вспомнила, что вместе с «Чарли» погибли все ее запасы: замечательные хлебные корки с привкусом тины, два апельсина, утонул и прекрасный кнут. И нож! Консервный нож, вот дьявол!

— Все будет хорошо, — прошептала она, — все будет просто замечательно. Теперь нас двое, у нас лодка, весла... Вон, у тебя спасательный круг даже есть... Мы с тобой двинем на запад, там Литва, Чехия, горы. Татры, слыхал? Да и Красный Крест наверняка там. Вертолеты, катера, тушенка, молоко сгущеное с галетами...

Она гладила его спину и бормотала несуразицу, совсем не думая, что говорит. Вдыхала его запах и старалась не разреветься.

От мальчишки пахло летом, летними каникулами в деревне. Его волосы пахли солнцем, детским потом и речкой. Прыжками с мостков «бомбочкой» или «солдатиком» на счет «раз-два-три!» в ледяную зеленую воду под яркой, без единого облачка, синью. Это был запах лета, которое не должно, не имело права кончаться. Оскомина от неспелых ворованных яблок, щекотная божья коровка на коричневой руке — оп! — и взлетела, черный хлеб, посыпанный сахарным песком, что вкусней любого пирожного, занозы, крапивные волдыри, пчелиные жала и прочие благородные, почти рыцарские, раны. Силуэт матери в оранжевом дверном проеме, зовущей тебя домой, над ней — неуловимые зигзаги летучих мышей в просветах между черными кружевами лип и мглистый туман, выползающий на опушку остывающего леса.

13

Он заснул, изредка вздрагивая и постанывая. Филимонова, невнятно шепча запутавшиеся колыбельные, где были усталые игрушки, и волчок, и умирающий в степи ямщик, проваливалась в сон: в полупустую электричку, шаткую, громкую и бесконечную. Она шла из вагона в вагон сквозь оглушительные тамбуры, разящие мочой и сырой копотью, безнадежно ища кого-то — вспомнить бы кого, — пол плясал, издеваясь, уплывал вбок, поддавал снизу, проваливался.

Просыпалась. Удивлялась большой звезде прямо за кормой. Было неудобно, край лодки резал бок, ноги совершенно затекли, но Филимонова, боясь разбудить мальчишку, лишь аккуратно ворочалась, не меняя позы.

Его звали Ян — он начертил пальцем две буквы на дне лодки, это уже утром. Филимонова спросила — латыш? — он кивнул.

В лучах дымного рассвета Ян степенно демонстрировал свои сокровища. Открыл крышку кормового сиденья, гордо разложил по дну лодки свое наследство — хлам, забытый кем-то из рыбаков: спутанный моток толстой лески, полпачки серой окаменелой соли в картонке, заплесневелую буханку ржаного, стальной колокольчик, ржавый, жутковатого вида, самопальный тесак с наборной тюремной рукояткой и хищным, кривым лезвием.

Была еще ржавая консервная банка с высохшей землей и тощими мумиями червяков. И скомканная газета на латышском языке от двенадцатого мая.

Филимонова задумчиво распутывала леску, разглядывая выложенное добро. Ян сокрушенно разводил руками, изображая указательным пальцем крючок

и азартно мотал головой в сторону резвящейся утренней плотвы. Филимонова взяла банку, покрутив в руках, брезгливо достала дохлого червяка, понюхала. Сморщила нос и уже хотела выбросить за борт, но передумав, кинула червя обратно в банку.

Безусловно, рыбная ловля решила бы вопрос пропитания, думала Филимонова. Нужен крючок. Пацан в два счета натягал бы целый кукан карасей или как их там... Крючок нужен.

Вдруг она хлопнула в ладоши. Ян застыл и уставился на нее. Филимонова вытащила из уха сережку и, невероятно гордая собой, продемонстрировала Яну великолепный золотой крючок. Ян от восторга чуть не опрокинул лодку. Он скакал, закидывал невидимые удочки и вытягивал невероятных размеров добычу. Филимонова тоже отчего-то принялась мычать и жестикулировать. Потом расхохоталась, обняла Яна за плечи и, чмокая в макушку, прошептала:

— Ну видишь, я ж тебе говорила, я ж говорила. Все будет хорошо!

Они подгребли к кленовой роще, верхушки едва торчали из воды, но Ян, обстоятельно хмурясь и очевидно зная толк в деле, быстро выбрал отличное удилище. Обломав сучки, проверил на изгиб. Довольно хмыкнув, быстро и ловко, как бобер, передними зубами очистил кору. Белый и скользкий прут сразу стал похож на настоящую удочку. Из серьги действительно получился замечательный крючок, Ян примотал его каким-то хитрым рыбацким узлом. Вместо поплавка прикрепил пробку.

— Дело за наживкой, — подмигнула Филимонова, устраиваясь на средней скамье и потирая ладони.

Ян колдовал над наживкой. Отказавшись от хлеба — безусловно дилетантский выбор, он пытался ловить мух и пару раз чуть на свалился за борт, заметив наконец укоризненный филимоновский взгляд, мрачно уселся, подперев щеки кулаками. Придвинул пяткой банку, достал скрюченный трупик червя, положил на ладонь, плюнул и начал возить пальцем, размачивая.

Филимонову чуть не вырвало. Она поморщилась, сглотнула и, уперев пятки в перегородку, принялась грести.

14

Сырой лещ оказался неожиданно вкусным.

— Жаль, конечно, что мы не японцы, — кивала Филимонова головой, выплевывая за борт мелкие кости, — и не можем оценить деликатес по достоинству.

Мальчишка, хмурясь, напускал на себя взрослую невозмутимость, но его очевидно распирало от гордости, облупившийся нос торжественно сиял, веснушки егозили и подмигивали. Да и было от чего.

Поклевки начались сразу, он лишь закинул удочку. Филимонова перестала грести и молча разминала горячие ладони — по опыту знала, когда клюет, к рыбаку лучше не лезть. Независимо от возраста рыбака.

Она видела, как напряглась спина мальчишки, он подался вперед. Филимонова, вытянув шею, привстала. Поначалу она ничего не заметила: поплавок безучастно приклеился к своему отражению и был неподвижен, Филимонова уже собиралась сесть, как вдруг поплавок мелко заплясал, от пробки пошли нервные, частые круги. Потом так же неожиданно замер. На него села синяя стрекоза и тоже застыла.

Малек играет, решила Филимонова, припоминая рыболовные наставления

Эдварда, который заявлял, что жить в Кронцпилсе и не ловить рыбу — преступно. Он возил Филимонову на лесные озера, чистые и глубокие, с пугающе прозрачной водой и мельчайшим, похожим на соль, песком. На озерах (чаще всего они ездили на Лаури, иногда на Кондорское) она бродила по теплому мелководью, пугая мальков, или загорала на полосатом надувном матрасе. Заплыв на середину, Филимонова, склонялась к самой поверхности и вглядывалась в темную глубину. Там, будто в глыбе стекла, застыло волшебное царство: мохнатым можжевельником наползали изумрудные водоросли на проплешины белого песка, подводные лопухи и папоротники топорщили ладони, над ними призрачно скользили увеличенные до устрашающих размеров темно-бархатные рыбьи спины.

Эдвард, в соломенной шляпе и болотных сапогах, рыбачил у берега. После варили уху. Филимонова снимала пену, стряхивая ложку на шипящие поленья. Дым слоился и вытекал на лиловую гладь вечернего озера, макушки сосен вспыхивали напоследок и медленно гасли, погружаясь в синий сумрак. Пахло дымом, рыбным наваром, укропом.

Филимонова, не отрываясь, глядела на поплавок, эта неподвижность была подозрительна — ведь стая мальков тюкала бы наживку непрерывно. Вдруг поплавок, не уходя под воду, резко заскользил вбок, она видела, как Ян вздрогнул, ей хотелось заорать «подсекай!», но благоразумно удержавшись, она лишь закусила губу. Описав дугу, поплавок снова замер. Прошла минута, поплавок был неподвижен.

«Вот ведь сволочь, — сокрушенно подумала Филимонова, — сожрала и ушла».

В этот момент поплавок чуть привстал и лениво лег набок. Скупым и ловким движением — Филимонова услышала даже струнный звон лески — Ян подсек рыбу. То, что это настоящая рыба, а не какая-нибудь мелюзга, стало ясно сразу. Удочка изогнулась в дугу, Ян присел, подался назад. Филимонова помнила, что тут главное не дать слабину, леска провиснет — считай, ушла рыба. Парнишка, несомненно, был тоже в курсе. Он уверенно выводил (Филимонова вдруг вспомнила и это слово) рыбину, следуя ее сильным зигзагам, одновременно не давал ей уйти под лодку. Крупную, матерую рыбу нельзя тянуть как уклейку — махом. Может не выдержать леска, крупная рыба требует уважительного отношения, ее нужно измотать.

Наконец у самой поверхности неясно вспыхнул зеркальный бок, Ян сделал шаг назад, подтягивая добычу к борту. Филимонова не выдержала и закричала: «Давай!» И здоровенный лещ весомо брякнулся на дно лодки и тут же с новой силой заплясал по ногам, шлепая мокрым хвостом и сияя стальной чешуей.

Потом деловито, с невинным детским живодерством, Ян прикончил леща. Орудуя тесаком, выпотрошил рыбину, очистил от чешуи. Принялся разделывать, ловко срезая сочное мясо с хребта.

Филимонова подцепила пальцем одну чешуйку и, положив на ладонь, принялась разглядывать ее. Перламутровый кругляш с металлическим отливом напоминал монету.

15

— Прекрати! Сколько раз нужно повторять, честное слово... — со строгой занудностью говорила Филимонова, — там коряги, а он — головой...

Не дослушав, Ян уже летел ласточкой за борт. Выныривал, цепко ухватившись за нос, забирался в лодку и тут же снова сигал в воду.

— Перпетуум мобиле, — ворчала Филимонова и добавляла громко: — Ты что ж думаешь, я шучу?! Я тебе говорю — настоящий аллигатор, сама видела. Крокодил! Какой еще гадости в этой воде нет?

Ян тут же изобразил схватку с крокодилом, поочередно выступая в двух ролях: раздирал зубастую пасть руками, одновременно пытался ухватить себя за ногу и утянуть на дно, хватался за горло и надувал щеки, бил страшным хвостом, поднимая фонтаны брызг. Под конец битвы, вскочив на нос, вытянулся, сложив руки, как покойник, и закатив глаза, шлепнулся за борт.

Пару раз лодка чуть не опрокинулась — Филимонова хваталась за борт.

«Что я ему — мамаша, что ли? Да пусть хоть башку расшибет, макака бесхвостая», — Филимонова на всякий случай натянула спасательный жилет. Ян продолжал изображать покойников — всплывал лицом вверх, ужасно пуча глаза. Филимонова отвернулась.

Не обращая ни малейшего внимания на брызги и качку, она вымыла нож, обстоятельно протерла лезвие подолом, убрала буханку и соль обратно в кормовой ящик. Плотно замкнула деревянной задвижкой. Потирая руки и придумывая, чем бы еще заняться, вдруг неожиданно для себя самой заорала:

— А ну, в лодку! Сколько можно повторять!

Ян сидел на носу, мокрый, с лиловыми губами и трясся всем телом. Поднялся ветерок, солнце проворно ныряло в облака и быстро выкатывалось снова, словно кто-то листал страницы. Филимонова села на весла, исподлобья поглядывая на мальчишку, — не простыл бы, вон, весь аж синий, как гамадрил. Прикинув, где север, она взяла курс на северо-запад.

Ян перебрался на корму и теперь увлеченно расковыривал ссадину на колене. Когда болячка наконец была содрана и пошла кровь, он переключился на удочку. Перекусил зубами леску и по новой привязал крючок. Занялся поплавком, заменил щепку в пробке, подвигал поплавок вверх-вниз, регулируя спуск. Закончив с удочкой, откинулся назад, пялясь в небо и корча рожи. Потом принялся ловить мух. Филимонова неспешно гребла.

16

Как и положено стервятникам, они описывали плавные круги.

Ян их заметил первым, жестикулируя, тыкал рукой поверх филимоновского плеча. Она обернулась. Две крупные птицы, раскинув неподвижные крылья, неспешно парили над горизонтом.

— Фигурное катание просто, — усмехнулась Филимонова, наблюдая за их ленивым скольжением. — Орлы?

Ян замотал головой.

Филимонова вспомнила дезертировы байки про стервятников, пробивающих клювом череп, усмехнувшись, спросила:

— Черные альбатросы, что ли?

Мальчишка часто закивал.

— Ну вот что, ты давай следи за своими альбатросами, а я грести пока буду. Если что — воздушную тревогу объявляй, лады?

Ян серьезно кивнул и тут же организовал наблюдательный пункт на носу лодки. Складывая руки то биноклем, то подзорной трубой, он уже не спускал с птиц глаз.

— Слава Богу, воздух теперь под контролем, — добродушно бросила Филимонова через плечо, быстро мрачнея и снова проваливаясь в хандру.

Та давняя беда стала только репетицией всех грядущих несчастий — Филимонова была в этом уверена. Как все русские девицы, она с детства была суеверна по мелочам, стучала по дереву, плевалась через плечо, верила в разбитые зеркала, черных кошек, сглаз и пролитое молоко. После смерти Сашеньки она стала сторониться друзей, избегала новых знакомств, безусловно разглядев печать злого рока на своей судьбе. Нахрапистый Новицкий возник очень кстати, Филимонова к тому времени уже всерьез подумывала повеситься — по семейной традиции. У Новицкого горела загранпоездка: на три года холостых Внешторг не посылал. Это было и объяснение в любви, и предложение руки одновременно.

Филимонова согласилась. В возможности исчезнуть (она даже забыла спросить, куда его отправляют) был привкус какого-то волшебства. Однако от перемены мест, увы, сумма не меняется, малоформатный ад, поселившийся у нее в голове, благополучно перебрался вместе с филимоновской головой в Танзанию. Трех лет она высидеть не смогла, ноябрь был пятым месяцем, в среду второго декабря в Москве шел обычный снег с дождем, но аэропорты давали «добро» на посадку в условиях ограниченной видимости.

Да, все верно: не ходите, дети, в Африку гулять, как мантру бормотала Филимонова на все лады, толкаясь в очереди к мрачным пограничницам на паспортном контроле прокуренного насквозь Шереметьева.

«От кого я бегала? — думала Филимонова, лениво шлепая веслами. — От себя самой? Почему боялась жить? Придумывала тысячу оправданий, виня во всем злой рок. Вся жизнь прошла с оглядкой, прошаркала в полноги. Сама с собой крапленой колодой играла. А козыри все черви, да черви... Яблочные. Я даже не про регалии, успехи, достижения, хотя и в этом департаменте не так все ладно. Ведь не зря же нам с детсада долбили — скромность облагораживает! Вот ведь как удобно — скромность! Никакой ответственности — вот твоя скромность, главное — оставьте меня в покое. И не ври хоть себе про скромность».

Настроение у нее испортилось вконец, но мысли уже неслись сами собой.

«Ведь стыдно, как все-таки совестно, так бездарно, скучно и никчемно прокоптить жизнь. У меня ж университетский диплом. У бывшей парикмахерши, у бывшей корректорши, у бывшего экскурсовода, у бывшей с-меня-взятки-гладки — что там еще затерялось в трудовой книжке бытия? Бывшая жена, бывшая мать, бывшая страстная любовница — везде ставим прочерк. В анкете лишь фамилия, а дальше — не состою, не имею, не являюсь. Да, увы, не сложилось. Какое удобное словцо — не сложилось, и все тут. Вроде я тут и ни при чем. Ох, как муторно...»

Ян вскочил. Мыча, замахал руками. Филимонова увидела, что стервятники теперь гораздо ближе. И теперь стало ясно, что это действительно крупные птицы. Они продолжали выписывать филигранные круги, неспешно приближаясь к лодке.

Филимонова встала. Чернота их оперения напоминала воронью, с глухим фиолетовым отливом. Равнодушие пернатых обнадеживало, птицы не проявляли интереса к лодке. Однако размеры настораживали — Филимонова никогда не видела таких крупных птиц.

Она вытащила из уключины весло. Взяла его наперевес, словно всю жизнь участвовала в деревенских драках. Ян испуганно кивнул.

Птицы застыли прямо над лодкой. После, сложив крылья, одна за другой ринулись вниз. Филимонова остервенело стала махать веслом и первым делом

сшибла за борт Яна. Он тут же вынырнул и ухватился за борт. Филимоновой удалось шваркнуть по крылу одной пернатой твари, другая почти ухватила ее за волосы перепончатой лапой.

Птицы поднялись, покружились и снова спикировали. На этот раз Филимонова не размахивала веслом, а выжидала. Первую тварь она очень удачно сбила, смачно перетянув ее поперек корпуса. Та, каркая, грохнулась в воду, но тут же оправившись, взлетела, обдав Филимонову водой. Второй птице удалось полоснуть ее по плечу. Боли не было, кровь, брызнув, разукрасила красным горохом дно лодки. Вид крови не испугал, лишь разъярил Филимонову. Оскалившись, она что-то рявкнула. Щеки ее пылали, волосы медной копной стояли дыбом, глаза горели, и черт был ей не брат.

Пернатая сволочь оказалась сообразительной — они изменили тактику. Теперь птицы не пикировали, падая камнем, а стали нападать одновременно с разных сторон.

Филимонова крутила веслом над головой. Птицы хлопали крыльями, пронзительно вереща и щеря желтые клювы, метались по кругу. Все было хорошо, оборона работала, но Филимонова поняла, что так она долго не протянет. Руки наливались свинцом, немея с каждой секундой. Сердце колотилось, в голове ухало. Глаза заливал едкий пот, солнце вспыхивало то сверху, то сбоку. Она оступилась и, зацепившись за лавку, грохнулась в воду. Падая, Филимонова увидела, как хищники взмыли вверх, готовясь к финальной атаке. Отплевываясь от воды, она пожалела, что на ней жилет, утонуть сейчас было бы явно предпочтительней. Совсем рядом мелькнули испуганные глаза Яна. Филимонова тоже ухватилась за борт. Птицы, набрав высоту, неспешно кружили.

Филимонова прикинула, успеет ли она забраться в лодку. Вряд ли. Тут ее осенило:

— Вверх дном! Лодку переворачивай!

Вдвоем они навалились на борт, и плоскодонка легко перевернулась. Поднырнув, они оказались в гулкой темноте. Какое-то время ничего не было слышно кроме их собственного фырканья и сопенья.

— Может, улетели? — отчего-то шепотом спросила Филимонова. Ян мрачно помотал головой. И тут сверху обрушился ад. Грохот, злобный клекот, скрежет, хлопанье, дробный стук. Стало жутко, как на чердаке в грозу, когда град и дождь сливаются с воем ветра, от грома приседает крыша и охают балки.

Лодку трясло, она вздрагивала от мощных ударов. Филимоновой показалось, что ей уже видны трещины, что еще миг и дно проклюнется и вспыхнет ярким решетом. А после треснет и развалится, как скорлупа трухлявого ореха. Она поймала руку мальчишки, сжала его запястье и закрыла глаза. Хотелось молиться, но она не знала, как и кому.

И вдруг все кончилось. Кончилось внезапно, вдруг. Так кончается июльский ливень. Они, ошалев от тишины, долго прислушивались, потом Ян предпринял вылазку. Вынырнул, мотая головой, улыбнулся и выставил вверх большой палец.

17

Филимонова проснулась с ощущением предвкушения счастья. Неясным и неуловимым, как в детстве, что бывает накануне дня рождения, в ожидании подарков, гостей, веселья. Особенно, если отмечали на даче, на открытой веранде. Родилась она в самом конце мая, Филимонова-старшая, высокая и

красивая, по-докторски обстоятельная, произнося тост, непременно шутливо добавляла: «Эх, Анютка, не доносила я тебя самую тютельку, будешь теперь всю жизнь маяться».

«Всего-то денек...» — не открывая глаз, улыбалась Филимонова, пытаясь удержать разбегающиеся пестрые блики. Уже не вспомнить, что снилось, — все растаяло, осталось лишь щекотное нетерпение и сладкое томление в ожидании надвигающейся радости.

Постепенно и это чувство выветрилось, и Филимонова о нем забыла. К полудню утренний ветерок ослаб, а после выдохся вовсе. Стало душно.

Филимонова стянула жилет, сунула его под лавку. Чуть посомневавшись, она сняла и блузку. Поправила бретельки на лифчике. Будем считать, что это купальник, решила она, косясь на Яна. Парнишка до этого лениво рыбачил с кормы, таскал мелочь — красноперых плотвиц. Теперь он приклеился взглядом к филимоновскому лифчику. Чувствуя, как разгораются ее уши, она хотела было одеться, потом плюнула — чего уж теперь-то. Осипшим голосом ласково предложила:

— Хорошо б таранки насушить, как ты считаешь?

Ян шмыгнул и не моргая кивнул.

— За поплавком следи.

Ян, не отводя взгляда от ее груди, кивнул опять.

Филимонова шлепнула веслом, окатив Яна брызгами.

— Юноша! — скомандовала она. — Рыба — там!

Филимонова уже не гребла, бросив весла, откинулась назад. Вязкая духота дурманила, от пота было гадко и липко. Казалось, все вокруг замерло, остановилось. Вода стала тусклой, словно подернулась жирной пленкой. Если бы не хвойные верхушки, ползущие в отдалении, можно подумать, что и течения нет. Редкие облака незаметно побледнели и растворились, придав вялой синеве мутный меловой оттенок.

Мальчишку сморило, он спал в неудобной позе, вывернув вбок ноги и подложив под голову спасательный круг. Филимонова сама клевала носом, то и дело проваливаясь в дрему. Просыпалась, вздрагивая, с недоумением таращила глаза. Надо прилечь, подумала она, голова гудит — сил нет. Раскачивая лодку, неуклюже перебралась на нос.

Горизонт на западе как-то странно уплотнился, там появилась отчетливая полоса. Филимонова протерла глаза: сквозь марево она совершенно отчетливо видела, как над полосой поднимается размытый горячим воздухом столб дыма.

— Господи... — прошептала Филимонова, — земля...

Полоса приближалась, наливалась цветом, разворачивалась. В зыбкой фиолетовой дали Филимонова различила туманные отроги, обрывы, клубящиеся кроны деревьев. Угадывались хребты, сияли снежные склоны, пронзенные стремительными пиками и крутолобыми вершинами.

— Татры... — проговорила чуть слышно Филимонова, — а может, Альпы?

В скользящих струях тумана она уже разглядела дороги, что стягивали серпантином дремучие утесы.

У нее потекли слезы. Все сразу расплылось, но она ухитрилась разглядеть горбатый мосток над ущельем, а ниже остроконечные крыши деревни в тенистой долине. Ей казалось, что она видела их так ясно, что запросто могла бы угадать даже названия улочек и площадей, могла бы сказать, который час на часах

деревенской ратуши — без пяти пять — и какого цвета парик на голове у важного дорфмайстера.

— Господи... — снова прошептала Филимонова и вдруг заорала во все горло: — Земля! Земля!!

Прижимая к груди очумевшего спросонья Яна, она задыхалась, рыдая и смеясь одновременно.

— Гляди, там люди! Видишь? — кричала она, тыча рукой вдаль.

Там и вправду мерцали туманные огни, зажигались, моргали и гасли. Филимонова была уверена, что это отсветы поисковых прожекторов, маяков, факелов. Ведь жители уже заметили их лодку и всей деревней, высыпав к воде, подают сигналы.

Внутри у нее все ходуном ходило. Всхлипывая и громко икая, ей почти весело подумалось — вот ведь будет умора именно сейчас умереть от какого-нибудь паршивого инфаркта миокарда. Она сгребла Яна в охапку, уткнулась ему в макушку и заревела.

Ян мычал и пытался вырваться.

Вдруг воздух неуловимо качнулся, будто гигантская волна мягко прошла от горизонта до горизонта. Едва колыхание погасло, возник низкий утробный рокот, словно наверху катали концертный рояль по старому сухому паркету.

— Это что? — прошептала Филимонова, крутя головой. — Что это?

Ян возбужденно размахивал перед ее лицом руками, яростно мычал.

Филимонова медленно повернулась на запад — от ее земли не осталось и следа. Не было никакой альпийской деревни с горбатым мостом, не было отрогов, хребтов, сумрачных долин, не было ничего, кроме зловеще набухающей, черной бури. Буря неотвратимо ползла на восток, прямо на них, змеясь червями смерчей вдоль горизонта, наливаясь и ворочаясь клубами жирного паровозного дыма. Чернота была пропитана электричеством, внутри туч искрило, разряды пронзали всю толщу сверху донизу, пульсируя и затухая.

Подул ветер, неожиданно пахнуло арбузом. Чернильный край быстро наползал на синее, полнеба уже затянуло густым курящимся адом. Чернота надвигалась и по воде. Четко прочерченная граница неслась навстречу лодке, таща за собой шлейф черноты и затягивая, словно шторой, светлую гладь. Еще миг — и небо потухло.

Грохнуло — мощно, с треском и пушечным оттягом. Тут же, распоров небо сверху вниз, в горизонт жахнула шипящая молния. Налетел порыв ветра, рванул волосы. Филимонова, запахнув блузку, впопыхах натягивала спасательный жилет. Орала: «Круг! Надень круг, кому говорят!» Бледный Ян послушно влез в круг.

Ветер швырял косые струи то ли дождя, то ли брызг. Филимонова, неуклюже зарывая весла, пыталась встать кормой к волне. Ничего не получалось, лодку швыряло, волны мельтешили вразнобой, то и дело перехлестывая через борт.

«Мамочка, мы ведь тонем!» — мелькнула мысль, по дну плескалось воды уже по щиколотку. Оказывается, Ян заметил это еще раньше и теперь со злым упорством вычерпывал воду консервной банкой. Громоздкий спасательный круг мешал ему.

— Не смей! — прорычала Филимонова, но было поздно, Ян рывком стянул его с себя и бросил на корму. Подоспевшая тут же волна, поставила круг колесом

и, ловко подбросив, смахнула за борт. Бело-рыжий бок вынырнул неожиданно далеко, мелькнул в серой круговерти и исчез.

Полыхнула молния, за ней другая, тут же прямо над головой так ухнуло, что заложило уши. Звук словно выключили, все вокруг стало ватным, лишь в голове весело зазвенело. Мелькнуло лицо Яна с безумно круглыми глазами, отчего-то сверху, словно он подпрыгнул. Лодка вздыбилась, водяное месиво оказалось за спиной, Филимонова схватилась за весла, но те выскользнули из уключин. Она неудержимо заваливалась назад. Мелькнула рука с растопыренной пятерней и тут же исчезла.

Ядовито-лимонная молния вспыхнула снизу. Филимонова увидела свою босую ногу, удивилась и ушла с головой под воду. Она вынырнула, хватая ртом воздух. В это мгновение новая волна хлестнула по лицу. Следующая, оглушив, накрыла ее с головой.

«Утонуть в спасательном жилете...» — подумала она. Голова кружилась, ее мутило. «Иронично», — повторял кто-то на все лады. Филимонова хотела грести, но ощутила внезапно такую слабость, что лишь безвольно развела руки в стороны. Ее охватила смертельная усталость, тело налилось тяжестью. Волна подбросила ее, Филимонова приоткрыла глаза и увидела пляшущую вдали лодку. Яна там не было.

«Ну вот и все», — с ленивым облегчением подумала она, проваливаясь в вязкую, но бесконечно блаженную истому.

18

Хворый обмылок луны завернули в сизую вату, клочья этой ваты валялись по всему небу. «Как неопрятно, — сонно осудила Филимонова, — вот ведь неряхи, кто ж так луну упаковывает?» Сквозь темные прорехи в вате моргали слепенькие звезды. Такие тусклые, даже отразиться в воде не было сил, а вот от луны по волнам струилась сияющая гармошка. В пыльном свете лунного отражения Филимонова мерно качалась, течение неспешно влекло ее неведомо куда.

Сознание ее блуждало по кромке бреда, иногда она проваливалась в пустоту. Если б могла, она бы там и осталась. Насовсем. Но голова вдруг начинала гореть, сжатая мучительно-тесным панцирем грудная клетка пылала, нечем было дышать, и Филимонова против воли открывала глаза. Снова малохольная луна уныло качалась, и казалось, что конца этому уже не будет никогда.

Она пыталась ослабить ремни жилета, но пальцы лишь беспомощно ковыряли мокрый брезент. У нее жар, это определенно, но сил не было даже коснуться лба. Еще она пыталась что-то вспомнить, что-то важное. Что-то неуловимо проскользнуло, она даже почти разглядела. Почти... Филимонова закрыла глаза. И снова запрыгали молнии, горбатые волны, пустая лодка. И слишком много воды.

Кто-то бесцельно стучал по железной бочке. Звук, сперва едва различимый, после начал раздражать. Теперь сводил с ума. Концепция ада повернулась новой, необычной гранью, Филимонова замычала. Сквозь веки разглядела косой парус, он острым углом царапал луну. Бесшумно проплыли большая труба и длинный корпус корабля. Будто в тире — черная жестянка, битая мишень. «Под яблочко баржу бери, — шептал Эдвард, словно боясь вспугнуть, наваливаясь и вжимая ее

ладони в приклад винтовки. — Нежно...» «Ну уж, нежно», — шептала Филимонова в ответ и спускала курок. Нежно. От его рук пахло табаком и лесной земляникой, а щетина щекотно царапала ухо.

И тут она вспомнила.

Настал апрель, и всем вдруг стало наплевать на прически. Тем днем Филимонова пришла поздно. Пока проснулась, понежилась, после долго пила кофе и красила ногти, на улице два маляра в пестрых комбинезонах серьезно курили, разглядывая свежеоштукатуренный фасад. Она постояла с ними, прислонясь к липе. От дыма приятно поплыла голова, за стеклом возник Гунар Соломонович в старомодных, круглых, как велосипед, очках. Она улыбнулась, а он, еще сильней выпучив глаза, спрятался в тень. Похож на рака, смешной, — подумала Филимонова, хлопая дверью, вдыхая резкую свежесть «Шипра». Гунар Соломонович был хранителем традиций: после стрижки непременно освежал бритые затылки мальчишек, стариков и мужчин среднего возраста исключительно «Шипром». Все мужское население Кронцпилса благоухало этим одеколоном. Была, правда, еще одна парикмахерская на вокзале, где не освежали, но там мастером был некто Шпак, которого Гунар Соломонович презрительно называл гоем и в конкурентах не числил.

Филимонова, стремительная и красивая, прошла сквозь косой сноп солнца — волосы вспыхнули медью, — бросила сумку и, уже натягивая халат, заметила Гунара Соломоновича. Тот настороженной совой выглянул из темноты подсобки. Стоял и мял ладони, словно хотел переломать пальцы.

Она медленно подошла (если делать аккуратно, то может, можно что-то поправить — мелькнула мысль), Гунар Соломонович приоткрыл рот, морщась как от боли, Филимонова вцепилась ему в лацканы и зашептала: «Нет, нет, нет!», не давая говорить. Но все равно услышала «мокрое шоссе», а после, сквозь всхлипы и вой, «тридцать второй километр», будто это имело хоть какое-то значение.

В пятку что-то мягко ткнулось, Филимонова лениво поджала ногу. В онемевший мозг хлынули акульи страсти, про перекушенных пополам купальщиков, про страшные рваные раны и хищные зубы. Газетные фото жертв, руки, ноги — крупный план: дрянная печать и серая бумага делали их раны еще кошмарней. Как в книжке «Судебная медицина», что тайком от матери она таскала в школу и показывала по секрету подружкам в физкультурной раздевалке. Труп утопленника-самоубийцы, обмотавшего себя цепью и выловленного через три недели, — фото на странице двести пятнадцать.

Тут в виски кто-то старательный начал вкручивать ржавые болты, от боли хотелось кричать, но не было сил на крик, Филимонова лишь засипела, как пробитый мяч. «А может ли от жара лопнуть голова или разорваться сердце?» — злорадно спросила она у старательного. У меня такая температура, вода должна вокруг кипеть.

Снова появился силуэт баржи, теперь совсем рядом. Вот это громада! Это уже не тир. Тупой нос, чугунный якорь, морковная грязь ватерлинии. Черный борт угрюмо полз мимо. Проплыли смытые солнцем и бурями буквы. Упустила, не разобрать, — подумала Филимонова, вглядываясь в слепые иллюминаторы темных кают. — Даже если это и бред, отчего не попытаться? Терять мне, видит Бог, нечего.

И она слабо и негромко стала звать на помощь.

19

На ржавом полу бледнели лунные квадраты.

«Или это уже рассвет?» — Филимонова лежала лицом вниз и уткнув подбородок в железный край койки. Одна рука неудобно вывернулась, другая свесилась плетью. Пальцы касались ледяного пола. Пол состоял из железных листов с крупными выпуклыми заклепками. Некогда он был покрашен серым флотским маслом, сейчас от краски остались одинокие островки с обглоданными берегами, остальное съела ржа.

Филимонова разглядывала эту географию, шея и спина тупо ныли, но пошевелиться не было сил.

Глаза постепенно привыкали ко мраку. Из темноты выступили неясные очертания, после, утратив таинственность, они оформились в банальную рухлядь.

В углу были свалены мебель и домашний хлам: торчали гнутые лапы массивного стола, какие-то золоченые багеты, упирались в потолок ковровые рулоны и шишковатые пики карнизов. Словно корона, мерцала тусклой бронзой рогатая люстра. На полу поблескивало битое стекло и чернела засохшая лужа какой-то гадости.

Из угла воняло старьем, тянуло прокисшими окурками и аммиаком. Оттуда доносился едва различимый звук, что-то почти бесшумно там копошилось и царапалось.

А снаружи кто-то пел. Детский голос выводил полузнакомую мелодию, что-то вроде «Аве Мария». Красиво и жалобно. Потом раздался смех, потом стало тихо. В углу по-прежнему еле слышно шуршали, будто тайком кушали ириски.

«Знаем-знаем, кто там, — подумала Филимонова, брезгливо убирая руку с пола, — знаем...» И охнув, перевернулась на спину.

В потолке мутно светилось квадратное окно, скорее люк, забранный в крупную решетку. По стенам сползали трубы разного калибра и толстые жгуты проводов в черной обмотке. Переплетаясь и путаясь, они терялись в сумрачных углах и в кучах сваленного хлама. Рядом с железной проклепанной дверью стоял табурет, на нем антикварный глобус на бронзовой ноге. К северному полюсу прилипла перевернутая вверх дном розетка для варенья, само варенье засохло черными потеками, достигающими экватора.

«Смородина, похоже, — решила Филимонова, разглядев в черноте горошины ягод, — да, что и говорить, глобус, безусловно, устарел».

Снаружи снова запели, теперь громче. Густой баритон накручивал кавказские рулады. Филимонова узнала мелодию. Это была одна из тех удалых песен, что транслировали по вагонам при подъезде к Москве в поездах дальнего следования.

Филимонова закрыла глаза: пассажиры, толкаясь тюками, фибровыми чемоданами и коробками с фиолетовыми кляксами по углам от протекшей «Лидии», хрустя корзинами с румяными фруктами, источающими медово-дынный аромат, уже выдавливались в коридор и тамбур, лезли головами в раскрытые до упора окна, щурясь от ветра и сажи, силились ухватить глазами кометы букв пригородных перронов, а вдали проступали, плавясь в столичном смоге, островерхие башни высоток.

В памяти всплыли веселый перестук, пружинистость пола, мерное покачиванье, отдаленные гудки большой станции, уханье и лязг, тарабарское эхо вокзального репродуктора, а главное, ожидание чего-то веселого и радостного. Филимонова улыбнулась и задремала.

20

Она проснулась от громкого шарканья. Что-то по-медицински тонко звякнуло (острая сталь, хром, стекло), кто-то выматерился, лениво и с кавказским благодушием. Филимонова узнала акцент и голос — певец.

Разлепив веки, она увидела широкую темную спину и жирную складку затылка. Пыхтенье продолжалось, что-там у кавказца не клеилось, а когда он повернулся, то Филимонова вздрогнула — первое, что она увидела, был шприц. Маленький, игрушечный шприц. Мелькнула мысль: шприц нормальный, это он просто велик, вон — лапища какая.

— Витаминчик. Зачем пугаешься? Витаминчик А, еще Бэ и Цэ. Плюс чуть-чуть успокаивающего. Диазепамчик. Очень шикарный коктейль. Для нормализации вегетативных нарушений. Ну? — кавказец оказался огромен, красногуб и по-детски голубоглаз.

На нем был засаленный до блеска то ли камзол, то ли мундир, с золотыми шнурами и эполетами, без пуговиц, они были вырваны с мясом, да и вряд ли застегнулись бы — кавказец перерос свою тужурку размера на три.

— Ну? — повторил он и растянул губы в мокрой улыбке, поигрывая шприцем. — Ну же!

Вопреки устрашающим размерам, рука оказалось достаточно легкой. Филимонова, для порядка ойкнув, перевернулась с живота на спину, запахивая бесконечную полу линялого халата.

— Вот так...Теперь мы чуть-чуть поспим, — промурлыкал кавказец, шаркая и собирая звонкие инструменты. Словно вспомнив что-то, повернулся и спросил:

— А вы случайно не артистка, нет?

Филимонова засмеялась, хотела сострить, но язык потешно заплелся и выдал какой-то французский звук. Артистка... В голову нежно вкатилось чугунное ядро и, напрочь заслонив свет, утянуло Филимонову в ватную темень.

Тут же, расправив худые плечи, восстал из тьмы Олег Викентьич, главреж школьного драмкружка. Кадыкастый и бледный, с беспокойными руками, вечно стылыми, которыми он невзначай трогал ее коленку, уламывая взять роль Тома Кенти. После выяснилось, что ей придется играть обе роли, а в сценах, где двойники появлялись вместе, принцем рядили придурка Головятенко из восьмого «А», а ему даже и слов не нужно было учить, лишь в начале две реплики, да в конце: «Виват, да здравствует король!»

Викентьич раздобыл настоящий реквизит и костюмы, декорации рисовал Ашот, его приятель-художник из кинотеатра «Авангард». Особенно удались трущобы. В «Комсомолке» появилась статья и серое фото, на котором можно было разобрать, как на почти настоящем троне сидит, поджав под себя ноги, голенастая Филимонова (восьмой «Б» класс) с Великой печатью королевства в руке и колет ею орехи. Орехи, кстати, были настоящие, фундук.

Короче, это был триумф, и это было чертовски приятно.

Дальше вспоминать было скучно и стыдно: уже начались каникулы, стояла убийственная жара, а у него пальцы были, как из морозилки. И несло жареной рыбой. Торопливая возня на шишкастом диване оказалось совсем не похожа ни на томные рассказы Мопассана, ни на жгучие истории дачной оторвы Ирки

Соломатиной, что учила Филимонову курить взатяжку и целоваться, как Милен Демонжо — взасос.

Магический свет рампы оказался банальным электричеством, а корона при ближайшем рассмотрении была всего лишь кустарной поделкой из папье-маше, выкрашенной бронзовой краской и обклеенной по кругу разноцветными пуговицами.

21

— Вот именно! Какой вы, к чертовой матери, старший санитар! Моя правая рука... Да мне такую руку хочется отсечь и выбросить к свиньям! Ист дас клар, херр Чантурия? — с силой повторила докторша, напирая на кавказца. — А вы, дорогуша, проходите, проходите. Присядьте вон там, — неожиданно мило обратилась она к Филимоновой и, улыбнувшись, кивнула в сторону кресла.

Докторша была миниатюрной блондинкой, невероятно чистой, с розовым, словно до скрипа вымытым, лицом и быстрыми серыми глазами. Бесцветные волосы были стянуты в тугую дулю на остреньком затылке, а халат, с крахмальными заломами острых складок, казалось, нежно похрустывает, как снег на морозце.

Филимонова, подобрав безразмерный подол в кулак, боком протиснулась между дверью и тушей старшего санитара, тихо опустилась в кресло. Сложила руки на коленях.

— И оставьте в покое вашу бородавку! Смотреть противно... — брезгливо добавила докторша.

Старший санитар молчал и обильно потел. На нем был тот же сальный камзол на голое тело и цветастые шаровары. На груди, из жесткой седеющей шерсти, торчала фиолетовая, размером с виноградину, бородавка, которую Чантурия вдохновенно теребил. Старший санитар вздрогнул и вытянул руки по швам.

— Фрау Ульрика, — раздался детский голос (Филимонова оглянулась, в углу на корточках сидела, нахохлившись, девчушка лет одиннадцати и что-то старательно чирикала на разложенных по полу листах), — а давайте эту бородавку отрежем и заставим Каху ее съесть? Чтоб знал! Давайте?

Докторша рассмеялась, Чантурия испуганно осклабился, а девчушка, прихрамывая, подошла к великану-кавказцу и ткнула его карандашом в грудь.

— Ист дас клар, херр Чантурия? Чик-чик!

И она быстро помахала карандашом, как скальпелем.

Санитар безнадежно оскалился, кусая жирные губы. Докторша наконец улыбнулась. Не глядя на него, бросила:

— В последний раз. Это ясно?

— Все будет в лучшем виде, фрау Вагнер, клянусь. Честью клянусь, фрау Вагнер.

— Ступайте, Чантурия, — докторша махнула ленивой рукой, — и вымойтесь наконец... Воды что ли нет?

Старший санитар, кланяясь и пыхтя, задом выпятился в коридор. Он бережно притворял железную дверь, когда девчонка звонко крикнула: «Чик-чик!» и засмеялась. Прихрамывая, она подошла к Филимоновой.

От пристального взгляда Филимоновой стало не по себе. Голова кружилась, — это от кавказских витаминчиков, подумала она и слабо улыбнулась девчонке. Та, приоткрыв рот, постучала обкусанным карандашом по верхним зубам. Долго разглядывала Филимонову, потом отвернулась, проковыляла в свой угол. Устроившись на полу, продолжила рисование.

22

— Прошу великодушно простить наши дискуссии, сами видите, какой персонал, — докторша чуть усмехнулась. — Хотя, при всей своей нечистоплотности и кавкзской безалаберности, Каха Чантурия просто незаменим. Да и как специалисту ему цены нет. Не поверите — прекрасный медработник.

— Верю. Он мне укол сделал. Прекрасно... — осторожно согласилась Филимонова.

— Ну вот видите! Именно прекрасно! — воодушевленно воскликнула докторша. — И давайте знакомиться. Главврач Ульрика Вагнер.

И она выставила маленькую острую ладонь.

Филимонова пожала, представилась, уловив сладкий запах детского мыла. Земляничного.

— Хотя, безусловно, вы правы, — понизив голос, произнесла фрау Вагнер. Филимонова не проронила ни слова и ожидала, с чем это докторша решила согласиться.

— Каха — животное, грязная скотина. И почему уцелел именно он, а не, допустим, Круминьш? Или Муромцева, Татьяна Харитоновна? Вот уж врач божьей милостью, на ней вся моя психотерапия держалась! Или Гинзбург? Вы знаете, как он играл Шопена?

Она застыла, повернулась в профиль:

— У него незаконченная консерватория, бросил, ушел в медицину, представляете? Подвижник, народоволец, вундеркинд! Что мне особенно нравилось? Там еще в середине такой быстрый кусок... та-ра-ра-та-та... не помнишь, Велта? — фрау Ульрика спросила хромоножку.

— Ноктюрн до-диез, — ответила девочка, не отрываясь от рисования.

— До диез... — повторила фрау Ульрика, — видите. А тут эта скотина... — брезгливо закончила она. Капризно дернув плечом, подошла к письменному столу. Пошарив в ящике, достала сигарету и закурила.

«Вот это жизнь, даже курево есть!» — восхитилась Филимонова, разглядывая когтистые лапы письменного стола, похожего на музейный саркофаг, с резной путаницей полированных лилий и мордатых роз по верхней раме столешницы, с уродливыми карлами, выглядывающими из-под виноградных листьев, и рыцарями в островерхих шлемах, очевидно, спешащими выручать своих красавиц принцесс. Пол покрывал большой ковер, мрачноватый на филимоновский взгляд — хищные малиновые цветы по угольному полю охотились за апельсиновыми пауками.

«А может, это просто узор, а пауки у меня в голове? — до Филимоновой доплыл приторный сигаретный дымок. — Как жженый сахар, петушки на палочке». Она их застала, липкие, кустарные, ядовито-алого цвета, торговали ими бойкие бабы с отменно грязными руками и визгливыми голосами.

— Вот видите, — фрау Ульрика затянулась и чему-то усмехнулась, — ноктюрн до-диез.

Хромоножка тем временем поднялась. По-девчоночьи кривляясь, подошла к столу и молча протянула докторше рисунок. Уткнула подбородок в грудь и уставилась на нее исподлобья, ковыряя носком сандалии ковер.

— О-о! — восторженно пропела фрау Ульрика. — Да это же Каха!

Девочка хмуро кивнула.

— Похож, шмутциг швайн... а это — сэр Вильям, да?

Хромоножка чуть улыбнулась и снова кивнула.

— Так! А этот, ушастый, — Озолс, точно? Так... это я думаю, Рубенис, да?

Девочка вытянув шею, заглянула в листок и буркнула:

— Дубицкас...

— А-а... Да, да, верно, лысый и ноги колесом... А это кто?

Девочка, не глядя, хмуро кивнула в сторону Филимоновой.

Фрау Ульрика, довольно качая головой, опустила ладонь на макушку художницы, ласково провела по жидким, стянутым в две тощие косицы волосам. Протянула рисунок Филимоновой.

Филимонова сразу узнала себя по накрученным оранжевым каракулям вокруг головы. Пятнистый Каха напоминал леопарда, у кого-то были гигантские уши, Озолс, кажется, — в целом это было вполне стандартный детский рисунок, увы, без особых признаков божьего дара.

Узнала она и фрау доктора по дуле на голове и по паровозной трубе сигареты, отчего-то врачиха-пигалица оказалась раза в два выше всех остальных. Себя хромоножка поместила рядом с фрау.

Необычным в рисунке было то, что все персонажи, за исключением фрау Ульрики и самой художницы, были обезглавлены. Вернее головы были, но персонажи держали их в руках, как капустные кочаны. Из жутких ран хлестали во все стороны фонтаны малиновой крови. Хромоножка так усердно трудилась красным карандашом, что бумага кое-где была порвана насквозь.

23

— Нас утро-о встречает пра-ахладой, вай-вай,

Нас ветром, па-анимаешь, встречает река-а... — переливчато мурлыкал Каха, шаркая и теряя тапки, он пролез в дверь филимоновской каюты. — Кудрявая, что ж ты не рада, а? Я тебе завтрак, вай-вай, прине-ес.

Зацепился подносом и чуть не грохнул все на пол. Филимонова только проснулась. Зевая, потягивалась, свесив ноги с койки. Каха, торжественно сопя, водрузил поднос на тумбочку. Уставился на Филимонову.

Она взглянула на поднос. На завтрак была серая размазня в миске и что-то желтоватое в кружке.

— Овсянка, миледи. И кофе, — доложил кавказец, страшно довольный собой.

Каша по вкусу напоминала клейстер, в кофе превалировали рыбные ноты и запах ряски, но все равно Филимоновой казалось, что ничего вкуснее она не ела никогда в жизни.

Каха склонил голову набок и, уютно сложив ладони на брюхе, умильно сопел.

— А скажите, Каха... — прихлебывая рыбный кофе, начала Филимонова и запнулась — у нее была дюжина вопросов, она не знала, с чего начать. И неожиданно для себя самой она спросила:

— А вы — грузин?

Заботливый медбрат мигом превратился в гордого джигита с орлиным взором. Во взоре этом тут же вздыбились горные утесы, над ними в синеве уже парили беркуты, в туманных ущельях клубился угрюмый туман, чуть дальше ревели водопады, а сквозь их шум резво доносилась лезгинка, долетали обрывки тостов, звон кинжалов, украшенных серебром, а если принюхаться, то можно

было даже уловить нежный аромат жарящегося на углях барашка и, кажется, кинзы.

— Чантурия — древнейший род в Джавахетии! — воскликнул Каха, акцент выпятился, а толстый палец, описав вензель, уперся в потолок. — От Мингечаури до Риони любого спроси, любая собака знает Чантурия, ну! При Ираклии Втором сражались с персами, Крцаныссская битва, знаешь? А Илья Чавчавадзе в Цицамури, помнишь?

Каха пучил глаза и наливался помидорным лоском. Тут в приоткрытую дверь просунулась бледная мордочка хромоножки Велты, она бесшумно проскользнула, тихо доковыляв, притаилась за его спиной. Скрестив руки на груди, скорчила рожицу, хитро щурясь и кивая.

— Ага! Попался, боржоми-цинандали-гамарджоба... — угрожающе проговорила хромоножка, надвигаясь тощим тельцем на кавказца, — опять бахвалишься, жирный швайн?

Каха замолк на полуслове, поник, словно сдувшись, уменьшился вдвое:

— Велточка, деточка, — подобострастным фальцетом пропел он и, пыхтя, склонился к девочке, — зачем швайн, я ведь только...

Она оттолкнула его лицо ладошкой, брезгливо скривилась:

— Фу-у, вонючий! Тебе фрау Ульрика сказала помыться? Ах ты, жирный-жирный, как поезд пассажирный! Проваливай, пока цел. Ну!

И она гулко топнула маленькой сандалеткой по железному полу. Кривляясь, затараторила вслед толстяку:

— Жирная бочка, родила сыночка, а сыночек без ушей, хоть завязочки пришей!

Филимонова, сидя на койке, с интересом разглядывала свои ногти. Девочка медленно прошлась взад и вперед. Остановилась перед ней, уперев кулачки в тощие бока.

— Так и будешь сидеть тут? — спросила мрачно. — Пошли ко мне. Коллекцию смотреть будем.

Железный пол холодил пятки. Филимонова, теряя шепелявые больничные тапки и прихватив в горсть халат, кособоко шаркала за хромоножкой по темному коридору. Потолок с пустыми сетками для ламп, клепаные двери, все сплошь было выкрашено в тот же мышиный цвет.

Девочка неожиданно остановилась. Повернувшись, спросила:

— А жирный швайн сказал тебе, за что его вчера ругала фрау Ульрика?

Филимонова ответила, что нет.

Девочка хмыкнула и заковыляла дальше, бросив через плечо:

— Брата моего утопил, жиртрест. Когда рыбу ловили.

Филимонова растерялась. Ей следовало выразить сочувствие, что-то сказать на худой конец. Но тон хромоножки, безразличный, даже с нотой гадливости, сбил Филимонову с толку. Она, сокрушенно всплеснув руками, покачала головой. Девочка шагала не оборачиваясь, поэтому мимическая часть соболезнований пропала даром.

Каюта оказалась большой и светлой. Не то что Филимоновская кладовка.

— Это вот пятка с трофической язвой, смотри какая отличненькая! — девочка тянула побледневшую Филимонову к полке с янтарными банками. В них неясно белели, искаженные стеклом и мутноватым раствором, анатомические препараты.

«Меня сейчас вырвет», — спокойно подумала Филимонова, глядя мимо банки с больной пяткой и упираясь взглядом в заспиртованную печень.

— А вот, смотри, вросший ноготь! Прима, да! Тут вот язык...

Филимонова, уткнув подбородок в грудь, кивнула. Завтрак подступал к горлу... нет, нет, не думать, не смотреть, вот ведь мерзость... точно, сейчас вырвет... Филимонова сглотнула. Во рту пересохло, она хмыкала, кивала, стараясь не дышать, ей чудилось, что от всей этой мерзости разит мертвечиной. И что именно сейчас ее и вырвет.

— Ну это зародыш, это не интересно. Вот — гляди! Вот это вещь! Супер, да? Я тоже буду врачом, когда вырасту. Как фрау Ульрика.

Снаружи кто-то заорал, крик перешел в визг. Потом истошно зазвенел корабельный колокол. Сверху послышался топот, гулко грохнула дверь, где-то рядом взревел Каха, зычно матерясь.

— Погнали наверх! Дай мне руку, — хромоножка цепко ухватила филимоновскую руку. — Ну, давай, шевелись! Как неживая!

Коготки больно впились в ладонь. Они выскочили в коридор, добежали до поворота и, вскарабкавшись по крутой лестнице, очутились под открытым небом.

Солнце ослепило, Филимонова зажмурилась. Какой же свежий воздух, подумала она, жадно вдыхая ртом, чувствуя, как плывет голова, палуба, небо. Ноги обмякли, ей захотелось сесть, лечь, заснуть, умереть, но маленькая чертовка, больно царапая ее ладонь, тянула Филимонову дальше. Они обогнули рубку, здесь Филимонова наконец потеряла тапки. Ну и черт с ними, беспечно подумала она, звонко зашлепав по палубе.

Палуба оказалась большой, огромной. Судно, очевидно, было паромом, Филимонова на таком плавала прошлым летом в Клайпеду.

Кавардак был в полном разгаре. Среди грузовиков, контейнеров, легковушек метались люди. Они галдели, орали, кто-то тявкал по-собачьи. Кто-то дурным голосом пел. Над этим гвалтом гремел могучий рык старшего санитара Кахи Чантурия. На капитанской рубке, сложив на груди руки, стояла флегматичная Ульрика Вагнер. Жаркий полуденный луч золотил ее тугие соломенные волосы.

Некто, тощий и наголо бритый, вертляво подскочив к Филимоновой, дьявольски расхохотался ей в лицо.

— Что за дурдом? — отпрянув, испуганно спросила она хромоножку.

— Психи. Рыбу ловят.

На рыбную ловлю это походило весьма отдаленно.

Филимонова заметила старичка с лицом мудрого дервиша из персидской сказки, тоже в линялой робе больнично-тюремного фасона (впрочем, такой же халат был и на ней самой), который не бегал, не орал, не размахивал руками, а пристально глядел на нее. На голове у старичка тюрбаном было накручено грязное полотенце. Он покорно сидел на корточках, вжавшись спиной в цистерну рыжего цвета с набитым по трафарету словом «Огнеопасно». Поймав филимоновский взгляд, он поправил тюрбан, кивнул и незаметно приложил указательный палец к губам, делая вид, что оглаживает седую бороденку.

— А это кто? — Филимонова кивнула в сторону дервиша.

— Где? А, этот... Штраус, музыкант чокнутый, воображает себя колдуном из Магриба. Айда на мостик к фрау Ульрике!

Они очутились на верхней площадке, у Филимоновой сразу закружилась голова от высоты, от бесконечной водной пустыни, лежащей вокруг. Стараясь справиться со слабостью, она ухватилась рукой за нагретый поручень и медленно обвела глазами горизонт. Там не было ровным счетом ничего. Лишь вода.

— Акула, — не поворачиваясь, бросила через плечо фрау Ульрика.

Хромоножка, просунув голову между прутьев, пронзительно завопила:

— Чантурия акулу поймал, акулу поймал! Чантурия акулу поймал!

«Что здесь творится? Куда я попала? — Филимонова наклонилась, пытаясь разобрать, что происходит внизу. — Какая к черту акула! Вода ведь пресная».

Столпотворение происходило у левого борта. Она увидела, как к толпе вдоль бортового ограждения, вдоль пустых шлюпочных кранов мчится разъяренный Чантурия, полуголый, в пестрых шароварах, гулко топоча босыми пятками и размахивая пожарным топором. Кавказец зычно взревел и толпа, отпрянув, испуганно расступилась. Тут Филимонова увидела трехметровую рыбину. Серая, со стальным отливом, она плясала по палубе, шлепая свинцовым хвостом. Рыба действительно походила на акулу.

Чантурия подскочил к ней. Присев на полусогнутых ногах и растопырившись, как краб, он ловко взмахнул топором, черное топорище на красном древке на миг замерло над головой и тут же с громким хряком вонзилось в рыбу. Толпа охнула и подалась ближе. Кавказец заорал: «Назад!» — и, проворно взмахнув топором, хряснул снова. И снова.

Рыба забилась в агонии. Третий удар отсек голову, но туловище продолжало скакать, брызгая кровью, Чантурия, поскользнувшись на красном, чуть не грохнулся, но удержался и, отбросив топор, подхватил обезглавленную тушу поперек. Рыба судорожно дергалась и извивалась, из раны хлестала ярко-алая кровь. Держа тушу, Чантурия издал звериный вопль. Толпа ликующе подхватила.

— Ну вот... Спасибо хоть никого не утопил на этот раз... Животное, — снисходительно улыбнулась фрау Ульрика. — Милости прошу на акулий суп, Анна Кирилловна.

Оглядев Филимонову, добавила:

— М-да... Велта, приодень нашу гостью. Ужинаем сегодня при свечах!

24

— Раскардаш страшный! Вот тут большие размеры, — бодро крикнула Велта, — а обувь в углу. Но там вообще черт ногу сломит.

В каюте действительно царил бардак. В нос шибануло нафталином и подмокшей шерстью. Помещение напоминало нечто среднее между складом универмага и кладовкой театра. Одежда валялась на полу, гроздьями свисала с крюков, болталась длинными рядами на стоячих вешалках. Среди невзрачной скуки драпа, крепдешина и унылого твида топорщились неожиданным золотом эполеты и аксельбанты, мерцали батистовые галуны, томно вздыхал страусиный плюмаж.

— Ну и ну... — прошептала Филимонова, — Париж, бомонд... Весенне-летняя коллекция две тысячи последнего года.

— Выбирай, не робей, — крикнула хромоножка, нахлобучивая бирюзовую треуголку с павлиньим пером, — зеркало только вот тютешное, не видно ни фига.

Филимонова пошла вдоль рядов. Выбирай, не робей, шептала она, трогая

ладонью шершавые рукава пальто, жакетов, пиджаков. Что это такое, растерянно думала Филимонова. Акула, Ульрика, грузин этот... Девочка с заспиртованной пяткой... Не робей...

Филимонова плелась, постепенно дурея от нафталина и запаха пыли. Поймала за рукав какой-то гусарский ментик, вытянула наружу. Лихие галуны и аксельбанты играли золотом на малиновом сукне.

— Ну посудите сами, — обратилась она к ментику, — кисти, позументы, мишура — ведь этого просто не может быть!

Она бросила мундир на пол и пнула ногой.

— Реквизит театра! Из Пярну, имени Чюрлёниса театр, — откуда-то донесся голос хромоножки, — наверху еще один контейнер.

— Еще один контейнер у них... — пробормотала Филимонова, — наверху, понимаешь.

По палубе бесцеремонно прогуливались чайки. Нагло просовывая любопытные головы за брезент, тюкали глупыми клювами по радужным мыльным пузырям. Филимонова громко фыркала и, блаженно улыбаясь, подставляла голову под хилые струйки тепловатой воды, ожидая, что вода в баке вот-вот закончится, вопреки заверениям хромоножки. Пена скользила по ладным, загорелым ногам, от воды они были совсем темные, словно лакированные. Не так уж плохо для пятидесяти лет, довольно хмыкнула Филимонова и помахала Кахе, который, постукивая молотком, что-то чинил на капитанском мостике с самого начала ее купания. Кавказец уронил молоток на палубу и моментально испарился.

— Это ж какое блаженство! Даже с нафталином... Просто не верится — чистое, — довольно ворчала Филимонова, застегивая бронзовые пуговицы парадного доломана драгуна некой сказочной армии. С атласным подбоем, отороченный шнуром с тройной петлей, на рукаве — скрещенные сабли, в петлицах золотые подковки. Одернула полы, коротким щелчком сбила пушинку с эполета:

— Ну-с-с, га-аспада офицеры!

Из-за обшлага торчал белый уголок. Филимонова, подцепив ногтем, выудила сложенный листок, развернула. Полусмытый розовый карандаш. Квадратные буквы сложились в слова «папа я тебя люблю», обе «я» были зеркально перевернуты. Филимонова провела пальцем по буквам, сложила записку, осторожно убрала ее на место. Господи, что же с нами приключилось? Она закрыла глаза и прислонилась к контейнеру. Откуда-то пахнуло дегтем и еще чем-то горелым.

— Акулий супчик, — сипло пробормотала она, в горле застрял шершавый, горький ком.

25

— ...И тогда посмотрел старый аксакал на молодых джигитов, задумался и... умер. Так выпьем же этот бокал за ошибки нашей молодости!

Каха Чантурия влил в себя жидкость, по-лошадиному мотнул головой и крикнул:

— А смерть придет, помирать будем!

По случаю торжественного ужина он напялил батистовую размахайку макового цвета и был одновременно похож и на цыгана, и на его медведя.

Острый профиль фрау Ульрики со стальным зачесом и тугой дулей на затылке благосклонно кивнул. Улыбка тронула губы. На Ульрике был черный сюртук мужского покроя и строгое жабо, она напоминала английского жокея.

Вино оказалось забористым и сразу шибануло в голову. Филимонова безуспешно закрывала ладонью стакан, но Каха изловчился и снова налил до краев.

— Ведь что удивительно, фрау Вагнер, — грузин ловко откупоривал новую бутыль, — что сеть выдержала. Не порвалась, понимаете, да?

— Яп-п-понский кап-прон, — заикаясь, мрачно пробурчал диковатого вида латыш в тертой моряцкой тужурке, судя по-всему, не из костюмерной. Лицо у него было кирпичного цвета (и похоже той же фактуры — Филимоновой хотелось в этом удостовериться, потрогав пальцем терракотовые трещины морщин). Седая щетина и белесые латгальские глаза, коричневые клешни с синей татуировкой и изуродованным большим пальцем. Вылитый пират — Филимонова, подвыпив, тайком даже заглянула под стол в надежде увидеть там деревянный костыль, приторочeнный к культе. Увы, обе ноги морского волка оказались на месте и были легкомысленно обуты в китайские полукеды.

Хромоножка надменно поглядывала по сторонам, она вырядилась веронской синьоритой. Платье было великовато, и Филимонова заколола лишнюю материю булавками. Она же, распустив худосочные косы, накрутила девчонке фигу «как у фрау Ульрики», воткнув в пучок пару пластиковых незабудок.

Подали суп, здоровенный котел прикатил на сервировочной тележке красномордый повар. Каха, отодвинув его, сам принялся разливать суп по тарелкам, ловко орудуя гигантским половником. Повар виновато выглядывал из-за спины Кахи, поправляя колпак и часто моргая. Что-то мямлил про отсутствие мускатного ореха и базилика. Фрау Ульрика жестом велела повару присоединиться, кивнув на дальний край стола.

Акулья уха удалась на славу, выпили за повара.

Каха тут же налил снова, поднялся и начал бесконечную кавказскую бодягу.

Филимонова наклонилась к фрау Ульрике и тихо спросила:

— Откуда здесь акулы?

Ульрика удивленно взглянула на нее. Не ответив, повернулась к хромоножке и что-то сказала по-немецки. Велта коротко кивнула и, резво заковыляв, вышла из кают-компании.

— Где мы вообще находимся? У вас же есть приборы, карты. Рация... Надо связаться в людьми. Я слышала про американскую плавбазу... — Филимонова продолжала говорить вполголоса, но при этом страстным жестом обрубала фразы, ударяя ребром ладони по столу. — Вы посылали сигналы бедствия?

Фрау Ульрика внимательно слушала. Улыбнулась, чуть насмешливо подняла брови.

...— но гордый орел взвился над седой Курой, выше горных вершин, выше облаков даже, понимаешь, взвился... посмотрел оттуда вниз и сказал... — басил кавказец.

— Сигнал «sos» вы подавали? — повторила, наливаясь злобой, Филимонова.

— Не так все просто, — грустно усмехнулась Ульрика, — вы даже не догадываетесь...

От нее пахло лавандой. Филимонова замолчала, сжав губы, откинулась,

венский стул громко скрипнул. Она одним махом осушила стакан красной кислятины и, выудив здоровенный огурец из банки, стряхнула рассол на пол. Голова кружилась, Филимонова с хрустом откусила пол-огурца, отвернулась от Ульрики и зло принялась жевать.

Каха и подвыпивший повар, без колпака он оказался лыс, как коленка, уже терзали рояль на полукруглой эстраде в углу. Морской волк, потемнев лицом, стеклянным взглядом пялился в стену. Он задумчиво разгибал мельхиоровые зубы салатной вилки.

Фрау Ульрика, вытягивая губы (казалось, что она вот-вот выдаст соловьиную трель), беззвучно хлебала суп, отламывая коготками ломтики галеты, аккуратно поедала их.

Филимонова расстегнула воротник доломана, ей стало жарко от вина, горячего супа, от злости. Отвернувшись, она делала вид, что разглядывает на стене гравюры фрегатов и каравелл. Она узнала «Золотую лань» Френсиса Дрейка.

«Вот ведь сука!» — Филимонова ощутила почти неодолимое желание что-нибудь расколотить, — и, желательно, об эту немецкую башку. Влепить. Прямо по дуле. Бутылью...

В висках стучало, она сцепила руки под столом, стараясь успокоиться. Что я ей — девчонка? Пусть так со своими холуями разговаривает, сука немецкая.

«Нет-нет, так нельзя, — она понимала, что только накручивает себя, — так нельзя, нужно осторожно. Сделаем вид, что нам все равно... как там говорят — будьте выше этого. Вот, будем выше этого. Мы выше этого, фрау доктор».

На эстраде уже происходило форменное безобразие. Вконец захмелевший повар, запутавшись в малиновом занавесе с кистями, изображал оперную диву, выводя фальцетом какие-то тоскливые мелодии, иногда падал со сцены, но каждый раз умудрялся вскарабкаться обратно. Каха целовал его в лысую маковку, не прекращая при этом молотить по клавишам толстенными, как отборная морковь, пальцами. Он хищно щурился в зал и выкрикивал: «Асса!»

— Вы фехтовать умеете? — вдруг спросила Ульрика, повернувшись. — Я холодное оружие подразумеваю — шпаги, рапиры... Эспадрон... Эй, вы что там, надулись? Вы что, Филимонова, обиделись? Ну вот...

Ульрика боком подалась к Филимоновой и, улыбнувшись, сказала:

— Это вы зря. Я-то думала, что мы подружимся. Я так хотела, чтоб мы подружились...

Она зябко повела плечами и продолжила:

— Ведь если мы не подружимся, мне придется отдать вас Чантурии, — она грустно кивнула в сторону сцены, — да, именно ему. А когда вы наскучите Чантурии, он определит вас в лечебное отделение, к пациентам. Да, к пациентам.

Она сочувственно улыбнулась и добавила:

— А уж то, что от вас останется после, как водится, пустим на котлеты, — фрау Ульрика с искренним сожалением покачала головой и, взглянув Филимоновой в глаза, тихо сказала: — На мой взгляд, ваш единственный шанс уцелеть — это не наскучить мне. Потому что если вы наскучите мне, я отдам вас... Впрочем, я уже это говорила.

И она, печально кивая, закурила.

Филимонова уставилась на гравюру «Санта-Мария», два других судна экспедиции Колумба были представлены в той же раме, по бокам, «Нинья» —

справа, «Пинта» — слева. Или наоборот, Филимонова не была уверена. Она медленно повернулась, вплотную подалась к Ульрике.

— Что вы несете? — тихо, с набухающей угрозой, спросила она. — Какие к чертовой матери котлеты?

Фрау Ульрика вскинула брови. Потом расхохоталась, закашлялась. Отпила воды и, часто моргая покрасневшими глазами, сиплым голосом сказала:

— Да шучу я. Котлеты! У нас и мясорубки на кухне нет.

Распахнулась дверь, появилась хромоножка, бойко таща за собой давешнего старика в тюрбане.

— Ну наконец! Мы тут чуть не заснули с Анной Кирилловной! — провозгласила фрау Ульрика, подмигнув Филимоновой. Та старательно складывала бумажную салфетку веером, утюжа каждый сгиб ногтем.

Старик, путаясь в больничных шароварах, забрался на эстраду, Каха и повар тут уже ретировались обратно за стол. Хромоножка, придвинувшись, зашептала что-то Ульрике на ухо. Старик, прихватив кулаком пижамный рукав, начал стирать с клавиш красный соус. Рояль заблямкал, повар захихикал тонким голосом, но тут же осекся.

Старик сел и замер, задумчиво уставился на клавиши, словно что-то читая там. Из-за тюрбана он был похож на перезрелый гриб-дождевик, или, как у бабы Христи в деревне их называли, — «дедушкин табак», те, что пыхали бурой пыльцой, если по ним топнуть.

Старик осторожно опустил руки и заиграл.

С первым же аккордом произошла какая-то трансформация: Филимоновой показалась, что она соскальзывает в некую вневременную щель. В небытие. Туда же нежно сползла Ульрика со своей баржей. Незаметно исчезла в ней бескрайняя вода, исчез и неистребимый запах тины, пропала злоба и злая растерянность, от которой становишься лишь злее и злее.

Она плыла. Она закрыла глаза и подумала, что вот таким и должен быть рай, и если бы она, Филимонова, была бы богом, то непременно сотворила что-нибудь подобное. Причем для всех. Да, и для грешников, они-то как раз и мучаются при жизни больше других, а Бог должен быть добрым, как мать, и прощать, и снова прощать, и тысячу раз еще. Да и кто сказал, что Бог — не женщина, не мать, вот ведь какая нелепость, кто ж еще, если не мать? Ведь самое что ни на есть бабское дело — рожать, заботиться, оберегать... Разве нет?

Филимонова жмурилась и улыбалась. Плыла и нежно трогала разноцветные звуки: те крались льняной волной и вдруг, обернувшись жидким золотом, рассыпались искрами, оставляя на безупречно гладком песке диковинные ракушки, морские звезды и кусочки матового стекла — облизанные морем осколки тех бутылок, чьи адресаты так никогда и не получат своих писем.

Повис последний аккорд, растаял. Тишина, будто сделав вдох и замерев на мгновенье, взорвалась овацией, даже остекленевший боцман застучал терракотовыми клешнями.

Старичок поправил тюрбан и тут же заиграл снова. И снова Филимонова блаженно унеслась неведомо куда. После звонкий голос распорядился: «Маэстро, вальс!»

И снова хлынули и покатились большие, гладкие волны. Невозможно было уже усидеть, хотелось делать плавные жесты, соря многоцветьем розовых лепестков, и кружиться перед невидимым зеркалом, смеясь и закидывая назад

голову, рассыпаться юркими солнечными зайчиками. Каха подхватил повара, ноги того, не касаясь паркета, выписывали затейливые вензеля. Морской волк неожиданно ловко, с каким-то гусарским форсом, пригласил одинокий венский стул и, припав кирпичной скулой к лакированной тонкости изгиба, самозабвенно закружился, чуть слышно поскрипывая резиновыми подошвами полукед.

— Мадам! Тур вальса? — с прусской лихостью щелкнув каблуками, возникла фрау Ульрика. Тут же коротко, по-офицерски, кивнув, умело подхватила Филимонову, и они, словно угодив в смерч, закрутились и, набирая обороты уже против своей воли, вынеслись в центр зала. Мимо понеслись огни, словно кометы, оставляя пестрые хвосты. Гравюры на стенах сплелись в бесконечный флотский парад, кумачевая туша Кахи пролетала стремительным болидом, вспыхивала глазированной глиной там и сям счастливая рожа боцмана, унылой луной маячил вдали тюрбан пианиста.

Как проявляется фотоснимок, в памяти Филимоновой возникло совершенно забытое кино: черно-белые блики сквозь листву, упитанный маэстро с ефрейторскими усиками на козлах, пятнистые спины лошадей и лесные птицы, высвистывающие этот вальс. Тут же, словно прочитав ее мысли, Ульрика просвистела несколько тактов. А со сцены ей откликнулась хромоножка, стоя у рояля, она ангельским сопрано повторила тот же мотив.

26

Филимонова проснулась от нестерпимой жажды. Во рту застряло что-то шершавое, оказалось — язык. В памяти вспыхивали какие-то отрывочные картины, они прояснялись вместе с приливами головной боли. В дальнем углу мозга продолжал греметь рояль. Нещадно топали кованым сапогом и вопили «асса». Осколки воспоминаний складывались в мозаику, некоторые фрагменты реставрации не подлежали и были утрачены, к счастью, навсегда, но даже неполная картина бросила Филимонову в жар. Она застонав, замотала головой. Делать этого не следовало — лоб покрылся испариной, ее чуть не вырвало.

Она тихонько заскулила, пытаясь выпихнуть из памяти голубую жилку на виске Ульрики, когда та, не сбиваясь с такта вальса, стала целовать Филимонову в шею. Кто-то колотил посуду о стену. Кто-то громко икал. По бритой башке повара текла кровь, он ее размазывал по лицу и орал латышскую песню. Омерзительно воняло паленой курицей. Хромоножка гасила спички, втыкая их в грудь Кахи. Каха рычал и требовал: «А ну еще давай!» Потом был хоровод, хруст осколков, клочья ваты или обивки, кого-то вырвало прямо на паркет. Старик музыкант делал круглые глаза и что-то шептал ей в ухо. От него нежно пахло лавандой. Лавандой? Нет, лавандой пахло от...

Я умру сейчас от жажды, — равнодушно подумала Филимонова и села, опустив ноги в лунные квадраты на полу. Шершавый металл приятно холодил пятки. В гробовой тьме мало-помалу проступили знакомые контуры. В кружке осталось несколько глотков холодного чая. Вот видишь, подбодрила себя Филимонова, еще не все потеряно.

Запахнув халат, она проскользнула в коридор. Сквозь абсолютную черноту долго кралась по стенке, пару раз натыкаясь на острые углы. Наконец свернула. Впереди засветилась лунная лужа и ступеньки.

На палубе оказалось почти светло, Филимонова взялась за скользкий от росы поручень и обвела взглядом горизонт. Что-то там было не так. Она

всматривалась и не могла понять причину своего беспокойства. Горизонт по-прежнему был абсолютно пуст.

И вдруг с наползающим ужасом, медленно, будто проваливаясь в трясину, она поняла, что изменилось: изменилась вода. Исчезло течение. Вместо тягучего, однообразного движения, нудного и унылого, по черной маслянистой равнине катили неторопливые волны.

Волны! Это была не речная или озерная мелочь, с суетливыми барашками, и не морская мускулистая волна, что бьет туго и с оттягом. Это походило на бескрайнюю долину с ожившими холмами, лениво перетекающими от горизонта к горизонту. Пыльная рябь загоралась на пологих боках, рассыпалась серебристой трелью, вспыхивала и, мерцая, гасла. Океан, господи, это же океан...

Филимонова не ощущала качки. Приглядевшись, она заметила, как черный угол рубки, неспешно привстав, клюнул луну, замер, а после сонно пополз вниз.

Как зверь дышит, подумала Филимонова и, вздрогнув, застыла от цепенящего страха — низкий, утробный звук (не ухом, а скорее животом она ощутила его) проплыл над водой. Словно кто-то выдул из геликона одну тоскливую ноту.

Мозг будто свело, он испуганно скукожился в углу черепушки. По спине побежали ледяные лапки мурашек, тошнота подкатила и выступила липким потом.

«Как мало меняется страх — мне так же страшно, как в детстве. Тот же озноб, ватное безволие, даже заорать нет духу, — как тогда, на чердаке в деревне».

Филимонова брела по палубе, за контейнерами стояли машины. Скользя пальцами по мокрому лаку, медленно пошла вдоль легковушек, наугад дергая ручки дверей.

«Хотя нет, сейчас, пожалуй, появилась апатия. Лень... Да и не сейчас, давно появилась. Жить лень, бояться лень... Даже сдохнуть по-человечески и то лень. Или духу не хватает...»

Дверь последней машины в ряду, щелкнув, приоткрылась. Филимонова забралась в кресло, положив руки на баранку, посмотрела сквозь грязноватое стекло на луну. С зеркала свисали католический крест и гроздь картонных освежителей в виде елочки, но в салоне кисло воняло казармой, окурками и потом.

Филимонова дотянулась, откинула крышку бардачка. Брезгливо вытянула промасленную тряпку, какие-то захватанные книжки-инструкции, смятую пачку «Даугавы» с двумя плоскими сигаретами, отвертку с красной ручкой, армейскую стальную зажигалку. Откинув большим пальцем крышку, она чиркнула колесиком. Оранжевый огонек заплясал, чуть коптя. Вкусно пахнуло бензином.

Сталь приятно грела ладонь, хромированный брусок зажигалки уютно лег в кулак. Филимонова хотела прихватить и отвертку, передумав, сунула ее вместе с остальным хламом обратно в бардачок.

Ткнув бедром, бесшумно защелкнула дверь. Стараясь не смотреть на хмурые волны, она прокралась к лестнице. Нащупывая пяткой ступени, стала осторожно спускаться. От холода ноги онемели. Уже хотела свернуть в свой коридор, как услышала звук, голос — снизу доносилось невнятное бормотанье. Слов было не разобрать.

Держась рукой за стену, Филимонова стала спускаться. Лестница кончилась, стараясь привыкнуть к темноте, Филимонова затаилась, прислушиваясь.

Говорил мужчина, говорил по-латышски, со слезливыми интонациями, будто жалуясь. Местный язык она так толком и не выучила, удалось разобрать лишь слово «красный» и постоянно повторявшуюся фразу «да, я понял». Казалось, что он говорит по телефону.

Воздух на нижнем уровне был вязкий, спертый. К тухлятине примешивался еще какой-то знакомый запах. Из темноты наконец проступил коридор, зыбко обозначились двери. Заколыхался почти невидимый пол. Голос в темноте продолжал бубнить, жаловаться. Как по льду, робко нащупывая твердь, Филимонова сделала несколько шагов. Нашла ручку, повернула, толкнула дверь. Дверь подалась.

Переступив высокий порог, Филимонова прижалась к стене. Здесь было светлей, сизый свет втекал через крошечный иллюминатор под потолком. Помещение напоминало душевую, вдоль стены торчали гнутые трубы с лейками. В дальнем углу стояла ванна, там что-то маслянисто густело.

Филимонова чиркнула зажигалкой. Рыжее пламя осветило кафель стен с черными разводами. Ванна была наполнена до краев желтоватой мутью, из которой остро торчали белые колени. Филимонова вздрогнула, огонь погас.

«Это формальдегидом воняет, — дошло до нее, — так же воняло у хромоножки».

Она выбралась в коридор, латыш-зануда продолжал бубнить. Вдруг кто-то слабо вскрикнул, сонно что-то забормотав. Шаг за шагом продвигаясь дальше, она вдруг натолкнулась на решетку, перегораживающую коридор поперек. Нащупала висячий замок. Дальше, за решеткой, на полу темнели какие-то груды.

Бубнеж вдруг замер, послышалась тихая возня. Филимонова пыталась разглядеть хоть что-то в темноте. Привстав с пола, сгустилась чья-то тень. Тихо шлепая босыми пятками, приблизилась к решетке.

Руки тряслись, Филимонова неловко высекла огонь. Это был старик пианист. «Шуберт? Шуман? Как его хромоножка называла? Шопен?» — Филимонова не успела вспомнить, а музыкант тут же задул огонь. Тьма воцарилась кромешная, перед глазами поплыли белые круги.

— Тихо, тихо, — прошептал старик, — не разбудите...

Филимонова почувствовала, как он прикоснулся к ее пальцам, и отдернула руку.

— Гинзбург я, врач... Не бойтесь. Я в своем уме... Релативно рассуждая.

27

Фрау Ульрика выпрямилась. Откинувшись в кресле, уставилась в стену. Выдержав паузу и чуть улыбаясь верхней губой, повторила торжественным шепотом:

— Да. Вода всех расставила по своим местам...

Филимонова слушала. Молча стала ковырять отслоившийся лак на подлокотнике кресла. Хороший антикварный дуб, подумала она, вот только обивка дрянь, явно перетягивали.

— Странно... — начала Ульрика с придыханием, — у меня никогда не было необходимости говорить по душам. Но с приходом воды (она произнесла это слово торжественно, предварив паузой) у меня все чаще возникает аппетит к

этому, хочется э-э... исповедоваться, если хотите. Именно исповедоваться. Да, да, и не улыбайтесь, пожалуйста.

Филимонова и не думала улыбаться. Она совершенно не выспалась, похмелье было тяжким, да и годы уже не те. Ей хотелось умереть, но быстро и без мучений. По крайней мере без таких вот иезуитских пыток.

— Вот скажите мне откровенно, как на духу, — не унималась Ульрика, — честно скажите, положа руку на сердце: вы верите в судьбоносные предначертания?

И она снова выпрямилась, скрестив свои розовые пальцы на колене. Не дожидаясь ответа, продолжила:

— Ведь оставшиеся в живых спаслись не случайно. С этим спорить глупо. Ведь так?

Филимонова спорить не собиралась.

— Человек — это функция. Не больше, но и не меньше. Рассматривать человека как носителя какой-то собственной воли, как хозяина своей судьбы, а уж тем более говорить про его какую-то бессмертную душу — это безусловная паранойя. Заявляю как специалист. Поэтому необходимо осознать и принять свою миссию. Я случайно не оскорбляю ваших религиозных энтузиазмов?

Фрау Ульрика снисходительно усмехнулась, приподняв брови.

— Религия настолько примитивна, что любой эрудит даже при желании не в состоянии напялить на себя этот хомут. Да и стоит ли удивляться — все религии были придуманы для стада. А вовсе не для тонкой прослойки интеллигенции.

Довольная шуткой, Ульрика засмеялась. Филимонова вспомнила, как Ульрика целовала ее в шею, и ей стало совсем тошно. Она тихо застонала.

— Ну да и черт с ней, с религией! Цум тойфель! Я говорю не про стадо, я говорю про избранных. Про себя, про вас...

Филимонова непроизвольно фыркнула.

Фрау встрепенулась, по-птичьи наклонив голову.

— Вы, дорогуша, неверно трактуете слово «избранный». У меня там — Ульрика топнула каблуком в ковер, стук вышел глухой, и она топнула еще раз, сильней — там у меня две дюжины больных. От балласта я избавилась. Но и те, что остались, между нами говоря, мусор. Так в чем их избранность? Или Каха? Животное. Почему уцелел он, а не Гинзбург? Или Луцис?

Филимонова, пожав плечами, кивнула. Виски тут же заломило. Наверняка у этой стервы аспирин есть, подумала она, неприязненно разглядывая узор на ковре. Узор сложился в ехидную рожу.

— А я вам скажу почему, — лукаво подмигнув, заявила Ульрика, — потому, что мы все функция! Даже я. Просто я — ключевая функция.

Ключевая функция по имени Ульрика Вагнер выдвинула ящик стола и принялась шумно там копаться. Филимонова заметила, что у нее мелко трясутся руки, а на тонком клюве, прямо на горбинке, лопнул сосудик.

Жменью она высыпала на стол мелкий канцелярский хлам: скрепки, огрызки карандашей, школьную точилку, перстенек с синим камнем. Злясь, она запустила руку в глубь стола, наконец нашарив то, что искала, достала коробку спичек.

— Вот вы, — закуривая и щуря глаз от дыма, спросила Ульрика, — кем вы были до воды?

Вопрос явно был риторическим, но Филимонова вдруг вспомнила, что помимо всего прочего отработала два сезона ассистенткой иллюзиониста Бер-

тольди. Цирк был приписан к Харьковскому управлению культуры. Платили копейки, гастроли шли по пыльному захолустью, так что вспоминать особо было не о чем, кроме змеиного трико, тугого, как перчатка, и расшитого изумрудными стразами с грецкий орех. Луджи Бертольди, в миру Головятенко, чернявый коротышка с цыганскими глазами и гренадерскими усищами, терзаясь своим малым ростом, на арене появлялся на немыслимых котурнах, Филимоновой разрешались лишь плоские тапки. Впрочем, когда тебя пилят в ящике, сойдут и тапки.

— А я, — задумчиво произнесла Ульрика тихим голосом, — я до воды была бедной златовлаской Рапунцель и по моей косе взбиралась гессенская колдунья Зигда, та самая, что ослепила моего несчастного жениха, дармштадтского принца Людвига Сухорукого. Ведьма заточила меня в башню. На самой верхотуре было маленькое окошко, старая сволочь стояла внизу среди серых камней и пела:

Рапунцель, Рапунцель, проснись,
Спусти свои косоньки вниз.

Я сплетала косу, и по ней колдунья залезала наверх. Но однажды мне посчастливилось бежать. Я заявила в полицию, ведьму арестовали и сожгли на рыночной площади. Вот это был праздник, доложу я вам!

Ульрика оживилась, глаза заблестели:

— Ее везли через весь город в открытом экипаже, четверка гнедых с красными лентами в гривах, огромные черные колеса гремели по брусчатке. Собаки и дети бежали взапуски, мальчишки выбегали и бросали репейник ей в космы, а солдаты даже не отгоняли их. А пламя было до небес. Искры столбом уносились к звездам, огонь гудел, но я слышала, как лопалась кожа и трещали от жара ее кости.

Ульрика раскраснелась, она часто дышала, возбужденно сжимая маленькие кулаки.

— После я отрезала косы и с тех пор ношу короткую прическу. Вот. По просьбе добрейшего принца магистрат выдал мне новое удостоверение личности на имя Ульрики Вагнер. О том, что я когда-то была златовлаской Рапунцель, знают лишь единицы.

Золотая паутина, солнечные пряди завиваются в бесконечную косу, толстую и тяжелую, как корабельный канат. Филимонова представила ее птичье личико и бледную шею. Тощую грудь, взбитую баварским корсетом с причудливым шитьем, ну да, Рапунцель, а как же. Ласточки чиркают небо в крошечном окошке. Усачи-гренадеры в высоких сапогах с пряжками, эшафот, украшенный крепом, ведьма с воем взлетает пылающим фейерверком ввысь, во тьму. Филимонова зажмурилась, тряхнула головой, пытаясь избавиться от видений.

А Ульрика все говорила.

Филимонова давно перестала ее слушать, изредка безучастно кивая и лишь замечая, что лицо Ульрики становится бледней и бесцветней, а взгляд все стеклянней. Пальцы ее сжимали раздавленный коробок, спички одна за другой падали на ковер.

Потом она сморщилась и стала похожа на внезапно состарившуюся девочку, такие лица бывают у цирковых карлиц. Она некрасиво скривила рот и уткнулась в Филимонову. Тихо заскулила, вздрагивая острой спиной.

Запахло лавандой. Филимонова не знала, куда девать руки, уставившись на стол. Там среди мелкого хлама, скрепок и карандашей блестел затейливый перстенек с черным агатовым камнем, в который был впаян золотой паук-крестовик.

28

Филимонова беззвучно спустилась по лестнице, свернула за угол. Полная темень. Остановилась, ничего не видя перед собой. В нос ударил смрад, воняло помойкой и формальдегидом. Она на ощупь дошла до решетки. Позвала. Голос у самых ног прошептал:

— Да тише вы! Перебудите всех...

В темноте кто-то застонал. Филимонова присела на корточки. Прислонясь к решетке, закрыла нос и рот ладонью. Неужели к такой вони можно привыкнуть? Доктор придвинулся, она услышала его дыхание. Сбивчивым шепотом стала задавать вопросы.

— Фрау Вагнер? — доктор Гинзбург хмыкнул. — Конюхова Наталья Владимировна, сорока трех лет, доцент кафедры романо-германских языков Рижского университета. А последние два года пациент городской психбольницы номер три. С диагнозом параноидная шизофрения, приступообразный тип, синдром Клерамбо.

Потом доктор Гинзбург рассказал про эвакуацию больницы. Говорил он тихо, бесстрастно, даже со скукой. Говорил про то, как кончился аминазин, как буйные в надзорке забили насмерть доктора Луциса.

— А Чантурия, да, геодезист, биополярное расстройство. Стихи трогательные про природу пишет... писал, верней. Луна, что-то там... моя сестра, подруга, соседской зависти бельмо... вполне сносно, между прочим. А декламировал как! Качалов... Дай, Джим, на счастье лапу мне...Вот так-то, мамочка моя.

Филимонова услышала, как доктор поскреб щетину.

— У Велты эндогенное заболевание, у нее умерла сестра-близняшка, она стала слышать ее голос: «Иди сюда, в Царство Мертвых. Здесь хорошо!» А хромота — это полиомиелит, это по другому департаменту. У Велты частые приступы амбивалентности, иногда ступор, я прежде прописывал нейролептики... Теперь они сами мне прописывют чего душе угодно... Гинзбург тихо засмеялся:

— Во лбу светел месяц, в затылке часты звезды, короче. Спасибо генератор полетел, а то ведь электрошоком лечили. Каха переусердствовал... Спалил генератор, джигит...

Доктор снова хмыкнул, а Филимонова, прислушиваясь к сонному ворчанью за его спиной, тоскливому, сиротскому храпу, пыталась хоть как-то привести в порядок мысли. То, что они чокнутые, и так понятно было. Теперь это официальный диагноз, который мало что меняет по существу, подумала Филимонова и тихо спросила:

— А Ульрика? Что случилось с ней?

— Вы помните про Вентспилсского Лакомку? — прошептал Гинзбург и сипло закашлялся. Кто-то простонав, забормотал за его спиной, после затих.

Да, она помнила. Серийный убийца, трупы жертв обмазаны медом, женщины от двадцати до сорока, все убийства в регионе Курземе, по побережью.

— Ульрика, вернее, Конюхова, единственная кому удалось выжить. Поли-

ция рыскала по пасекам, а маньяк оказался смотрителем маяка. На Вентспилсской стрелке. Приглашал дам полюбоваться незабываемым видом Балтийского моря с высоты...

— А мед?

— Мед... — доктор запнулся, — хороший вопрос... Полиция тоже с этого края заходила. Вот вы думаете, раз псих, то значит дурак, идиот? Мыслит примитивно и уж точно дурнее меня, ведь так?

Филимонова кивнула, хотя не думала ничего, сообразив, что в темноте не видно, прошептала:

— Ну?

— Вы себе не представляете, насколько изощренной может быть фантазия больного. Кадушку с медом случайно прибило морем к его маяку. Убийца совершенно сознательно сбивал следствие с толку, обмазывая трупы медом, а после на портовом пикапе развозя по округе. Анализ меда указывал на один и тот же источник. Полиция сбилась с ног, перетряхнула все пасеки вдоль побережья, всех оптовых покупателей. Даже в Литве. Мед казался следствию главной ниточкой. Ключом. И если бы Конюхова чудом не выжила, думаю, маньяка бы искали до сих пор. По меду.

— А как... — Филимонова запнулась, подбирая слово.

— Он ее бросил в дюнах. Наутро рыбаки нашли ее, думали мертвая. Живот вспорот... — доктор что-то пробормотал, прочищая горло, — ну а после уже ко мне попала. По локоть в красном золоте, по колено в серебре, одним словом.

Филимонова шмыгнула носом, не зная что сказать. Ладонью стерла слезы.

— Только вот нюни, мамочка моя, распускать не следует. Эта Ульрика прихлопнет вас, не моргнув глазом. Как муху, извините великодушно за прямоту. Она больна, у нее полностью отсутствует представление о человеческой морали. Она убивает не со зла, не от кровожадности или жестокости, нет. Для Ульрики убить человека так же необременительно, как для вас раздавить комара. Тут прибился солдат один... — доктор замялся, покряхтел, передумав, добавил: — Ну, это ладно, не стоит, мамочка, пугать вас без толку.

Филимонова ощутила мерзкий холодок промеж лопаток, сипло спросила:

— Ну и что теперь делать?

Доктор вздохнул, по-стариковски пришепетывая на выдохе:

— Да уж... что делать... что делать...

В темноте кто-то заворчал. У Филимоновой затекли ноги, она села на пол, осторожно вытянула их.

Доктор нашел в темноте ее руку, сжал. Подался к ней, быстро зашептал:

— Я вам как врач скажу. Я — атеист, мне всякие сказки про гнев господень не любопытны. Чушь собачья. Да! А вот что не чушь, так это биология. Наука такая. Каждый организм проходит определенные стадии: рождение, взросление, зрелость, старение и смерть. Мотылек проскакивает цикл за день, секвойя живет тыщу лет. Любой организм, лишь родившись, в сей же самый момент уже обречен на смерть. Это лишь вопрос времени и не более того, вникаете?

Филимонова угукнула, не совсем понимая, куда он клонит.

— Когда покойник начинает гнить, его пора закапывать. Или сжигать. Или... — старик поперхнулся, заперхал в кулак, — ну вы понимаете... Человечество себя изжило. Мы родились, поползали на карачках, научились ходить. Достигнув половой зрелости, накуролесили от души, расквасив себе физиономию в нескончаемых войнах, грабежах и убийствах. Утомились. Угомонившись, отрастили брюшко, изобрели все что могли, лишь бы не поднимать задницу с

дивана. Разумеется, обрюзгли, облысели, окончательно обнаглев, решили, что на наш век должно хватить. Ведь всегда же хватало, так? Все что смогли вырубили, выловили, осушили, отравили, заасфальтировали. Заявили: «А после нас хоть потоп. Вот, собственно, и он. Ну? Извольте любить и жаловать!»

Доктор, громко дыша, говорил злой скороговоркой. Филимонова незаметно вытянула ладонь из его потной руки. Бесшумно отодвинулась.

— А наш паром, — внезапно спокойным голосом произнес доктор, — в определенной мере модель Вселенной, копия того мира, что исчез. «Корабль дураков» безумного Иеронима Босха помните? Там где монах с монашкой пытаются откусить от подвешенного на бечевке блина, монашка играет на лютне, а лютня, между прочим, символизирует вагину. А игра на лютне, соответственно, символизирует разврат. За капитана там шут, матросами пьяные крестьяне. Босх уже тогда понял, что корабль наш без руля, так сказать, и без ветрил на всех парусах несется в ад. Как и наша калоша. Мы обречены на гибель. И никакой Бог тут... — он закашлялся, — короче, это — биология. Наука, — он усмехнулся. — Поэтому, если хотите уцелеть — бегите.

— Как? Куда? — растерянно спросила Филимонова.

Доктор помолчал. После тихо спросил:

— Зажигалка у вас знатная! Не одолжите?

28

«Даже если он прав, — подумала Филимонова, — у меня нет сил. И желания».

Она сидела на койке, свесив тяжелые кисти рук в мутный лунный свет. Опустив голову, разглядывала синие вспухшие вены. Угробили себя? Так долго старались и на тебе...

Ей отчего-то стало смешно и немного грустно, как на поминках не очень знакомого покойного. Неужели это все? Конец. А сколько эта мельница перемолола, уму ведь непостижимо! Фараоны, кроманьонцы с острым камнем, псы-рыцари, просто псы и просто рыцари — с плюмажем и в сияющих латах, Дантес медленно поднимает лепаж и щурится на морозе, Ильич хитровато щурится, кепку заломив, а Гагарин простодушно улыбается, вот ведь чудак, а еще майор. Индейцы и индийцы, одни в орлиных перьях, другие в позе лотоса, все уже пьют кока-колу из запотевших бутылок, папа римский и просто папа — Кирилл Анатольевич, от него пахнет елкой и апельсинами. Вот красавцы матадоры, бронзовые мускулистые легионеры и жестокие, небритые пираты, серьга в ухе, а за поясом, нет, красным атласным кушаком пара кремневых пистолетов, и мушкетеры во весь опор, из рыси в галоп, мчат в клубах желтой бретонской пыли, не чуя земли под собой, рвут на север, в сторону Па-де-Кале, а на юге встает колосс из каррарского мрамора, уперев упрямый затылок в синь, слепой Гомер кричит Сократу: «Не пей вина!» Куда там! Что он Гекубе, что ему Гекуба... Испанские гранды, то ли Сервантес, то ли Веласкес, такие строгие, такие юные. А Наполеону и сорока нет, а вон уже обрюзг, брюхом вперед — смотреть противно. А еще император! Да и Уинстон наш лорд Черчилль тоже не Аполлон, прямо скажем. Не Ален Делон. Да и сам Делон давно уж не Ален, а скорее тлен. Бледен, сух и мертв. Лорд Байрон, сэр Вильям, ау! Ау! А-уу... Увы, дальнейшее — молчанье.

— Неужели... — прошептала Филимонова, — неужели это все?

Зевнув, она спрятала лицо в ладонях. Покачалась вперед-назад, не убирая рук. После медленно завалилась на бок и, поджав под себя ноги, сразу уснула.

Ей приснился яркий, южный сон. Она вышла на слепящее крымское солнце и в белесую пыль. На голом каштане сидели две черные птицы, они с безразличием повернули головы и уставились на Филимонову. Она, не обращая на птиц внимания, направилась к морю. Пересекла пустынную площадь с сухим фонтаном и двумя фанерными ларьками. Море сияло слюдяной полоской. На набережной, выложенной пыльными мраморными плитами, стоял стол, на нем самовар. Два человека пили чай, Филимонова никак не могла разглядеть лиц — солнце било в глаза.

— Анютка, иди к нам. Почаевничаем.

Один силуэт уплотнился, обрел резкость и превратился в деда Артема. Бородища, мясистый нос в капельках пота. Филимонова села, придвинула чашку. Она до краев была наполнена сухим песком. Дед Артем улыбался, разглядеть второго человека Филимоновой мешало солнце, но она чувствовала, что он сердится. Филимонова подняла чашку, сделала вид, что пьет. Песок прилип к губам, попал в рот. Она знала, тот второй, сердитый, наблюдает за ней. Мне нравится чай, пусть видит — я пью. Она видела, что в их чашках был чай, густой, золотистый. Почему у меня песок? Она знала — спрашивать нельзя. Сердитый протянул руку к своей чашке, на руке была засохшая кровь, бурая, похожая на грязь.

— У тебя там песок, — сказал он.

— Прости ее. Она внучка мне, — попросил дед Артем. — Дай чаю ей.

Сердитый не ответил. Филимонова вдруг ощутила, как ее мучит жажда, песок попал в рот, хрустел на зубах. Ей хотелось, чтоб тот, сердитый, перестал злиться и дал ей напиться. От чувства несправедливости ей хотелось заплакать, зареветь, как в детстве. Что я ему сделала? Чего так взъелся? Я вообще ничего...

— ...Ничего, — повторил он.

Тут она увидела, что в ее чашке теперь чай. Ей стало радостно, легко. Захотелось обнять деда и того, сердитого. Она подняла глаза, их уже не было. Осталось солнце, море, появились чайки. Подул бриз.

«Господи, как же хорошо», — за секунду до пробуждения подумала Филимонова, блаженно ловя сквозь веки лимонный жар. Душа ее млела, даже склочные чайки не портили идиллию, их нервный гам сдувал ветер, легко унося в ватное никуда. Тот же ветер флегматично кокетничал, лениво щекотал прядью по лбу, но в целом вел себя вполне пристойно. Истому пробуждения хотелось растянуть до бесконечности. Неторопливый калейдоскоп белого, рыжего и леденцово-желтого завораживал, смена красок казалась жизненно важной. Выше растекалась теплая, летняя синь . Она то бледнела, то разгоралась опять, вводила в соблазн и обещала почти райскую усладу.

Потом все пошло насмарку: Филимонова ощутила холодную тень, наползшую вместе с хихиканьем. Кто-то давился смехом. Чудо закончилось, дрема, суетливо прощаясь, пробормотала какую-то чушь напоследок и рассеялась. Филимонова с сожалением открыла глаза.

Солнце загораживала хромоножка.

— Фрау Ульрика тебя зовет, — резко сказала девчонка, уперев руки в бока. — Давай, пошли.

Филимонова нащупала ногами тапки:

— Пошли.

— Так, что ли, и пойдешь? Лахудрой? — девчонка выпятила губу.

— Ага. Так и пойду. Лахудрой.

Хмурая Филимонова, до конца не проснувшись, шаркала по коридору. Она сжимала кулаки в карманах халата, исподлобья разглядывая тощие лопатки Велты. Та, прихрамывая, шла не оборачиваясь.

Ульрика оказалась в превосходном расположении духа. Увидев Филимонову, заулыбалась, поманила рукой и снова уткнулась в разбросанные по столу бумаги.

— Кушайте конфеты, девочки, — не поднимая головы, весело обратилась она, — монпансье, барбарис.

На углу стола стояла жестянка леденцов. Хромоножка жеманно подошла к столу, долго ковырялась, сунула конфету в рот. После, нарочно гремя, выдвинула стул. Уселась верхом, уперев подбородок в спинку. Принялась звучно сосать, причмокивая и пуская слюни. Иногда вытаскивала леденец и, морща нос, разглядывала сквозь янтарную конфету то Ульрику, то Филимонову.

Ульрика увлеченно бормотала. Она что-то отмечала карандашом, перекладывая мятые листы. Филимонова, не вынимая рук из карманов, уселась в кресло.

— Ну вот, — протягивая несколько листов Филимоновой, сказала Ульрика, — тут не так много, за пару дней выучите.

Бумага была грязной и мятой, Филимонова брезгливо взяла листы. Слепой машинописный текст едва читался. Стихи?

— Что это? — спросила она.

— Ваша роль. Ваш предшественник, занятый в этой роли, стал жертвой несчастного случая во время рыбной ловли...

— Утопил его жиртрест, — встряла хромоножка, пуская липкие слюни.

... рыбной ловли, — игнорируя ее, продолжила Ульрика, — но тут на наше счастье появились вы. Перст судьбы — весьма изысканный жест, согласитесь.

Филимонова стала читать текст, выхватывая глазами разные строки, неразборчивые карандашные каракули рядом, подчеркивания, восклицательные знаки, ремарки «в ужасе», «кричит!!», «плачет».

— А Гамлет кто? Каха? — не отрываясь, мрачно спросила она.

Хромоножка захохотала неожиданно для ребенка хрипло и грубо. Ульрика покровительственно усмехнулась.

— Каха! Животное... Да будет вам известно, что сама Сара Бернар блистала в роли Гамлета на сценах «Одеона» и «Комеди Франсез». Да, да! И не удивляйтесь, женщины гораздо тоньше и чувствительней мужчин, а уж о лицедействе и говорить не приходится. Мы — прирожденные актрисы, — она улыбнулась, аккуратно потирая маленькие руки.

— Вы спросите, почему «Гамлет» (хотя Филимонова и не собиралась), отвечу. Хотя нет, вот, сами прочтите, вот здесь, с этого места, — Ульрика ногтем отчеркнула строку, — нет, вы вслух давайте. Заодно и насладимся вашими декламаторскими талантами... или декламационными?.. Впрочем, неважно — читайте.

— Подумай, кто он, и проникнись страхом, — начала Филимонова деревянным голосом, — по званью он себе не голова, но сам в плену у своего рожденья. Не вправе он, как всякий человек, располагать собою...

— Видите, видите! Именно в плену у своего рожденья! — горячо заговорила Ульрика. — Он человек-функция. Ключевая функция, помните, я вам говорила? Давайте дальше, прошу прощенья, читайте. Хотя нет, стойте, я сама!

Ульрика, склонясь над столом, принялась рыться в бумагах. Ворошила мятые листы, не нашла. Потом медленно выпрямилась, застыла:

— Я и так помню...

И закрыв глаза, другим голосом, низким и спокойным, медленно начала:

— Свирепый Пирр, чьи черные доспехи
И мрак души напоминали ночь,
Когда лежал он, прячась в конском чреве,
Теперь закрасил черный цвет одежд
Малиновым, — и стал еще ужасней.
Теперь он с ног до головы в крови...

Вместе с голосом отяжелели ее лицо и жесты, она словно стала шире в плечах, устало прошла в угол, задумчиво замерла в тени. Хромоножка, уронив леденец на ковер, не сводила с нее глаз. Мокрые губы беззвучно повторяли слова. Девчонка, очевидно, тоже знала текст наизусть.

Филимонова слушала, ей вспомнился сон: дед Артем, песок в чашке. Тот, второй, сердитый. Что он сказал? Одно слово... Не помню... Почему мне так хотелось понравиться ему? Почему мне так важно, одобрят ли меня другие? Когда это началось, почему я не могу жить без оглядки, делать то, что я хочу?

Досада подступила к горлу — смесь ярости и унижения, такой знакомый горький вкус, привычный со школы. А после уже всегда и везде. Но глотать это, глотать и молчать учили именно там. У доски, в учительской, на инквизиторских педсоветах с вызовом родителей, потерянных и жалких, как линялые картинки из учебника. Ложь и лицемерие как способ выживания. Тюремная вонь затхлых коридоров, крашенных в несуществующую в природе гадкую зелень, запах мокрых тряпок и мела, запах бесправия и унижения. Обтесали в чурбачки, обкатали, как гальку, и выкинули в беспросветную жизнь, безысходно разлинованную, будто тетрадь по чистописанию. С годами глотать унижения и обиды стало легче, они уже не вставали поперек горла, да и вкус не был так горек. Ярость погасла, справедливость перешла в разряд нелепостей, честность стала граничить с глупостью. Трусость стала именоваться житейской мудростью. Праведный гнев, желание рявкнуть или треснуть по хамской морде смиренно забились под лавку, все реже скалили зубы. Она ждала достойного часа, важного повода, стоящей цели. Чего по пустякам кипятиться? Жизнь прошла, час не пробил, цель не появилась. Поводы возникали, но не столь важные.

Против ее воли в ней росла ненависть к Ульрике, к девчонке. Как ее зовут, эту хромую? Филимонова сжала подлокотник кресла. Закрыла глаза. Зачем я так, они просто больны. За что я их ненавижу, я бы не стала злиться на диабетика или больного туберкулезом. Запах сырости поднимался и тоже раздражал. Филимонова медленно встала, запахнула халат и молча направилась к двери.

Ульрика запнулась, перестала декламировать. Девчонка удивленно открыла рот, провожая Филимонову взглядом.

— Как вы смеете... — крикнула хромоножка ей в спину. — Когда фрау Ульрика... — конец фразы сорвался на визг.

— Конюхова, — не поворачиваясь, сказала Филимонова. — Прекратите комедию ломать. Без вас тошно.

29

Левая скула пульсировала и налилась жаркой болью. От соленой горечи во рту тошнило, Филимонова провела языком по зубам, вроде все на месте. Ее передернуло: последнее, что она помнила, это как Каха одним ударом сшиб ее, как она пыталась встать, бежать.

Она разлепила глаза. Вокруг стояла кромешная темень, она сначала испугалась, что ослепла. Не дыша от ужаса, пялилась в черноту и не видела ничего. Постепенно разглядела решетку, начала различать лежащие на полу фигуры. Узнала вонь нижнего трюма. Рядом кто-то сипло, неровно дышал. Филимонова хотела позвать Гинзбурга, получился тихий всхлип. Губы были разбиты, казались чужими и не слушались.

— Тут я, — совсем рядом прозвучал шепот. Расстроенно спросил: — Ну как же так, Анна Кирилловна? Что ж нам теперь с вами делать?

Дальний конец коридора тускло осветился синеватым светом. Вспыхнул и погас.

— Гроза... — прошептал Гинзбург, и тут же снаружи грохнул гром. Рядом с Филимоновой кто-то взвизгнул. Потом скороговоркой, по-бабьи, начал молиться. Гром ударил снова, теперь чуть глуше. Тетка запнулась, выругалась и замолкла.

Глаза привыкли к темноте, соседка оказалась толстой, обритой наголо бабой. Теперь Филимонова различала решетку, дверь с висячим замком, длинный низкий коридор. Голова гудела, Филимонова не шевелилась, боясь разбудить боль. Все тело ныло, словно она целый день таскала мешки. В углу кто-то застонал, приглушенно, потом все громче и громче.

— Что это? — спросила Филимонова.

— Спариваются... — проворчал доктор, добавил, будто извиняясь: — Свинарник.

Женщина в углу вскрикнула. Снаружи прокатился гром, утробно и мягко откликнулось эхо, похоже, гроза уходила. Женщина всхлипнула, потом тихо засмеялась. Филимонова сглотнула, у нее пересохло в горле.

— Не хочу вас пугать... — осторожно начал доктор и закашлялся, Филимонова усмехнулась и перебила его:

— Неужто есть чем? Вы уж, давайте, не скрывайте, чего уж там...

— Выжить — не всегда благо. Умереть быстро, без тягомотины, без проволочек — вот о чем надо мечтать. В этом милосердие природы. Или, если угодно, божья благодать. И вообще, утопить нас было крайне гуманно с его стороны. И будь я религиозен, непременно усмотрел бы в этом факте явную симпатию Господа к человечеству в целом. Очень мило — как котят в лукошке. Ласково и без лишней драмы.

Филимонова придвинулась к решетке, прислонилась лицом к влажным прутьям. Нижняя челюсть опухла, казалось, что болят все зубы разом.

— А ведь мог же огонь с небес наслать, — доктор тихо засмеялся. — Как Содом с Гоморрой спалить. Ведь мог? Или болезнь какую-нибудь. Вроде чумы. И чтоб никакой вакцины. Тоже вариант.

Бритая баба снова принялась молиться. Гинзбург начал кашлять в кулак, потом замолчал. Он сипло дышал, в задумчивости чем-то тихо клацая. Филимонова узнала звук — ее армейская зажигалка. В дальнем углу снова начались возня и мерные постанывания. Соседка, перестав молиться, поймала рукав Филимоновой и сильно потянула к себе.

— А вот вы зря надсмехаетесь, — сердито прошептала тетка ей в самое ухо. От соседки воняло рыбой, Филимонова отвернулась. Тетка придвинулась и заговорила громче.

— Вам бы все шутки шутить... Знаю я... — она пошмыгала носом. — А у них такие уловки бывают, — соседка присвистнула, — ой-ей-ей! Сейчас хорошо у нас зима и окна заклеены все. Круминьш, физрук, он и гражданскую оборону ведет,

спасибо ему, помог. Вы не замужем, нет? Все-таки нет лучше мужчины, чем отставной военный. Он и порядок соблюдает, и чистота вокруг, сам гладит-стирает, и не шалтай-болтай. Ходил тут один... Я ему — Яша, ну сними ботинки в прихожей, вон сколько грязи нанес, я ж только полы вымыла. Сидит, ухмыляется. Курит.

В темноте кто-то шепотом считал, торопливо и бессмысленно, сбивался и начинал снова. Филимонова закрыла глаза, сквозь муть и наплывающую головную боль голос соседки тек, как липкая патока.

— А в том сентябре, цветов у меня видимо-невидимо, гладиолусы в банки трехлитровые ставила, ваз не хватало, с первого сентября все. И астры. Хотя астра, по мне, так себе цветок, кладбищенский скорей, чем для живого человека, а уж тем более для классного руководителя. Я розы обожаю, это такой шикарный цветок, королевский просто.

Гинзбург изредка покашливал, Филимонова пыталась разглядеть лежащих на полу людей, но ничего, кроме черной густоты, не было видно. Тетка высморкалась в кулак, вытерла ладонь о грудь.

— Я ведь тоже сначала подумала, что мыши это. Настена мне даже какого-то мурзика притащила, да он все больше дрых. Дрыхнет себе и в ус не дует. Да и не мыши это были, мыши ведь не хихикают, верно? А тогда вечером, как стемнело, я видела, как нетопыри промеж берез шныряли, один нетопырь юркнул в форточку, два круга вокруг люстры сделал и исчез. На потолке след от крыла, будто тряпкой грязной махнули. Полоска такая пыльная, рядом с люстрой.

Филимонова бесшумно, перебирая руками по полу, боком, стала отползать от тетки — ей не очень нравился энтузиазм рассказчицы.

— По батарее стук да стук, мебель двигал. А ночью просыпаюсь, кровать подо мной ходуном ходит. И кто-то гнусавый из живота со мной разговаривает! А после появились бесы, два плюгавых. Бесенята, скорей. Тот, из живота, им приказания стал приказывать.

Неожиданно тетка загнусавила низким противным, почти мужским, баритоном. Слов Филимонова не разобрала, но судя по интонациям, тот, в животе, был явно не в духе и сердито бранился. Филимонова вжалась спиной в стену и стала бесшумно подниматься. В углу кто-то завозился, проснулся и заплакал. Тетка тем же утробным голосом надсадно захрипела:

— В преисподню! За гордый взгляд и лживый язык! Руки твои, проливающие кровь, сердце, кующее злые замыслы, ноги, бегущие к злодейству!

Вдруг где-то грохнул люк. Доктор вздрогнул, нащупал руку Филимоновой, сжал запястье. Соседка умолка, настороженно привстала. В дальнем конце коридора послышался топот, кто-то спускался по лестнице, спускался быстро, почти бегом. Филимонова вцепилась в решетку, рядом сипло дышал Гинзбург. Два силуэта приближались к клетке, вспыхнул фонарик, тусклый луч запрыгал по полу, стенам. Филимонова инстинктивно отпрянула, ей захотелось забиться в дальний угол, спрятаться среди спящих тел, зажмуриться, заткнуть уши. Исчезнуть. Двое подошли вплотную к клетке, луч пошарил по углам, приблизился, уткнулся в лицо.

— Вот она где... — пробормотал Каха, добавил, обращаясь к спутнику: — Чуть ухо не откусила, сука рыжая. Представляешь?

Бритая соседка снова заголосила:

— В преисподню! В смоляные кострища тебя, каиново семя!

В тот же момент загремел засов, и Каха угрожающе зашипел:

— А ну молчать, мать твою!

Решетка грохнула, но зайти он не успел, соседка, взвыв по-волчьи, бросилась на него. Филимоновой показалось, что она вцепилась зубами ему в загривок. Каха согнулся и, хрипя, пытался отодрать ее от себя. Второй охранник растерялся и, приседая, норовил ухватить тетку за ногу.

— На палубу! — истошно заорал кто-то. Филимонова узнала голос Гинзбурга. Он распахнул дверь. — На палубу! Живо! Все наверх!

В клетке началась паника. Филимонова отползла в угол. Психи вскакивали, толкаясь прорывались к выходу, кто-то заголосил латышскую песню. Топот и крики слились с эхом длинного коридора, Гинзбург подобрал фонарь и, размахивая желтым лучом над головой, побежал впереди толпы. Филимонова нащупала какую-то тряпку, натянула на себя. Застыла. Постепенно стало тихо, психи, похоже, уже были наверху. Каха, ругаясь, поднялся с пола. Выпрямился у решетки, вглядываясь в темень клетки. Филимонова перестала дышать и закрыла глаза. Каха что-то пробормотал по-грузински и, тяжело гремя сапогами, побежал наверх.

30

Только начало светать. Небо на востоке посерело, проступила линия горизонта. Филимонова доковыляла наверх и пыталась отдышаться. Правый бок болел, казалось, что там переломаны все ребра. Она прижалась щекой к стене, держась руками, осторожно обогнула угол. Палубу освещал прожектор, после дождя она сияла. Уродливые длинные тени метались по стене рубки, люди вырывались из темноты и тут же исчезали во мраке. Абсолютно голый человек плясал на крыше автобуса, закидывая голову и размахивая руками. Филимонова увидела, как из-за цистерны выволокли хромоножку Велту, повалили и принялись топтать и бить ногами. От крика люди уже осипли, но продолжали вопить и визжать. Потом тело подняли и, как тряпичную куклу, выкинули за борт.

Филимонова пригнулась, стараясь не высовываться из тени, прокралась к шлюпкам. Они были затянуты серым брезентом, который свисал до палубы. Она поскользнулась, ударила колено, на четвереньках заползла под лодку. Нашла прореху, на корточках прильнула к брезенту. Психи поймали еще кого-то. Столпились, начали бить, над головами сверкнула сталь тесака. С кухни — подумала Филимонова, ножи с кухни. Она заметила тощую фигуру, карабкающуюся на верх цистерны. Внизу сгрудились люди, они что-то кричали, задрав головы.

Затекли ноги, Филимонова встала на колени, но так было еще неудобней. У нее кружилась голова, ныл бок. Каждый раз, когда она поворачивалась, грудную клетку пронзала острая боль. Она легла на палубу, вытянула руки. Ее локоть уткнулся во что-то мягкое. Филимонова перевернулась на живот, стала ощупывать.

— Тихо... — прозвучал в темноте испуганный голос.

— Это вы? — удивилась Филимонова и убрала руку. Она не видела Ульрики, лишь темный силуэт у стены.

— Какая нелепость... — Ульрика попробовала рассмеяться, получился сиплый всхлип.

— Я всю жизнь боялась боли. Один раз меня уже убили. Теперь... — она всхлипнула, — опять...

Филимонова слышала частое, нервное дыхание. Она растерянно спросила:

— А это больно? Боль долго длится?

Ульрика не ответила, закрыла лицо руками. Снаружи что-то лязгнуло, потом кто-то пронзительно завизжал. Филимонова привстала, прильнула к дыре: вокруг цистерны собралась толпа, наверху, у наливного люка, сгорбясь, стоял человек. Он что-то кричал вниз. Филимонова узнала доктора.

— Долго? — задумчиво повторила Ульрика. — Вечно...

На цистерну начал карабкаться человек, тот голый, что плясал на крыше автобуса. Доктор выпрямился. Голый почти забрался и пытался теперь стащить Гинзбурга вниз. Доктор пихнул голого ногой, и тот свалился в толпу. Тут же кто-то снова полез на цистерну.

— Что мы делаем друг с другом? Я же делаю с тобой точно то же, что ты со мной. Я пью твою боль, а ты мою. — Ульрика опустилась на колени и, поймав руку Филимоновой, стала ее целовать. — Души нет. Она вытекла из меня вместе с болью и кровью. Как хорошо верить. А я не умею...

От мокрых теплых губ стало противно, Филимонова хотела выдернуть руку. Вместо этого она нагнулась и прижала Ульрику к себе. Та затихла, лишь часто моргала, щекоча щеку Филимоновой своими ресницами.

— Я тоже не умею, — прошептала Филимонова. — Сначала надо полюбить, а я не знаю как. Те, кто верит, им спокойно. Даже сейчас. Но я не могу выдумать Бога, не могу выдумать веры. Не может быть милосердный Господь и все это мучение...

Снаружи раздался многоголосый вой. Филимонова увидела, как доктор стянул с себя рубаху, скомкал ее и поднял над головой. Рубаха горела. Доктор откинул крышку наливного люка.

— Там бензин... — тихо сказала Ульрика.

Из жерла с ревом взметнулся столб рыжего огня, толпа ахнула, и тут же цистерна взорвалась. Огненный шар смахнул людей, их черные фигурки возникли на миг на лимонном фоне и тут же исчезли. Тугой жар пронесся по палубе. За ним растекался горящий бензин. Горела рубка, вспыхнули стоящие на палубе машины. Мимо зигзагами пробежал горящий человек, молча уткнулся в борт, сполз и превратился в кучу горящего тряпья. Огонь стремительно тек к лодкам.

— Вторая цистерна... — безучастно сказала Ульрика. — Там, за машинами.

Филимонова выбралась из-под брезента, крикнула Ульрике:

— Ну!

Та покачала головой, сказала:

— Спасательные круги. Там, за радиорубкой. Справа...

Филимонова замешкалась, хотела что-то сказать, что-то важное. Вместо этого пробормотала «спасибо» и побежала. Сзади грохнул взрыв. Филимонова обернулась, начали взрываться машины. Она сняла с крюков спасательный круг. Воняло паленой шерстью, Филимонова поняла, что это от ее волос. От жара пылало лицо, слезились глаза. Казалось, что горит все — палуба, железо рубки, шлюпки на кранах, сами краны. Она перегнулась через борт, там была чернота. Ухватив круг, она перевалилась через ограждение и полетела вниз.

31

Взорвалась вторая цистерна, огонь стекал по бортам, вода вокруг тоже горела. Воняло бензином и гарью. Потом что-то рвануло внутри, иллюминаторы от носа до кормы вспыхнули малиновым и погасли. Корабль осел и стал крениться набок. В сиреневое небо поднялся густой столб белого пара. Восток быстро светлел. Изнанка слоистых облаков стала оранжевой, неожиданно выплеснулось солнце. Наступило утро.

Филимонову относило все дальше и дальше от парома, но это было неважно, паром тонул. Кормовые трюмы заполнились водой и корабль, выставив в небо нос, лениво, словно нехотя, погружался. Оттуда доносились звуки, похожие на сопенье и храп. Потом паром исчез. На поверхность всплыл гигантский пузырь, словно кто-то устало выдохнул. Филимонова продолжала смотреть туда, хотя это место уже ничем не отличалось от остальной воды, если не считать маслянистого радужного пятна. Скоро снесло и его. От горизонта до горизонта простиралась вода. Ничего кроме воды.

Филимонова, держась за круг, подняла голову, по щекам текли слезы.

— Господи... — она прошептала, — ну когда все это...

Хотела молиться, в голову не пришло ничего, кроме тарабарщины «ежесина-небеси, во имя отца, сына и святаго духа». Перед глазами возник гладкий, как муляж, распятый Христос, покрашенный розовой краской и прибитый к настоящему сосновому кресту. Струйки крови и ранка на боку были выписаны с тошнотворным реализмом. Гвозди тоже были настоящие, железные. В ту церковь на Таганке ее таскала бабка тайком от родителей. Вспомнилась свечная, теплая вонь, темные углы с рубиновыми лампадками и желтыми ликами мрачных святых. Злые старухи в тугих черных платках на паперти и у свечного прилавка. Они вечно что-то неопрятно жевали маленькими безгубыми ртами. От всего этого Филимонова тогда робела, ее охватывала жуть. Она послушно крестилась, ей казалось, что за ней следит кто-то строгий и от ее усердия зависит что-то важное. Этот строгий взирал сверху, он был нарисован на плафоне. Ему в лицо светило солнце, но он не щурился, а лишь строго морщил густые брови.

Сейчас страха не было, была усталость. Тот, строгий, повесился на яблоне, Филимонова, выйдя на крыльцо, первой увидела его. Деревянный муляж, железные гвозди. Роспись по сырой штукатурке, исполненная запойным богомазом. Никто за тобой не наблюдает, никому ты не нужна. Какой я все-таки нелепый человек, подумала она, даже умереть толком не получается. Еще была какая-то мысль, что-то важное, но она никак не могла припомнить. Солнце начинало печь, по-южному немилосердно. Филимонова, запрокинув голову, намочила волосы, лицо. Тут она вспомнила — вода вокруг была соленой, морской.

Волны лениво катили на запад. Филимонова втиснулась в спасательный круг, раскинув руки, качалась вверх-вниз. Пыталась определить, сносит ее или болтает на одном месте. Ориентиров найти не удалось, вода вокруг напоминала бескрайнее поле с мерно ползущими холмами. Когда волна поднимала ее, Филимонова крутила головой, разглядывая горизонт. Потом перестала — там ничего не было, ничего, кроме воды. Она откинулась назад, стала смотреть в небо. Пить не хотелось, но было ясно, что умирать придется от жажды. Она вспомнила, что от морской воды наступает отравление и смерть — есть, значит, и такой вариант. Еще есть акулы. Сама видела. Об этом думать не стоило, она поджала ноги, внимательно оглядываясь вокруг. Только акул не хватало!

Попыталась представить: ее однажды тяпнула овчарка — кровища, шесть швов. Вспомнился ужас заживо пожираемого существа. Ее передернуло — ну вот примерно так, подумала она, нащупывая шрам на бедре. Лет двадцать прошло, а он все тут.

Солнце доползло до зенита. Филимонова оторвала полу халата, скрутила тюрбан. Тронула лоб, щеки. Лицо горело. Сожгла, наверное, подумалось равнодушно, словно не о себе. Мыслей не было, голова казалось тяжелой, будто была набита подмокшей ватой. Как сырой матрас. Она хмыкнула — еще бы, столько воды.

Задремала, когда открыла глаза, солнце уже покраснело и прилипло к горизонту. У скупого заката оказался скучный пепельно-сиреневый финал, запад быстро темнел, на фиолетовом востоке проклюнулась первая звезда.

Ночь наступила как-то вдруг. Вода маслянисто отливала синим, Филимоновой мерещилось, что какие-то морские твари тихо окружают ее неспешным хороводом. Чудились острые акульи плавники, беззвучно рассекающие волны. Она вглядывалась в чернильную темень воды, иногда вздрагивала не понятно отчего. Когда напряжение становилось невыносимым, она колотила по воде руками, яростно брыкалась. Кричала в темноту — ну жрите меня, твари, жрите!

Обессилев, откидывалась назад. Сверху плыл Млечный Путь, Скорпион, Медведицы, безучастно моргал Стрелец — да и чего еще ждать от кентавра? Она мотала головой, бормотала — дорогой Бог, я так устала! Сделай что-нибудь... Если Ты есть.

Слезы были одного вкуса с морской водой — горьковато-соленые. Если Ты есть... А есть ли я? Он должен любить мою бессмертную душу, в существование которой я сама не очень верю. Я ничего толком не сделала, никого не любила. Даже себя.

По небу чиркнула звезда. Филимонова хмыкнула — вот раззява, ничего загадать не успела. И так всю жизнь... Она закрыла глаза. Тот мальчишка, как же его звали? Игорь? Славик? Пусть будет Славик. Он подрался из-за нее с Сохатым, а Сохатого обходили даже взрослые мужики, когда он выкобенивался у ларька, стреляя мелочь на пиво. Он коневодил таганской шпаной, трусливой, но опасной, парнями лет пятнадцати с бритвами и заточками — тонкими острыми напильниками с пестрыми, наборными рукоятками. Шпана вилась возле пивной, высматривая поживу и задираясь к прохожим. Обирали подвыпивших, заводя в арку. Запросто могли полоснуть бритвой.

Филимоновой нравился Юрка Корзунов из параллельного, а тот Славик увязался ее провожать, она пожала плечами и мотнула толстой косой — валяй, дело хозяйское. Когда проходили мимо ларька, Сохатый громко спросил:

— Любопытно, пацаны, у этой крали и на манде волосня тоже рыжая, а?

Славик подошел и что-то сказал Сохатому, Филимонова не расслышала. Сохатый улыбнулся, сплюнул и ударил его коленом. Тут же подбежали дружки, Славик упал, его били ногами. Филимонова лезла, ее отталкивали. Потом кто-то крикнул «Атас!», шпану как сдуло, а он остался лежать на асфальте, поджав колени и закрыв лицо руками. Лицо все-таки разбили.

После он сидел на краю ванной, прямо и послушно, как прилежный школьник, а она, не пряча слез, возилась с бинтами.

В комнате она сказала ему — отвернись. Он пожал плечами и отвернулся. Она быстро стянула джинсы вместе с трусами. Вывернув наизнанку, сняла майку. Щелкнула застежкой, скомкав лифчик, сунула за диванную подушку.

Он повернулся, вздрогнул. Она видела, как разгораются его уши. Филимо-

нова сделала шаг, взяла его руку, притянула к себе. Он был ниже ее, она уткнулась ему в висок, от волос пахло йодом и бинтами. Она прошептала:

— Я сама боюсь...

Он что-то пробормотал.

— Что? — спросила она.

— У меня... — смущенно сказал он, — губы разбиты, я тебя кровью испачкаю.

На горизонте моргнул слабый красный огонек, вспыхнул и погас. Загорелся снова. Филимонова перестала дышать. Вдруг она вспомнила: не Славик, его звали Лева, Лев Котельников. Огонек исчез, через секунду зажегся опять. Филимонова быстро начала грести, вытянув шею и стараясь не потерять огонь из виду. Светать еще не начало, в темноте расстояние определить было трудно. Казалось, что этот сигнал на краю света. В том, что это именно сигнал, у нее сомнений не было. Круг мешал плыть, тормозил, движения получались неуклюжими. Она стянула его, легла сверху. Дело пошло на лад, рукам теперь ничто не мешало. Ныла шея, но Филимонова не опускала голову, не отрываясь, глядела вдаль. Красная точка приближалась.

— Господи, дорогой! Сделай, чтоб там были люди! — запыхавшись, умоляла она. — Пожалуйста! Сделай, чтоб я в Тебя поверила! Помоги, я сама не умею. Не умею. Сделай Ты, и я в Тебя поверю. Пусть там будут люди, Господи. Я глупая, дрянная баба, никого не люблю, я даже себя ненавижу. Я ничего не могу с собой сделать. Сделай Ты. Я хочу верить, слышишь, хочу!

Проступил горизонт, вода оставалась черной, небо чуть поседело. Фонарь раскачивался, моргал, под ним густела тень. Разобрать пока ничего не удалось. Стало ясно — это не корабль, мелкая посудина, что-то не больше лодки или катера.

— Эй! Люди! — Филимонова крикнула, закашлялась.

Никто не отозвался. Она, тяжело дыша, продолжала грести. Красный фонарь покачивался вправо-влево, кивал, как китайский болванчик. Филимонова разглядела силуэт — темный конус. Бакен. С фонарем на макушке.

Филимонова остановилась. Метрах в двадцати в предрассветной мути качался большой рыжий буй с набитой по трафарету цифрой «17». Он был похож на клоунский колпак. Хотелось плакать, но сил не было. Она тихо завыла, подгребла к бакену.

— Семнадцать! Что ж ты со мной делаешь? — она устало стукнула кулаком в железный корпус. Тот откликнулся пустой бочкой. К корпусу были припаяны металлические скобы, Филимонова ухватилась за одну, попыталась подтянуться. Мокрый халат потянул вниз, она сорвалась, грохнулась в воду. Спасательный круг решил улизнуть, она его поймала за веревку. С третьей попытки ей удалось вскарабкаться на бакен, она накинула круг на штырь, на котором торчал фонарь. Рядом с цифрой была приделана латунная пластина с английским текстом: «Собственность береговой охраны Ее Королевского Величества Великобритании». Красный королевский фонарь безучастно мигал с равными интервалами. Филимонова зачем-то прислонилась к нему щекой.

— Теплый... — прошептала она и улыбнулась. За спиной что-то плеснуло, Филимонова обернулась, ничего не увидела, кроме чехарды мелких волн. Солнце, наверное, уже встало, но все небо было затянуто скучным, бледно-серым маревом. Вода тоже казалась серой, свинцовой.

Филимонова никак не могла отдышаться, она раскинула руки, прижалась

к крашеному боку бакена. Становилось душно, хотелось пить. Снова раздался всплеск. По воде расходились круги, под бакеном прошла тень. Филимонова, вглядываясь вниз, сухо сглотнула. Хоть бы дождь пошел, подумала она и увидела плавник. Он появился метрах в двадцати. Треугольный, словно из мокрой резины. Филимонова толком ничего не успела рассмотреть, он беззвучно проскользил и ушел под воду. У Филимоновой вспотели ладони, железные скобы резали пятки. Она хотела устроиться поудобней, левая нога соскользнула, и она едва удержалась. Плавник появился с другой стороны, описал стремительную дугу и пропал. Филимонова вжалась в крашеное железо, прилипла щекой, мокрым телом, она слышала, как в гулкой пустоте бухает ее сердце.

Тень прошла под буем, теперь она видела отчетливо. Не меньше трех метров.

— Господи... — прошептала она.

Плавник показался снова, совсем близко. Вода отсвечивала, но она разглядела тело, похожее на торпеду, большой хвост полумесяцем, острую хищную голову. Филимонова чувствовала, как затекли руки, онемели пальцы. К горлу подкатывало, она сглотнула, во рту стало горько, будто ее только что вырвало. Плавник исчез, но она видела темную быструю тень. Тень скользила у самой поверхности, резко меняя направление, в этих местах на воде закручивались буруны. У Филимоновой закружилась голова, она зажмурила глаза, пытаясь остановить круговерть. Тут же снова открыла, испуганно шепча:

— Что же я делаю? Господи, что же я делаю?

Тень вдруг пропала. Филимонова, стараясь не потерять равновесия, осторожно обернулась. Там тоже ничего. Покрутила головой — ничего. Стало светлей, дымка рассосалась. Солнце так и не выглянуло, но от яркого белого света слепило глаза. Вода теперь казалась зеленоватой. Филимонова вдохнула, у нее мелко дрожал подбородок.

Тут бакен подскочил, удар в днище отозвался низким гулом, словно кто-то саданул снизу резиновой кувалдой. Филимонова вскрикнула и сорвалась в воду. Тут же вынырнула, пытаясь поймать скобу. Мокрые пальцы соскальзывали. Она колотила ногами, поднимая брызги и пену. Колено угодило во что-то упругое и тяжелое, словно боксерская груша. Филимонова завизжала, выскочила по грудь из воды и наконец уцепилась. Закинула ногу на нижнюю скобу, и ей удалось подтянуться. Мокрый халат тянул вниз. Она выпуталась из него, он сполз в воду. Филимонова хотела его поймать, оглянулась и увидела акулью морду. Совсем рядом. Черные матовые глаза, гуттаперчевая серая кожа, зубы. Острый спинной плавник. На нем, словно прочерченные белым грифелем, виднелись шрамы. Акула дернулась, разинув пасть, стремительно вцепилась в халат и утащила его на глубину. Все это произошло моментально. Филимонова, замерев, таращилась в воду, на то место, где только что плавал ее халат. Она боялась пошевелиться, боялась дышать. Тело будто свело судорогой, мозг тоже, не было ни одной мысли. Круги разошлись, волны безмятежно плескались, чмокали железный бок бакена. Две чайки охотились вдали, они поднимались на высоту, кружились, а после камнем падали вниз. Филимонова закрыла глаза, вдавила лоб в крашеный металл. Воняло ржавчиной и тиной. За стакан воды она отдала бы все на свете.

32

Темнело. Акула так и не вернулась. Очевидно решив, что и сама Филимонова не вкуснее больничного халата. От жажды першило в горле, язык распух. Филимонова по-собачьи раскрывала рот, вдыхала теплый воздух, от привкуса соли и йода ее мутило. Облачность не рассеялась, к вечеру войлочная пелена затянула все небо. Но на дождь рассчитывать не стоило, это было очевидно.

Пыталась вспомнить, сколько может человек протянуть без воды. Мысли прыгали, постоянно возвращаясь к запотевшим бутылкам, кристальным стаканам, ледяным, прозрачным ключам и фонтанам. Сутки, двое? От чего наступает смерть? Наверное, просто сходишь с ума... Филимонова провела ладонью по губам, словно чужие — они тоже распухли и горели.

Стемнело, вокруг стало серо и тоскливо. Красный фонарь безразлично моргал, на его плоской макушке Филимонова разглядела солнечную батарею. «Вот оно что, — без особого интереса подумала она. — Теперь ясно...»

Можно прыгнуть в воду, нырнуть как можно глубже и там вдохнуть. Это должно сработать. А если там эта тварь притаилась? Филимонову передернуло, нет, в воде по своей воле она не окажется. Был бы яд! Как в кино, цианистый калий — раз и все. Или дуло в висок. Тоже наповал. И быстро. Хотя наверняка дикая боль.

Она вспомнила деда Артема: бледные ступни, пытающиеся дотянуться до стебельков травы. Увидела ясно, словно вчера это было. Она так никогда и не узнала причину. Сейчас ей казалось, что она вот-вот поймет, разгадает. Еще одна маленькая деталь и все сложится в ясную картину. Ведь она сама уже почти там.

По щекам текли слезы, они казались горячими, жгли распухшие губы. От красного моргания чернота вокруг была гробовая. Филимонова зажмурилась, но пульсирующая краснота пробивала сквозь веки.

«Я просто чокнусь, просто свихнусь от этого чертового семафора!» — прошептала она и вдруг завыла, сипло и едва слышно. Тело затекло, мышцы ныли. Она медленно разжала один кулак, пальцы не чувствовали ничего. Лишь мелкие иголки, миллион. Она просунула кисть в веревочную петлю спасательного круга, потянула — круг сидел прочно.

«Теперь, если я потеряю сознание или усну...» — она не додумала и уснула. В забытье Филимонова продолжала обнимать бакен. Он вразвалку покачивался, педантично моргая красным. Рубиновая рябь рассыпалась по волнам, исчезая в черноте. Филимонова улыбалась, она очутилась в большой белой комнате. Окон не было, свет словно сочился сквозь молочные стены. От этого света становилось радостно. Сквозь стену, как сквозь туман, в комнату вошел Эдвард.

— Ты же... — Филимонова замялась.

— Нет, — он засмеялся. Засмеялся и протянул ей стакан воды.

Вкусней ничего не было на свете. Вода не кончалась. Филимонова жадно глотала, проливала на грудь, прохладные струи текли по животу, щекотали пах, стекали по ляжкам. Эдвард смеялся, русая прядь падала на лоб, он рукой откидывал ее назад.

— Я не могу напиться, — тоже смеясь, проговорила Филимонова. Вода из стакана лилась, будто из крана, брызги искрились, летели во все стороны. Филимонова вдруг поняла, что на ней нет одежды, что она вся мокрая. Эдвард замолчал, протянул руку. Дотронулся до ключицы.

— Но ты ведь... — Филимонова ощутила холод его пальцев.

Рука скользнула вниз, сосок сразу набух, едва он сжал его. По животу

побежали мурашки. Потом ниже. Другая рука на затылке — ее тело помнило все — вот он прихватил ее ухо губами. Сладкая судорога свела низ живота. Накатила слабость, она нашла его рот, мокрый, холодный. Пахло розами, забытыми в вазе розами. Запах что-то напоминал, тревожил. Она отгоняла это. Сжимая его ягодицы, подалась вперед лобком. До упора. «Какая вам разница? — огрызалась она. — Отстаньте от меня!» Рядом никого не было, но ей чудилось, что сквозь молочную белизну за ними наблюдают сотни осуждающих глаз.

От роз мутило, она выгнула спину. Рот стал горячим, липким. Сладкие, жаркие слюни — словно проснулась с леденцом во рту. Потащило, ощутила, как ее затягивает мучительная истома, она задохнулась на секунду, потом хрипло вскрикнула.

Чайки белыми пятнами качались на волнах. Вдруг, как по команде, торопливо захлопали крыльями и разом взмыли прямо в золотой рассвет. Наступило утро.

Время исчезло, осталась жажда. Ничего кроме жажды. Неужели у человека могут быть еще какие-то желания? Другие желания. Кроме желания пить.

Сколько прошло дней, она уже не помнила, ей казалось, что она всю жизнь торчит на этом чертовом бакене. Почти вросла в него. К полудню стало припекать, и Филимонова сползла в воду. Она помнила про акулу, но ей было плевать. Она, раскинув руки, опускала лицо в теплую, соленую воду, набирала ее в рот. Во рту становилось горько, начинало мутить. Волны покачивали ее, хлюпали по борту буя.

Солнце застряло в зените, вода посветлела, казалось бирюзовой. «Медный купорос» — непонятно откуда всплыло в ее голове. Что это? Как это называлось? Делать опыты, да. Кабинет химии, пробирки, бородатый Менделеев, похожий на больного дьякона. Вонь газа вперемешку с вонью кислот, щелочей, окисей, закисей... Господи, неужели это тоже я? Та, в тесной форме и с рыжим хвостом. «Аня, придется пригласить родителей в школу». Кристаллы купороса — совсем как бирюза. Мятые записки, потные ладони. Куда все сгинуло? Какой иезуит так устроил?

Филимонова вспоминала, в памяти проступали неясные лица, блики, запахи. Солнечное поле с полоской леса вдали, пахнет нагретой травой. Дача. За пригорком — речка, ее не видно, но Филимонова знает, она там. Она бежит по тропинке, беззвучно шлепая сандалиями по сухой глине, во рту привкус черничного киселя.

— Как же я раньше не догадалась? Ведь так просто! — она хотела улыбнуться, но губы спеклись и не двигались. — Это ж как смерть! Той Филимоновой, что бежала купаться, ведь ее больше нет. И вспоминаю я о ней словно о неизвестной девчонке. И другая Филимонова — та, которая выходила замуж, разводилась, врала, шлялась, работала парикмахершей в Кронцпилсе — ее тоже нет. И мне, сегодняшней, на нее плевать.

Филимонова, задыхаясь, бормотала, стараясь не упустить нить.

— Вот я ... — она запнулась, — вот меня не станет. Я превращусь в пар, в лунный свет. В воду... Да, именно в воду! И мне будет точно так же плевать на вот эту вот дурацкую Филимонову, застрявшую сейчас на чертовом бакене.

Она бессильно шлепнула ладонью по воде.

— Господи! — она подняла лицо. — Ты или садист, или дурак. Оставь меня наконец в покое!

Солнце пекло, время от времени Филимонова сонно погружала лицо и

голову в воду. В тепловатой зеленой мути играл свет, лучи уходили вглубь, там гасли. Дно бакена — темный круг, поросший мягким плюшем, впаянное кольцо в центре с обрывком склизкого троса. От жажды горло першило, казалось, что глотка скукожилась. Слюна стала клейкой, тягучей, язык прилип к гортани. Появилось ощущение болезни, словно у нее жар: пьяная слабость забытья сменялась лихорадочной нервностью. Сердце колотилось, стучало в висках. Она выныривала, глотала соленый воздух, оглядывала безнадежно чистый горизонт. Дождь, господи, ну где же дождь?

Желание выжить перестало быть выбором, оно слилось с жаждой, это уже был инстинкт. Она поняла, что упустила момент, теперь у нее просто не хватит духа. Не хватит воли натянуть нос этому бородатому, там наверху. Ведь не даром это смертный грех. Убивая себя, я убиваю и Его. Его сумасшедший мир. Я кричу — Ты решил развлечься, позабавиться, устроил всю эту чехарду. Ведь Ты всесильный и вездесущий, и даже волос не упадет с моей головы без Твоего ведома. И вся эта кровь и смерть, и войны, и голод, и эти тощие африканские дети, что дохнут как мухи, — все это Ты! Ты сотворил мир и увидел, что он хорош. Правда?! Землетрясения, засуха, наводнение — Тебе это нравится? Освенцим и Хиросима — ведь даже волос не упадет без Твоего ведома, не говоря уж про атомную бомбу. Выходит, и бомба тоже хорошо! Нравится! Да не маньяк ли Ты? Ведь даже ничтожные людишки по их законам — будь Ты одним из них — приговорили бы Тебя к высшей мере. Расстреляли, повесили, сожгли, гильотинировали, сгноили в тюрьме. Как маньяка и убийцу.

Филимонова вспомнила автобус на мосту, детские лица в запотевших окнах, ладошки, прижатые к стеклу. Серая вода несла мусор, набухала, поднималась на глазах. Вчера по радио говорили про угрозу прорыва Плявинисской плотины, дожди шли без перерыва почти неделю. Возможно наводнение. Филимонова бежала через парк, час назад объявили эвакуацию. Вещей не брать, только документы. Сухим пайком обеспечат по прибытию в безопасный район. Автобусы уходят с площади и с железнодорожной станции. До вокзала было ближе.

Дверь в церковь нараспашку, Филимонова заглянула внутрь — пусто, по полу рассыпаны тонкие свечки, серебряная мелочь. Сзади она услышала гул, обернулась. За деревьями не было видно ничего. Над головой с карканьем пронеслась воронья стая. Шум приближался, рос, напоминал грохот мощного водопада. Дальние деревья заколыхались, послышался треск сучьев. Филимонова застыла, какой-то звериный инстинкт говорил, что происходит что-то страшное. Сквозь деревья, огибая толстые стволы лип, вырывая кусты и ломая сучья, на нее неслась серая стена воды. Дверь на колокольню оказалась открытой, вода и грязь уже ворвались в храм, когда Филимонова взбиралась наверх по винтовой лестнице. Задыхаясь, выскочила на площадку. Парк затопило, волна двигалась на запад, в сторону вокзала. Там на площади стояли автобусы, суетились мелкие фигурки. Волна накрыла людей, подхватила автобусы, лениво потащила дальше. Криков не было слышно, грохот стоял, как во время шторма. Филимонову трясло, словно в лихорадке, она повторяла снова и снова:

— Вещей не брать, только документы, вещей не брать...

Она перегнулась, вода уже подбиралась к крыше. В потоке мелькнула голая спина, руки. Рядом плыло желтое кресло, потом застряло, запутавшись в ветках высоких лип. Филимонова кусала кулак, пытаясь унять дрожь. Потом сползла по стене, уткнула лицо в колени. Как такое может быть? Что это?

Услышала приближающийся стрекот, подняла голову: над колокольней

промчались два военных вертолета. Сделали вираж и понеслись в сторону Риги. Вокзал исчез, из воды торчала башня с часами, на них было час пятнадцать. Улица Ульманиса угадывалась по верхушкам фонарей, потом пропали и они, пропал кинотеатр, клуб с антеннами и спутниковыми тарелками на крыше. С востока поплыли белые пятнистые мешки, потом Филимонова разглядела — коровы, целое стадо мертвых коров. Она обернулась — часы исчезли. Посмотрела вниз. От парка остались лишь верхушки лип, похожие на редкий кустарник. Вдали, на горе, торчала башня костела. Исчезли церковное кладбище, плотина, заброшенная мельница с мертвым колесом. Все ушло под воду. Вода прибывала.

Где-то выла сирена, надсадно и монотонно. Филимонова пошла вниз по лестнице, осторожно ступая, словно крадясь. На втором пролете уже была вода. Филимонова присела на корточки, замерла, наблюдая за уровнем. Трещина на стене, которую она взяла за отметку, скрылась минут за пять. На поверхность всплыла икона, Филимонова выудила ее — Николай-угодник. Неожиданно сирена смолкла. Сразу стало слышно, как снаружи ворчит вода. Филимонова поставила икону к стене, быстро пошла наверх.

Течение ослабло, теперь это напоминало пустынную, медлительную реку. Как в половодье, когда грязный коричневый поток угрюмо тащит мусор и всякую дрянь. Город исчез, от Кронцпился осталась верхушка костела, макушки старых лип и филимоновская колокольня.

Противно дрожали ноги. Филимонова опустилась на каменный пол, прижалась щекой к беленой стене. Пахло сырой известкой. Закрыла глаза.

На прошлой неделе зарядили дожди. До этого стояла почти тропическая жара. Работы не было, Гунар Соломонович сидел в клиентском кресле с ноутбуком на коленях и развлекал Филимонову интернетными сплетнями.

— Вот послушайте, Анна Кирилловна, — извержение вулкана в Антарктике! Я ж говорю — это апокалипсис. Достукались! Доигрались!

Зав парикмахерской торжествующе потряс маленьким кулаком.

— Вот — в штате Невада во время подземных испытаний оружия нового поколения произошла катастрофа, повлекшая незапланированный взрыв нескольких ядерный устройств. Мощность взрыва не имеет аналогов, и поэтому последствия непредсказуемы. Та-ак... — Гунар Соломонович что-то бормотал скороговоркой, пропуская неважные, на его взгляд, места. Филимонова уткнулась лбом в стекло, по Ульманиса вниз неслись потоки воды, дождь усердно колотил по асфальту, поливал набрякшую зелень деревьев, темные блестящие газоны. У фонарного столба кто-то оставил старый велосипед, он стоял там со вчерашнего дня, мокрый, забытый, никому не нужный.

— Тектонический сдвиг... так, так... своего рода цепная реакция... — Гунар Соломонович оторвался от экрана и ласковым голосом спросил: — Может, чайку, Анна Кирилловна? У меня пряники имеются. Медовые...

33

Бакен подскочил, обдал Филимонову водой. Ветер усиливался. Поднялась волна, мелкие барашки наперегонки побежали на запад. Горизонт был чист, но с севера надвигалась какая-то дымка. Филимонова вздрогнула, она даже не услышала, а скорее угадала едва различимый рокот, тихое ворчание. Неужели гроза? Неужели дождь! Ухватилась за скобу, с трудом подтянулась. На северо-западе, вдоль горизонта вытянулась серая полоса, верхний край ее расплывался, как акварель по мокрой бумаге.

Буй раскачивало из стороны в сторону, Филимонова ударилась грудью о край. Отпустила руки, шлепнулась в воду. Волна тут же отнесла ее в сторону. Никуда не денется, подумала Филимонова с растущей тревогой, — бакен вдруг потащило вбок, быстро и уверенно, словно кто-то под водой тянул его за канат. Она пустилась вдогонку, сделала пару неуклюжих гребков. Руки казались свинцовыми, чужими. Филимонова, задыхаясь, перевернулась на спину, так плыть оказалось еще трудней. Бакен моргал красным, подпрыгивал на волнах, до него уже было метров десять. Не так уж много, догоню...

Грохнул гром, гулко, с протяжным эхом, так на даче было слышно, как сцепляют составы. Половину неба затянуло серым, горизонт на западе теперь растекся чернильными разводами. Там что-то лениво клубилось, изредка вспыхивая желтым мутным светом. Вода потемнела, волны бутылочного цвета, беспорядочно суетясь, неслись на запад. Начинался шторм. Филимонова поняла, что бакен ей уже не догнать. Она раскинула руки крестом, развела ноги, качаясь на волнах, стала смотреть вверх. Небо темнело. Набухало, будто опускалось. Пузатые тучи ползли, почти касаясь волн мохнатыми краями. Потом хлынул ливень.

Филимонова жмурилась, подставляя лицо хлестким струям. Раскрыв рот, она глотала дождь. Капли щекотали небо, она смеялась, вздрагивая от лимонных вспышек сипящих молний и оглушительного грома. Тучи затянули все небо, стало совсем темно. Молнии выхватывали на миг чехарду волн, исцарапанных дождем. Как черно-белый снимок — вспышка и сразу грохочущий мрак. Ливень шел стеной, Филимонова не верила, что сможет напиться, но жажда постепенно исчезла. Она закрыла глаза, раскинув руки. Гроза уползала на запад. Дождь выдыхался, стал реже, потом незаметно кончился.

Ночь навалилась сразу, словно кто-то выключил свет. Ни звезд, ни луны, кромешная темень. Хорошо бы утонуть во сне... Или потерять сознание — и на дно...

Она открывала глаза, вертела головой — чернота. Волны укачивали, Филимонова чувствовала, как засыпает, вместо черноты появлялись пестрые пятна, они пьяно кружились, куда-то неслись. Хотелось туда, с ними. Это оказалось проще простого — она ведь не весила ничего, надо лишь оттолкнуться. Волосы за спиной уже струились кобыльей гривой, рыжей и дикой. Где же раньше эта воля была? Прожила, как каторжная... А тут такая свобода, оказывается. Филимонова вспомнила, что она в воде, что она может захлебнуться. От этой мысли ей стало смешно: это же сон, как во сне можно захлебнуться? Проснусь как миленькая. Даже если утону.

Цветные пятна понеслись еще быстрей, уплотнились, переплелись лентами. Ну и чехарду они устроили — Филимонова засмеялась, тут же отозвалось эхо. Она крикнула:

— Эй! Есть кто живой?

В ответ снова раздался смех, эхо, кривляясь, повторило на все лады:

— Ой...ой...ой.

Вот ведь черти, улыбнулась Филимонова. И тут же появились черти. Верней, возникли тени, похожие на кляксы. Но она-то знала, кто это.

— Я вас не боюсь, — заявила Филимонова, неуверенно добавила: — Я сплю...

Черти заржали, эхо запрыгало, обезумело.

— Что тут смешного? — крикнула Филимонова.

— Ты умерла!

— Что?

— Сдохла! — эхо подхватило, и тут же кто-то взвизгнул фальцетом:

— Копыта откинула!

— А-а-а! Ла-асты склеила! — завопил нервный тенор.

— Много-оя лета-а! — поддержал хмурый бас.

Вдруг все пропало. Бас еще гудел, прямо перед собой Филимонова увидела дверь. Она неуверенно потянулась к ручке. Тронула ржавую скобу, холодную и шершавую. Надо просто толкнуть. Она вспомнила эту дверь, догадалась, что за ней. В щель уже были видны седые доски крыльца, темная от росы лавка, на ней ржавая подкова, дальше острая зелень травы. Филимонова зажмурилась и распахнула дверь настежь. Пахнуло сырым утром, горькой мокрой золой, влажной известкой. Открыла глаза. Дед Артем сидел на корточках под яблоней, что-то разглядывал в руках. Рядом стояло битое ведро с известкой, торчала самодельная кисть.

— Деда, — Филимонова сделала шаг, спустилась с крыльца. — Ты что, яблони белишь?

Дед Артем поглядел на нее, снова опустил голову.

— Что у тебя там?

Филимонова подошла, присела рядом. Дед осторожно раскрыл ладони — там был птенец. Он дрожал, неловко выворачивая голые крылья, раскрывал клюв. От писка у Филимоновой побежали мурашки.

— Деда, его надо в гнездо!

Дед помотал головой.

— Не жилец он, Нюрка. Покалечился.

Одну лапу птенец поджимал, она напоминала сухую ветку.

— Ну и что! Давай я его выкормлю, червей в хлеву сейчас насобираю. Или зерна!

— Мал он. Только мучить будешь тварь божью понапрасну. Не станет он есть.

— Нет, станет!

— Ты, Нюрка, не спорь, ступай в сарай, принеси лопату.

Филимонова пошла к сараю, писк вдруг оборвался. Она бросилась назад, птенец лежал на траве.

— Ты что... — она задохнулась. — Ты что... его убил?!

Она закричала и тут же проснулась. От крика она поперхнулась, закашлялась. Вода попала в нос, в горло. Филимонова барахталась, отплевываясь и ругаясь. Небо посерело, на востоке загорелись жидкие облака. Ни ветра, ни волн, полный штиль. Филимонова отдышалась, от соленой воды саднило горло. Она, плавно разгребая воду, осмотрелась. На западе темнели горы.

Она замотала головой, зажмурилась, протерла глаза: макушки гор посветлели, проступили морщины и складки на склонах. Филимонова ударила кулаком по воде, хотела закричать. Крика не получилось, горло сдавило, она беззвучно заплакала. За спиной показалось солнце, верхушки гор стали розовыми. Филимонова, словно боясь, что земля исчезнет, как мираж, не отводила глаз. Начала грести.

Расстояние определить было трудно, но ей казалось, что она может различить детали на берегу. Она уже ясно видела грузовик с синим кузовом и несколько катеров. По склону вверх уходили черные опоры, у обрыва она разглядела кабину фуникулера. В долине, за темной рощей, рыжели черепичные крыши.

— Господи, дым... — прошептала Филимонова.

Над крышей вытянулась прозрачная струйка сизого дыма и медленно поползла в небо.

ЛАУРЕАТЫ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА БАЛТИИ ПО РУССКОЙ ПОЭЗИИ — 2015

Вадим Гройсман

На лестнице миров

Зима

Кому не обещаны слава и честь,
Тот может под все одеяла залезть,
Придвинуть печурку к постели.
Кого не окликнула вечность, тот есть,
Живёт в угасающем теле.

Нельзя утверждать, что ему повезло, —
Он должен работать за свет и тепло,
Свой домик тащить неохотно.
Бывает, и двинуть рукой тяжело,
И слово припомнить дремотно.

А ночью такая случается дрожь,
Как будто непрошеной вечности ждёшь, —
И стёкла трясутся, и губы.
Так лупит по крыше безжалостный дождь,
Так воют сиротские трубы!

А серым в косую линеечку днём
Гуляет зима на просторе земном,
Хозяйствует голубь костлявый,
Но лучше питаться ячменным зерном,
Чем колотым сахаром славы.

Ты прав безымянной своей правотой:
Земля наливается чёрной водой,
Туманно и сыро в округе,
И жизнью, как будто тяжёлой рудой,
Полны твои слабые руки.

* * *

Из летней духоты, кружась навеселе,
Прохладный ветерок в ночные окна дунул.
Мне стало радостно, как будто я себе
Другую родину придумал.

Там времени не жаль: распахана тюрьма,
И старость бедная сияет, как награда.
Дороги-лесенки и белые дома
Среди плюща и винограда.

Гройсман Вадим — родился в Киеве в 1963 г. Окончил в 1985 г. Московский горный институт. Автор 6 поэтических сборников (последний — «Чудо пустыни», М., 2015). Победитель Открытого чемпионата Балтии по русской поэзии (2015) и других литературных конкурсов. С 1990 г. живет в Израиле, в г. Петах-Тиква.

Расшевелился ад, ползут его дымы
На тесный город, высеченный в кубе.
На лестнице миров, в горах чужой земли
Трубят псалом на древней тубе.

Из городских ворот мы выйдем налегке,
Забудем, как мучительно мечтали
Запечатлеть на камне и стекле
Сиюминутные печали.

Я прошлому не брат и смерти не слуга,
Все ратники мои умылись и воскресли.
Всё громче на невидимых лугах
Гудят пчелиные оркестры.

* * *

Мы долго жили в маленькой стране,
В том городишке — новичке на карте,
Где выстроились пальмы по струне,
Шумящей ночью в терции и кварте.

И год прошёл в заботе и труде,
Жара и холод сковывали душу.
Мы быстро плыли в медленной воде,
Чтобы однажды выбраться на сушу.

Пора бы отдохнуть, купить вина,
На кухне сесть под лунную пластинку,
Сказать тебе: «Ты у меня одна»,
Снять кожу дня и положить на спинку.

Потом опять словами жить начнёшь,
Суть излагать в доступном переводе.
Но тут всё сказано. Мы — это наша ночь,
Нестрогая, как музыка в природе.

Ависага

Оле

Страшен день, поднимающий палицу Божью
Над горячей, сухой и бесплодной страной,
Где меня, эти старые кости и кожу,
Одинаково мучают холод и зной.

Только к вечеру сыростью тянет из сада
И слышнее в источнике плачет вода.
Не жена и не девушка — ночь, Ависага,
Сняв дневные одежды, приходит сюда.

И во мраке мужского и женского тела,
В осторожном обхвате земного тепла
Я не верю, что быстрая ночь пролетела,
Что стыдливая нежность из рук утекла.

Ависага, осталась мне лёгкая малость,
Я к владыке Шеола спуститься готов,
Но хочу, чтобы снова ко мне ты прижалась,
Согревая от смерти своей наготой.

На счастливую плоть, на тебя уповаю:
Тормоши до утра, не давая заснуть
Сном, в котором одна лишь земля гробовая
Для меня обнажит безобразную грудь.

Серафим

Я живу суетой и разладом,
Как положено жить человеку,
Провожая потерянным взглядом
Равнодушного времени реку.

Но когда от бессилия злого
Замираю и плачу над нею,
Будто ангел... какое бы слово?
Пламенею. Да, пламенею.

Не до смерти ходить мне кругами,
Отдыхать на скрещении лестниц:
Оторвусь от щербатого камня,
Сам себе обжигающий вестник.

Никого не задев ненароком,
Только крышу пером оцарапав,
Я над этим углом и порогом
Пролечу шестикрылым сарафом.

Михаил Озмитель

Так велит дух Манаса

Перемены
(иссыккульское)

Здесь, у старых изломанных жизнью урючин,
всей-то тени —
ладони негде укрыться.
Что мне Дант и его комедийные крючья? —
Здесь уже всё случилось,
а он и не думал родиться.

Это озеро может казаться
на ощупь тёплым,
если только с морозу
и прямиком из Сибири,
но китайцы —
они ведь когда ещё делали стёкла! —
называли прозрачным.
Знали, о чём говорили.

Озмитель Михаил Евгеньевич — родился в 1957 г. в Киргизии, в г. Фрунзе. Окончил русское отделение филфака МГУ им. М.В. Ломоносова. Публикуется с 1980-х годов. В настоящее время — free-lance переводчик. Живет в Бишкеке.

И когда мне твердят про прогресс,
что хватит про вечность,
что пора развиваться,
я соглашусь отчасти:
это очень удобно,
когда под рукою «стечкин»,
но потом всё равно
в рукопашной приходится драться.

Мимолётней меня,
первородней меня,
цвета мёртвой полыни,
моя ящерка, ты
спасенье нашла в моей тени,
так и быть: я ещё постою,
погадаю тебе и себе на И-Цзине,
кто на береге диком
под урючиной чёрной
скоро нас сменит.

Перегон скота на джайлоо

У костерка кизячным дымом греюсь.
Темно в ущелье, а ледник над головой
уже встречает солнце; верхний ветер
сметает с гребня снежный прах.

Морозно там, а здесь ещё промозгло,
там ослепительно, а здесь ещё темно.
Друг к другу жмутся овцы, жеребёнок
пригрелся между двух кобыл,
берданка в инее, и холодно до дрожи
подумать только взяться за железо.

Старею, видимо, не я один:
наш волкодав преодолел смущенье
и притулился сбоку, так теплей.
— Как ты, мой друг, воняешь мокрой псиной,
а я тебе, наверняка, кирзой,
вчерашним спиртом, табаком
и, может быть, совсем чуть-чуть духами.

Он засыпает, и тяжёлая башка
мне на колени опустилась.
Вздохнул и приоткрыл глаза:
— Ты не прогонишь? — Нет, не прогоню,
давай ещё часок подремлем.

О происхождении поэзии

Этот город созрел,
как осенний курдючный баран.
Мы возьмём его кровь,
мы съедим его сладкое мясо.
Так сказал наш великий,
наш мудрыми избранный хан,
так нам предки ночами твердят,
так велит дух Манаса.
В этом городе воинов нет,
гордым незачем жить.
Но их женщины словно
поляны в горных пролесках,
моё имя их дети
будут гордо носить
и меня воспоют,
и сложат свой эпос.

Анна Маркина

Шиповник внутри страниц

* * *

сколько ни проговаривай. ни пиши. ни ври.
что ты оправилась. что календула расцвела.
что в твоем доме смолкли календари.
будто кричала, мучилась и девочку родила.
или такое что-то. прилив. песок.
розовый от кораллов. вода икает.
южное солнце стреляет тебе в висок.
вечер сшивает прямоугольники мотыльками.
все не проходит. шиповник внутри страниц.
там где герой целует. кого? в карете.
слышишь любовь. холишь чужих синиц.
держишь своих журавлей в секрете.
столько всего. что не вынесешь и вдвоём.
столько всего. что рядом живёт и тает.
свечи (смотри) загораются на каштанах.
и оплывают по капле на чернозём.

Маркина Анна Игоревна — родилась в 1989 г. Окончила в 2014 г. Литинститут им. Горького. Победитель многих литературных конкурсов, в том числе призер Открытого чемпионата Балтии по русской поэзии (2014 и 2015). Живет в г. Климовске.

* * *

я возвращаюсь как всегда к моим опухшим городам.
клоповникам что отгорели и упокоились в сирени.
сидеть на скорлупе эпохи. в душе темно. в диване блохи.
мигает свет. как неврастеник. столетние ковры на стенах.
снег вырос — вдох и облегченье. пошляешься. лизнёшь качели.
и как смешно и как легко примёрзнуть тёплым языком.
примёрзнуть к родине с торца. без имени и без лица.
ждать пенсии. ходить на штурм. контор. шараг. регистратур.
где часть штанины разыскав в пути теряешь весь рукав.
держись. пакуй добро. молчок. плетёт свой домик паучок.
кто заржавел? кто огрубел? скрипит на вдохах колыбель.
там я. подобно пауку. уже свой плач бескрайний тку.

* * *

человек умирал не какой-то шальной человечек
не пылинка какая-то бабочка и черемша
не кривой старичок что в троллейбусе рядом дышал
фитилёк на огрызке одной из замызганных свечек
мандельштамовский томик что ты прочитал и не понял
не приятель с которым на Ленина ты выпивал
не сходящая осенью в руки глухая листва
не забытый щенок дескать жаль и котенок и пони
а родной человек вся гармония тяжесть и гамма
для которого в омут на паперть давай-ка по сто
тот который тебе вместо пенного луга цветов
самолётик с сожжённым крылом человек оригами
это смерть эта смерть будто в вечность запущено эхо
и не ходит уже человек и лежит и молчит
и в тебе тишина что давай ты её закричи
и давай и давай будто взял он и просто уехал
будто вытащил два пострадавших в пути чемодана
и адью говорит отлетаю как стая грачей
только вот он лежит а ты рядом живой и ничей
словно город на милость каким-нибудь варварам сданный
человечек родной что мне сделать обнять может чаю
может просто сесть рядом обмякнуть уже зареветь
где ты прячешься свет моей жизни потерянный свет
я за этим кошмаром почти что тебя различаю.

Надя Делаланд

За дыханием сквозящим

* * *

Нас теперь разделяет не снег, не свет, не весна, не смерть,
а простое — больше нельзя писать, говорить, смотреть.
Вынимаешь сердце, кладёшь на стол, говоришь «лежать!»,
а оно трясётся, как рыба, и надо, хоть и жаль,
молотком пристукнуть его, добить, перестать дышать,
перестать стучать, перестать ходить, перестать бежать,
перестать, заглохнуть, заткнуть, забыть, замолчать, укрыть,
закопать и вырасти, может быть, у земли внутри.
Ничего, ты видишь, не удалось,
хоть и вырвалось — не разорвалось,
хоть и нет во мне его, но оно
до сих пор, по-прежнему, все равно...

* * *

пульс переписки нитевиден
(разряд! еще разряд!) у слов
бледнеют лица (встань и выйди)
мерцающая аритмия
снов

воды у комнаты по горло —
вот проплывает тот браслет
с твоим прикосновеньем — спёрла
и засушила память стёрла
но след

дорожка по которой было
движение та колея
где жизнь ходила и бродила
осталась — я тебя любила?
не я?

---

*Делаланд Надя (*настоящее имя — Надежда Всеволодовна Черных) — поэт, литературный критик, кандидат филологических наук. Родилась в 1977 г. в Ростове-на-Дону. Там же окончила филфак университета. Автор нескольких сборников стихов, в том числе «Эрос, танатос, логос» (М., 2005), «Писаная торба» (2010) и др. Живет в Домодедово.

* * *

Всё состоит из тёплых подробностей, из примет,
равно толкуемых всеми, — это
снова весна, и плевать, что снег,
что дохлая варежка на дороге
вся переехатая колесом
в сизом таком напылении кажется
голубем или котёнком

* * *

умирать совсем не страшно
надо только захотеть
рыжий лес увидеть сверху
горы тихие и степь
спящую
совсем не сложно
надо просто лечь в постель
и смотреть на лес и горы
рыжий тихие и степь
спящую
совсем не больно
просто вышагнуть скользнуть
за дыханием сквозящим
в синеву и белизну

Акрам Айлисли

Там, где ирисы не растут

Повесть

С азербайджанского. Перевод автора

«...и был я трехмесячным младенцем»

1

Выйдя из своей квартиры, расположенной на втором этаже одного из старых трехэтажных домов в центре города, Мамедов направился в сторону Приморского бульвара, поражаясь той странной легкости, которая невесть откуда возникла в его душе и в теле именно сегодня. Любопытно, объяснялась ли эта внезапная легкость предстоящей поездкой в деревню или на то имелись еще какие-то причины? Прошлой ночью, например, звонил из Нью-Йорка его сын Махир. А сам он вчера вечером позвонил в деревню и вдоволь наговорился с племянницей, голоса которой никогда прежде не слышал: и контакт, так сказать, наладил, и о своем скором приезде сообщил, от чего испытал некое душевное просветление. С каким-то необъяснимым удовольствием Мамедов загрузил вчера на баланс мобильного телефона 100 манатов, чтобы, будучи в деревне, иметь возможность без ограничений разговаривать с Джафаром. А сейчас он шел на бульвар, чтобы встретиться с ним. Он не видел Джафара уже около месяца, и, возможно, одной из причин душевного подъема Мамедова была именно предстоящая встреча.

Они были родом из одной деревни. Семь лет проучились в одном классе. После окончания семилетней сельской школы Джафар окончил педагогический техникум в райцентре, а потом поступил на филологический факультет уни-

---

Акрам Айлисли — известный азербайджанский писатель. Родился в 1937 году в селе Айлис. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького в Москве. В нашем журнале печатается с 1960-х годов. В советское время книги А.Айлисли издавались в союзных республиках и в странах Восточной Европы. Активно работает А. Айлисли и в наши дни. Его новые книги вышли в 2015 году на немецком, итальянском, финском, латышском, словацком языках. Лауреат нескольких литературных премий. В 2014 году номинировался на Нобелевскую премию Мира. Живет в Баку.

Подстрочный перевод Нигяр Мусави. Азербайджанское название рассказа: Daglar deyir ki, soyuqdur — Горы говорят, что им холодно.

верситета в Баку. Мамедов же, чье семейное положение на тот момент было крайне тяжелым, провел эти три года в деревне, работая в колхозе; днем трудился на полях и в садах, ночами сторожил колхозный амбар.

Так сложилось, что в Баку они перебрались одновременно. То есть в том самом 1955 году, когда Джафар поступил в университет, Мамедов же, распрощавшись с колхозом, приехал в столицу поступать в Промышленный техникум. В ту пору они время от времени случайно пересекались в различных местах города или же изредка встречались, договорившись заранее. Несколько раз сидели в чайхане в Малаканском садике, разок пили пиво в пивной у железнодорожнкого вокзала. А потом не виделись тридцать лет. Хотя слухи друг о друге, конечно, до них доходили. Мамедов знал, что после университета Джафар долгие годы работал в издательстве. И хотя у него самого не было времени на чтение, его сын Махир всегда с большим интересом читал написанные Джафаром статьи, интервью, которые тот давал газетам и журналам, и переведенные им книги.

Да и Джафар, конечно, имел кое-какое представление о делах земляка и однокашника, который, начав простым рабочим на крупном бакинском заводе, вырос впоследствии до его директора. Но когда ветреным осенним днем 1991 года они случайно встретились на чьих-то поминках, все эти тридцать лет жизни уже успели утратить всякий смысл для них обоих. Издательство Джафара было продано, завод Мамедова закрылся. Теперь Джафар писал диссертации за власть имущих, под чужим именем переводил толстенные книги и таким образом неплохо содержал семью и тихо попивал водку. Мамедов тоже не испытывал особых денежных затруднений. С тех пор как умерла его жена, а единственный сын Махир, выиграв грин-карту, уехал в Америку и нашел себе там работу, Мамедов вот уже более десяти лет жил один-одинешенек. Солидная пенсия, доставшаяся ему после двадцати лет государственой службы, с лихвой покрывала все его потребности. Да еще каждый месяц оставалось по 60—70 манатов, которые он в течение всех этих лет откладывал. Как раз тем утром он трижды пересчитал накопленную сумму. Она составила около десяти тысяч, и, возможно, это также сыграло свою роль в том, что, направляясь на бульвар, Мамедов пребывал в хорошем настроении. К тому же и погода стояла замечательная. Несмотря на середину июня, воздух был по-апрельски свеж и прохладен. Он напомнил Мамедову воздух той далекой горной деревни, в которой он родился и вырос и куда после многолетней разлуки собирался наконец отправиться сегодня вечером.

Они договорились встретиться в половине двенадцатого возле кафе «Жемчужина». До назначенного времени оставалось еще минут пятнадцать. Если Джафар пришел раньше, то сейчас наверняка сердито расхаживал взад-вперед, заложив руки за спину и ворча себе под нос. Но с Джафаром никогда ни в чем нельзя было быть уверенным — он мог и опоздать на час, а то и вовсе не прийти.

— Мамедов! — издалека, из давно минувших времен вдруг послышался ему голос Джафара. На тех самых поминках, где они встретились после долгого перерыва, Джафар окликнул его точно так же громко и бесцеремонно. И Мамедов, который более тридцати лет ни разу не видел Джафара, услышав этот голос, сразу же узнал его. И только потом разглядел самого Джафара, сидевшего за тем же столом, ближе к молле, — все такого же маленького и худощавого, откуда только голос такой мощный и властный берется. Лицо серое, как речной камень, волосы — цвета пепла, во рту, как всегда, сигарета. Он был одет в коричневый пиджак, из-под которого виднелась голубоватая шерстяная рубашка.

Мамедов не хотел пересаживаться к нему, но Джафар заставил.

— Садись, — сказал он, — садись, Мамедов. Я по тебе сильно соскучился.

Мамедов пристально посмотрел ему в глаза: «Разыгрывает или нет?» И не сумев определить, подумал, как обычно: «Чтобы Джафар, легко обводивший когда-то вокруг пальца всю школу, да не разыгрывал? Никогда нельзя было понять, что у него на уме».

Джафар словно услышал слова, мысленно произнесенные Мамедовым.

— Говорю же, соскучился, почему не веришь? Клянусь могилой отца, соскучился.

Теперь Мамедов уже не сомневался, что Джафар его разыгрывает. Всем, кто знал Джафара, было хорошо известно: если тот клянется могилой отца — значит врет. Потому что Джафар обожал глумиться над своим отцом и еще в школьные годы, когда родитель был жив-здоров, получал особое удовольствие, клянясь его могилой.

— Ладно, положим, я — старый негодяй. Но ты-то — воспитанный мерзавец. Почему ни разу не объявился?

— Не знаю даже. Занят был, наверно. — Мамедов через силу улыбнулся, пытаясь скрыть смущение.

— В деревне бываешь?

— Нет, никак не получается.

— Говорят, там уже почти никого не осталось. Все в город подались.

— Не знаю, не слышал.

— А что ты знаешь-то, Мамедов?

Мамедов не ответил, лишь вновь виновато улыбнулся. Джафар помолчал.

— Помнишь историю с ужом? — Чтобы снять неловкость, он решил сменить тему. — Помнишь, как из-за того ужа учительница Нубар закатила тебе хороший подзатыльник?..

— Да еще своей грязной галошей в живот пнула, — подхватил Мамедов. — А потом узнала, что это ты притащил в школу ужа, и выгнала тебя из класса, как собаку.

Видимо, неуместное позерство Джафара вывело Мамедова из себя, иначе он никогда не употребил бы грубого выражения. Но Джафар не обратил на это никакого внимания. Напротив, он, кажется, даже был рад услышать от Мамедова несвойственные ему слова.

— А какой это был уж, а?! Красавец! Двухметровой длины, шириной, чтоб не соврать, с ляжку самой учительницы Нубар. Желто-розовый, как лесной гладиолус. Загляденье!

— Да, красивый был уж, — с искренней радостью припомнил Мамедов.

Молла, мужчина лет сорока-сорока пяти, который вел поминки, уже давно заметил, что увлеченные разговорами люди совершенно забыли о его присутствии, и был сильно раздасадован, но старался этого не показывать. Спрятав глаза за очками и уставившись в Коран, он шевелил губами, периодически поглаживая черную, как смоль, бороду. Теперь он, чуть приподняв очки, внимательно пригляделся к Джафару, хитро, с некоторым даже ехидством, посмотрел на Мамедова, затем снял очки, подался всем телом вперед и, будто позабыв о том, что он молла и ведет поминки, вклинился в их беседу.

— Вижу, очень уж ты этого человека задираешь, — сказал он, с улыбкой подмигнув Мамедову. — Вы что, в деревне вместе в школе учились? А что за деревня-то?

— Отличная деревня. Там из свежего коровьего дерьма делают чудный

кизяк. Такой красивый — прямо произведение искусства. Точь-в-точь такой же, какой делают и в твоей деревне.

Молла, смутившись, отстранился, но вскоре вновь вытянул шею вперед.

— Я не потому спросил, уважаемый. Просто слышу, что ты называешь этого товарища «Мамедовым». Потому и интересуюсь. У вас, что ж, в деревне всех людей по фамилии зовут?

— Да нет, просто у него имя такое... — со смехом ответил Джафар. — Эй, Мамедов, а ну, скажи, как называла тебя учительница Нубар?

Мамедов обреченно улыбнулся.

— Вот видишь? Этого товарища с самого рождения по фамилии зовут. Еще до того, как его в комсомол приняли.

Молла растерялся и смущенно посмотрел по сторонам, не находя, что сказать.

— Ну, а все же, как его зовут-то? — спросил он наконец, уже без особого энтузиазма.

— Мамедом его зовут. Мамед Мамедов. Запиши себе там в тетрадку и возьми на заметку будущего клиента, чтобы знать, по ком читать заупокойную молитву, когда товарищ помрет. А то оплошаешь перед Аллахом.

Тут молла уяснил, что сидящий перед ним хлипкий субъект — один из безбожников, именующихся «атеистами», и, сказав про себя «чур меня, чур», захотел было свернуть разговор. Но вспомнив, что Аллах велел истинным верующим проявлять в таких случаях особое терпение и мудрость, решил продолжить беседу.

— Значит, Мамед Мамедов. — Молла сделал паузу, подыскивая нужные слова. — Что ж, пусть будет Мамед. Это просто русская форма нашего азербайджанского имени. Русский язык богат, это язык Пушкина, Толстого... — Стараясь показать свою образованность, он стал изъясняться пафосно. — Одно из первых имен Святого Пророка было Махмуд, а другое — Ахад. В священных книгах сказано, что каждый из ста двадцати четырех тысяч пророков со времен отца нашего Адама и матери Евы имели по несколько имен. В братской Турецкой республике имена Мехмет и Мухаммед имеют одинаковое значение. Мы, мусульмане, называем Иисуса Христа пророком Исой, а святого Моисея — Мусой. Если человек почитает пророка и веру, то не имеет значения, как произносить его имя.

— Имеет, еще как имеет! — сказал Джафар, старавшийся не выставлять напоказ свою ненависть к молле, но задыхаясь от злости. — Каждый истинный мусульманин старается дать ребенку имя пророка. Предположим, в семье пятеро мальчиков. И отца их зовут Мухаммедом. Что ему тогда делать? Вот и вынужден он назвать одного из сыновей Мамедом, другого Маммедом. Что же касается Мехмета, то его ты сюда не приплетай.

Джафар почувствовал, что, стараясь запутать моллу, запутался сам и стал нести околесицу. И оттого еще больше рассердился.

— Ты хоть знаешь, что «мехметчиком» в Турции называют рядового солдата? То есть маленький воин великого Мухаммеда. А это значит, что каждый рядовой турецкой армии всегда готов к священному джихаду.

— Но я же ни слова не сказал о джихаде, — обиженно пробормотал молла, оторопевший от внезапного натиска Джафара. — Я просто спросил о вашей деревне. Как она называется?

Джафар помолчал. Мамедов догадался, что тот выдумывает какое-нибудь дурацкое название, чтобы поиздеваться над моллой. Так оно и вышло.

— Мамуста! — выпалил наконец Джафар, вперив в моллу полный ненависти взгляд. — Что? Чего вылупился? Неужто не понравилось тебе название нашей деревни?

Молла в смятении огляделся по сторонам, побледнел и, гневно выпучив глаза, сказал:

— Мамуста находится в Ленкорани. Это моя родная деревня. Ты назвал ее нарочно, чтоб поиздеваться надо мной. А еще на интеллигентного человека похож... Имей к себе уважение.

Чем больше мрачнел молла, тем больше прояснялось лицо Джафара.

— Извини, я этого не знал, клянусь могилой отца! Просто на ум пришло, вот и сказал. А что, ваша деревня и в самом деле Мамустой называется? Надо ж, какое хорошее название. Женскую баню напоминает.

— Аллах всемогущий! — Молла весь как-то съежился и обиженно отпрянул.

Начали подавать еду. Несколько молодых парней торопливо раскладывали-расставляли на столах соль, хлеб, сыр и зелень. Не взглянув на моллу, Джафар спокойно встал и вышел. Мамедов тоже не собирался задерживаться, но ему так не понравилась выходка Джафара, что он посидел еще немного, ожидая, пока тот удалится. Однако Джафар не ушел, он поджидал Мамедова чуть поодаль от шатра, стоя на обочине и жадно куря сигарету. Дождавшись Мамедова, он зашагал рядом с ним, какое-то время они шли молча, потом Джафар сказал:

— Ты же знаешь, мне всегда не нравилась эта бородатая братия. Мне противны их рожи.

— Надо было быть чуточку сдержаннее. Ты бедняге слова сказать не дал. Мамед, Мехмет, Мохаммед... А под конец и вовсе палку перегнул. Как ты вообще до этой Мамусты додумался?

— Да никак. Хотел сказать Мамыш, а получилось Мамуста. Разве это не одно и то же?

— То есть ты не знал, что есть такая деревня в Ленкорани?

— Конечно, не знал. Что первым на ум пришло, то и сказал.

— Ну, тогда ты ясновидящий!

— Чего? Это еще что такое?

— Экстрасенс. Не притворяйся, ты лучше меня знаешь, что это такое.

— Говорю же, не знаю, не веришь? В первый раз слышу. — Джафар хитро усмехнулся.

— Может, могилой отца поклянешься?

— Пошел он на х... мой отец с его сраной могилой.

Оказалось, что дом Джафара находился неподалеку от того места, где проходили поминки. Пройдя еще немного, он направился к одной из выстроившихся вдоль дороги пятиэтажек.

— Ну, все, я пришел. Будь здоров!

Но, столь решительно попрощавшись с Мамедовым, Джафар вдруг передумал и вернулся.

— Возьми. Здесь есть мой мобильный, позвонишь, если захочется.

Он протянул Мамедову визитку и стремительно удалился.

Мамедов не позвонил. Прошло еще три-четыре года, и однажды вечером они вновь случайно встретились на бульваре. В этот раз поговорили по-человечески, без ссор и споров. И с тех пор вот уже несколько лет раза два в месяц созванивались и встречались все на том же бульваре.

2

Мамедов долго озирался по сторонам, подходя сверху по улице к кафе «Жемчужина», прежде чем увидел Джафара, в одиночестве сидевшего за столом в дальнем уголке, под сенью плакучей ивы. Надев очки и держа во рту сигарету, он что-то внимательно читал на маленьком ноутбуке, который всегда носил с собой. Завидев приближение Мамедова, он еще некоторое время не отводил взгляд от экрана, потом закрыл компьютер и громко крикнул:

— Эй, Джаник, поди сюда!

Человек, которого звал Джафар, стоял в дверях крытого помещения кафе. Это был высокий худой мужчина лет тридцати-сорока, с пышущим здоровьем смуглым лицом. В мгновение ока он предстал перед Джафаром.

— Что вам сперва принести: чай или покушать?

— Давай пока что чаю. Только для этого гражданина сделай заварки поменьше. Ему крепкий чай противопоказан, — весело ответил Джафар, довольный своей шуткой.

— Этот твой официант похож на приличного человека, — произнес Мамедов, не найдя что еще сказать.

— Он не официант, а здешний ночной сторож. Я заранее даю денег, чтобы он каждое утро ходил для меня за покупками. Он и готовить умеет. У него отлично получается борщ. И чай он прекрасно заваривает.

— Его на самом деле Джаником зовут?

— Не знаю я, как его зовут.

Мамедов заглянул в глаза Джафару.

— Ни слова правды никогда не скажешь. Как это может быть: человек для тебя каждый день за покупками ходит, а ты имени его не знаешь?

— Тупица ты, Мамедов. И в детстве такой же тупицей был. Слушай, зачем мне его имя? Я зову его Джаником, и его это устраивает. Ты ел? — спросил он после того, как Джаник принес чай.

— В такое-то время? Конечно.

— Ну да, есть надо с утра пораньше, когда во дворе учительницы Нубар кукарекает первый петух, а то вкуса не почувствуешь. Я заказал шикарный борщ. Хочешь?

— Ты собираешься есть борщ после чая? — усмехнулся Мамедов.

— Нет, после чая я собираюсь выпить граммов сто водки. А потом уже — борщ. Здесь тебе что, детский сад, что ли: сперва каша, а после — компот или кисель?

После чая Джаник принес полный стакан ледяной водки. Вслед за ней появился борщ, который и в самом деле был замечательным: ярко-розовым, с аппетитным ароматом. Джафар накрошил в него хлеба и с удовольствием съел, но всю водку выпить не смог и вылил половину на землю.

— Эй, Джаник! А мороженое ты купил? — спросил он у сторожа, стоявшего на своем прежнем посту. — Будешь мороженое, Мамедов?

— Нет. Будто не знаешь, что у меня врожденный бронхит.

— У тебя все врожденное. Лучше было вообще не рождаться с этим врожденным бронхитом.

После того как Джафар умял шоколадное мороженое и вытер рот салфеткой, между ним и окружающим миром будто бы образовалась некая пустота, и он уставился в эту пустоту.

— Едешь, значит? — спросил он после долгого молчания не свойственным ему дрожащим голосом. — Мне нравится твоя сегодняшняя физиономия. Хорошо выспался, видать.

— Нет, какой там... Всю ночь деревня снилась. От той огромной ивы Сеида у родника до с*а*мого шиповника на берегу реки.

— Молодец! Хорошо погулял! — Джафар вдруг изменился в лице. Устремив взгляд куда-то вдаль, он как будто тоже мысленно прогулялся по всей деревне, после чего вернулся назад и непривычно тихо произнес:

— Мне этой ночью тоже деревня снилась. Только это был дурацкий сон. Расскажу — не поверишь.

— Поверю, почему ж не поверю! — искренне сказал Мамедов, впервые в жизни увидевший Джафара таким задумчивым и растроганным. — Это ж сон... Во сне всякое бывает.

— У пастуха Сафара был черный пес, помнишь? Будто и не пес вовсе, а родной брат Сафара. Все понимал, как человек. Угадывал любые желания хозяина. Скажет Сафар: принеси ту посудину — тут же приносил и ставил ее перед ним. И вот, Мамедов, во сне я превратился в того самого пса.

Мамедов заглянул Джафару в глаза: «Разыгрывает или нет?» Но нет, Джафар не разыгрывал. В его глазах его не было ни капли лукавства. Они были ясными и печальными, будто это и не всегдашний Джафар вовсе.

— И вот, Мамедов, отыскал я лаз под воротами нашего дома и осторожно пробрался во двор. Отец поливал деревья, а мать мыла посуду на краю арыка. Как только отец увидел меня во дворе, набросился на меня с лопатой в руках и закричал: «Эй ты, вон отсюда! Пшел вон!» И так шандарахнул меня по голове, что я превратился обратно в человека. Точнее — в тринадцати-четырнадцатилетнего подростка. «Иди, накоси на колхозном лугу клевера для коровы! — Отец мой, сукин сын, сказал это уже не псу, а мне самому. — Давай, пошевеливайся, а то возьму да трахну твою мамочку!»

Джафар горько усмехнулся.

— Я слышал от отца эти слова тысячу раз: «А то возьму да трахну!». Он говорил это и при маме, и в ее отсутствие, а она никогда не возражала. Ей это будто даже нравилось. А по ночам такое начиналось... Просто караул. Настоящая вакханалия. «Язык, дай язык!» От отцовских стонов весь дом дрожал. Хотя, что это был за дом... Так, прихожая да одна маленькая комната. И отцу было совершенно наплевать на то, спит ребенок или нет. Мог среди ночи проснуться и вскарабкаться на мать. Говоришь, я слишком груб? А что мне делать, царствия небесного желать этому мерзавцу?

Багир, отец Джафара, служил милиционером в райцентре. Мамедов видел этого человека практически каждый день. По утрам, когда скотину выгоняли на пастбище, милиционер Багир тоже появлялся на дороге, ведущей через горы из деревни в райцентр. Эти 6—7 километров пути он всегда проходил пешком — и туда, и обратно. Отец Мамедова, Маммед Мамедов, был сборщиком налогов. Его работа также была связана с райцентром, только он бывал там не каждый день. Но часто он шел туда вместе с Багиром, хотя терпеть его не мог. Да, собственно, этот Багир был противен всем. Но Мамедову все же казалось странным, что родной сын тоже испытывает к нему такую ненависть. И только сейчас ему стала ясна причина этой ненависти. Мамедов был поражен.

— А потом снится мне, будто я опять стал псом и брожу по деревне, разыскивая наш дом, но не могу его найти. Так и хожу, поскуливая, от одной

двери к другой. — У Джафара увлажнились глаза. Он изо всех сил тер их, сдерживая слезы. — Боюсь и рассказывать, что было дальше. Может, не стоит?

— Рассказывай! — с непритворным инересом сказал Мамедов, которому действительно хотелось услышать продолжение этого сна.

— Помнишь Гюльчохру?

Мамедов, который никак не ожидал услышать от Джафара это имя, со страхом увидел блеск, вдруг появившийся в его глазах. Было в этом блеске что-то неземное, потустороннее. Будто позабыв обо всем, что есть в этом мире, Джафар вглядывался в тот свет, видя там рано ушедшую из жизни Гюльчохру.

В тот год, когда начались занятия в школе, Гюльчохры не оказалось в классе. Говорили, что мать отвезла ее в Баку, чтобы показать докторам. И будто бы столичные врачи обнаружили у нее неизлечимую болезнь — рак! Говорили, что Гюльчохра умрет. Пусть не этой осенью, но уж зиму точно не переживет. Но через месяц после начала занятий она все же пришла в школу. Это была все та же Гюльчохра — она ничуть не похудела, и характер ее совсем не изменился.

Наверняка мать не рассказала девочке о ее болезни. Врач тоже не мог ей этого сказать. Тем не менее, Гюльчохра знала, что умрет. Она говорила об этом повсюду — и в школе, и на улице. Причем, говорила с радостью. Будто впереди ее ждала не смерть, а свадьба или праздник — что-то очень хорошее, не имеющее никакого отношения к болезни и могиле.

Непонятно почему, из всех четырнадцати мальчиков класса Гюльчохра выбрала именно шебутного, худого и непоседливого хитреца Джафара. Без тени смущения она всегда вставала на его сторону и от души радовалась, когда постоянно опаздывавший на уроки Джафар вдруг появлялся в дверях класса. Когда он отвечал у доски, бедная девочка ерзала за партой, места себе не находила. А Джафар будто всего этого не замечал и не обращал на Гюльчохру никакого внимания. Кто знает, может, именно это и было главной причиной того, что девочку все сильнее к нему тянуло.

Гюльчохра и прежде не стеснялась говорить о своей «любви» к Джафару — полушутя-полусерьезно. А после поездки с матерью в Баку и вовсе перестала сдерживаться. Теперь она даже во время уроков заигрывала с ним, а на переменах глаз с него не сводила, ходила за ним по пятам. Джафар же продолжал демонстрировать равнодушие. Но, как оказалось, равнодушие это было притворным. Впоследствии выяснилось, что и Джафар не ровно дышал к Гюльчохре. Он признался в этом уже после ее смерти. Говорили, что назадолго до того Джафар каждый день встречался с ней в колхозном саду.

— Ну что за сон, Мамедов, это же чистый кошмар! Ты только подумай: беспризорный пес, которого все бьют, отовсюду прогоняют, слоняется по деревне!.. — Джафар с жадностью затянулся сигаретой и выпустил дым через нос. — И вот наконец вижу я себя на кладбище. Брожу между могил, обнюхивая надгробные камни. И боже ж мой, сколько их, этих могил! Я все иду, иду, а они не кончаются. Будто весь мир превратился в одно бескрайнее кладбище. И вдруг вижу, со стороны перевала на дальнем конце дороги, ведущей в райцентр, прямиком из того места, откуда восходит солнце, ко мне летит Гюльчохра. Летит в своей красной косынке, будто ангел! А я ведь пес, а не человек. Вот и переживаю: узнает она меня или нет? Чуть не задохнулся от злости. Так, задыхаясь, и проснулся...

Джафар задумался, уставившись на пустой стакан из-под водки. Видимо,

ему опять хотелось выпить. Лицо его сделалось мертвенно-бледным. Лишь глаза продолжали болезненно блестеть.

— Она не боялась умереть, — слабым, как шепот, будто не от мира сего, голосом продолжал Джафар. — Единственное, чего она боялась, — уйти из жизни девственницей. Однажды она сама мне об этом сказала. Спросила: «Джафар, что делают жених с невестой в ночь после свадьбы?» Если б захотел, я мог тогда это сделать... Но я не сделал. Не решился. Она обняла меня и заплакала. Знал бы ты, как она плакала, Мамедов! Я в жизни такого не видел. — Сказав это, Джафар наконец успокоился. Тревожный, холодный блеск в его глазах постепенно угас, и голос стал прежним. — Выпью-ка я кружку пива, пожалуй. Присоединяйся.

— Спасибо. Что-то не хочется после чая.

Он громко позвал Джаника.

Мамедов с удивлением смотрел, как Джафар после мороженого с наслаждением пьет пиво. Сейчас ему было его жалко. Он верил, что Джафар и в самом деле видел этот сон. Именно прошлой ночью, после того как Мамедов сообщил ему, что собирается ехать в деревню. Значит, тот телефонный разговор напомнил ему деревню, которой он так давно не видел, растрогал его, встревожил душу, взбудоражил память, нарушил его душевное равновесие.

— Стало быть, в деревню едешь? — сказал Джафар, допив пиво и закурив. — И где ты там будешь жить?

— Так ведь наш дом все еще сто*и*т. За ним присматривают дети моей сестры. Вчера вечером я спросил у племянницы, она говорит: дом цел и невредим, даже крыша за столько лет ни разу не протекла.

— Наш тоже цел, кажется. Не знаю, кто за ним присматривает. Наверняка кто-то хранит там сено или скотину держит, не дает дому разрушиться. Долго ты в деревне пробудешь?

— Месяц, если получится.

— А от сына есть что-нибудь?

— Да, он часто звонит. Очень всем доволен.

— А тебя к себе не зовет?

— Зовет. Каждый раз говорит, мол, собирайся и переезжай ко мне. Но не хочется мне в таком возрасте на чужбине жить. Не тянет меня в Америку.

— Тупица ты, Мамедов, ей-богу, тупица. Не можешь отказаться от своих коммунистических взглядов. Наверное, и партбилет хранишь?

— Да, храню! — с вызовом ответил Мамедов, обиженный насмешливостью, вновь появившейся в голосе Джафара. — И буду хранить до конца своей жизни!

— Да уж, храни, береги как зеницу ока. Покажешь азраилу, когда он явится за тобой. Нет в тебе ни грамма ума, Мамедов. Вместо Америки едешь в задрипанную деревню. Думаешь, там будет с кем поговорить? Чего хорошего ты видел в этой деревне, что так по ней скучаешь?

— Ну почему же? Там было немало хорошего.

— Где это?

— Да там, там, в этой, как ты выразился, задрипанной деревне. Хоть зимой приходилось тяжко, зато помнишь, как весной и летом мы кайфовали в колхозных садах, когда начинался сезон фруктов? Собирали абрикосы, алычу, сливы, складывали в ящики и грузили на машины консервного завода. В часы отдыха уходили в тень, ели, пили, болтали, смеялись, перешучивались с девушками и даже не замечали, как день прошел.

— Ну да, днем перешучивались с девушками, а по ночам дрочили в своих постелях.

Хотя Мамедов давно привык к грубости, с какой Джафар говорил о подобных вещах, на этот раз почему-то покраснел до корней волос.

— Не пойму, ей-богу, почему ты так любишь все опошлять?

— Потому что, Мамедов, я всегда называю вещи своими именами, всегда говорю по сути дела. А суть у всего сущего пошла и отвратительна. Твои прежние однопартийцы сейчас сидят в роскошных кабинетах и спокойно собирают взятки. А ты все еще наслаждаешься воспоминаниями о сборе абрикосов для консервного завода в нечеловеческую жару и, наверное, думаешь о выполнении колхозного плана. А по ночам купаешься в Озере Мехбалы, и оно кажется тебе бескрайним океаном.

Мамедов был поражен. Потому что именно прошлой ночью, впервые после долгого перерыва, он вновь увидел во сне то глубокое водохранилище, которое называли в селе «Озером Мехбалы»; раньше оно снилось ему чуть ли не каждую ночь.

— Божье наказание ты, Джафар. Как догадался, что мне снилось сегодня озеро?

В глазах довольного Джафара появилось обычное хитрое выражение.

— Озеро! Господи боже ты мой! Ты еще скажи море! Океан метров пятнадцать — что в длину, что в ширину. Мехбалы днем набирал туда воду, чтобы по вечерам, когда станет прохладнее, поливать колхозный тутовник.

— Ну так ведь мы же все звали его озером. Какое имеет значение, было ли так на самом деле или нет?

— Значение имеет то, что ты, Мамедов, все лужи на свете считаешь озерами.

Мамедов видел, что Джафар опять заупрямился: его вовсе не волновало озеро, он просто хотел поспорить, затеять противостояние. Потому Мамедов решил не отвечать. Но озеро, приснившееся ему вчерашней ночью, было и впрямь неописуемо красивым. Оно было наполнено чистой, прохладной родниковой водой, и в глазах рябило от сочных ярко-зеленых листьев огромных ореховых деревьев, склонившихся над ним. Вокруг было полно детей: одни купались, другие грелись на солнце, голышом улегшись на берегу. Был там и прославленный деревенский пловец Машаллах — высокий и крепкий парень, черный от загара, умевший продержаться под водой ровно 90 секунд и получивший прозвище Тарзан за то, что мог броситься в воду с самых верхних ветвей грецкого ореха. Машаллах давно и добровольно взял на себя обязанность учить плавать деревенскую мелюзгу и получал от этого особое удовольствие. Вот и теперь он выстроил в ряд на краю озера пять-шесть малышей, которых тренировал по собственной методике, а он, маленький Мамедов, стоя в сторонке, с опаской наблюдая за своими ровесниками.

Машаллах заметил его и сказал веселым бодрым голосом: «Иди сюда, не бойся. Давай научу тебя плавать». Этот до боли знакомый голос во сне показался Мамедову бесконечно родным и милым. И если бы в тот момент он не услышал другой голос, голос Джафара, то наверняка всласть поплавал бы во сне в прозрачных и прохладных водах Озера Мехбалы. Но внезапный окрик голого Джафара, стоявшего позади Машаллаха, лишил его этого удовольствия: «Эй, стой, куда прешь! Дурак, не видишь, что ли, там змеи!»

В характере Джафара грубость и нежность всегда были неразлучны, как палец и ноготь.

А сегодня он решил, видимо, как можно сильнее уязвить Мамедова.

— Мамедов, ты мне сказки-то не рассказывай! Когда ты говоришь о деревне, меня просто тошнит. Видел, как теленок вдруг ни с того ни с сего начинает прыгать на месте от счастья? Особенно весной, когда полно травы и воздух замечательный — ни холодный, ни жаркий — хоть ешь его, как сливки. Вот и у нас с тобой было точь-в-точь такое счастье, Мамедов. Потому что мы не знали, что такое счастье. Это было не детство, Мамедов, а самый настоящий ад. А ты до сих пор не можешь отличить ад от рая. Когда в послевоенной Германии наши ровесники ели на завтрак масло и мясо, нам доставались кусочек ячменного лаваша и ломтик сыра размером с палец. А в некоторых домах и того не было. А сразу после уроков мы, как баранье стадо, шли в колхозный сад и паслись там, как скот. Отправляли в рот все подряд — от виноградных листьев до цветов айвы и акации. И жуя только еще завязывающиеся несъедобные плоды абрикоса, алычи и миндаля, ждали вечера в надежде на то, что дома будет хоть какой-то ужин. А он то был, то его не было. Наши с тобой отцы отделались от колхоза и устроились на государственную службу, ближе к власти: один милиционером сделался, другой — сборщиком налогов. И за это получили от народа высшую награду — стишок: «Мамед — нахал, Багир — шакал». Никто в деревне их за людей не считал. Черный пес Сафара и тот пользовался бо́льшим уважением. Зарплаты моего отца хватало лишь на 4—5 пудов муки. Ну и твой папаша, предположим, получал столько же. Все голодали, Мамедов, — и колхозники, и мелкая чиновничья сошка. А государство так запугало народ, что никто и пикнуть не смел. Мужества у них оставалось только на это самое дело: «Язык, дай язык!».

Джафар произнес это, с силой раздавив в пепельнице только что зажженную сигарету. И то ли по привычке, то ли от нервов, тут же закурил новую.

— Помнишь Косого Мухтара? Было ему больше семидесяти, а все равно держал ослицу. И все знали, что эта ослица — вторая жена Мухтара. Вот что представляла собой эта твоя хваленая деревня, Мамедов. И не думай, что сейчас она сильно изменилась. Возьмись за ум, продай квартиру и уезжай к сыну в Америку. Тем более, квартира твоя за хорошую цену пойдет: четыре комнаты в центре города, за нее много дадут.

Нельзя сказать, что слова Джафара никак не подействовали на Мамедова. Еще как подействовали! Во многом он готов был даже согласиться с ним. И все же в душе он хранил совсем иной образ деревни и не смог бы отказаться от него, даже если бы захотел. К тому же то, что Джафар именно сегодня так злобно говорил о деревне, вызывало подозрение: уж не завидует ли он, ни разу не бывавший там после переезда в Баку, его поездке?

— Я же билет купил, — сказал Мамедов едва слышно, опасаясь, что Джафар опять рассердится.

— Сдай его.

— Не могу. Я уже и племяннице сообщил. Она знает, что я приеду завтра утром.

Джафар был не на шутку встревожен. Будто не Мамедов, а он сам собирался туда ехать. Так или иначе, было ясно, что он не перестанет говорить, пока не освободит душу от жгучего яда необузданного упрямства.

— Думаешь, в память о твоем папаше Маммеде, тебя там на руках носить будут? Ты забыл, как этим стишком дразнила нас вся сопливая деревенская шпана? Я их жестоко лупил, когда они попадались под руку. Но эти сволочи даже меня не боялись. Солдатским строем шли по улицам и бешено орали:

«Маммед — нахал, Багир — шакал!». Думаешь, отца твоего на пустом месте нахалом прозвали? Нет, так не бывает, друг мой! Просто он, собирая налоги, совсем стыд потерял. Откуда у людей могли взяться деньги в те времена, чтобы еще и налоги государству платить? А твой бессовестный папаша на своей позорной должности начисто лишился всего человеческого. У кого не мог взять денег, забирал ковер, седло, казан, кувшин — что найдет. А если не находил ничего в доме, не гнушался даже тем, чтобы залезть в курятник и утащить кур и цыплят. Однажды я сам видел, какую рукопашную он устроил у родника с бедной старой Билгеис. Она принесла самовар, чтоб его помыть, так они и ухватились за него с двух сторон — Билгеис за одну ручку, а твой отец за другую — и тянули каждый в свою сторону. Наконец одна из ручек оторвалась и осталась в руке несчастной Билгеис. Боже, как она плакала! А люди сбежались со всех сторон и с ужасом смотрели на это. Вот каким подлецом был твой отец, Мамедов. Думаешь, его там хоть кто-то добрым словом вспоминает?

На этот раз Джафар — умышленно или случайно — задел самое больное место Мамедова. Он и сам прекрасно знал, какой кошмар творился в домах, куда его отец приходил за налогами. И ему всегда было стыдно. Он много раз со слезами умолял отца уйти с этой работы, а когда тот скоропостижно умер, даже обрадовался. Мамедов до сих пор считал основной причиной своей нерешительности и безволия именно то, что родитель его работал в такой конторе. Слова Джафара очень его расстроили. С трудом взяв себя в руки, он сказал без всякой уверенности в голосе:

— Думаешь, люди до сих пор помнят, что было тогда в деревне?

— Там никогда ничего не забывают! — твердо заявил Джафаров, акцентируя каждое слово. — Нам с тобой крупно не повезло в жизни, Мамедов. Еще тогда, когда наши отцы, трусливо увильнув от крестьянского труда, пошли в госчиновники. «Маммед — нахал, Багир — шакал!». Запомни, Мамедов: обозленный на больших шишек народ всегда отыгрывается на мелких чиновниках! — Джафар вдруг прервал свою речь и протяжно зевнул. Чувствовалось, что он очень устал, но и совладать с собой никак не может. — Ладно, выпьем еще чаю и пойдем. Эй, Джаник, завари-ка нам хорошего чаю!

— А дома ты чай не пьешь, что ли? — спросил Мамедов, не зная, что еще сказать.

— Пью, конечно. Сейчас вот приду, заварю чаю и сяду работать. Я никогда не обедаю днем дома. А иногда и по вечерам прихожу сюда, чтобы поесть. У Джаника люля-кябаб тоже отлично получается.

Мамедов понял, что Джафар опять сплавил семью — жену и двух незамужних дочерей. Старшая дочь Джафара вышла замуж за одного из бывших активистов «Народного фронта» и жила теперь в Турции. А к двум другим дочерям пока еще никто не сватался, и каждое лето Джафар отправлял их вместе с женой в Бузовны, на дачу, оставшуюся от свекра. А сам, оставшись в городе, жил в свое удовольствие.

Пока Джаник не принес чай, Джафар не проронил ни слова. В боковом кармане его пиджака время от времени звонил телефон, но он не обращал внимания. На этот раз, однако, достал аппарат и ответил на звонок.

— Да, знаю, — обычно громогласный Джафар говорил теперь очень тихо, почти шепотом. — Все будет к сроку. Два месяца. В крайнем случае — три. До конца года будет готово. Я вам когда-нибудь врал?

Положив телефон в карман, он прокомментировал:

— Натуральный псих. Глава исполнительной власти огромного района, а

мозгов меньше, чем у того пса Сафара. В прошлом году сделал одну дочь доктором философии, а теперь хочет, чтобы и вторая защитилась. Будто его дочери для меня важнее министров или депутатов. За последние полтора десятка лет я сделал докторами наук троих министров. И на данный момент несколько депутатов ждут у меня своей очереди. Даже из аппарата президента один тип на днях звонил. Этому ублюдку тоже, оказывается, нужна ученая степень, — сказал Джафар, по-детски похваляясь и любуясь собой. — А ты как думал, Мамедов? Высшая аттестационная комиссия еще не смогла придраться ни к одной из написанных мной работ.

Хотя Мамедов знал, что в последние годы Джафар пишет диссертации за других, он был до глубины души поражен тем, что услышал. У него не было никаких сомнений в уме и образованности земляка, но он также знал, что при случае тот умеет и хорошенько приврать. Однако, если хоть десять процентов из сказанного Джафаром было правдой, значит, скоро в этой стране от науки вообще ничего не останется, ее навсегда угробит жадность власть имущих. Думая об этом, Мамедов впервые порадовался тому, что сын его живет не на родине, а за границей.

— Напиши и себе диссертацию, Джафар, — сказал Мамедов с искренней доброжелательностью. — Пусть среди стольких фальшивых ученых будет хоть один настоящий.

— Издеваешься?! — Ни с того ни с сего разозлившийся Джафар вскочил с места и собрался уходить. — Ты неисправим, Мамедов, как был олухом царя небесного, так и остался. На кой мне сдалась докторская степень? Мое дело — удовлетворять ненасытное чванство чиновничьей своры, для которой слава превыше чести и порядочности и которая не знает, куда деть нечестно полученные деньги, а себе — зарабатывать на хлеб и водку. Тщеславие у нас в крови, Мамедов! А государственная служба для хозяев нашей страны — лишь особое положение, при помощи которого можно удовлетворять свои пошлые желания. Помнишь, с какой настырностью мы в советское время каждый год клянчили у Кремля переходящее красное знамя? И исправно получали его год за годом, только непонятно, за какие подвиги. И теперь у власти те же самые люди, Мамедов. Только им теперь не красное знамя нужно, а ученая степень, чтобы скрыть за ней свою ничтожность. Эти ублюдки совсем обнаглели от дармовых денег, начали соперничать друг с другом: дескать, если его отпрыск — доктор наук, то почему бы моему тоже им не стать? Это болезнь, Мамедов, неизлечимая болезнь властолюбивой своры. О, как я ненавижу этих ублюдков!

Этими словами Джафар закончил свою разоблачительную речь, и злость его тут же прошла. Разговаривая, они дошли до подземного перехода на площади Азадлыг, там, как всегда, попрощались. Джафар, живший в стороне Ясамала, каждый раз садился возле этого перехода в такси.

— Ты сломался, Мамедов, сильно сломался, — сказал он, уже садясь в машину. — Иди. Счастливого пути. Не бойся, я не дам тебе соскучиться. Буду звонить каждый день.

3

Мамедов, пару часов назад будто на крыльях летевший на бульвар, сейчас возвращался оттуда совершенно другим человеком. Он стал вялым и медлительным, даже легкий летний пиджак вдруг показался ему тяжкой ношей. И воздуха будто ему не хватало, чтобы свободно дышать. Он шел и ворчал себе под нос:

«Ух, Джафар; да ну тебя, Джафар...» А перед глазами стояло Озеро Мехбалы. И это «озеро» сильно отличалось от того, что он видел во сне: это было обычное маленькое водохранилище, и вода в нем была мутная и грязная. И всякий раз, когда мальчишки постарше, прогуливавшиеся вдоль него, обильно замазав «стыдные места» илистой черной грязью, ступали в эту воду, она еще больше замутнялась. Все как один — голые, в чем мать родила. Лишь давно закончивший школу и по ночам сторживший колхозное управление Тарзан Машаллах прикрывал свой стыд «набедренной повязкой» из ивовых листьев.

«Неужели в то время не было трусов?» — спросил сам себя Мамедов. И услышал ответ голосом Джафара: «Какие еще трусы, идиот! Где ты видел, чтобы в летний зной деревенские дети носили трусы? Летом в деревне даже девушки на выданье трусы не надевали. У каждой женщины были одни-единственные панталоны, и те они носили, лишь когда сильно похолодает. Многие надевали эти панталоны в начале зимы и снимали только весной. Стирали, ставили заплатки и убирали до следующей зимы. Напомни-ка, что за время года было, когда учительница Нубар заехала тебе в живот своей загаженной в хлеву галошей? Да, правильно, была весна. Причем в самом разгаре — недели две до летних каникул оставалось. Так вот, когда она подняла ногу, разве на ней были трусы? Не было, ты и сам видел. Клянусь могилой отца, Мамедов!»

После этого настроение у Мамедова окончательно испортилось. До такой степени, что, не дойдя до дома, он повернул было от парка Сахиль в сторону вокзала, намереваясь вернуть в кассу лежавший в кармане билет. Но, удрученный самой этой мыслью, вдруг ощутил острую потребность присесть в парке на скамейку.

«*Ты сломался, Мамедов, сильно сломался!*» Ему показалось, что все живое и неживое слышит эти слова: и вода, шумно плещущаяся в фонтане, и детишки, бегающие вокруг него. И хотя Мамедову не хотелось верить, что он сломался, он отлично знал, когда, где и почему это произошло. Да, да, именно тогда, в тот осенний день... Безумный бакинский ветер будто пытался разнести в клочья весь этот окаянный мир. Он завывал по-волчьи, по-собачьи, трепал растущие на заводском дворе ели, сосны, оливковые деревья, и в кабинете Мамедова стекла непрерывно дрожали и поскуливали от его порывов. Ветер словно бил тревогу, сеял над землей страх и ужас.

В городе не прекращались митинги, повсюду кипели волнения. Большинство заводов уже не функционировало. На заводе Мамедова часть рабочих тоже начала прогуливать, но работа пока что продолжалась. Мамедов надеялся, что правительство вскоре наведет порядок, положит конец анархии и хаосу и все постепенно вернется на круги своя. Однако, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Уже через пару часов один-единственный телефонный разговор навсегда положил конец всякой надежде Мамедова на благополучный исход событий.

Звонил ему не посторонний человек, а свой, с которым он был связан долгими годами работы на директорском посту, — высокопоставленный чиновник Центрального Комитета Аждар Азимович, курировавший промышленность, человек, до того дня вежливый и обходительный. Но в тот день он говорил будто не своим голосом, а голосом какого-то чужого, грубого, бессовестного и низкого человека.

— Ты еще там, Мамедов? — спросил он, даже не поздоровавшись.

— Тут, где же еще, — ответил Мамедов, предчувствуя неладное.

— Рабочие тоже там?

— Да, большинство на месте.

Аждар Азимович заорал:

— Отправляй всех на митинг! Срочно, немедлено! А сам убирайся и сиди дома. Завод не будет работать, Мамедов, пойми ты наконец! Этот твой сраный завод никому сейчас не нужен. Сейчас нам нужно, чтобы все рабочие были на митинге!

— А что потом? — спросил Мамедов, раздавленный услышанным.

— Суп с котом! Говорят тебе: отпускай людей и уходи.

Разговор закончился. Не прошло и пяти минут, как в кабинет вошел молодой рабочий, слывший одним из самых воспитанных и послушных юношей на заводе, и безо всякого стыда приказал ему:

— Вон отсюда! Твоя власть сдохла. Теперь у нас демократия.

«Оказывается, вот она — их демократия, Джафар! — мысленно произнес Мамедов и опасливо огляделся по сторонам, будто его мог кто-то услышать. — Ты говоришь, что я сломался. Да как же я мог не сломаться, если больше половины моей жизни прошло на том заводе? Еще учась в техникуме, я по ночам работал там сторожем. Потом — рабочим, позже -— инженером... И все пятнадцать лет, пока директорствовал, я вкалывал там день-деньской, всю душу вкладывал. С девяти утра до одинадцати вечера торчал там безвылазно. Домой добирался выжатый. Единственный сынок меня раз в неделю видел. И вдруг ни с того ни с сего — убирайся, не нужен нам твой завод. Ладно, предположим, я уйду. А несчастные рабочие, которых ты лишил работы и отправил на митинг, чем они завтра будут кормить свои семьи? По чьему указанию ты поставил на всем крест, Аждар Азимович? Кто тебе сказал, что завод, кормящий более пятисот рабочих семей, теперь никому не нужен? Почему этот завод, являвшийся одним из самых передовых промышленных объектов страны, вдруг стал для тебя «сраным»...»

Если поначалу рабочие приходили поодиночке, то постепенно они стали объединяться в группы и угрожали Мамедову расправиться с ним физически. А после полудня на территории завода появилась банда борадачей. Они с княжеским достоинством прогуливались возле кабинета Мамедова. А рабочим велели остановить работу в цехах и идти на митинг, угрожая тем, кто не хотел этого делать.

Ближе к вечеру, видимо, получив чье-то указание, они вломились в директорский кабинет, сильно напугали Мамедова, но, к счастью, не тронули. «Давай, дядя, иди, — сказал старший из них. — Иди домой, отдыхай, чай пей, телевизор смотри. По вечерам идут отличные мексиканские сериалы, смотри себе, кайфуй. С завтрашнего дня все будут на митинге. Что тебе тут одному делать?»

Борадачи не стали препятствовать Мамедову в том, чтобы забрать из сейфа некоторые важные документы. И, сопроваждаемый ими, Мамедов навсегда покинул свой кабинет.

К вечеру ветер немного стих. В воздухе пахло дождем. Машина директора завода стояла на обычном месте, но шофера нигде не было видно, Мамедов и не пытался его найти. Он даже отчасти порадовался тому, что водителя не было в машине. Потому что за последние несколько недель тот тоже совершенно переменился. От его былой почтительности и услужливости не осталось и следа. Да и зачем Мамедову нужны были машина и шофер, когда многомиллионное имущество завода стало вдруг никому не нужно?

Часть пути Мамедов прошел пешком. Ему не хотелось идти домой и

появляться перед женой и сыном в таком жалком виде. Но не зря же говорят, что пути господни неисповедимы. Такого приема в собственном доме Мамедов никак не ожидал — жена встретила его так, будто давно обо всем знала: о безобразии, творящемся на заводе, о том, что Аждар Азимович стал заодно с борадачами и что Мамедов тем вечером должен был вернуться домой уже навсегда... На ужин она приготовила фирменное праздничное блюдо их семьи — луковую долму, фаршированную телятиной с шафраном и имбирем. Купила на базаре арбуз. Поставила на стол все имеющиеся в доме варенья. И даже не стала спрашивать о том, что произошло на заводе. Ни слова не промолвила, пока Мамедов, поев и попив чаю, не встал из-за стола. Тогда она принесла и положила перед ним свои сбережения — завернутую в коричневый платок толстую пачку денег.

— Деньги у нас есть, слава аллаху. На целый год хватит. Пусть пропадет их завод вместе с правительством. Что это за власть, которая сама себя не хочет защитить и не может справиться с кучкой крикливых борадачей, обнаглевших от безнаказанности?

— Откуда это?! — спросил Мамедов, опасливо глядя на деньги.

— Да откуда ж еще им быть? Это твоя честно заработанная зарплата. Ты приносил ее домой, а я тратила, сколько надо, а остаток откладывала каждый месяц.

4

Тепло поминая жену, Мамедов встал и пошел из парка, сам не зная куда. Пройдя порядочное расстояние, он вдруг заметил, что идет не по той улице, которая ведет к его дому. Интересно, что это за место? Ага, надо же, улица 28 мая. Было так многолюдно, что иголке некуда упасть, да и машин на дороге было не меньше чем людей, снующих туда-сюда. Повсюду — магазины, и тротуары полны торговцами. Из магазинов раздавался оглушительный рев динамиков. Новоявленные певицы и певцы дурными голосами орали какие-то модные отвратительные песни. Из одного какая-то женщина откровенно умоляла мужчину: «Ты успокой меня. Ну, успокой же меня. Приди и охлади меня». А из другого мужской голос отвечал: «Жди, жди меня, желанная, я приду, когда начнутся дожди». Причем пел он таким сладострастным голосом, будто дождь был единственной возможностью утолить страсть любвеобильной особы, желающей «охладиться» в горячих мужских объятиях .

Пропали утренние свежесть и прохлада. Воздух нагрелся и пропитался дешевыми кулинарными запахами и пошлой музыкой. Ему померещился треск стрекоз. Такое случается. Особенно когда человек сильно устает. От усталости часто мерещится пенье птиц, шорох осенних листьев. Случается, что, сидя в своей бакинской квартире, ты слышишь доносящееся откуда-то из дальних степей шипенье змей, визг полевых крыс.

Этот стрекот опять перенес Мамедова в родную деревню. Стояло лето. Жара неимоверная, раскаленный зноем мир, казалось, вот-вот расплавится. И надоедливый стрекот бесчисленных стрекоз, прячущихся в ветвях деревьев большого колхозного сада, будто возвещал на весь свет о том, как невыносимо жарко здесь в это время дня. Был разгар сбора абрикосов. Обливающиеся потом мужчины, женщины и девушки срывали спелые плоды и ведрами сваливали их в ящики, привезенные с консервного завода. Жажда, слабость, головокружение... Детей, объевшихся абрикосами, без конца поносило, даже взрослые мужчины то и дело

отбегали в кусты на краю сада. Даже женщины и девушки частенько хватались за живот. И в чем же заключалась красота тех потных, измотанных девушек, с животами, опухшими от воды, которую они пили без конца в тщетной надежде утолить жажду?

Как и Озеро Мехбалы, тот абрикосовый сад в глазах Мамедова стал стремительно терять свою былую привлекательность. И он не мог понять, Джафар ли виноват в этом или он и сам пришел бы к этому рано или поздно.

Думая о Джафаре, слушая стрекот стрекоз и плохо соображая, где находится, Мамедов наконец понял, что идет на железнодорожный вокзал.

Да, он шел на вокзал. Но непонятно было ему, зачем надо проделывать такой длинный путь — от парка Сахиль до памятника Самеду Вургуну, — чтобы дойти до вокзала.

Тем же путем он вернулся назад. Весь взмок, и в горле пересохло. Конечно, у него была цель, ради которой он направлялся на вокзал. Ведь помнил же он, что ему нужен был именно вокзал. Но теперь, как ни странно, он будто самому себе не хотел признаться, зачем шел туда. В этот момент он больше всего жалел о вчерашнем звонке в деревню и, может, именно поэтому гнал от себя мысль о том, зачем шел на вокзал. Он боялся этой мысли, стеснялся ее. Потому что подобное легкомыслие было чуждо его природе, противоречило его морали. Даже если Джафар прав, все равно сказанное им не должно было перевернуть вверх дном все его прежнее представление о деревне и столь внезапно изменить давно задуманный им план. Но хотел он в это верить или не хотел, факт оставался фактом — Мамедову больше не хотелось ехать в деревню.

Почти дойдя до вокзала, он вдруг развернулся и направился в сторону дома. Билет, который он собирался вернуть в кассу, лежал в нагрудном кармане пиджака. Мамедов достал его, взглянул и сунул обратно в карман. Но он не спешил домой и, увидев за одним из поворотов зеленый сквер, остановился. Здесь было что-то вроде кафе или ресторана — стеклянная постройка, возле которой какой-то парень жарил на мангале шашлык. Чуть в стороне от него задумчиво стояла низенькая полная женщина. Лишь за одним из десятка расставленных на большом расстоянии друг от друга столов сидели трое мужчин и неторопливо пили пиво. Его прозрачная пшеничная желтизна притягивала к себе, как магнит, сгоравшего от жажды Мамедова.

Стоило только Мамедову усесться за одним из пустых столов, как тот самый парень, жаривший шашлык, моментально возник перед ним.

— Что вам принести, дядя?

— Пива, — ответил Мамедов. — Принеси мне пива, умираю, как пить хочу.

Парень настороженно поглядел на Мамедова, который за последние несколько часов словно бы стал еще более старым и немощным.

— Может, воды? Есть холодный «Sirab» и «Badamli».

— Нет, принеси пива, — решительно сказал Мамедов, перед мысленным взором которого тут же предстал Джафар, пьющий пиво в «Жемчужине».

Ему казалось, что никогда в жизни он не пил ничего вкуснее. С каждым глотком он оживал и расслаблялся. К нему возвратилось утренее хорошее самочувствие. Порядком захмелев, Мамедов ощутил сильный голод и, вознамерившись заказать себе шашлык, громко окликнул снова стоявшего возле мангала парня:

— Эй, Джаник, поди сюда!

Сперва парень подумал, что клиент зовет не его, а кого-то другого. Он огляделся по сторонам и без видимой охоты подошел к Мамедову.

— Ты *меня* звал, дядя?

— Ну да, кого же еще.

— Меня не Джаником зовут. Меня зовут Самир.

— Я поесть хочу. Что у вас имеется?

— Есть готовый шашалык из свежего ягненка. А если хочешь, можем приготовить для тебя отличную дюшбару. Вон та женщина готовит ее лучше всех во всем Баку. — Он указал на полную женщину, все еще в задумчивости стоявшую возле кафе.

— Она, наверно, и борщ хороший готовит. — Эти слова Мамедову будто сам черт нашептал. Он понял всю неуместность и бессмысленность сказанного. В данный момент ему хотелось только шашлыка. При чем тут борщ?..

— У нас не бывает борща. Принести шашлык?

— Да, неси шашлык. — Мамедов чуть поразмыслил. — И стаканчик водки.

— Сто пятьдесят? А шашлыка сколько? Одну порцию?

— Две! — приказным тоном сказал Мамедов.

— А помидоры и баклажаны будут?

— Да, пусть будут.

Съев кусочек шашлыка, Мамедов залпом выпил принесенную официантом водку, и она понравилась ему так же, как и пиво.

— Эй, Джаник, завари-ка мне хорошего чаю! — На этот раз Мамедов окликнул парня еще громче, забыв о том, что тот ему недавно сказал.

Официант подошел очень быстро и выглядел обиженным, он даже заметно покраснел.

— Я же тебе сказал, что меня зовут не Джаник, а Самир! Здесь тебе не чайхана. Мы чай не подаем. Иди пей чай у себя дома. Ты старый человек, нельзя тебе пить водку. С тебя 40 манатов.

Выходя из дома, Мамедов положил в карман купюру в пятьдесят манатов. Вынув деньги, он протянул их официанту.

— Сдачу оставь себе, — сказал он, встал и ушел.

5

На следующий день Мамедов сильно удивился, когда, проснувшись, увидел, что оставшиеся с советских времен и уже лет сорок служившие ему верой и правдой часы с будильником показывают ровно семь.Собственно, в этом не было ничего странного. Много лет подряд он просыпался в это время и летом, и зимой, и когда надо было идти на работу, и когда не надо. Мамедова удивило другое: вчера под вечер, вернувшись из кафе и даже не выпив чаю, он сразу же завалился в постель, и получалось, что все это время он проспал, как убитый, ни разу не проснувшись. Невероятным казалось и то, что у него ничуть не болела голова и его не тошнило. Более того, сознание было более ясным, чем обычно. Он во всех подробностях припомнил вчерашний странный день: встреча с Джафаром, парк Сахиль, долгое кружение вокруг вокзала, забегаловка в сквере в тени деревьев; пиво, водка и шашлык; без труда припомнил Мамедов и имя официанта — Самир; он отчетливо представил себе даже то место, где разорвал и выбросил лежавший в кармане билет, купленный в кассе железнодорожного вокзала шесть дней тому назад.

Вчера по дороге домой Мамедов мысленно вернулся в свой деревенский дом

и в своем хмельном воображении вдоволь на него нагляделся. Приземистый одноэтажный домик с плоской земляной крышей. Одна комната и прихожая. Во главе комнаты — старый стол, на нем — керосиновая лампа, четырехугольное зеркало размером с двойной тетрадный лист и самая ценная в доме вещь, мамино приданое — старинный медный самовар.

На единственной в комнате железной кровати спал отец Мамедова. Остальные члены семьи укладывались бок о бок на разосталанных на полу матрасах, летом задыхаясь от жары, а зимой дрожа от холода.

Мамедов вспомнил этот дом до мельчайших подробностей: от входной двери до крохотного двора, где росли большое тутовое дерево и несколько кустов сумаха и барбариса. За этими кустами скрыт был туалет с низкой фанерной дверью. И во всем этом давно позабытом жалком зрелище самое угнетающее впечатление на него произвела полутемная прихожая. Там были холодные серые стены, обмазанные смесью глины с соломой, земляной пол, а на этом полу — весь продуктовый запас семьи: немного лука, немного картошки, фасоль, горох, сушеные фрукты. Эти фрукты, которые высушивала на крыше его мать, Мамедов сам приносил из колхозных садов, рассовав по карманам, пряча от бригадиров и звеньевых, и хотя тогда это уже не считалось воровством, вчера выпивший и расчувствовавшийся Мамедов со стыдом осознал, что по сути это было воровством.

У Мамедова теперь были все основания считать правильным решение не ехать в деревню. Это подтверждали и чистые розовые лучи июньского бакинского солнца, ярко отраженные в окнах дома напротив. Удобно лежа в постели и любуюясь этими утренними лучами, Мамедов мысленно продолжил свой спор с Джафаром. И в этом заочном споре вел себя смело, с достоинством, даже готов был демонстрировать перед ним некоторые свои преимущества. И в самом деле, чем он хуже Джафара? Одевается прилично, деньги в кармане водятся. Четырехкомнатная квартира в центре города, куда лучше квартиры Джафара. Он тоже, если захочет, может каждый день обедать в ресторане. А иногда и выпивать по сто-сто пятьдесят граммов водки. Ну, предположим, поехал бы он в деревню. И как бы он там жил? Кто бы носил ему воду из ручья, кто бы покупал хлеб и готовил обед? Допустим, та самая железная кровать, на которой когда-то спал отец, еще сохранилась. Как бы спал на ней Мамедов? Да ладно еще кровать, а как бы он в таком возрасте вставал ночью и шел через весь двор в уборную?

Сходив в туалет, Мамедов вновь улегся в постель. И тут же ему вспомнился сон, приснившийся этой ночью. Ему снилась деревня, на которую едва начинал опускаться вечер. Еще непонятно было, зашло или нет солнце, но его блеклый желтоватый свет растекался пока по дорогам и крышам, и в этом свете он увидел женщину с черным платком на голове и коричневой шалью, обернутой вокруг пояса, женщина шла из верхней части деревни в сторону его дома. Голосом, лицом, походкой и одеждой она походила то ли на сестру Мамедова, бывшую на пять лет старше него, то ли на племянницу, дочь этой сестры, которую Мамедов никогда не видел. Возможно, она была и той, и другой, кто знает. Но женщина была ему близка по крови, и шла она по деревенским улочкам, громко и возбужденно оповещая весь деревенский люд о близком приезде Мамедова. Вскоре Мамедов осознал, что это не сестра, а именно племянница — Бибиханум. Теперь в этом не было сомнений, так как она останавливалась перед калиткой каждого дома, восклицая: «Дядя приезжает, мой дядя приезжает!» Услышав это, из окон высовывались люди, чьи знакомые лица Мамедов видел очень четко, они казались ему даже живее, чем когда-то в реальности. «Дядя приезжает, мой

дядя приезжает. Знаете зачем? Чтобы могилу моей матери привести в порядок, да, могилу, могилу, могилу...»

Потом племянница стояла уже не на улице, а в их маленьком дворике. Она по-прежнему была очень взволнована, размахивала руками и указывала Мамедову на окна дома с прогнившими рамами и разбитыми стеклами, осколки которых валялись на земле.

«Нет, дядя, ты приехал сюда не затем, чтобы могилу в порядок привести, — говорила она. — Откуда у тебя на это деньги? Если б у тебя были деньги, окна этого дома не стояли бы сейчас без стекол».

Во сне Мамедов пережил и множество других странных событий, в его памяти вновь всплывали ужасы давно пережитых унижений. И потому теперь он был уверен, что поступил правильно, не поехав в деревню.

Попозже, встав и позавтракав, он собирался позвонить племяннице и придумать какую-нибудь правдоподобную причину. Сложнее было с Джафаром. Как он объяснит ему свой отказ от поездки? Как объяснит то, что, выпив кружку пива и стакан водки, передумал и порвал билет? Из-за этого поступка он мог потерять его уважение. И больше всего Мамедова тревожило именно то, что он может предстать перед Джафаром в неприглядном виде.

Конечно, он мог некоторое время не звонить Джафару и не отвечать на его звонки. Потом он решил, что можно сказать, будто ему позвонил сын из Америки и сообщил, что на днях приедет в Баку. И что именно поэтому он не смог поехать в деревню. Но самый верный способ не пасть в глазах Джафара Мамедов нашел после того, как встал, умылся и хорошенько позавтракал. Он страшно обрадовался. «Посмотрим, Джафар, кто кого разыгрывает, — с энтузиазмом воскликнул он, очень довольный своей придумкой. — Ты еще пожалеешь, что тогда притащил в школу ужа и что из-за тебя учительница Нубар пнула меня своей грязной галошей. С этого дня я в деревне, Джафар. Ты сто раз меня разыгрывал, дай-ка и я тебя разок разыграю».

Джафар никогда не узнает, в деревне он или в городе — по мобильному это понять невозможно, а на городской ему никто никогда не звонил. По улицам и в парках Джафар не гулял. Его место — Приморский бульвар. На такси туда и обратно.

И в деревне нет никого, с кем мог бы пообщаться Джафар. В общем, сидя в городе, Мамедов будет выдумывать разные истории про деревню и разыгрывать Джафара. А недели через две внезапно объявится в кафе «Жемчужина» и застанет Джафара врасплох. «Вот и я! Привез тебе горячий привет из деревни...»

Еще задолго до полудня Мамедов позвонил в деревню и объяснился с племянницей. Не став готовить себе обед, он отправился во вчерашнюю забегаловку, выпил сто граммов водки, съел тарелку дюшбары и порцию шашлыка. Ему удалось даже без труда уладить вчерашнее недоразумение с Самиром.

6

Около шести часов вечера позвонил Джафар и, не поздоровавшись, спросил:

— Ну как ты там, Мамедов? Хорошо устроился?

— Да, отлично. Все в полном порядке.

— В своем доме или у племянницы?

— В своем.

— А что-нибудь ел сегодня? Или сидишь голодный?

— Ел! Отличную дюшбару ел.

Джафар чуть помолчал.

— Но там, в наших краях, ведь не готовят дюшбару.

— Теперь готовят.

— Племянница сварила?

— Да. Она все умеет. Говорит: приготовлю тебе все, что хочешь. Борщ, пити, какую хочешь долму... Я сказал ей, чтобы сегодня вечером довгу сварила.

— Правильно сделал. Тамошнюю довгу надо почаще есть. Только ее ведь там не «довгой» называют, а «гатыгаши». — Джафар помолчал секунду-другую, потом заинтересованно спросил: — Твоя племянница держит коров?

— Да. Одну корову и еще буйволицу.

— О боже! — воскликнул Джафар. — Кажется, в этом мире ничто не меняется. Шестьдесят лет назад они тоже держали корову и буйволицу. Это хорошо. Значит, будет у тебя вдоволь молока и гатыга.

— Да, будет. И сыр, и сливки — все будет. Ну и я не останусь перед ними в долгу, буду платить за все вдвое больше.

— Ты с собой много денег взял?

— Да, тысячи три.

Джафар снова сделал паузу.

— Слушай, Мамедов, у вас во дворе росло здоровенное тутовое дерево. Оно все еще стоит?

— Да, и даже отлично плодоносит. А в этом году просто благодать: ветки от тяжести до земли клонятся.

— Ты ешь эти ягоды каждый день, Мамедов. Причем, с утра пораньше, натощак. Тут для всего полезен: для желудка, кишечника, печени. Говорят, от него еще и член стоит, как железная палка. Но ты, Мамедов, ешь, не бойся. Хоть баб ты там вряд ли найдешь, но потомков ослицы Косого Мухтара всегда сможешь отыскать.

— Эй, хотя бы по телефону прилично говорить можешь?

— Есть! — Снова пауза. — Слушай, Мамедов, а на наш дом ты не взглянул?

— Нет пока. Завтра пойду посмотрю.

— Не откладывай на завтра, иди сейчас. Я тебе попозже перезвоню.

Джафар дал отбой, и, прежде чем Мамедов успел подумать о том, что скажет ему насчет дома, телефон опять зазвонил. На сей раз это был его сын Махир.

— Мамедов! — В хорошем настроении сын тоже называл его по фамилии.

— Джан! Как ты, сынок?

— Хорошо, папа. Ну, как насчет твоего приезда?

— Знаешь, сынок... — На какой-то миг Мамедову показалось, что и с сыном он говорит из деревни. — Дай мне еще немного подумать.

— До каких пор ты будешь думать, папа? Здесь у тебя сын, невестка, чудные внуки. Ты что, не хочешь увидеть невестку и внуков? Приезжай, папа, я ведь тоже постоянно волнуюсь о тебе.

— Не переживай, я приеду. Надо еще квартиру пристроить.

— Чего ее пристраивать? Продай кому-нибудь, деньги в банк положи, карточку возьми и приезжай.

— Ладно, продам. Найду кого-нибудь и продам. — Каким легким делом кажется ему продажа дома, подумал Мамедов.

— Не медли. Мы тут тебя заждались. Ну, пока, папа.

Разговор закончился.

Часа через два снова позвонил Джафар.

— Ну как, Мамедов, сходил, посмотрел?

— Да, я только что оттуда.

— И что увидел?

— Ничего особенного. Ваш дом так и стоит, как стоял.

— Ты узнал, кто за ним сейчас присматривает?

— Хороший человек присматривает: сосед ваш, пастух Сафар.

— Да ты что! Он еще не умер?

— Жив. Говорят, проворнее нас обоих.

— Все еще пасет?

— Кажется, да. Его самого я не видел.

— А дерево, которое у стены росло, грецкий орех? Оно как?

— Тоже стоит. И еще много новых деревьев во дворе посадили.

— Какие деревья?

— В основном абрикосы. И еще несколько груш. В этом году абрикосов очень много — свисают, как янтарь.

— Но ведь там в это время абрикосы еще не созревают.

Мамедов постарался исправить ошибку.

— Я ж не говорю, что созрели. Пожелтели, порозовели.

Какое-то время Джафара не было слышно.

— Сафар все еще держит собаку?

— Не знаю, не поинтересовался.

— А как насчет учительницы Нубар? Жива она или умерла?

— Ей-богу, не знаю, Джафар.

— Как не знаешь, их дом прямо за вашим домом находится!

— Может, и умерла. Пока что ее голоса я не слышал.

— Неужто шакалы еще не приходили?

Мамедов не понял.

— Шакалы? Какие шакалы? Шутишь?

— Слушай, кретин, который сейчас час? Разве не в это время шакалы носятся вокруг деревни и воют, как пионерский горн? Или там уже и шакалов не осталось?

Джафар был прав. Всякий раз с наступлением вечера с гор спускались шакалы и как минимум час завывали на окраине деревни. Причем всегда в одно и то же время. И их вой так напоминал детские голоса, что непосвященный мог бы подумать, будто это толпа шаловливых мальчишек кричит что-то наперебой. Хорошо, что Мамедов вовремя вспомнил, каких шакалов имеет в виду Джафар.

— Да, да, понял. Но здесь ведь еще не стемнело. А шакалы приходят, когда уже темно.

— Да, ты прав. В это время года там поздно темнеет. Но уже скоро будет темно, готовься. Твои однопартийцы скоро появятся. Ну как, приготовила твоя племянница гатыгаши?

— Да, уже принесла. Сейчас буду есть, — боясь опять ошибиться, Мамедов поспешил сменить тему, уведя ее подальше от конкретики. — Сразу после тебя сын звонил. Опять говорит, чтобы я продал квартиру и переехал к нему.

— И правильно говорит, лопух ты этакий, совершенно правильно говорит. Если б у меня был сын в Америке, я бы ни дня здесь не оставался. Тем более, что английский язык я знаю лучше, чем некоторые американцы.

— Снова хвастаешься? Но я-то английского не знаю.

— А зачем тебе его знать? Достаточно двух слов: «хэлло» и «гудбай». Ты еще долго в деревне будешь?

Мамедову потребовалось некоторое время, чтобы ответить на этот вопрос.

— Ну, хочу побыть немного.

— Не задерживайся надолго. Приезжай, найдем кого-нибудь, чтобы разобраться с квартирой. Все равно через несколько дней тебе там все осточертеет. Не стоит торчать там целый месяц только ради того, чтобы каждый день съедать один йахнкеш довги.

«Йахнкеш» — это слово Мамедов услышал впервые за те пятьдесят с лишним лет, что прожил в Баку. Оно употреблялось только в их деревне. Только там тарелку называли «йахнкеш».

— Думаешь, не стоит? А может и стоит. Ты же сам сказал, что здесь отличная довга. — В этот момент Мамедову и в самом деле очень захотелось довги.

— В любом случае, не стоит тратить на это три тысячи манатов. Ладно, иди ешь. Завтра поговорим.

У Мамедова внезапно испортилось настроение. Он и сам не знал почему. Может, ему с первого же дня надоело обманывать Джафара? Может, даже за один день деревня успела ему опостылеть? А может, причиной тому был до ужаса жалкий вид дома, приснившегося Мамедову. Низкая лачуга, построенная из кирпича-сырца, с крышей, поросшей травой. Окна с прогнившими рамами и разбитыми стеклами. И еще — та женщина в черном платке, жестоко унижающая его: «Нет, дядя, ты приехал сюда не затем, чтобы могилу в порядок привести! Откуда у тебя деньги, чтобы приводить в порядок чужую могилу? Если б были у тебя деньги, ты давно привел бы в порядок свой захиревший отчий дом».

Расстроенному Мамедову вдруг захотелось позвонить Джафару. Признаться, что никуда он не уехал. Сказать: «Со школьных лет ты бессовестно разыгрывал меня, вот и я решил хоть раз над тобой маленько поиздеваться. Не обижайся, пожалуйста, прости меня. Давай завтра снова встретимся на бульваре. Посидим под ивой. Про квартиру потолкуем».

В ту ночь Мамедов спал очень беспокойно, и снился ему кошмар за кошмаром.

7

Однако на следующий день, проснувшись в семь утра, Мамедов, хоть и не особо радовался тому, что не поехал в деревню, но был доволен, что не признался во всем Джафару. Во-первых, было бы глупостью полагаться на Джафара в деле продажи квартиры. Пообещав всячески помочь ему, он потом наверняка умыл бы руки. А во-вторых, если бы вскрылся обман, Джафар бы всерьез рассердился и даже мог порвать с ним всякие отношения.

Не находя себе места в доме, Мамедов решил спуститься во двор и проконсультироваться с Ходжатуллой о продаже квартиры. Хотя Ходжатулла с ног до головы выглядел как типичный деревенский житель, не было ничего в городе, чем бы он не интересовался. Во дворе дома, где жил Мамедов, он появился еще в начале девяностых и с тех пор каждый день рано утром приходил сюда и не уходил раньше десяти-одиннадцати часов вечера. Он был талышом, родом из какой-то ленкоранской деревни, но настолько чисто и бегло говорил по-азербайджански, что никому бы и в голову не пришло, что он талыш, если б он сам об этом не сказал. По его словам, «в нормальные времена», то есть

во времена СССР, он работал в деревне ветеринаром. Ходжатулла, прижившийся в этом дворе еще будучи мужчиной в расцвете сил, даже сейчас, в свои восемьдесят, по-прежнему помогал всем его обитателям в любом деле: кому мыл ковры и машины, кому покупал хлеб, а кому — выносил мусор.

«Рабочий день» Ходжатуллы как раз и начинался с мусорных баков. Войдя во двор, он сразу же атаковал их и собирал в мешки все, что попадалось — от старых туфель до красочных коробок из-под конфет. Давно заброшенная будка сапожника, сколоченная из досок и железяк, которую жители дома называли теперь «резиденцией Ходжатуллы», также находилась возле этих баков, и в ней он соорудил для себя настоящее жилье: стол, старый диван, чайник, кастрюля, посуда — здесь было все необходимое для «достойного» времяпрепровождения.

Когда Ходжатулла не был чем-то занят, он читал газеты, которые днем бесплатно брал в киоске, а вечером возвращал обратно. А в совсем уж свободное время, заложив руки за спину, с видом почтенного аксакала разгуливал по двору, охотно завязывая со встречными разговоры о судьбах мира. И если видел кого-то с сигаретой в руке, никогда не забывал прочитать нотацию:

— Зачем ты куришь эту дрянь? Тебе что, выхлопных газов мало? Пожалей себя. Даже водка, на которую наложил запрет сам пророк, и та лучше этой гадости. Брось, не кури. Лучше орехи ешь или покупай себе конфеты. От этого дыма никому еще проку не было. И деньги уходят, и здоровье зря пропадает.

И хотя он поименно знал всех жителей дома, никого не называл по имени. И ко всем, вне зависимости от возраста и должности, обращался на «ты», всех называя «соседями».

Когда Мамедов спустился во двор, Ходжатулла, чуть сгорбившись, прогуливался возле своей «резиденции». Увидев Мамедова, он тут же выпрямился и протянул ему руку.

— Доброе утро, сосед! Не понимаю, почему эти люди так долго спят. — Он вынул из кармана часы и взглянул на них. — Половина одиннадцатого уже, а все еще дрыхнут. Видите ли, у них законный праздник. И сколько их, этих законных праздников? Их так много, что люди уже не знают, что празднуют.

— Да, народ любит спать, — рассеянно сказал Мамедов, думая, как бы завести разговор о продаже квартиры.

— Но ведь утренний воздух совершенно особенный! Жаль, что зря пропадает.

— Хочу у тебя одну вещь спросить, Ходжатулла, — тихо произнес Мамедов с некоторым волнением в голосе.

— Пожалуйста, спрашивай хоть две.

— Ты не в курсе, тут никто не хочет квартиру купить? Я пока ничего не продаю, но мало ли, вдруг соберусь к сыну уехать.

— К Махиру? Храни его бог. Очень воспитанный парень. На моих глазах вырос. Когда в следующий раз будешь говорить с ним по телефону, обязательно передай ему привет от дяди Ходжатуллы.

— Передам, обязательно передам. В общем, если вдруг решу переехать...

Ходжатулла обошел свою будку и, встав перед Мамедовым в генеральской позе, заявил громко и уверенно:

— Сейчас никто не станет здесь квартиру покупать!

От этих слов Мамедова охватило сильное волнение. Ему показалось, что снившиеся ночью кошмары продолжаются.

— Почему? Что случилось?

— Как это «что случилось»? Сносят здешние дома, все по очереди. В той вон стороне уже штук десять снесли. Ты что, не видел?

— Я в той стороне давно не бывал. А почему сносят, не говорят? — спросил еще больше встревоженный Мамедов.

Ходжатулла заметил, как он обеспокоен.

— Так они заплатят, чего ты расстраиваешься. В еще лучшем месте квартиру купишь.

«В еще лучшем месте, в еще лучшем месте», — мысленно повторяя эти слова, Мамедов отошел от Ходжатуллы. Выходя из дома, он не выключил телевизор, а вернувшись и увидев на экране сытую физиономию Аждара Азимовича, окончательно пал духом. Недолго поразмыслив, он решил позвонить Джафару.

— Это я, Мамедов. Как ты, Джафар?

— Тебя это очень интересует? — ответил Джафар в своей привычной манере.

— Ты где, на бульваре?

— Нет, дома. Не выйду сегодня никуда. — В трубке слышалось, как он хрипит.

— Кажется, ты уже выпить успел с утра пораньше?

— Разве утро на дворе? А я думал — вечер, клянусь могилой отца.

— Я хотел у тебя кое-что спросить. Жаль, ты сейчас не в трезвом уме.

— Я всегда в трезвом уме, Мамедов. Не суди по себе.

— Говорят, дома наши сносят. Не слышал?

— Кто тебе это сказал?

— Ходлжатулла, — машинально ответил Мамедов и тут же понял свою оплошность.

— Ходжатулла? Это еще кто такой? Такие имена у талышей часто бывают.

— Имя как имя, не я же его назвал.

— Кто это такой?

— Не знаю... Бизнесмен, кажется. Приехал в деревню на короткий отдых. Я только что встретил его на площади у мечети.

— Ты что, по утрам на площадь ходишь? Что там делать утром? Лучше ближе к вечеру ходи, послушай, что там теперь обсуждают — заокеанскую политику или Мухтарову ослицу из племени косоглазых. Тебе полезно будет знать, что нового в миротворческих планах Америки по урегулированию сирийского кризиса. — Он помолчал немного. — Шакалы вчера приходили?

— Нет, вчера не приходили. А если и приходили, я их не слышал.

— Надо же! Значит, там уже и шакалы перевелись! — воскликнул Джафар и после короткой паузы вкрадчиво поинтересовался: — А ты много тута ел сегодня?

— Ел сколько надо.

— Я уже говорил тебе, Мамедов. Ешь тут рано утром, причем, забравшись на дерево. Есть тут, сидя на дереве, — особое удовольствие. Только не перебарщивай.

— Мне ли в таком возрасте по деревьям лазить?

— Не знаю, как ты, Мамедов, а я бы полез, честное слово. Хочешь верь, хочешь нет, но с тех пор как я приехал в Баку, каждое лето у меня одна-единственная мечта — поехать в деревню, влезть на дерево и вдоволь наесться тута. Поверь мне, клянусь богом, не вру.

Мамедов поверил, но не нашелся, что ответить.

— Вишня тоже созрела?

— Созрела. — «Опять начал разыгрывать», — подумал Мамедов и, потеряв всякую надежду услышать от Джафара что-то дельное насчет продажи квартиры, решил ему подыграть. — Давай завтра пошлю тебе ведро тута.

Джафар осерчал.

— Кретин, я говорил тебе об удовольствии есть тут с дерева, а так я его могу найти и здесь, в городе. Ну ладно, Мамедов, а сам этот бизнесмен, Ходжатулла, от кого услышал о сносе ваших домов?

— Не знаю, он не сказал.

— Пусть даже и снесут. Тебе-то что? Возьмешь деньги и махнешь в Америку.

— Жалко дом. Он красивый такой, с оригинальной архитектурой. Думаю, может, они прислушаются к твоему мнению? Ты же человек известный, видный представитель интеллигенции. И в верхах у тебя знакомых много...

— Опять глупости говоришь, — сказал Джафар обиженно. — Неужто ты считаешь меня человеком властной верхушки? У правительства есть целый народ, весь состоящий из его слуг, и несколько сотен беков и ханов, держащих народ в покорности. На кой хрен такой власти нужна интеллигенция?

Странным человеком был Джафар, то смягчался, то ожесточался. Настроение его менялось по сто раз на дню. Он снова помолчал некоторое время, а потом заговорил, но уже совершенно другим голосом:

— Я очень плохо спал этой ночью, Мамедов. Опять кошмар снился. Причем, знаешь где? В том самом месте, которое и тебе приснилось — возле старой ивы Сеида. Мне снилось, что стою там, под той ивой, а чуть дальше от меня, возле арыка, миллион рыжих муравьев сползлись вокруг большого ужа и не дают ему пошевелиться. Уж растерян, не понимает, откуда взялись эти крохотные насекомые и чего они к нему пристали. Он не имел понятия, какова она, смерть, но знал доподлинно, что ему пришел конец.

Мамедов и так был уверен, что Джафар сегодня начал пить с самого утра, а теперь понял, что и сейчас, в эту минуту, он продолжает пить. Ему даже почудился запах водки.

— Что это был за уж, Джафар? Не тот ли самый, которого ты притащил в школу на урок учительницы Нубар? — попытался перевести разговор в шутливое русло Мамедов.

— Да, Мамедов, тот самый! Ты же помнишь, какой он был причудливой расцветки: ярко-желтый, как спелая айва. И такие красивые глаза были у этого мерзавца. Аж поцеловать его хотелось.

— Не помню, какие глаза были у ужа, зато прекрасно помню, как учительница Нубар пнула меня ногой в живот.

— Ты так и не выяснил, померла она или еще жива?

— Нет, не померла, жива еще. Утром слышал ее голос возле их хлева.

— А дома у тебя не воняет из-за этого хлева?

— Воняет иногда, когда ветер сюда дует. Но уж лучше запах хлева, чем бакинских мусорок.

Джафар громко рассмеялся.

— Хорошо сказал, Мамедов! Умеешь, когда захочешь. Постой, дай я сам тебе перезвоню, не трать деньги.

— Не переживай, я перед приездом 100 манатов на баланс положил.

Джафар не придал значения его словам, прервал связь и перезвонил.

— Выйди сегодня, погуляй хорошенько повсюду. И на Озеро Мехбалы

сходи обязательно, — сказал он, чавкая какой-то едой, и вдруг перевел разговор на Машаллаха. — А ведь и Машаллах наш, оказывается, жуликом был. Знал, каналья, что если человек не боится воды, то никогда не утонет. Поэтому так спокойно командовал нами, не умевшими плавать: «Прыгай, не бойся, я здесь. Раз, два, три!» И мы прыгали. А он-то глубоким был — наш любимый бассейн. Глубже всех деревенских водохранилищ, которые мы называли «озерами». И нас, детей, пугала именно его глубина. Но даже те дети, которые прежде и в арыке-то не купались, прыгнув в воду, вдруг понимали, что для того, чтобы плавать, не нужно никаких особых умений: дело не в том, умеешь ты плавать или нет. Главное — не бояться. На свете нет ни единого живого существа, не умеющего плавать, Мамедов, ты это запомни накрепко. Даже ящерица, приспособленная жить в щелях раскаленных скал, и та плавает, как реактивная ракета. Я сам это сто раз проверял. Ты же видел: мы ловили ежей, крыс, черепах и запускали их в воду. И все они начинали плыть лучше, чем наш Тарзан Машаллах. Самое пугливое из всех существ на земле — это человек, Мамедов. И то, что лишает его человечности, — тоже только страх.

— Так-то оно так, — согласился Мамедов, — только какое отношение это имеет к Машаллаху? Или ты и его во сне видел?

— Почему во сне? С утра, как проснулся, о нем думал. Еще до того, как ты позвонил. — И он опять неожиданно сменил тему разговора. — Тебе там по ночам не страшно?

— Нет, чего мне тут бояться? — ответил Мамедов дрожащим голосом. И всплыл в его памяти далекий осенний день: бешеный ветер, по-волчьи воющий на заводском дворе, чьи-то злые лица, черные бороды. Голос Аждара Азимовича, в тот день прозвучавший для него хуже волчьего воя, и его наглая рожа на экране телевизора сегодня.

— Мало ли... Думал, может, боишься крыс, джиннов, летучих мышей, кого-то еще... Ладно, Мамедов, хватит, разболтались мы. Только обязательно выйди сегодня, прогуляйся повсюду хорошенько. Вечером позвоню.

8

Тем вечером Джафар не объявился. А на следующий день позвонил так рано, что Мамедов подумал — не ошибся ли кто номером. Было 6 часов утра.

— Спишь, Мамедов?

— Нет, уже давно проснулся, — сказал Мамедов с напускной бодростью. — А ты чего это так рано встал?

— Так захотелось, — ответил Джафар и громко засмеялся, радуясь, как ребенок. — Знаешь, кого я только что вспомнил? Нашего Мирзу Мохсуна. «Христианин встает рано утром, чтобы за работу сесть. А мусульманин спит и спит, чтобы лишний раз не есть». Помнишь Мирзу Мохсуна? Он колхозным бухгалтером работал и пил водку только из горлышка. Очень мудрый был человек.

— И это все?

— А тебе этого мало? Когда ты слышал что-то умнее этого?

— Никогда. Ну, а сам ты что делаешь? Вижу, уже сел за работу, приняв из горлышка.

— Да, только не из горлышка. — Он помолчал и громко объявил: — С завтрашнего дня бросаю пить, Мамедов. Это тебе я говорю — Джафар!

— Дай бог.

— Бог в такие дела не вмешивается. Для него все равны — и пьющие, и непьющие. Для Бога даже между живыми и мертвыми разницы нет. Потому что Он — хозяин обоих миров: и того, и этого. У Бога империя поистине великая. Знаешь, что сказал Будда перед смертью? Сказал, что настало время очнуться ото сна, называемого «земной жизнью». И у нашего Мирзы Мохсуна в каждом слове был глубокий смысл. И голос звучал будто с небес, будто он находился там, где Бог соорудил себе вечную обитель. Его голос у меня до сих пор в душе поет: «В саду — птицы, рыбы в море, все говорят мне о своем горе. Собаки о куске мяса лают, птицы говорят, что им жить мешают. Я слышу, как волки воют о еде и как горы шепчут меж собой об ожидающей нас беде. И ветры шушукаются со мной денно и нощно. Замолчи, мир, мне очень страшно». Это он, Мамедов, наш Мирза Мохсун, простой колхозный бухгалтер и, как нам всем казалось тогда, чокнутый, полоумный человек. Эти его слова я слышал раз или два пятьдесят с лишним лет тому назад. Но видишь, как хорошо помню до сих пор? Память хранит только то, что ее больно колет. Но ты это вряд ли поймешь.

Мамедов явственно слышал, как Джафар наливает водку в стакан. Ему нетрудно было представить и то, с каким отвращением он ее пьет. Мамедов понимал, что сегодня Джафар настроен на совершенно иной лад, и, возможно, без разницы ему, с кем говорить, — Джафару сейчас нужно было просто излить душу.

— Ну и свинью ты мне подсунул, поехав в эту чертову деревню. Она мне уже лет сорок как не снилась. А после того, как ты уехал туда, каждую ночь кошмары вижу.

— Что, опять тот красавчик уж приснился? — пошутил Мамедов. Ему очень хотелось отвлечь Джафара от грустной темы.

— Да какой там уж! Я себя видел. В колыбели. Трех месяцев от роду. Интересно, такие колыбели еще остались там, деревянные? Этой ночью во сне я лежал в такой колыбели, прочно спеленатый по рукам и ногам. Только что пробудился, сна — ни в одном глазу. Я подергался, хотел распеленаться, высвободиться. Закричал, зовя мать, но она меня не слышала. Никто меня не слышал, Мамедов. Я был трехмесячным младенцем, но все понимал. Знал, что есть мама, есть мир вокруг. Есть небо, и есть звезды на небе... Солнце есть. Луна. Я уже тогда знал, что и Бог где-то есть. Я, Мамедов, трехмесячный младенец. Веришь?

— Верю, — солгал Мамедов. Он чувствовал, как Джафар, хоть и старается держаться, неслышно плачет, плачет где-то в глубине души, переполненный тоской по деревне.

Мамедов пытался найти слова, чтобы утешить Джафара. Но тот завел такое, что Мамедов чуть сам не расплакался:

— Теперь слушай меня внимательно. Ты, наверно, помнишь, где у нас на кладбище могила Гюльчохры. Сегодня обязательно сходи туда. С букетом ирисов, слышишь? Ирисы — это полевой гладиолус. Ты знаешь, где их много растет. Отнеси букет и положи тайком на ее могилу. При жизни она много раз просила меня об этом — чтобы я отнес ей букет в первый же день, как ее похоронят. Причем — именно ирисов. Никаких других цветов она не хотела. Сколько раз я обещал себе нарвать охапку ирисов и ночью тайком отнести ей на могилу. Днем я этого сделать не мог, потому что, если бы папаша узнал, шкуру б с меня спустил. А ночью у меня духу не хватало — боялся идти на кладбище. Сколько времени прошло с тех пор, а я все не могу забыть ее просьбу. По гроб жизни буду тебе благодарен, если ты сделаешь это для меня. Приложу

все усилия, чтобы дом твой не снесли. Только ты сегодня же обязательно отнеси туда букет ирисов. У меня уже нет надежды, что когда-нибудь я сам поеду в деревню.

Мамедов слушал в изумлении. Теперь он окончательно убедился, что его «поездка» в деревню лишила Джафара душевного равновесия. Мамедову стало жаль его. Настолько жаль, что он захотел, наплевав и на деревню, и на себя, и на всю эту дурацкую игру, рассказать Джафару правду. Но не решился.

— Да-да, как скажешь. Не волнуйся. Все сделаю, как ты желаешь, — пообещал он, мысленно проклиная себя, — только ты, пожалуйста, не пей так много. Или хотя бы по утрам не пей. Ты же этого раньше не делал.

— Я же сказал, что с завтрашнего дня завязываю, — радостно ответил Джафар, с легкостью поверив обещанию Мамедова. — Ты честный человек, Мамедов. Я в этом никогда не сомневался. Я тоже мог бы быть честным человеком, если б захотел. Но бог миловал — дал мне немного таланта, чтобы хоть как-то обеспечить свое существование среди сонма бездарных ублюдков, считающих себя гениями. Но теперь — к черту все, что было до сих пор! С завтрашнего дня всерьез берусь за дело. Переведу на наш язык Библию и Тору. И не на тот гнилой язык, на котором врут попы и моллы, а на язык Мирзы Мохсуна, который говорил устами Бога. Хочешь, я прочту тебе один отрывок из книги Екклесиаста? Запомни: Йек-кле-си-аст. Он же, по преданию, пророк Соломон, по-арабски — Сулейман. Это другое имя того же Соломона, сына царя иудейского. Имя это означает «знающий законы мироздания», «указывающий людям верный путь». Вот слушай, Мамедов, и помни: слова эти сказаны три тысячи лет тому назад. — И, немного помолчав, Джафар начал читать по-русски таким голосом, что у Мамедова волосы на затылке зашевелились:

— «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит... Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь... Что было то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем... Всему свое время, и время всякой вещи под небом: ...время искать, и время терять; время разбрасывать камни, и время собирать камни... участь сынов человеческих и участь животных — участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все — суета! Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах...»

Джафар громко сглотнул, видимо, хлебнув водки, и продолжил еще громче и возбужденнее:

— Какой крик души, Господи Боже мой! Какая пронзительная мудрость! И как тут не вспомнить Мирзу Мохсуна!..

Теперь и сам Джафар говорил так, будто пребывал там, где Бог соорудил свою вечную обитель. Мамедов, владевший обиходным русским языком не хуже самих русских, впервые услышал *такой* русский язык и впервые был околдован магией слова. Ему захотелось сказать Джафару что-то хорошее, но он ничего не смог придумать.

— Мне тут уже скучно становится, наверно, побуду еще денек-другой и вернусь в город, — сказал он, желая подготовить почву для своего преждевременного «возвращения». Он твердо решил покончить со своим розыгрышем. Но Джафар уже положил трубку.

9

Этой ночью деревня приснилась ему еще более зловещей и устрашающей. Странное, чужое место, окруженное чужими горами. Внизу — узкое бездонное ущелье. Огромные речные камни, гладкие, как яичная скорлупа. Между ними текла река, в которой вместо рыб плавали какие-то странные существа. Вокруг не было ни души. Лишь откуда-то очень издалека, откуда брала начало река, доносился таинственно-тревожный голос, и плавающие в реке рыбы-ужи, рыбы-ящерицы, рыбы-ежи, рыбы-барсуки, заслышав его, застывали, как заколдованные, без движения и дыхания. «Все реки текут в море! Все реки текут в море!»

Как он попал сюда? Что он тут искал?.. Наконец он понял, что ищет место, где можно было бы искупаться. И в тот же миг ему показалось, что он уже искупался. А раз так, то где же его одежда? Где он разделся?

Мамедов остался голым среди гор и камней, кустов и колючек. Все, что некогда принадлежало ему, бесследно исчезло: одежда, деньги, телефон, ключи от квартиры.

Ему пришлось немало поволноваться, чтобы выбраться из этого узкого глубокого ущелья, и теперь, обходя все закоулки Баку, Мамедов искал свой дом. Но, оказывается, все это не было главным объектом его поисков. Тем, что действительно искал и не мог найти во сне Мамедов, было Озеро Мехбалы! Он понял это уже после того, как встал, помылся и сел завтракать.

Именно в этот момент он вспомнил и ту злую шутку, которую однажды сыграла с ним безжалостная деревенская шпана там же, у озера, пока Мамедов купался. Ребята забрали и спрятали его одежду. Ему пришлось битый час ползать голышом в кустах, пока он наконец ее не нашел. И хотя пейзаж, виденный им во сне, не имел ничего общего с пейзажем Озера Мехбалы, волнение, охватившее его, было точь-в-точь таким же, какое он пережил тогда у реального водохранилища. Атмосфера, угнетавшая его во сне, ничем не отличалась от атмосферы того ужасного дня, когда он, оставшись без рубашки и штанов, не знал, как быть ему и что делать. Та же безнадежность, та же суетливая безысходность... И откуда взялось во сне то странное ущелье — такое безлюдное и безмолвное, нездешнее и неземное? Почему в той речке даже гладкие камни казались зловещими? И с каких пор ужи, ежи и ящерицы стали наполовину рыбами? А тот таинственный голос? Обычные земные слова, произнесенные будто голосом Бога: «Все реки текут в море! Все реки текут в море!» Ведь тот голос не был голосом Джафара, тогда чей же это был голос, если не Бога?..

«Все реки текут в море. Все реки текут в море». — Мамедов несколько раз произнес эти слова по-азербайджански. Но на азербайджанском они не произвели на него никакого впечатления, нисколько не тронули его. Мамедов понял, что главное тут не сами слова, а голос. И ему показалось, что этот голос, так зачаровавший его во сне и все еще державший его словно в оцепенении, звучал не из этого, а из какого-то иного мира. И во вчерашнем голосе Джафара, когда читал он слова из той книги, будто бы сочиненной самим пророком Сулейманом три тысячи лет назад, было что-то неземное, нездешнее. А вдруг этот голос не был мистическим, а был настоящим голосом пророка Сулеймана, сохранившимся до сих пор в каких-то древних горных ущельях, приснившихся Мамедову? Эта внезапная мысль сверкнула в его голове, будто молния. По жилам пробежал

горячий ветерок, и все внутри затрепетало. «Тебя сам черт не поймет, Джафар, — сказал он, чуть не плача. — Ты меня с ума сведешь рано или поздно...»

Приснившийся Мамедову загадочный мир никак не отпускал его. И в этом сумеречном состоянии он сильно переживал, что необдуманно отменил поездку в деревню. В его воображении она вновь предстала полной очарования. Ему очень хотелось открыть ворота своего деревенского дома, войти во двор, вдохнуть полной грудью тамошний чистый воздух и, усевшись в тени тутового дерева, долго и основательно размышлять обо всем, что творится на свете. Он хотел умыться прохладной водой из ручья, журчащего под ивой Сеида, и огромным счастьем было бы для него хоть раз взглянуть на Озеро Мехбалы. И хоть он давно верил далеко не каждому слову Джафара, сейчас ничуть не сомневался, что тот действительно каждое лето мечтал поесть тута, удобно устроившись среди густых ветвей большого дерева.

Джафар грезил о тутовом дереве точно так же, как мечтал Мамедов многие годы вдоволь поплавать в Озере Мехбалы. Тысячу раз видел он это озеро во сне: то прозрачным, то мутным, то неприятно холодным, то теплым и ласковым... Когда хорошо было на сердце, он плавал в нем легко и вольно, как рыба в реке. А когда что-то не ладилось на работе или не везло в чем-то другом, тонул в его мутных водах, захлебываясь и задыхаясь, и просыпался в холодном поту. У него не было мечты заветнее, чем еще раз окунуться в атласно-мягкую воду, с которой связано было лучшее время его жизни.

Есть ли на свете хоть один человек, который не хранил бы в душе свою волшебную сказку, не имеющую ничего общего с его привычной жизнью? Такой волшебной сказкой для Мамедова было Озеро Мехбалы. Она зародилась в то первое лето, которое провел он в Баку. В тот день под раскаленным бакинским небом ему пришлось простоять чуть ли не весь день в длинной очереди, держа в руках экзаменационный лист и желая поскорее утолить жажду и укрыться в тени дерева. Тем летом невыносимо жарко было и в общежитии техникума, состоявшем из одной длиннющей комнаты с сорока двумя кроватями.

Если бы Мамедов одну из двух недель между вступительными экзаменами и началом занятий провел в деревне и вдоволь накупался в Озере Мехбалы, быть может, оно не превратилось бы для него в столь сказочное видение.

Но он не поехал тогда в деревню. Просто не смог. Потому что у него не было денег на билет в два конца. То немногое, что у него имелось, нужно было как-то растянуть до первой степендии. И, обливаясь потом в полутемном душном общежитии, он днем и ночью так отчаянно мечтал окунуться в ту воду, что это крохотное водохранилище, превратившись в волшебную сказку, навсегда запечатлелось в его памяти.

Что же касается общежития, то, каким бы темным и тесным оно ни было, Мамедов всегда помнил его и периодически навещал, вплоть до того времени, когда был назначен директором завода. Потом он больше не имел на это времени. А однажды, выкроив все же свободный часок, просто не смог найти его. Этот четырехэтажный дом с балконами и винтовыми лестницами, расположенный в центре города между двумя паралелльными улицами, в тихом дворе, куда не доносились шум и суета, дом, на первом этаже которого и располагалось общежитие, исчез с лица земли, будто его никогда и не было.

Мамедов с ужасом оглядел построенный на том же месте новый дом, не

понимая, куда он попал, что тут ищет и почему ему стало так страшно. Новый дом казался уродливым и пугающе чужим, хотя ничего пугающего в его облике не было: довольно красивое высотное здание с ведущей к нему ухоженной аллеей. Кругом цветы, свежая зелень, молодые деревья... Нет, страх Мамедова никак не мог быть связан с этим новым строением. Напугало его совсем другое: отсутствие людей, которых он знал и помнил, осознание того, что он их больше никогда не увидит, не услышит их голосов. Мамедову жалко было людей, выселенных из обжитого ими места и разбросанных кто куда, лишившихся не только привычного дома, но и уютного двора, где под зеленой завесой виноградных лоз стоял большой стол, за которым они играли в нарды, пили крепкий ароматный чай, рассказывали анекдоты, делились новостями.

Мамедов, как больная овца, слонялся вокруг нового здания, разыскивая среди новых декоративных посадок когда-то росшие здесь фруктовые деревья: инжир, миндаль, гранат, оливу...

И от мысли, что он больше никогда всего этого не увидит, новое роскошное здание показалось ему зловеще неприветливым. Он уходил оттуда в таком подавленном состоянии, будто на месте его бывшего общежития не новый дом построили, а поставили памятник нечеловеческой жестокости и несправедливости.

Долго искавший во сне свою украденную одежду, мобильный телефон, ключи от квартиры и Озеро Мехбалы, Мамедов и сейчас, ранним утром, у себя дома продолжал поиски с той же тревожной обеспокоенностью. Он ходил по комнатам, со странным интересом исследуя окна и стены. Ему хотелось то позвонить Джафару, то спуститься во двор и поговорить с Ходжатуллой о сносе дома, но он не решался сделать ни того, ни другого.

Потом, пересилив все же лень и меланхолию, он с короткими перерывами несколько раз позвонил Джафару, но не получил ответа.

И тут Мамедов со жгучей тоской в душе понял, что нет для него сейчас ничего важнее, чем услышать голос Джафара. Даже участь обреченного на снос дома утратила прежнюю акутальность. «Эх ты, Джафар, негодник, как же быстро ты позабыл деревню, где захоронил своего красавца ужа. Неужели тебе больше не хочется взобраться на тутовое дерево?» — дрожащим голосом разговаривал Мамедов сам с собой. А механический женский голос в трубке безжалостно повторял: «Вызываемый абонент недоступен. Абонент недоступен...»

10

Больше часа проплутав среди одинаковых пятиэтажек, Мамедов наконец отыскал дом Джафара. Он никогда не был у него во дворе, расположенном позади дома, и не знал никого из собравшихся там сейчас людей. И разве в таком большом доме не мог умереть еще кто-то, кроме Джафара? Так почему же, увидев стоявший во дворе траурный шатер, Мамедов сразу понял, что умер именно Джафар?! Пусть это тоже будет всего лишь сон, Господи! — подумал он. Или очередная проделка Джафара.

И на миг, когда, осторожно заглянув внутрь шатра, он увидел того самого ленкоранского моллу, над которым когда-то жестоко подшучивал Джафар, Мамедову показалось, что все это действительно происходит во сне.

Где ты теперь, Джафар? Не там ли, где твоя возлюбленная Гюльчохра?

Мамедов оглядел собравшихся, желая узнать, приехал ли на поминки кто-

нибудь из деревни, но никого не нашел. А когда он заметил Аждара Азимовича, восседавшего во главе стола среди солидно одетых высокоуважаемых гостей, ему еще сильнее захотелось, чтобы все это было только кошмарным сном.

Но кошмар продолжался наяву: у Мамедова чуть не помутилось сознание, когда, собравшись выйти со двора, он услышал, как его окликнул хорошо знакомый голос, и, обернувшись, увидел Ходжатуллу. Что он делал здесь? Какие отношения могли связывать Джафара с Ходжатуллой? Кто мог позвать Ходжатуллу на поминки Джафара?!

— Ты куда, сосед? Почему не зашел? — спросил удивленный Ходжатулла, что-то с аппетитом дожевывая.

— Там слишком много народу, — вяло ответил Мамедов.

— Жаль. Жаль Джафара-муаллима. Такой человек больше на свет не явится. — Ухватив Мамедова за локоть, Ходжатулла попытался вернуть его назад в шатер. Но тот не двинулся с места.

— Пусти. У меня важные дела. Откуда ты знал Джафара-муаллима?

— Как откуда? — изумился Ходжатулла. — Мы с ним сорок лет дружили. Да его никто лучше меня и не знал. В советские времена он постоянно к нам в деревню ездил. Каждые выходные приезжал. На такси! Оставался в доме моего двоюродного брата, кайфовал день и ночь... Они с моим братом вместе в институте учились. Очень дружны были. Прям как братья. Каждый раз, когда Джафар-муаллим приезжал к нам, мы в его честь резали барашка. Я на сотне их пирушек бывал, и шашлык сам делал — специально для Джафара-муаллима.

Мамедов задумался.

— А этот молла тоже из вашей деревни?

— Нет, из соседней. Он мой тезка, талыш, тоже Ходжатуллой зовут.

— Джафар-муаллим видел его когда-нибудь в вашей деревне?

— Не знаю. Может, видел, может, нет. Ведь мой тезка в те времена был еще не моллой, а секретарем комсомольского комитета, работал в самом центре Ленкорани.

— О боже, так вот в чем дело! — воскликнул Мамедов, поняв, почему тогда на поминках Джафар издевался над моллой. Ему стало легче: Джафар где-то видел моллу Ходжатуллу еще в бытность того комсомольским работником. Тогда почему сам этот бывший комсомольский работник не узнал Джафара? Может, он и память потерял вместе с комсомольской должностью? «Мухаммед, Мамед, Мамуста...» Да, умел ты, Джафар, поставить мерзавцев на место. Жаль только, не всех мог поставить.

Ходжатулла взахлеб стал расхваливать своего земляка, видимо, решив, что Мамедов ищет моллу для проведения чьих-то поминок.

— Очень образованный человек. Кого теперь интересует его комсомольское прошлое? Три года учился в Иране. Весь Коран наизусть знает, от корки до корки. А с чего это ты, сосед, моллой интересуешься?

— Просто спросил. Мне лицо его показалось знакомым. А ты откуда узнал, что Джафар скончался?

— А что тут узнавать? Большинство газет об этом написали.

Мамедову не захотелось признаваться, что со времен развала СССР ни одной газеты он не брал в руки.

— Я сегодня не просматривал газеты, — сказал он. — Значит, получается, что он умер вчера?

— Что ты! Позавчера он умер, внезапно, после полуночи. Ну, то есть, не то

чтобы очень внезапно... — Ходжатулла вдруг замолчал и огляделся по сторонам, после чего взял Мамедова под руку, увел к каменному забору на другом конце двора и указал на растущее возле него большое тутовое дерево с поспевшими ягодами.

— Джафар-муаллим свалился с этого дерева, — прошептал Ходжатулла на ухо Мамедову, вновь опасливо оглядываясь по сторонам. — Среди ночи, когда все спали. Говорят, он так напился, что ночью вдруг захотет тута поесть. Не поленился даже...

— Замолчи ты! Хватит! — чужим, жутким голосом закричал Мамедов и, поспешно покинув двор, вышел на дорогу, где когда-то расстался с Джафаром после той памятной встречи.

Ходжатулла, задыхаясь, несся за ним.

В такси они уселись на заднем сидении, но вплоть до самого дома не проронили ни слова. Во дворе Ходжатулла заметил вопрошающий взгляд Мамедова и счел своей обязанностью еще раз проинформировать его насчет сноса дома:

— Дела обстоят так, сосед... Все дома снесут. В этом квартале к концу года не останется ни одного старого дома. Но ты не переживай. Если правительство хочет — никто ничего все равно не изменит. Они советскую власть снесли. Эти безбожники не считались даже с таким ученым человеком, как Джафар-муаллим. Кто будет считаться с простыми гражданами, как я или ты?..

Откуда было знать Ходжатулле, что Мамедова уже нисколько не интересует, будет снесен дом или нет.

— На поминках во главе стола сидел человек в черном костюме. С красным галстуком. Его зовут Аждар. Аждар Азимович. Ты его тоже знаешь?

— Аждара-муаллима? Кто ж его не знает? В советское время он хорошие должности занимал. Да и сейчас на очень хорошей должности. А недавно еще и ученую степень получил. А с чего ты вдруг Аждаром-муаллимом интересуешься?

Мамедов не ответил, боясь разрыдаться.

Эпилог

Ночью, во сне, в самом начале своего путешествия, Мамедов вновь стоял у поминального шатра во дворе Джафара. Но на сей раз это были не поминки, а пирушка. Во главе стола, там, где вчера восседал молла Ходжатулла, теперь сидел Джафар. Точнее — стоял, держа в руке полный стакан водки, и громко произносил тост. Аждар Азимович, одетый, как и вчера, в черный костюм с красным галстуком, внимательно слушал Джафара.

Увидев Мамедова, Джафар обрадовался.

— Ба! Явился, Мамедов! Хорошо, что так вовремя вернулся из деревни. Я по тебе сильно скучал. А ну, иди сюда. Давай-ка и ты выпей сто граммов в честь Аждара Азимовича. Человек постарался, труд вложил, ученую степень получил... Получил, Мамедов, клянусь могилой отца! Пошел он на х... мой отец с его сраной могилой. Эй, Джаник, ты где? Налей-ка водки муаллиму.

Мамедов огляделся по сторонам, но Джаника нигде не увидел. И тут же оказался на бульваре, где никак не мог найти кафе «Жемчужина», будто оно сквозь землю провалилось. А вскоре Мамедов уже и не понимал, где находится и что разыскивает. С этого момента начался нескончаемый поток его тревожных

сновидений в поисках чего-то пропавшего и безвозвратно утраченного. Потом и бульвар превратился во что-то другое, и море ушло, будто испарилось. Остался лишь он сам, безнадежно заблудившийся во сне.

ЧТО ЭТО? Узкое давящее ущелье среди высоких гор или же вымершая городская улица, окруженная небоскребами, из-за которых не видно неба? Если ущелье, то почему в нем нет ни реки, ни какой иной воды? А если город, то почему вокруг ни единой живой души? Если в этой мистически смутной картине можно было заподозрить хоть что-то реальное, то город, наверное, был Нью-Йорком, и единственное, что мог тут искать Мамедов, — это дом своего сына. Но почему эта странная нью-йоркская улица в окружении вздымающихся, словно горы, зданий такая узкая? Будто это и не улица вовсе, а сельская тропинка — темная, безлюдная и безмолвная... Еще она немного походила на недавно пересохшее, еще чуть влажное русло реки.

И лишь когда Мамедов, приняв внезапно мелькнувший в конце «улицы» проблеск за воды Атлантического океана, уже готов был поверить, что это Нью-Йорк, до него донесся голос бухгалтера Мохсуна: «Мне страшно, мне страшно! Волки воют, собаки лают, птицы верещат, горы шепчут о беде».

Голос доносился сзади, с другого конца улицы. Но обернувшись, Мамедов увидел там не бухгалтера, а Джафара. С непокрытой головой, в рубашке нараспашку, с серым, как речной камень, лицом, Джафар шел к нему, размахивая руками, и полным ужаса голосом говорил ему издалека: «Что ты потерял в этом ущелье, Мамедов? Что ты тут ищешь? Здесь не растет ирис, сюда не заглядывают ни солнце, ни луна. Беги отсюда, скорее, здесь все вот-вот затопит вода. Озеро взлетело в воздух! Взорвалось твое озеро, Мамедов. Озеро Мехбалы! Озеро Мехбалы!»

Иногда голос Джафара пропадал, и лицо его исчезало из вида. А позади него, вдали, там, откуда раньше доносился голос бухгалтера, стояли окутанные густыми тучами черные-пречерные горы, и казалось, что они шепчутся между собой о какой-то неминуемой беде.

Максим Калинин

Холодным воздухом провинций

* * *

Сердце катится на восток
К неприкаянности становищ.
Солнца выкорчеванный овощ
Рушит комья с мохнатых ног.

Миокардовый колобок
Пробирается через души,
Что настригли зайчачьи уши,
Проецируясь на лубок,

Что начавкала волчья пасть,
Наломала медвежья лапа.
Ухмыляется смерть, покляпа,
На дичину готовя снасть.

Не взыскуя ничьей вины,
Пустишь песню на подпояску.
За подол схватит ветер сказку,
Не заправленную в штаны.

Наяву живёшь и во сне,
Уповая на понарошку.
Расшибись на пути в лепёшку —
Не заметишь огня в окне.

Кровь идёт по цене одной,
Внезависимости от группы.
Гложет трупы бродячей труппы
Привередливый перегной.

* * *

На странице мглы —
Месяца печать.
Звёзды тяжелы —
Взглядом не поднять.

Не поворотить
На бок тишину.
Сердце хочет пить —
Гонит страх волну.

Древу снится день
В лиственных шелках.
В кроне бьётся тень,
Будто бы в силках.

Призрачная взвесь
Рвётся к облакам.
И — уже не здесь,
И — ещё не там.

Только лишь тепло
Тела растеряв,
Встать ей на крыло,
Вспенить дня расплав.

Калинин Максим Валерьевич — поэт, переводчик. Родился в 1972 г. в г. Рыбинске. Окончил Рыбинский авиационный технологический институт. Автор сборников стихов «Тёмный воздух» (М., 2008) и «Часовые над Шексной» (М., 2014), а также книги переводов «Томас Прингл. Африканские зарисовки» (М., 2010). В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Рыбинске.

Септеты

1.

Пейзажа верхневолжского отрез:
Кусок реки, чтоб сосны отражались,
И вызывали трепетную жалость
Два облака, оставшиеся без
Пристанища в обители небес —
Их призрачность, узорчатость и талость
Поглощена всеядностью очес.

2.

Потеряно живительное слово,
Которым открывались двери в лес.
И сумрак победительных древес
Не выступает с предложеньем крова.
А ты под сень ветвей заходишь снова,
Но след лешачий в ельнике исчез.
Осталось — прочь и вспять не будет зова.

3.

Заложники слепого мастерства,
Великолепны или неказисты,
Рождаются стихи, их тайны мглисты,
Но чувственная суть всегда права.
Стихи неразделимы на слова —
Слагают их слепые бандуристы,
Когда струна дрожит, как тетива.

* * *

Наш язык особо ладен
Для каскадистых кустов,
Для овражных вражьих впадин,
Для опяточных постов.

Для запойного заката —
Где тут небо, где земля?
Для туманного обрата,
Затопившего поля.

В час, как ночь не взвидит света,
Бесов прянет в мир братва —
Для словесного портрета
Ты всегда найдёшь слова.

В миг, когда на первом сроке
Буду мысли зреть в мозгу,
Ты откликнешься сороке
Во всемирном «ни гу-гу».

Ван Гог. Красные виноградники в Арле

За какие тайные грешки
Осень позвала нас на поминки?
Винограда яркие кишки,
Злая жёлчь и чёрные личинки.

Над землёю жар стоит колом,
Всё ему сгодится на потраву.
Бог с увеличительным стеклом
В небесах нашёл себе забаву.

Двух крестьян в повозке странен вид.
Первый из крестьян, судьба холопья,
Жёлтый хрящ подельником бурит,
Сыплются повсюду крови хлопья.

Полдень волглым золотом мощён.
Кто-то замер посередь дороги.
Под землёю — гадом вьётся он,
Над землёю — человек двуногий.

Валит леса синяя стена,
Перед нею расплясались тени,
Словно им вторая жизнь дана
В мареве клокочущих растений.

Тайной красоты житьё-бытьё
Проступает на холщовой коже.
Дозревай безумие моё,
Ты мне нынче мудрости дороже.

* * *

По глазам на прощанье хлестнула
Чернохвостая тень.
Половодицей тусклой и снулой
Наполняется день.

Превращаются звёздные хляби
В тёмно-серую муть.
От коснувшейся зрения ряби
Не вздохнуть, не шагнуть.

За окном незакрытым застыла
Тишина в полный рост.
Вдалеке за могилой могила
Покидает погост.

Обретается смерть где-то рядом.
Не заметишь, пока
Из пейзажа не вызволишь взглядом
Своего двойника.

Эта боль забывалась веками
И не вспомнится впредь.
Закрывает глаза кругляками
Неразменная медь.

* * *

Холодным воздухом провинций
Дышал неторопливый стих.
Он тихо veni, vidi, vici
Тоску, сорвавшись с губ моих.

Мы — по неведомым дорожкам,
Всё о любви да о любви.
А песню иволги по крошкам
Порастаскали воробьи.

Но брали мы уроки пенья,
В стараниях не преуспев.
Священнодействуют виденья,
И сердце бьётся нараспев.

Лера Манович

Будь тут, будь рядом

Рассказ

Я шагаю по черной тропинке, перешагивая мощные корни дубов. Из турбазовской столовой доносится запах котлет и свежеиспеченных булочек. Я иду неестественно медленно, как дрессированное животное. Сзади, с трудом перетаскивая негнущуюся ногу, ковыляет моя бабушка, главный бухгалтер Воронежского рыбзавода. Бывший главный. Это благодаря ей мы каждый год получаем путевку сюда, в маленький рай с огромными комарами, четырехразовым питанием и холодной речкой в пятнадцати минутах ходьбы.

— Вырубили бы давно к чертям собачьим! — бабушка зло тычет в корни палкой.

— Тогда деревья погибнут, — отвечаю я.

— Да и шут с ними! И так сырость — одно комарье, — покраснев от напряжения, бабушка преодолевает очередной корень, выразительно изогнутый, как щупальце осьминога.

Навстречу со стопкой чистого белья шагает мама. Веселая и легкая. Я с грустью думаю о том, что сейчас она заправит наши постели и уедет. А мы с бабушкой останемся.

В столовой аппетитная духота. Я быстро заканчиваю, ковырнув понемножку серую добротную котлету и салат. Бабушка ест жадно и подробно. Отдыхающие подобострастно здороваются с ней. Это в основном женщины, такие же низенькие и квадратные, как и бабушка, в босоножках на носок и в платьях с треугольным вырезом. По столам кочуют алюминиевые чайники с красной цифрой на боку. Из них в стаканы льется чай, крепкий и приторно-сладкий. Наплевав на то, что у нее сахарный диабет, бабушка заканчивает ужин румяной булкой, обильно посыпанной сахаром.

Вся светская жизнь турбазы происходит вокруг столовой. Здесь есть площадка для игр, открытый кинотеатр и эстрада для танцев. Под навесом — шахматные доски на чугунных ногах, около которых толкутся мальчишки и сосредоточенно стоят с цигарками в зубах отдыхающие мужчины. Фигуры

Лера Манович — поэт, прозаик, магистр математики. Родилась в Воронеже. Окончила Воронежский государственный университет и ВЛК при Литературном институте им. Горького. Публиковалась в журналах «Арион», «Гвидеон», «Дружба народов», «Урал», «Этажи», в литературных сборниках. Автор книги «Первый и другие рассказы». Лауреат Международного Волошинского конкурса 2015 года (за публикуемый рассказ). Живет в Москве. Последняя публикация в «ДН» — рассказы «Бабье лето», № 8, 2013.

огромные и тяжелые, мальчишки услужливо перетаскивают их двумя руками. Каждый ход сопровождается ударом по металлу. Я подхожу ближе. Миттельшпиль. Моя любимая часть игры. Мужчина с глубокими морщинами ходит и ходит пешками, не замечая трехходовых выигрышных комбинаций. Я молчу. Я никого тут не знаю. Месяц назад я получила второй юношеский по шахматам. Наконец соперник морщинистого зевает ферзя и сдается.

— Кто следующий? — морщинистый удовлетворенно мнет окурок и бросает в урну.

Мальчишки жмутся в углу доски, у g8h8. Выпихивают вперед тощего рыжего. Он жмется и прячется за их спины.

— Давайте я.

Мальчишки смотрят на меня, выпучив глаза. Мужик усмехается:

— Как ходить, знаешь?

— Естественно.

— Расставляйте, пацаны, — ехидно подмигивает мальчишкам.

Мне дали белые. Как слабаку. Я решила не выпендриваться. Королевский гамбит. Просто и элегантно. Мужик начал терять темп с четвертого хода. На седьмом я выиграла пешку. На тринадцатом слона.

Приковыляла, утирая потное лицо, бабушка. Долго смотрела на стол, но ничего не поняла. Спросила у мальчишек:

— Кто выигрывает-то?

Те с недоверием ткнули пальцем в мою сторону. Бабушка самодовольно заулыбалась, обращаясь к мужику:

— Петь, ты не смотри, что она пигаль такой. Не обыграешь. Это внучка моя. У нее разряд.

Это сообщение, видимо, сломило волю мужика, и на двадцать втором ходу он сдался.

Вообще я обаятельная. Это я не сама себя хвалю. Это статистика. Мужскому полу однозначно нравлюсь. Как-то один мужик ошибся номером. Я дома одна была. Ему скучно, мне скучно. Поговорили немножко. И он стал каждый день звонить. Ну, я привирала кое-что, все равно ж никогда не увидимся. А он заявил, что влюбился, и начал предлагать встретиться. Пришлось признаться, что мне двенадцать лет и все такое. Он не верит. Не может быть, говорит, у тебя такой голос... сексуальный. В общем, у меня сексуальный голос и второй разряд по шахматам. И в математике я шарю — будь здоров. Учебник для седьмого класса дали — так я его за вечер весь прорешала.

Еще у меня длинные волосы и джинсы. Правда, не голубые, а темно-синие, но все равно. Это мне бабушка привезла, когда ездила к родственнице в Серпухов. Кроссы еще привезла. И майку махровую в широкую синюю полоску. Я бы сожгла всю остальную детскую одежду и ходила только в этом. Бабушка ругается, что я порчу себе ноги в кроссовках, потому что на улице жара. Но после такой настоящей красоты просто нереально заставить себя ходить в детских босоножках фирмы «Прогресс» и ситцевом платье. Еще у меня голубые пластмассовые браслеты под цвет майки и пластмассовые розовые клипсы. Это мы с мамой купили в Прибалтике. Как будто ножницы вставлены в ухо. Все прямо офигевают и спрашивают: «Неужели вы так ухо прокололи?» А у меня даже дырок в ушах нет. Мама сказала: «Вот будет тебе восемнадцать лет — прокалывай, что хочешь. Хоть жопу». И еще она сказала, что это сейчас немодно, и только цыгане и всякая деревенщина прокалывают детям уши. Не знаю. Я

очень завидую девочкам, у которых такие блестящие гвоздики в ушах. У нас в пионерлагере была Диана. Очень крутая. За ней все мальчишки бегали. У нее были гвоздики в ушах, а по вечерам она доставала пузырек с йодом и мазала шишки на больших пальцах. У нее, у ее мамы, и у ее бабушки были огромные шишки на ногах. И она говорила, что их надо с детства мазать йодом, чтоб они не росли. Девочки, которые с ней дружили, тоже мазали ноги йодом. Я вспомнила, что у меня у бабушки тоже есть эти шишки, но мазаться мне было неохота. Вообще, ту девочку звали — Диана Иванова. Надо же так назвать.

Я пробовала блестки приклеивать к мочкам ушей, но они быстро отваливались.

Серега умный, но толстый. Макс — шпингалет, меньше меня на голову. И переднего зуба нет. Остальные вообще мелочь пузатая. Лехе пятнадцать, он курит и все время улыбается, когда на меня смотрит. И в шахматы он проигрывает с улыбкой, не дергается и не злится, как остальные. Он ничего.

Бабушка клянет погоду и удобства на улице. Точнее, их отсутствие в домике. По ночам она ставит у двери железное ведро.

Я боюсь этого звука. Струя, бьющая в стенку ведра. Мне почему-то очень стыдно. Я зажмуриваюсь и затыкаю уши. И все течет, течет, течет бесконечно долго и никак не кончается.

В общественном туалете по утрам дырки обсыпаны белым и пахнет хлоркой и лесом. Сидишь на корточках, комар, невидимый в тумане, с нежным писком садится на задницу. Кто-то скрипит досками и устраивается в мужской половине, за деревянной перегородкой. Хочется настоящей любви. Ну а что? Ничего смешного.

Эти идиоты дразнят нас с Лешей женихом и невестой и все время ошиваются около моего домика. Вчера мои трусы упали с веревки, и эти придурки их подобрали. Трусы были совершенно детские, ярко-желтые, и, как специально, они порвались по шву прямо на этом самом месте. Желтых ниток не было, и я зашила их черными. Довольно неопрятно. Думала — еще раз надену и выкину. И вот эти идиоты сперли старые желтые трусы, зашитые черными нитками. Стыдоба. У меня есть другие, новые, с цветочками. Немецкие. Я их потом демонстративно вывесила на то же место. Чтоб эти кретины поняли, что у девушки, носящей такие шикарные трусы, не может быть ничего общего с теми, желтыми. Можно было бы сказать, что это бабушкины трусы, но вряд ли они поверят.

Придурки долго бегали вокруг домика и спрашивали — не теряла ли я чего-нибудь? Я только презрительно поводила бровью. Перед ужином я увидела желтые трусы, которые валялись под верандой. С королевской невозмутимостью я поддела их палочкой и выкинула в урну. У придурков был озадаченный вид.

Вечером шла с ужина. Трусы грустно лежали в урне. Мне стало их почему-то ужасно жалко, как будто я их предала.

Леша приглашает покататься на лодке. Бабушка сказала, что мы непременно перевернемся. Леша сказал, что он отлично плавает. Бабушка сказала, что эта пигалица (имея в виду меня) плавает как топор, что было правдой, но все равно свинство — так говорить. Я сказала, что надену на станции спасательный круг и буду сидеть в нем. Бабушка сказала, что разрешает только при условии, что она

поплывет с нами. Я сказала, что тогда мы точно перевернемся. В итоге к бабушке пришла Лешина мама и все уладила.

После обеда мы поплыли на лодке. Естественно, я напялила самое красивое, что у меня есть — джинсы и кроссовки. Как специально, вжарило солнце. Мои ноги в демисезонных кроссовках стали совершенно мокрыми. Лешка был, как обычно, одет в клетчатую рубашку и стариковские просторные брюки. Он молча греб и щурился от солнца. Я ерзала на носу лодки. Мимо проплыло семейство с нашей турбазы. Леша помахал им рукой. Семейство ехидно заулыбалось. Я опустила руку в воду и, уцепившись за какой-то склизкий лист, вытащила его из воды вместе с длинным стеблем.

— Хочешь погрести? — спросил Лешка.

— Ага.

Мы поменялись местами, раскачивая лодку. Я села и стала шевелить веслами. Лодка ворочалась, как контуженная черепаха.

— Так, — сказал Лешка. — Меняемся назад.

— Нет, — сказала я капризно. — Научи меня.

На самом деле я отлично умею грести. Мы с родителями три года ходили на байдарках. Я даже знаю, что такое «табанить». Мне просто хотелось... ну, в общем и так понятно, что объяснять.

Он сел рядом, обхватил мои руки своими и сделал несколько гребков.

— А, — сказала я. — Поняла.

И он сразу вернулся на корму. Я начала грести. Истерически быстро. Как будто я с кем-то соревновалась. Ноги в кроссовках горели, под мышками вспотело.

Это была быстрая и неромантичная прогулка. Мы приплыли даже раньше, чем договаривались с бабушкой. Сдали лодку. Присели на скамейку на берегу.

— Мозоль натерла, — я смотрела на свои ладони.

Леха взял мою руку, оглядел по-хозяйски:

— Не страшно. Тут чуть-чуть.

Моя рука задержалась в его. В груди замерло.

— Видишь шрам? — Леша оттопырил большой палец. — Вот тут.

— Вижу.

— Когда я родился, у меня был шестой палец.

— В смысле?

— Ну, такой типа палец еще. Только без костей. Как сосиска с ногтем. Его хирург — чик! — удалил и зашил.

— А палец куда дели?

— Да никуда. Выкинули.

Я представила себе это все, и меня слегка затошнило. Леша улыбался и совал мне в лицо свой чертов палец. Он был редкостный болван.

— Пойду к бабушке, — сказала я.

За ужином бабушка выспрашивала, как мы поплавали.

— Нормально поплавали, — я разрубила вилкой дымящуюся тефтелину.

— О чем говорили?

— О шестом пальце.

Бабушка удивилась:

— Это еще что такое?

— У Леши был шестой палец. Потом его отрезали. И выкинули.

— Страсть какая, — сказала бабушка недоверчиво и обратилась к нашему соседу по столу, старичку в обвислом пиджаке:

— Андрей Ефимович, вам не кажется, что кефир несвежий?

Андрей Ефимович, поднося стакан к губам и предвкушая, чмокнул пустым, беззубым ртом. Отпил.

— Что-то, Анна Михална, не пойму.

Отпил еще с явным удовольствием.

После дня, полного разочарований, наступила страшная ночь.

Кефир был несвежий. Я изо всех сил делала вид, что сплю, пока бабушка с охами вставала, кряхтела, пытаясь взгромоздиться на ведро. Потом раздались звуки, по сравнению с которыми обычное журчание казалось симфонией. Я забилась под одеяло в надежде, что зло пройдет стороной. Но это было невозможно. Я была ее единственным близким человеком в лесу.

Сдерживая тошноту, спотыкаясь о корни деревьев, я бежала с ведром, в котором лежали огромные трусы и пострадавшая штора, к крану с водой, а в небе полыхали молнии, и предгрозовой ветер срывал с деревьев листья.

Несмотря на ранее утро, было жарко. Как человек, которому после всего случившегося нечего терять, я надела ситцевое платье в мерзкий цветочек и сиреневые босоножки. Бабушка осталась довольна.

Издалека я увидела мальчишек, которые толклись у шахматного стола. Лешка играл с кем-то из отдыхающих. Судя по напряженному силуэту, он проигрывал. Макс и Серега уставились на меня, явно не узнавая. Леша смотрел в шахматную доску. Уверенная, что выгляжу как урод-переросток из детского сада, я все-таки подошла к ним. Макс и Серега захихикали. Лешка уставился во все глаза.

— Чо, играете? — деланно непринужденно спросила я.

— Ага.

Лешка сделал короткую рокировку и снова уставился на меня. Я высунула язык и сделала гадкий реверанс.

— Тебе в платье очень красиво, — сказал Лешка. И по глазам было видно, что он не врал.

Бабушка, чувствуя себя неловко после той ночи, стала мягче и даже отпустила меня вечером на дискотеку. Одну!

Весь день я жила в предвкушении вечера и даже зевнула ладью во время послеобеденной шахматной партии, которая стала традицией. Пришлось согласиться на ничью.

И вот наступил вечер. Я в джинсах и полной амуниции из браслетов, розовых клипсов-ножниц, с огромной пластмассовой заколкой-крабом в волосах, спотыкаясь о корни дубов, бежала в сторону светящихся огоньков, откуда уже доносилась музыка. Бабушка осталась в домике.

Вначале играли какие-то быстрые песни, и все, включая меня, одинаково переминались с ноги на ногу. Мальчишки принарядились в новые майки с яркими рисунками. Леша сменил рубашку на унылую коричневую водолазку. Но все равно был самый симпатичный. Серега и Макс толклись в танце вокруг меня и отпускали какие-то идиотские шуточки. Типа, что я индеец тумбо-юмбо и прочее. Я не обращала на них внимания и все ждала, когда начнется медленный

танец. И вот, наконец, когда на улице стало темно, хоть глаз выколи, заиграл медляк. «Кавалеры приглашают дам», — объявил ведущий. Я как приличная дама отошла к стеночке. Эти идиоты стали хихикать и толкать друг друга в бок. Но тут меня пригласил Лешка.

Зимний сад, зимний сад, белым пламенем объят, ему теперь не до весны-ы-ы... — ныл из динамиков Глызин.

Лешка держал меня за талию, я еле дотягивалась до его шеи, и эта песня казалась мне самой прекрасной песней в мире. Танцующих пар было всего три. Мы были как будто на театральной сцене. А из темных углов на нас смотрели завистливые глаза. Лешка прижал меня к себе сильнее, и я как-то машинально погладила его по спине. И тут раздался душераздирающий хохот. Я не обратила внимания, но хохот все усиливался. Казалось, человеку стало дурно.

Обернувшись, я увидела у стены бабушку, которая сидела на скамейке, опираясь на клюку, а рядом с ней тетю Зою, нашу соседку по столику. Теть Зоя показывала на нас с Лешкой пальцем и истерично хохотала. Бабушка сконфуженно пыталась ее успокоить. Это был позор!

— Ба!! Ты же сказала, что не придешь!!

— Да я не собиралась, а потом смотрю — темень такая, а тебя все нет. А тут еще тетя Зоя зашла. — Пошли, — говорит, — сходим, на внучку твою поглядим. Ночь, а ты ее отпустила неизвестно куда.

Бабушка сидит, вытянув вдоль кровати негнущуюся ногу в перекрученном носке.

— А зачем она так смеялась? Она что — дура??

— Ей показалось очень смешным, что ты такая маленькая, а кавалер у тебя такой большой.

— Она меня опозорила! Вы вместе меня опозорили! — говорю я и отворачиваюсь к стене.

Я вижу бугристую грязно-желтую краску и присохших мертвых комаров. Лампочка Ильича уныло освещает комнату. Бабушка, отбрасывая на стену зловещую черную тень, снимает свой огромный бюстгальтер и вешает на спинку кровати. Потом с противным шелестом стягивает с потрескавшихся пяток носки и начинает мазаться вонючим лечебным кремом. Я зажмуриваюсь от ненависти. Я не хочу быть старухой.

Мы собираемся на речку. Стараясь не касаться, я застегиваю бюстгальтер купальника на бабушкиной спине, покрытой бородавками. Отпускаю. Застежка пропадает в складке кожи.

Медленно ползем до речки по сырой тропинке. Все обгоняют нас, здороваясь. Бабушка вспотела, и ее облепили комары. Я иду и обмахиваю ее сзади полотенцем. Мы приходим последними. Я в мамином купальнике. Мне он очень идет. Вот только надо следить, когда выходишь из воды. У него старые резинки, и, когда он мокрый, трусы сползают вниз. Я в первый раз не заметила, зато Макс с Серегой заметили, что у меня там волоски. Радости были полные штаны. Идиоты.

Лешка купается в красных семейных трусах. Он широкий и гладкий. Рассматривать его мне почему-то неловко. Макс и Серега, в модных узких плавках, — смеются над ним. Бабушка говорит, что он деревенский. Что деревенские не понимают плавки. Но он живет в городе.

Сегодня на речке я не могла понять — влюблена я в него или нет.

Льет дождь, и приехала мама. Точнее, они приехали с отцом, но он побыл совсем немножко и решил съездить к своему приятелю, который работает электриком в санатории тут неподалеку. Папа не любит общаться с бабушкой.

Я сижу и рисую человечков. Всякие короли и принцессы с трагическими судьбами. Тут же рядом я пририсовываю их детей, которые быстро вырастают, быстро женятся и быстро сходят в могилу. Я придумываю, как они влюбляются и женятся. Я с удовольствием нарисовала бы какую-нибудь любовную сцену, но за спиной ходят мама и бабушка. Думаю о Лешке, и в животе приятно замирает. Но все равно Лешка — это что-то не то. Вот у меня есть нарисованные принц и принцесса, которые как будто созданы друг для друга. А Лешка... Он хороший, но создан для кого-то другого. Не для меня. Не знаю, откуда я это знаю. Мама, как будто угадав мои мысли, спрашивает:

— Ну и что этот Леша? Нравится тебе?

И смотрит внимательно.

— Угу.

— В смысле — тебе с ним интересно или что?

— Интересно.

— И ему с тобой интересно?

— Угу.

— Просто диву даюсь — что он в этом свистке нашел, здоровый такой малый, — подключается бабушка.

Свисток — это я. После случая на дискотеке я не хочу обсуждать с бабушкой свою личную жизнь.

— А учится он в каком классе? — миролюбиво спрашивает мама.

— Окончил восьмой и собирается в ПТУ, — возмущенно говорит бабушка. — Забубенный малый с Левого берега. А наша... двенадцать лет, отличница, шахматистка.

— Бабушка! — не выдерживаю я. — Я что — замуж за него собралась?!

Мама улыбается:

— Не собралась?

— Нет, — сердито говорю я и замалевываю принца.

— А зачем он тебе? — опять с улыбкой говорит мама.

— Так...развлечься, — отвечаю я.

Бабушка садится на табуретку:

— Нет, ну ты слышишь, что городит?! Забирайте эту пигалицу к свиньям собачьим!

Разумеется, ни к каким собачьим свиньям никто меня не забрал. Мама и папа сплавили нас на две недели и не готовы были отказываться от удовольствия пожить без бабушки. А заодно и без меня. Я слышала, как мама сказала бабушке, что уверена в моем благоразумии. Бабушка сначала долго и обиженно сопела, а потом заявила, что на следующий год со мной не поедет.

Сегодня предпоследний день смены. Завтра в два часа приедет автобус и развезет всех домой. До этого нужно будет подмести пол и сдать грязное белье, сложив все в наволочку.

Мы с Лешей лежим над обрывом, под раскидистым кустом. Внизу, как серебряный удав, изогнулась река Воронеж. Моторные лодки, которые сверху кажутся крошечными, бегут по ней, оставляя легкий след в виде острого угла.

— Когда я был совсем маленький, моя мать была худенькая и красивая, — сказал Лешка. И добавил:—Как ты.

— Она же блондинка, — сказала я, недоумевая, как эта полная женщина с кирпичным румянцем могла хоть когда-то быть похожей на меня.

— Она была как девочка. Как ты.

— А.

Лешка стал рассказывать про мать. Как она полюбила Лешкиного отца. Как родился Лешка. Как отец потом начал пить и совсем ушел. И как его мать стала толстой и некрасивой. Я не знала, зачем он это говорит и какое отношение это имеет к нам. Но я сказала:

— Понятно.

— Что понятно? — спросил Лешка.

— Ну, все.

Лешка протянул руку и подложил мне под голову. Я чувствовала мягкую ветошь его старой рубашки и легкий запах пота.

— А кем она работает? — спросила я.

— Кто?

— Твоя мать, кто еще.

— Маляром.

— Кем??

— Маляром, — смущенно повторил Лешка. — Она отличный маляр.

— А зачем на рыбзаводе маляр?

Лешка громко засмеялся. Потом замолчал. Мне было все равно, зачем на рыбзаводе маляр. Мало ли. Может, они жирными руками хватаются за стены и их надо все время белить.

О чем думал в этот момент Лешка, я не знаю. Мне казалось, что в его плече под моей головой билось сердце. Быстро-быстро. Он потрогал мое лицо. Шею, щеку, губы. Провел по губам пальцем, и от этого мое сердце тоже забилось быстрее. Он привстал на локте, наклонился надо мной. Я прикрыла глаза. У поцелуя был вкус обеда, сигарет и какой-то еще. Не противный, но совсем чужой. И больше ничего. Он взял мою левую руку, провел ею по себе, я почувствовала под пальцами пуговицу на его брюках. Потом он вложил мне в руку что-то, я вздрогнула и резко села.

— Прости-прости, — сказал Леха чужим, испуганным голосом и застегнулся.

На реке три раза прогудел пароход. В столовой над обрывом хлопнуло окно. Запахло булочками. Мне почему-то захотелось туда, в звенящую вилками и ложками духоту с белыми скатертями, к горячим пронумерованным чайникам и некрасивым официанткам. Еще я подумала, что скоро сентябрь, а я решила только две из шестидесяти шахматных задач, заданных тренером на лето. И что я пойду осенью в шестой класс. Все было просто и понятно. И мне вдруг захотелось все это решать, читать и делать. Страшно признаться — мне захотелось к бабушке.

И тут же, будто кто-то услышал мои мысли, сверху раздался вопль бабушки:

— Лера!! Лера, ты где?!

Я выглянула из-под куста и увидела знакомую палку и исковерканный артритом родной башмак.

— Я здесь!! Ба!! Я здесь! — заорала я и, цепляясь за траву рукам, выдергивая ее с корнями и песком, начала карабкаться наверх.

Алексей А. Шепелёв

Темь и грязь

Рассказ

...как же устоять целой... с одной дрянью,
которая живет в моей и твоей душе, мой читатель?..

Ник. Лесков

Темь и грязь. Все <читатели> знают, что мне это нравится — я к этому привык: это лучшее в моей жизни. И летом, и даже зимой можно напиться, завертеться и вдруг «включиться», очнуться в ощущении себя в мягкой сырой массе, вверху, внизу — ничего, вернее, черный цвет, черный цвет воздуха; а осенью и весной, как сейчас, сам бог повелел!..

Все пространство, вся реальность кажется виртуальной, как будто ты здесь инородный, внешний объект, все существует само по себе, ты можешь, конечно, передвигаться, хвататься в этой трехмерности, но ничего изменить, сделать, нельзя, так как все — овеществленная картинка: Земля вращается, естественно, не под тобой, не от кружения головы и т. п., а просто вращается, от этого несется ветер, залетающий то и дело в щели одежды; сверху, где тучи отгорожены от земли черным полусферическим колпаком, сделанным из металла и одновременно из этого черного воздуха, падают, то сносимые ветром в сторону, то прямо на тебя, капли воды, бьют об одежду, по лицу, о лужи и беззвучно в грязь; идти непривычно и интересно, ноги разъезжаются, шатает из стороны в сторону, причем, когда есть какой-нибудь видимый светлый объект, качается вся картинка, как в клипах MTV, чуть не кувыркаясь согласно этому перекошенному горизонту — натыкаешься, тыкаешься со всей силой инерции о кирпичную стену, о дерево или только падаешь... Ирреальность добавляется сменой временных планов: эти места, по которым я слоняюсь, я настолько изведал, что если в каждой точке, в каждом месте, где я был, делал что-то в разные времена, поставить мою скульптуру, то весь центр села будет закрыт слоем мрамора, как после залития лавой; я настолько ясно представляю себе каждый клочок этой местности и окрестности при любом освещении, при любой погоде, с любого расстояния, увеличения отдельных деталей или орбитальных обзорах, с разными изменениями, самыми мелкими и непостоянными, связанными для меня с личными событиями, тоже мелкими и незначительными для других, должными

Шепелёв Алексей Александрович родился в 1978 году в селе Сосновка Тамбовской области. Окончил Тамбовский университет, кандидат филологических наук. Автор нескольких книг прозы, в том числе романа «Москва-bad. Записки столичного дауншифтера» (2015) и двух книг стихов. Печатался в журналах «Дети Ра», «Дружба народов», «День и ночь», «Волга», «Новый мир», «Нева» и др. Финалист премии «Дебют» (2002), лауреат Международной отметины им. Д. Бурлюка (2003), лауреат премии «Нонконформизм» (2013), финалист премии А.Белого (2014). Живет в Тамбове. Последняя публикация в «ДН» — «Уроки русского» (№ 3, 2012).

быть незапоминающимися и для меня, что все вокруг вызывает автоматические ассоциации, чуть ли не галлюцинации — дождливой ночью я могу видеть знакомый пейзаж в тусклом вечернем свете с только что нападавшим снегом, своими размазанными, черными следами по нему, а вдали, как полотно, плоское небо, как будто отдающее розоватым светом, но его нет — просто синеющие посадки на горизонте, от этого — иллюзия, зрительная и подсознательная потребность в мягком, теплом и банальном розовом тоне...

«Ирр! ирр...» — скрипит-болтается жестянка на крыльце правления (раньше, говорит бабушка, на этом месте была церковь)...

Я остановился, согнувшись, схватившись за угол школы, вынул из кармана измятую сигарету и спички. Не умею прикуривать на сильном ветру, я и так не умею прикуривать — всегда тухнет спичка... Курю я не заради привычки, а как новички — для усиления опьянения или в отсутствие такового тоже только вечером — вытянул сигаретку и ощущаешь какое-то неприятное одурманивающее одиночество. Надо бросить сие, и пить тоже. В горле постоянно образуется сопливая слизь, которой я плююсь каждый день и весь день — куда попало, глотка и так, говорят, слабовата от самого рождения — а тут почти ежедневный прием холодного самогонеца... Опять же без закуски, курение всякого самосада, «Примы», «Родопи». Себя надобно беречь! А родных-то! Где уж нам думать об эт*и*м! Как подумаешь — еще больше хочется курить! Ты есщо не вожжался с родными, родной! Кто сказал на бога *рашпель*?! натфель[1]... шаршепка... Я понимаю, нарики в пятнадцать лет сводят свой организм на нет, а у нас все как-то не по-настоящему, нет борьбы жизни и смерти, не говоря уже о других дебильных развлечениях подростков... К тому же сырая — и спичка, и бумага! Допустим, посмотрит на меня курильщик — ну что это такое?! — как я жадно присасываюсь к своей этой сигарете, как я быстр в ее курении... Вообще организм уродский: выпьешь — колет в сердце, хребет и так, а от курения...

Оказывается, я держусь уже не за угол, а за ограду бабушкиного дома. От школы всего тридцать метров, но утром я все равно опаздываю, правда, всего минуты на две. Вот он какой, дом! Он небольшой, но какой... Когда мне было лет пять, а братцу года три, он назвал его «бутузиком» — мы шли с бабушкой от нас, зима была, сугробы по пояс, метель, и он закапризничал: «Кой до твоего бутузика дойдешь — замерзнешь!» Тогда и мне этот маршрут казался долгим и трудным, а сейчас он осложнился захождением в клуб или же еще черт те знает куда, иногда циркулированием по школьной площадке — но всегда тянет сюда. Я ж хожу по маршруту, как автобус. Утром прибываю в школу с опозданием на 2 мин., после уроков назад — к бабушке (поел тут, иногда поспал), и домой — еще метров сто пятьдесят, отбыл дома часов до семи-восьми, исполнил свою «высокоинтеллектуальную» обязанность — вычистка навоза с отвозом его на корыте — опять к бабушке, бросил сумку с тетрадями на крыльцо и в клуб, а также дальше клуба куда-нибудь, часов в двенадцать — возвращение домой к бабушке в пьяном виде, если раньше, в восемь — в трезвом. Ежели я не суперпьян — мне в вашем сельском ДК делать нечего. Кругом одна убожественность. Зайдешь, оздор**о**ваешься, помыт**и**шься, понаблюдаешь за Яночкой, попытаешься что-нибудь предпринять по своей младости — да что в таких условиях можно предпринять... Вот сегодня, например, смотрю: Яночка заходит на высокий порог, я даже хотел ее за ручку втянуть... но ее тут же втолкала буквально-таки пухлая Леночка, я: «Привет», она: «Привет», я: «а...», а тут сразу:

[1] Рашпиль, надфиль.

«Х... на!» — откуда-то выбегает этот е...нутый Макиш и хлесь ее по заду, она отпираться, а он — от своей активности! — хресь меня в грудак, я: «ты че, мол, земляк», — он отстал и опять к ней, прижались где-то в углу, семечки плюют и он травит, как вчерась поимел Олечку... которую и я бы... — если б был бы бык!.. Бы-бы-бы! — бы-быстро едешь по ухабам, да потом печень болит... Мне на раз ее отшибуть, если я начну представляться (это уже случалось по детству и по соседству). Да, во что превратили девицу! Хотя она природно такова, мне ли ее не знать с молодых ногтей, когтей, локтей, коленей, голеней... Есть в жизни сей моменты, которые разбивают ранние мечты — не то чтобы сызмалости было незнание действительности — нет... просто паскудно осознавать свою пассивность, хочется противостоять... Вот — Яночка, а? Тоже она была... все разговоры... если не обычные темы, тьфу... как бы Яночку... она одна на всю школу, подоспела, новинка, так сказать... (причем лучше я не видел...) тут именины у ней и дискотека, ее выводит как самый матерый двадцатидвухлетний Вовик, и дефилируют в сумерках около школы, все стоят на порожке, курят, видят ее розовенькие штанишки, видят, как она ходит, вытягивает руки, пытаясь уйти, и слышат негласное «нет, нет, я еще не могу, отпусти, пойдем лучше в школу, нет, дай руку...», а также «ну что ж ты, Януха, ну как маленькая, Яночка, давай... вчера ж тоже вот...» и проч. Тогда я думал, что скоро подрасту, но ошибался... Я пытаюсь, я танцую, я ненавязчиво увиваюсь рядом, но это только слова... Бетонные стены, железные перила из арматуры, большие просторы, тусклый свет из разбитых плафонов, холод, иной раз даже иней в углах, КПЗ, остатки тренажеров, всякая фанера, разбитые унитазы и пожарные ящики ПК... шкурки от семечек, окурки, всякие бега, крики-охи, мат-перемат... Да я и сам-то... что называется *отсюда*, местный... Хочется чем-то себя занять — курить, клевать семечки — от них тупеешь, смотришь в одну точку, но не осознаешь зачем. Но «занятие»!..

Итак, я иду к бабушке, в маленький домик, в тепло, ем еду, безбожно чифирю (хоть не чифир, а просто крепкий свежий чай), мочусь в помойное ведро, стоящее в чулане, сижу за столом, разговариваю с бабушкой, она лежит на своей кровати за занавеской, то дремлет, то, проснувшись, что-нибудь спросит или расскажет, я отвлекусь от писанины... полумрак, самодельная настольная лампа; режут глаза — открыл окно и смотрю в черное оконное стекло, постепенно приобретающее прозрачность. Меня видно снаружи, но время уже глубокая ночь. Кровать моя рядом с бабушкиной — через шторку, тикают часы, кот лежит в ногах, бабушка храпит или просыпается и заговаривает со мной, я долго не засыпаю: или разговариваю с ней, или думаю о Яне, о себе...

Что есть Яночка (Анечка, Танечка) в отношении ко мне? То же самое, что и остальная «реальность», частица... Не может же быть девчонка такой умной, умненькой, неординарной или извращенной, чтобы взять и принять мое «отношение» к ней (обычно это называют чувством, необычно — помешательством) — этот интерес, страсть и долг врача-исследователя, рассматривающего некий живой вирус в микроскоп и чувствующего, *даже* осознающего, что она (он) — цель его жизни, то есть всех мелких действий, мыслей, моментов, порезов пальцев и жертв... (...толчков в грудь, пьянок чифирений?!.) Вот он просыпается утром с искривленным лицом, выключает писк будильника, очень рано, ему не хочется есть, ему даже не хочется спать — хочется блевать из-за этой раннести и теми на улице... Вот он едет на другой конец города, вот заходит в больницу... Вот уже темно, он вылез измятый из троллейбуса и зашел домой... Вот он заснул, еле заснул, потому как перекурил, болит спина и глаза от блеска белой бумаги

и нет семьи — только фотография... Вот он видит во сне ту же больницу, тех же больных, ту же боль — без всяких прикрас и алогизмов — все кристально и детально, как наяву... и просыпается... И тут — маленькое ничтожество на куске стекла, каким четыре года назад пытался порезать руку... Все это — ради этого. Вот какая любовь, какой интерес у меня к этому существу — исследовать всю сущность, до чего велик интерес, представить невозможно: он копился слишком долго — до чего он мелочен... Сколько мурашек появляется на твоем теле от прикосновения ланцетом к груди? а к ноге? а мокрой рыбой?.. Соответствует ли каждая мурашка волоску — или есть мурашки без волоска в центре?? Плюнь на препаратное стекло — сколько никотина и гнева в этой частичке тебя, ненужной тебе — ненужной?! Сколько сахару в крови, в моче? в ноге? сколько значений слова turn ты знаешь? что видишь в листе, прилипшем вдруг к окну? что чувствуешь, вставая утром с постели на пол? вставляя тампон, подкладывая пакет, прокладку, что еще? думаешь об этом или гонишь прочь?.. чувствуешь резинку от трусов? их окантовку сзади? Миллиарды объектов в одном — нужно остановить время, но хочется все решить сразу, не отрываясь, иначе невозможно — одним касанием... Одно касание — и все, больше не будет тайны, не будет объекта, будет все как у всех, но у всех это насилие. Из этих мыслей выплывает образ маньяка — жизнь по принципу — «кто был ничем, тот станет всем», художественная реставрация справедливости, мастеримаргритские замашечки. Но для Яночки все это пошло, даже для нее, с надписью на сумке ручкой: «Кармэн», но для городов и мегаполисов сие — в деревне это крайне пошло, тьфу... Здесь воздух ночной кристально ясен, остр, но уютен, здесь нестерпимо пахнет черемухой весной, летом пылью, травой и навозом, зимой — древесным дымом, свежесрезанным сеном из стога и свеженападавшим из самих облаков, но здесь уже будничным снегом, а осенью — яблоками, плесенью и грязью, разъезженной-растоптанной жижей грязи, но *не безличной*...

Что, можно мне познакомить вас с селом, потому что я уже познакомился, а все, по-моему, так и не знають этого уголка Земли? Само слово, как и прочие, утратило свое значение... Запах реки и сенокоса, идиллии и бороды с Есениным у подтушеванной к нему березки — в XX веке нет такой реалии, иллюзия понятия... Железный конь пришел, взрыл все своими копытами, перепахал, как вражеский танк, гусеницами, исполосовал, как скальпелем, железными клиньями, оставив овраги, траншеи со слякотью и кучи грязи... даже когда трактор, гусеничный или тяжеловес с огромными остро-ребристыми колесами, идет по асфальту, то остается след выбоин, повсюду за ним летит и тащится грязь... Нет села, деревни, колхоза, городка и проч. (попутно плюнем на сами эти слова) — есть *сельская местность* (плюнем и на эти слова, но реалия есть). Иногда едешь очень быстро на машине, смотришь на ландшафт и кажется, что летишь — не столь высоко, но над... над тем, что видишь... Огромное месиво жирной, черной, скользкой грязи, некая плоскость, почему-то кажется, что квадратная — длинная и сплошная, улетающая за предел досягаемости... колеи от тяжелых тракторов, от средних, от легких и... слякоть от ног в калошах, от лошадей и коров, г...о, остатки асфальта, смешенные с грязью; сначала на этом полоса домов — все одинаковые, окна на одну сторону, корявые антенны и деревья, оградки, калитки, потом развезенная дорога, потом полоса из прямоугольников огородов и садов — все заросшее американкой и красной травой, заваленное железками и дровами, брошенными тракторами или машинами, вросшими в землю, потом — тоненький ручей, заросший ветлами, старыми-рассыпающимися, от вездесущих грибов-чага, мощнейшими лопухами, крапивой и прочим

непролазным бурьяном, заваленный всяким хламом, в том числе и мешками с говяжьими кишками (поэтично, зачем их кидают в воду, непонятно, «такой обычай») — *бывш. река* (забыл название); далее — те же огороды, далее — те же дома, тот же асфальт-дорога и грязь, далее раскрошившиеся кирпичные и бетонные здания центра, далее — вроде свалки, далее — те же остатки асфальта, те же прямоугольники огородов, но сплошь в сорняке и сожженном кустарнике, далее — склады, фермы, мастерская — все без окон без дверей, вокруг обвалено гнилым силосом, навозом, далее хвост речки в навозе и химикатах, далее американка, грязь и, как камни или скалы, — колхозный чермет: старая сельхозтехника в ассортименте и разбросе на километр, далее пашня и посадки, далее — пашня и посадки, далее — уже не пашня, то есть конец населенного пункта. «Человека на квадратный километр» очень мало, не встретишь даже, есть собаки, жрут всякую падлу. Регулярны только те, кто работает на ферме и ездит туда на повозке или санях, оттудова с поклажей... Юмористический рассказ: с 3000 голов осталось меньше полсотни, половина из них не питались водой наверняка пару недель, а другая половина живет как в тропиках, как в фонтане, причем самое «юмористическое» в том, что они смотрят друг на друга и от этого существование их очень забавно для окружающих вроде меня или корреспондента райгазеты, считающего «поразительно низкие надои»; телята до того уродливы, что напоминают каких-то ископаемых слоников-мамонтят, их даже есть противно!.. председателю и начальнику фермы... Да, для непонятливых — кормят только сухой соломой, заготовленной лет пять назад или выбранной из навоза, но довольно редко и опять же не всех почему-то, зато доят — полторы фляги в день с полсотни голов... Да, нравятся мне коровы, вернее, не как таковые, а их носы... Ну и пусть все и подохнут «по плану к 2000 году»... Хотелось бы, конечно, расстрелять кое-кого, но, как говорится, нам... И такая территория по всей «раше», только с изменением цвета почвы... Это худшая местность-жизнь, что есть сейчас, может быть, даже худшая по сравнению со всеми бывшими на ее месте в войну и голод: внешнее прямо пропорционально внутреннему — всегда и везде, просто противно... Просто я вчера по пьяни попал туда и все увидел воочию...

Надо сказать о привычке: живем мы скудно, а именно: едим одну картошку, жареную или вареную, всегда с луком или чесноком, соленостей мало, особливо мне неприятен жир, свиной, что ли, или даже говяжий, на котором жарится картошка: когда свежая, еще ничего, но утром его вкус... да еще разогреть не успеешь... Если я не принесу к бабушке с собой в «ранце» несколько конфет, какую-нибудь булку или сосиски (тоже редко), то вообще скудно. Есть варенье из яблок, но оно переварено, а потому темное и твердое, как смола, но я ем его с чаем. Для меня сейчас это неважно, хотя пару лет назад я хотел было заделаться *совсем-идеалистом*: есть по расписанию, заниматься на спортплощадке, наращивать бицепсы и пресс, сознательно читать... теперь же у меня нет ни целей, ни предпочтений, все идет само собой — иногда, правда, случаются небольшие моменты воодушевления: а) от так называемого творчества, что сменяется большим моментом упадка, или б) от вина, что сменяется большим моментом припадка деструктивности, или просто громкого охаивания всего окружающего, — причем я знаю примерно куда, я знаю своих родственников и не своих... да, был знаком году в том... А я еще...

В доме хлопнула сенная дверь — должно быть, бабушка выкинула кота и ложится спать или вышла в сени с помойным ведром. Свет погас — легла или расшторила окна и смотрит. Меня не видит, я вишу на расшатанной оградке и

плюю в кусты глухой крапивы. Дождя уже нет, есть ветер. В трубе посвистывает, погромыхивает ржавая жесть на крыше, колышутся и постукивают друг о друга клены в посадках, колышется веревка с половой тряпкой. Звуковая картина не столь разнообразна, поэтому ей можно пренебречь. Все это наводит меня на такую мысль, которую я не могу выразить в словах и понятиях и не стремлюсь, по-моему; я могу смотреть только вдаль или вблизь на что-нибудь, и это что-нибудь и есть выражение той самой мысли, так она материально осознается без формулировки и делается невыносимо... трудно, тревожно, единственный выход — быстрее зайти домой. Ступаешь на порог с крыльца и кажется, что этот миг — последний, как, например, перед расстрелом, и осознаешь только теперь всю невыполнимость этой «мысли» — главное — переступить порог... (Занесло в символику!)

Я остановился на крыльце — голоса. Кажется, ее голос — наверно, не столь поздно, и Яночка с группой товарищей скитается по спортплощадке... долой!... домой! Я стучу в тяжелую дверь. Тьфу! надо в окно! Перепрыгиваю через стенку крыльца, бью окоченевшим пальцем по стеклу. В доме тишина и темнота. Еще бью сильно. Отворачиваюсь, смотрю вдаль — на том берегу речки, на бугре — три синих фонаря, они расплываются от тумана, туман серый и синеватый, тянется от них, но здесь уже пропадает, а вообще кругом темно, клуб погас, свет только в больнице, но желтый и еще чуть дальше. Когда бабушка лежала в больнице прошлый год, я смотрел на него, как она. Тогда я понял, как она смотрит в темноту сумерек, когда я ухожу, и ждет меня. Сколько раз на эти три туманные лампы я шел с бутылкой за пазухой — грязь по колено, постоянно дождь какой-нибудь, изморось... — с надеждой побыть с Яной... А всю осень-то бражку таскал в Яхину «хаточку»!

Я стучу еще раз. А вдруг она не встанет... множество всяких мыслей, которые надо считать ужасными, одновременно проносятся в моей голове, напоминая реальность, к которой я привык относиться двояко — пассивно, с улыбкой, или напролом, с кровью в зубах... Страх что-то сдавливает внутри, может, это и не страх — самые сильные раздумья о Яне сопровождаются тем же чувством, или когда с ней наедине... Да, известное... но нет — это игра какая-то, и я на грани ее! Теперь в философию — люблю представляться самому себе и тянуть резину... высшее наслаждение: стоять, плевать, плевать на всех, а если есть кто рядом, то орать матом, петь и плясать-барахтаться. Примитивно, конечно. Но легко и просто. Зато легко и просто. «...У него мужественнае, *но зато* обветреноя литцо...» — (окончания и суффиксы — по выбору) — как написал, когда еще умел писать, в своем сочинении (чуть ли не единственном за 9 лет) Колюха, не просто двоечник, а «колышник». *За* то... За*то*... Записать бы все это красноречие и вложить в уста идейного нигилиста н. э. Нет. Вроде кто-то зашевелился, я запрыгнул на крыльцо, стучу в дверь, загорелся свет в чулане.

Летом я стучал в дверь, бабушка вышла, и ей сделалось плохо, я не знал, бежать домой позвать всех, позвонить или остаться... разбудили соседей, позвонили врачу, потом пришли, приехали... Я был в таком напряжении, что звезды, звездочки, бывшие очень уж высоко в этот день, сплывались у меня в глазах, они не знают, что для меня эти звезды — семечки: я привык к темноте, и все валтужения вокруг — семечки: мне хватит картошки и калош, в коих я являюсь в школу. Тогда я зарекался пить и замышлял кое-что... что-то еще, обращался не то к себе, не то еще к кому-то... но как дрожало мое равнодушное лицо... вот он, нравственный стержень человека! Нет его, но — если есть, выходит, как жало. Комфорт и сухость! Заточи его и пиши! Центр равнодушия, равно-душия!

А один раз я перепил капитально, причем средь бела дня (был первый день каникул), кидался драться на собутыльников, виражировал по площадке, кидаясь кирпичами, разбил окно в школе, меня отводили к бабушкиному дому, мол, иди к бабке, спи, а я обратно, весь извалялся... очнулся на сыром сугробе за домом, зачем-то обошел дом сзади, высунулся из-за угла — бабушка сидит и смотрит, как обычно, на улицу, где, как обычно, ни души: только утром идут в школу, а в обед из нее, и все. Я долго валялся на углу под капелью — как под капельницей! — и смотрел на нее... потом вышел, шатаясь, и, поскользнувшись, упал в грязь лицом (буквально), она еле меня затащила, положила спать, а я спьяну всячески ругался-матерился, как в бреду... все на Яночкиного жениха-хахаля!.. Сколько я выпил сегодня? — всего грамм 250; да, не столь пьян, и время только 11, наверное.

Наконец-то открылась сенная дверь. Рука стала шарить, ища выключатель. Какой-то грохот, оторвалась шторка. Я постучал. Голос бабушки: «Ох, я упала...»

Я стал думать, что сказать, уткнувшись в кирпич стены.

— Не могу встать... и дверь-то тебе не откроешь...

— Ты где — около кирпичной стенки? Там попробуй за лестницу...

— Да я не вижу, где я... ох...

— Пошарь рукой...

— Сейчас попробую вбок...

— Да ты сначала пошарь, лестницу... шторка — это, скорее, какая сбоку...

— Во... лестница... никак... Вот напасть!..

Я прижался к дощатой двери, на ней крест, нарисованный еще на Крещение. Послышался грохот — она упала набок, опрокинув помойное ведро.

— Ой, ведро... что ж это...

Выбить окно в сенях или идти домой.

— Как ты, не убилась?

— Ничево, только не встану теперь... отдохну пока, потом попробую...

— Посиди... пол-то холодный...Ты хоть в шубе?

— В шубе, только она завернулась, не могу вытянуть... пол ледяной — холодно сегодня, по радио передавали — от двух до пяти н**о**чей.

— Так, пойду домой, наверно, отца разбужу... хоть ломик какой-нибудь или еще что придумаем... или окно высадить?

— Да окно не надо, наверное... я щас попробую...

Я подумал, как воспримет отец мое появление в пьяном виде в 11 — 12 часов ночи. А что поделаешь... Да еще захотел в туалет. Обычно я ходил в саманный сарай за домом, служащий по совместительству и курятником, он древний и дырявый, едва не разваливается — недаром единственный саманный в селе, но на него бабушка вешает замок, так как соседи алкаши повадились таскать кур. А в данный момент, так сказать, ключи у бабушки.

— Ба, я пошел домой, в туалет сначала схожу... скоро приду!

— Ты тут не пакости...

— Да я к посадкам, туда...

— Лучше в школьный забеги, все равно по пути... попробую подняться... было б за что ухватиться...

— Да ты пока сиди, я сейчас...

Я зачем-то закрыл калитку крыльца, потом дотронулся до вертушки, закрыл калитку оградки, дотронулся до ее вертушки, до трех ближних кольев оградки. Я делал это всегда для себя, не выясняя зачем, бабушка потешалась всегда: «Ох, пока всех оздор**о**ваешь!» Теперь я понял: это магическое охрани-

тельное действие. Я повторял его по нескольку раз на дню без всякой сознательной цели-сообразности и никогда не колебался, не задавался вопросом, что это есть и для чего, откуда вообще взялось — я изобрел? Просто как данное, как уметь ходить, думать, соображать... впрочем, последнее не у всех... Быстрей!

Школьный туалет, кирпичный, был метрах в двадцати. Я весь мокрый — промок! Причем, самое интересное, что мужской отдел, так сказать, сами «мужики» и свалили по пьяни. Благо я в этом не участвовал! Вот он какой, туалет... темно, и пол ходуном ходит, ослизлый от грязи, зато тихо, нет дождя и простор-то какой... Дырку не вот найдешь — ногой, что ль, щупать?!. Помнится, я как-то уж здесь был... в молодости, тоже вечером, и в нашем «ремонт» тоже был, что ли... а тут как-то экзотично-чисто — нет надписей и порнорисунков, «бычков»... и пахнет по-особому... тьфу... причем дед Мурзик завалился, а я ссу, а он испугался и шарнул вон, как кот! Когда рассказал бабушке, она очень смеялась и представляла его по всячески: «Черт старый! Мурзик! Живешь за километр, а свово туалета не имеешь — бегаешь школьников стесняешь! кабы ты не добежал-то!» Вообще я уяснил, что лучший разговор, особенно когда собеседники в конфликте или вблизи него, это перемывание костей кому-нибудь постороннему, не со зла, а так, заради анализа. Так, я от бабушки узнал всю историю села и историю каждой личности в отдельности — так что сейчас, когда кто-то пытается представлять себя чем-либо для нас, молодых, не знающих истоков, я-то сразу...

Мне послышалось, что в бабушкином доме что-то громыхнуло и голоса. Я наспех застегнулся и побежал обратно. Залетел на крыльцо и к двери:

— Бабань, как ты?

— ... а, эт вы пришли... никак не встану...

— Да я только в туалет ходил... думал, ты кричишь... сейчас домой...

— Чтой-то собаки взял**и**сь гавкать — как в голодный год...

— Да какие собаки!..

— Какие...

— Так, я пошел!

Я выскочил, растворив все двери, и понесся опять в туалет. Поскользнувшись, я упал вперед, но приземлился на руку, поднялся и рассмотрел ее, приблизив вплотную в лицо. Я захотел вытереть руку о побеленную стену в туалете. Когда видишь побелку, всегда хочется провести по ней ногтем, она как будто мягкая, можно углубить надрез, надавив, можно расширить, ведя всем ногтем, можно закруглить траекторию одним спонтанным движением... А брызги грязи! Не видал побелки, которой по любому поводу не коснулись брызги грязи... Лицо у меня тоже в брызгах. Ты когда-нибудь видел себя в зеркале, в полный рост, *без посредников*? Смотришь, смотришь ближе и неподвижно сознаешь, как будто в виде чего-то забавного, что вот этот настоящий человек, ты его видишь не по телевизору, не на фото, не из окна, не перед собой в движениях и речи или во сне — а видишь просто его неподвижно и симметрично себе, и то, что он существует и стоит здесь — твоя заслуга, ст**о**ит тебе шевельнуться, моргнуть, даже сосредоточенно подумать о чем-то, ты увидишь это, да, что это есть ты, тебе надо бы идентифицировать себя с этим. Внимательно присмотревшись (к объекту), увидел много незнакомого и чужого, о чем никогда не мыслил и даже не знал. Почему? — ассоциация себя со своим «я» у большинства людей, может, и у всех, однобока, «дебильна»! Какие-то фрагменты, какие-то отражения, виденные мимоходом или рассматриваемые специально (что уж паче фильтр), лелеются в подсознании и действуют по типу

файлов: надо *я* — вызвал эти картинки, совмещенные в одной, они же проецируются на все твои отражения, постоянно держатся наготове, в активе, и при каждом произнесении значимого, отделенного от глагола «я», или когда ты пишешь это слово, местоимение «я» с подобием головы и ног, с особым, очень внутренним удовлетворением рисуешь его в клетке на белой бумаге, если б ты остановился, подумал, ты бы мог выдать буквально ксерокопию своего любимого отражения... Изредка следует обновлять программы — меньше будешь падать...

Я остановился на мгновение, прильнув грязной рукой к стене туалета (надо сказать, что дверей у него нет — просто заход за стенкой), и мне показалось, что то ли внутри, то ли у бабушки опять... Я оглянулся на дом: на фоне его единственной побеленной белой стены были три дерева от кленовых посадок. Я к лету опилил им макушки на разжижку, на растопку, а сейчас их стволы-столбы обрамлены сверху побегами, изогнутыми, как пружины, или лучше, волосы, и застывшие так до весны. Косо они проецируются... на стенку от внезапно проявившейся луны, а кажется — от дальнего света в окне больницы, от трех лампочек на дворе у Яночки. Опять мое зрение захватило образ белого простора тетрадного листа (можно фигурально выразиться, что у меня на уме не только субъективное и объективное, а еще нечто среднее, их соединяющее, обостренная зрительная, зрительно-образная, память, реальность тетради, бумаги, почерка и слова; иной раз даже снится весь сон — там, на бумаге, происходит свое действие, решаются невыносимые проблемы, все кишит особым смыслом); я представил рисунок, который наряду с несколькими другими (примитив — крестики, галочки, рожицы и т.п.) наиболее часто воспроизводим мы от нечего делать, — он напомнил мне эти посадки — сначала закрашивается небольшой кружок из точки, а из него ответвляются неровные, волнистые линии... А что, не чувствовал себя большим, или... великим — приятное слово в значении «большой», — когда стоял на краю косогора под солнцем? А сначала, когда шел и вдруг глянул вниз, даже отшатнулся! — десять метров и длинная яйцевидная голова — и все — твое!

Я зашел, хлопнув ладонью об гладкую побелку — кто-то здесь. В полсекунды я был размят меж двух ударов-движений: распахнуть куртку и — выскочить вон. Я услышал Янушку и различил едва привыкшим зрением: поза ее была неестественна, она ругнулась и простонала — все вместе. Размятость я ощутил: и в голове, и во всех внутренностях, в сердце, наверно, во-первых, но я не столь привык его дифференцировать... Потом, по-моему, она сказала: «Помоги мне встать», а может и нет, или это вырвалось у меня... нет, вернее, внутри... как-то что-то «переклинило»... Яночка! Вот она!.. Да, это она... она попала ножкой в дырочку... и в грязь... как это трогательно и смешно... из-за меня, наверное... согнутой коленкой, что ль, заклинила?!. Отверстие квадратное, маленькое... Между прочим, яма под сортиром глубиной метров восемь — так мне казалось, когда мне было годика так четыре — помню, мой дружбан (впрочем, не дружбан, а дерьмо и дебил!) — он был постарше — залез как-то туда, под низ, сортир был еще новый, и на переменах смотрел вверх, его, конечно, обо...ли... Яночка, что ж ты это, Янечка?! Да ты дай... хоть за шею схвати!.. Причем он обратно выбраться не смог, стал орать, но никто не соизволил, а призвали родителей. Я-то был не такой дубок — сделал лесенку, песенку, залез туда, причем с двумя подругами, и, помнится, смотрел на них, а они были очень рады такой интимной обстановке и не чуждались меня, тем более, что наверху, кроме одной учительницы, никто не заходил — в общем, все мы измазались — тьпфю! — и нам опять же задали взбучки, и еще за то, кстати, что девочки были очень рады всему и кричали: «Мы задули!» Вот она какая ты теплая. Да, ты

грязная. Нельзя же так. А я тоже ж ведь хочу в туалет, очень сильно. Я хочу тебя так. Почему ж ты никогда не давалась мне в руки, не удостаивала даже честью какой-нибудь совместной работенки или, например, прогулки?! Думаешь, мне не было больно и нестерпимо от каждого твоего смешка с другими, от каждой твоей улыбочки рядом со мной! да, я — дерьмо, а что я могу поделать?! Тем более, сейчас! ха! А! как я!.. А только посмотришь на все видоизменения твоих поз, твоих ног в спортивных трико — складки, складочки, вкладочки, впадочки, натяжения, прояснения! — хоронишь и хранишь эти снимки вместе с лучшими своими файлами *я*, каждый день пересчитывая и оживляя — вот кукольная анимация! Сейчас я тебя пересчитал — теперь же оживлю. И руки уходят в тебя. Мне почему-то это до боли знакомо... Помнишь, Яна, во втором классе мы играли на куче мешков с удобрением — руки, обхватив мешок, впиваются, врываются пальцами в полиэтиленовую кожицу и выпускают сыпучую, теплую почему-то муку. Какая тактильная тактика! Мы все перепачкались в этих химикатах, розовые и одуревшие от запаха, стали валяться, кувыркаться, рвать все... Это было первое мое «буйство», а и твое тоже. А как тебя Фома ткнул лицом в мешок! Ты чуть не подохла... то есть не задохнулась — потом три дня лечила глаза в райбольнице и не ходила в школу... Кстати, какая символичность! Какая личность! Трансплантация личности, прививка, как у деревьев и кустов, только дичок-то — ты! Прививка дичка к плодовому... мне!.. больничная будничность... Как этот прыщавый акселерат Фома тоже в той поре учудил: ему было тринадцать, по-моему, а Ленке московской, Арбуз**и**хе, пятнадцать — до чего ж была пухленькая и вульгарненькая, правда, кто видел, говорили: вся задница из шрамов, что твой арбуз: забрало до этого здесь в сеялку — она приехала летом и ошивалась с нами — мы-то шершни, а у Фомы ужо был период созреваний — он был особенно похабен на словах или юбки задирал — просвещал нас, картавя. Один раз Леночка пошла в Фомин туалет, мы стоим, а Фома вломился к ней, стала трепыхаться и орать, а потом стонать и выходит через пять минут вся скомканная, довольная и растрепанная — даже волосы в красноватой массе, но то была не кровь... До чего ж человек приспособлен к себе! А помнишь, как всем классом вы навалились на меня и по чьему-то злобному почину хотели снять с меня штаны... в том числе и ты, но, конечно, не все сразу получается — учиться надо, с годами... потом раз бежать, а я слежу схватил тебя, причем за штаны, за трусики, они стянулись довольно-таки, и ты лежишь навзничь в хорошей позе, правда я тогда не понимал всей прелести... гм... и поскольку был аффектен, по инерции залепил тебе, уже бегущей, осколочком вот такого-ого кирпичища по черепной коробочке! Как ожила-а! Как ты сильна, ты меня задушишь! Не надо насилия, не надо анархии, прошу тебя... Ну вот этого уже не прощу! давай! Как ты тверда, горяча и темна! я не вижу... Все уходит из моей жизни, из ее настоящего момента, вот — мгновение — нет ничего. Ничего? ничего! ничего... ничего.

Я очнулся в темноте. Тикают часы, узкая полоска света из расшторенного окна, фурычет кот на сундуке, за шторкой сопит во сне бабаня — все как всегда, все — до редкого капанья от дождя в бачок во дворе и неразмеренного заглядывания в окно тени от моих постиранных штанов. Полежав так с минуту, я подумал: могу ли я верить в это, когда знаю, где б я ни был, просыпаясь или просто закрыв глаза и оставив мысли, ощущаю себя *здесь*, вернее, там — у бабушки. Я очнулся еще раз, и что я могу констатировать? Могу ли я консп... констатировать?

Я лежал. Здесь ли мое тело? Руки мои черны и липки. И куда ни плюнь, то же самое.

ноябрь 1997

Владимир Вестер

После поминок

Рассказ

А на огромной площади, покрытой пятнисто-желтой травой, все намечалась и намечалась стройка. Гудки раздавались на ближнем к ней путейском перегоне. Лес свою листву сбрасывал. Дождики шли вперемешку со снегом. В нашу каптерку электрический свет провели, но вокруг по вечерам была тьма. Да еще такая, что мне казалось, во тьме люди пробуют создать очередную «родину электричества».

Я каждое утро ездил на эту «родину» в вагоне метро и в железном автобусе, прижавшись лицом к чьей-нибудь суконной спине. На светофорах автобус тормозил, и я оказывался еще ближе к этой спине, чем к остальному человечеству.

Была и моя комната на третьем этаже. И женщина за стенкой пела то по-итальянски, то по-русски. И молодой человек почти одного со мной возраста выходил из подъезда. В кухне соседи с криками что-то жарили, и запах рыбы проникал во все уголки моей еще не до конца сформированной души. А после были поминки по Петру Павловичу, моему соседу, и люди сидели на поминках с одинаково скорбными лицами: все они (человек тридцать) пришли (приехали), чтобы усопшего помянуть. Обильно и вкусно.

За точность события я отвечаю. А за то, что кто-то из родственников моего друга давно жил в Америке, а кто-то обосновался в Швеции на ПМЖ, ручаться не могу. Возможно, кто-то и жил. А если не жил? Тогда что? К тому же кто-то, по его словам, свалил при первой же возможности в душный Тель-Авив, а оттуда, при содействии Сохнута, подался в маленький Люксембург, чтобы приобрести там небольшой дом с видом из окна на «живописную межгосударственную границу с местной люксембургской Аргентиной». А кто-то (это случилось значительно раньше) присутствовал в Кремле при подписании меморандума Молотова—Риббентропа. Вроде его двоюродной тетки со стороны отца, но по материнской линии. Каким образом его «родственник» оказался на церемонии подписании зловещего документа, Александр Петрович мне так и не смог объяснить. Он раза три хотел уточнить, но так и не смог. А по документу объяснил, что сперва долго лежал и думал, затем сидел и снова думал, затем стоял и опять думал, а после лег в носках на диван и, еще немного подумав, пришел к убеждению, что это — гнусный и сволочной меморандум. Он и есть первопричина всего, а никакое не грядущее клонирование и те грандиозные успехи в области психогенетики, которые когда-нибудь докажут, что он, Тыквин, мне опять не соврал.

Владимир Вестер (Вестерман Владимир Самуилович) родился в Москве в 1948 году. Закончил МОПИ им. Н.К. Крупской. Член Союза писателей Москвы. Печатался в многочисленных газетах и журналах. Автор книг «Фаворит(ы) Луны» (2005), «Время партнеров» (2007), «СССР, или другая цивилизация» (2008), «Отель разбитых сердец» (2012). Последняя публикация в «ДН» — повесть «Непредвиденное происшествие» (№ 6, 2013).

Вот это, наверное, и послужило поводом к тому, что незадолго до ноябрьской праздничной иллюминации Александр Петрович решил, что хватит нам с ним дурака валять — пора за ум браться. В частности, пора нам с пьяными возгласами по ночам завязывать. («Мы с тобой еще раз ночью что-нибудь выкрикнем, а потом все».) Пора и с юношеской сексуальной невоздержанностью кончать, и с преклонением перед американским цветным кинематографом, и с излишествами в еде. Что же взамен? А взамен пора уже нам повзрослеть, пора уже нам переходить в конструктивную оппозицию к действующему политическому режиму. Причем я (сказал он) намерен в оппозицию перейти сразу и навсегда. И пусть меняются режимы, а я и к ним в оппозицию перейду. Гласно. И посреди ночи он встал и с такой буйной критикой на устои обрушился, что я не выдержал и сказал:

— Ну, ты и покатил на них!

Еще пронзительней оказалось мое предположение, что Александр Петрович вполне способен немного прихворнуть после наших с ним разговоров. Он и раньше мог прихворнуть и не обязательно после наших разговоров. Здоровье, надо сказать, у него было чувствительное, а организм еще чувствительней. Но самым чувствительным был у него вестибулярный аппарат. Ему наш врач из районной поликлиники, строгий Ильич Иванович Гольденвейзер, говорил по поводу вестибулярного аппарата: «Стойте за ширмой спокойно! И руки вытяните вперед! Эту позу нам великий Ромберг завещал! Вы чего? Еще раз хотите, чтобы вас в армию забрали?»

Я не верил в строгость доктора Ильича Ивановича Гольденвейзера. Он был, в сущности, никакой не жестокосердный Ильич, а не слишком толстый московский палестинец лет сорока, в застиранном белом халате и в раздутых на коленях черных брюках. Он выписывал мне бюллетень за две бутылки белой водки с пробкой типа «центровой козырек».

Но даже образ не слишком толстого палестинца не в силах был заглушить мысль о проблемах со здоровьем товарища. Она не покидала меня. И я лежал у нас в каптерке и видел первую звезду в окне, затем вторую и третью, и новую луну тоже видел... А с помощью астролябии размечать площадку мне почему-то не очень хотелось. Я, лежа в каптерке, думал о том, почему он и шляпу забыл у меня на крючке и почему мой бугристый диван все еще хранит фривольное тепло лежавшего на нем студента. Или с работы домой приезжаю, вхожу в комнату и кажется мне, что он сидит за столом и читает мою вчерашнюю «Правду». Но... Он ли это? Тревожный симптом!

Вскоре мне стало казаться, что он либо при смерти, либо получил серьезные затруднения с мочеиспусканием, дефекацией, эрекцией, едой, сном... Душа его не на месте. Черт знает где. И он не у меня на диване, а у себя в комнате покоится в оранжевых носках. На стуле — столпотворение аптекарских пузырьков в бумажных колпаках и с черными резинками, туго затянутыми на узком горле каждого пузырька. Строго по настенным часам Тыквин пьет микстуры и настойки столовыми ложками. Кашляет, морщится, а все равно пьет. А как лекарство свое действие окажет, так он вдруг вскочит и сходит по нужде в эмалированный детский горшок отечественного производства. А в промежутках он — совсем больной человек. Читать не может, во сне — ужасы всякие. Лежит он, значит, раскинув длинные ноги и сложив руки на груди, и шепотом ссылается на тяготы жизни, неизбежность зимы и, как следствие этого, препятствия с приездом в нашу страну великого англоязычного музыканта, Элвиса Аарона Пресли. (Хотя бы и под видом бывшего водителя грузовика, еще в 1952-м устроившегося на работу где-то неподалеку от Мемфиса.)

Поближе к всенародным праздникам все стало изменяться. Сперва не очень

радикально, а потом все радикальней и радикальней. В ближайший к нашему дому гастроном «У летчиков» завезли не сушеную воблу в мешках, а пельмени в пачках, и я купил две пачки. Стоя в общей кухне под чьими-то сушившимися на веревке дамскими фиолетовыми панталонами, я одну из пачек сварил в эмалированной кастрюле. Чуть было не сбылась моя давняя мечта насчет новой зимней шапки и резинового эспандера для физических упражнений на заре. Но своего апогея все эти радикальные изменения достигли чуть позже. Когда Александр Петрович около девяти вечера пришел ко мне. На голове — пробор, тускло блестевший при электрическом освещении.

* * *

Выдержав в дверях эффектную паузу, он сказал, что имел дерзновенную смелость быстро и полностью выздороветь и теперь нет у него проблем ни с мочеиспусканием, ни с дефекацией, ни с эрекцией. «А главное, — с особой гордостью уточнил он, — у меня вестибулярный аппарат теперь в полном порядке. И пошел он этот Гольденвейзер вместе с ширмой и Ромбергом, ты сам знаешь, куда!»

Я ему предложил: «Значит, так: еще кое-что из пельмешек у меня осталось». Тут же я встал со стула и, учитывая уникальность ситуации, к шкафу своему сходил. И после граненого, выпитого им тотчас залпом и полностью, хотел у него поинтересоваться относительно его духовного состояния. Задать пару вопросов по его душе. Где она и в какой плоскости? Думает ли на землю спускаться или так и собирается где-то витать?

Но не стал я этого делать, поскольку он мне сообщил в свойственной лишь ему манере:

— Душа моя по-прежнему свободы просит. Ты мне, Армяков, скажи: ты содействие посильное способен товарищу оказать?

— Ты же знаешь меня, Александр Петрович!

— Знать-то я знаю тебя, однако же не до конца. Ты, Армяков, парнишка ничего себе, ты — не лупень какой, и друг ты мне, а не какая-нибудь посторонняя сволочь. Однако все равно узнать человека — это тебе не пельмешками закусить, не макароны в дуршлаге водою обдать. Это — проблема небесная. Я теперь к такому выводу пришел. У меня во время недомогания одно видение было. Будто бы входят в дверь трое каких-то докторов в штатском. Один — мелкий и в золотых очках, а еще двое — в черных пальто, и рожи, как табуретки. И вот входят они ко мне, и тот, что в очках, говорит: «Вы, Александр Петрович, зачем с критикой на устои обрушиваетесь? Хотите, чтобы вам на Лубянке яички дверью придавили?» И ушли. А я глаза открыл и вижу: лежу один в своей комнате, все пять рожков в люстре горят, и никого больше нет. И так настоящей свободы мне захотелось, что хоть криком кричи. А кто услышит?

Сказал он мне это, выпил и закусил, а я подумал, что в своей жизни с разными проблемами сталкивался и всегда буду сталкиваться. Что ни день, так проблема. То деньжат бы где бы занять, то как бы свое счастье личное не проворонить в дыму ближайшей шашлычной. А то еще так: ботинки надевай, хватай с вешалки шапку и куда-нибудь беги мятущейся чьей-нибудь душе содействие оказывать. И тут я вынужден пояснить, что, помимо Сергея Львовича, бывшего полковника, моего начальника, два плотника были у нас на намечавшейся новостройке: Смирнов и Кузякин. Красивые люди! А руки какие! А общий их плотницкий гвоздодер! У них и душа была как бы общая. Одна на двоих. И этой их «общей душе» оказывать содействие такое приходилось, что на так называемом Ярославском перегоне гудки становились тревожней, а Сергей Львович, мой начальник, вбегал в каптерку и кричал: «Они забора на северо-

востоке еще не сколотили, а уже в стельку!». И, словно фокусник, ветеран вооруженной борьбы с японскими захватчиками вытаскивал из рукава стакан и требовал налить ему чего-нибудь погорше. Выпив, он восклицал: «Фу ты, ебентыть! Теперь отлегло!»

А с Тыквиным, чтобы отлегло, надо было как-то иначе поступить. Это я тоже хорошо знал. С ним, если и крикнуть раза три «Фу ты, ебентыть!», все равно бы не отлегло. Не так-то просто было решить вопрос с его свободолюбием, с его просящейся в полет внутренней сущностью. Тут даже я, знавший его с детства, никогда не знал, как надо поступить. Как содействие оказать?

* * *

Мысль о переходе в конструктивную оппозицию к действующему режиму умерла окончательно. Нам с ним и пяти-шести граненых не хватило (и не могло хватить), чтобы восстановить идею, использованную спустя много лет совсем другими людьми. Я было заикнулся о поступлении новой партии итальянской кожаной обуви в ближайшую к нашему дому подворотню, а потом сказал, что вскоре кинокомпания «20-й век Фокс» объявит конкурс на замещение вакантной должности умершей, хотя и бессмертной блондинки, Мэрилин Монро. Но Александр Петрович на это мне сразу возразил. Он четко констатировал, что все это он уже слышал во время своей недавней поездки в калифорнийский Голливуд, и я подумал, что дело зашло слишком далеко и надо бы, чтобы дальше не осложнять, позвать его к соседу Петру Павловичу на поминки: тот накануне скончался в 34-й городской больнице при загадочных обстоятельствах. На поминках (не без оснований заметил я) и водки побольше, и закусить побогаче, и душа отдохнет. К тому же другой мой сосед, Андрей Матвеевич Каблуков, одетый во все самое парадное, уже раз три всовывался в дверь. Всунется в дверь Каблуков, глазами поморгает, лицо сморщит и спрашивает: «Ты, Коля, как насчет Петра Павловича добрым словом помянуть? Можешь с собой и дружка своего прихватить».

* * *

Вне всяких сомнений: мы бы с Александром Петровичем моего соседа, Петра Павловича, во что бы то ни стало помянули. В связи с кончиной Петра Павловича в 34-й горбольнице (при загадочных обстоятельствах). Если бы Александр Петрович со стула не поднялся. Если бы он не вышел на середину комнаты и, в противовес проблеме с чувством равновесия, не встал упрямо и театрально под моей электрической лампочкой. Если бы он руки не простер к потолку. Если бы он, ударив рукою по воздуху, наотрез не отказался, сказав, что в его нынешнем духовном состоянии только еще не хватало ему увидеть совсем недавно живого человека в деревянном гробу. На что я хотел ему сказать, что похороны были днем за счет профсоюза, а теперь вечер и не за счет профсоюза, и все, кто хоронил, приехали с кладбища и сейчас будут (опять-таки не за счет профсоюза) совершать принятый в таких случаях обряд поминовения. То есть прилично выпьют и не менее прилично закусят. Солидно и вкусно. День-то, сказал я, довольно-таки прохладный, люди венки несли, скорбных фанфар наслушались, и настолько все утомились и продрогли на ветру, что теперь им самое время выпить и закусить, сказав несколько важных слов о том, кто еще не так давно по коридору с чайником ходил и в кухне кашлял. Но Тыквин опять отказался туда идти. Опять он встал под лампочкой и опять театрально. И опять сказал, что на скорбное мероприятие его ничем нельзя заманить. «А ты, если хочешь, то ты иди туда. Иди в обитель скорби и печали! А я тебя тут подожду. Оставь мне только штучки три, а то и четыре сигаретки «Явы» с фильтром. Я

после болезни стал меньше курить. А впрочем, ты там на поминках все равно не слишком задерживайся. Разок помянул и ушел. Еще разок помянул и снова ушел. Ну, может, еще разок... А то, знаешь ли, мало ли что мне в голову взбредет. Меня все-таки не кто-нибудь, а сразу трое врачей в штатском посетили! И выпил я, по самым скромным подсчетам, почти два литра горьких аптекарских лекарств по настенным часам!»

* * *

Поминки оказались еще горше, еще печальней, чем можно было ожидать, и нет теперь необходимости сообщать о них какие-либо подробности. Одно и скажу, что говорили собравшиеся о том, какую светлую и огромную жизнь прожил плоский, как дверь, Петр Павлович, и если бы не то партийное собрание, состоявшееся в первых числах октября 197... года, то жизнь его могла бы быть еще светлее и огромней. Говорили о его жене, о его детях, о его незаконченном высшем техническом образовании, о том, как он служил в армии, как помогал людям в квартире деньгами и по хозяйству и один раз, так и не дождавшись слесаря, сам починил сливной бачок. Вспоминали любимые анекдоты Петра Павловича, и почему-то каждый из анекдотов начинался со слов: «Приезжает муж из командировки...» И о том еще говорили, что любил Петр Павлович в августе побродить с длинным кухонным ножиком по предосеннему лесу, пособирать грибы и как он их мариновал, солил, жарил, сушил и за свою жизнь, светлую и огромную, насушил примерно около двухсот килограммов различных грибов, каковые теперь на поминках и предлагаются. И тут же встал один приличный мужчина в роговых очках и сказал: «Не было более яркого специалиста в данной области!» И сосед Каблуков тоже встал, и все другие тоже встали, и все стали кричать: «Помянем, друзья, нашего соседа и товарища! Он был человек честный!» И я тоже встал и вместе со всеми крикнул... Но самое поразительное было то, что какая-то женщина в темном скорбном платье и с блестящими огромными глазами как бы нечаянно прикасалась ко мне под столом своим бедром, и я сквозь ткань ее платья чувствовал, что на ней надеты чулки и что, наверное, там, где они кончаются, есть потрясающая по своей недоступности полоса голого тела. И не могу сказать, почему после поминок я раза три ходил к своему шкафу, и деревянные створки скрипели в комнате, и я вынимал из темноты гардероба портвейн в твердой бутылке, как всегда, находившейся у меня в загашнике.

А после брезжил рассвет, на линию выходили трамваи, орали дворники внизу, и гасли в окне ночные огни... И чья-то узкая талия в полутемном разгроме, нательное белье, губы, плечи. И тихие слова, и скрип пружин, и стоны кульминации.

* * *

Дня через два Александр Петрович, надев на майку пиджак, с наслаждением пил из дудочки моего белого заварного чайника с портретом Георгадзе на боку. Поставив чайник на стол, он подошел ко мне, но не в лицо мне сказал, а мимо, мимо... куда-то в окно:

— Да ну их ко всякой такой матери, все твои поминки!

А потом... Я не помню, что было потом. Кажется, мне Александр Петрович что-то еще сказал. Ну, вроде того, что надо куда-то нам снова идти. И мы с ним пошли. Я шел с моей оптической астролябией сзади, а Тыквин в шапке впереди. И уши его оттопыривались из-под шапки, похожей на птичье гнездо.

Снег небольшой падал сверху. По лицам прохожих можно было понять, что никто не догадывается, куда мы идем.

Константин Симонов

Наше время еще занесут на скрижали...

Записи в рабочих тетрадях: беседы и размышления

Мы все знали, что война будет

Пересказ беседы с председателем Моссовета В.П.Прониным

В начале работы над фильмом «Если дорог тебе твой дом»[1], одним из авторов сценария которого был Константин Симонов, редактор кинокартины Лазарь Израилевич Хволовский побеседовал с бывшим председателем Моссовета Василием Прохоровичем Прониным. К.Симонов записал их разговор в пересказе Л.Хволовского, включив в текст, который никогда не редактировал, комментарии Хволовского и свои реплики в ходе записи. В данной публикации сохранены выделения курсивом, сделанные автором, а собеседники обозначены инициалами К.С. (Константин Симонов) и Л.Х. (Лазарь Хволовский).

Л.Х.: Наш разговор начался с того, что я рассказал ему о студии, о замысле фильма. Пронин сказал, что фильм такой очень нужен, особенно для молодежи.

— Но фильм будет ценен лишь в том случае, — заметил он, — если там будет сказана правда. Только правда. А то подумайте, ну что сейчас говорят о начале войны? Фактор внезапности. Ерунда все это. Никакой внезапности не было. Было чистое поражение. Ну, во-первых, весь народ был подготовлен ворошиловскими речами к войне на территории противника. Во-вторых, во главе армии стояли эти «конногвардейцы» Ворошилов, Тимошенко и Буденный. Все они в военном смысле люди ограниченные, а в общем — так и подавно.

И, наконец, в-третьих, вооружением и, главное, тактикой немцы нас превосходили. У нас ведь тактика была какая? Фронтальная. Кавалерийская. Вот немцы нас и били.

А внезапности никакой не было. Мы все, вплоть до Сталина, знали, что война будет. Помню, я еще в тридцать девятом году, еще перед Финской, был как-то на заседании Политбюро. Речь, кроме всего прочего, шла о противовоздушной обороне и, в частности, о противовоздушной обороне Москвы. Сталин вдруг меня спросил:

— Как у вас дела в этом плане?

Ну, я ему ответил, что, мол, неважно, опыта нет, варимся в собственном соку. Сталин тогда сказал, что он даст указание разведке собрать данные об опыте противовоздушной обороны.

---

[1] О фильме см. вступительную заметку А.Симонова к публикации «Приговорен к бессмертной славе. Беседы Константина Симонова с генерал-лейтенантом Михаилом Лукиным» («Дружба народов», № 10, 2015).

Прошло какое-то время; Сталину, сами понимаете, я не напоминал, — как вдруг приходит мне в Моссовет огромный пакет. И там надпись Сталина: «Материалы для Пронина». Это были данные нашей разведки об организации ПВО в Лондоне и в Берлине. Тридцать девятый год, там уже вовсю война шла, или даже сороковой это был.

Нам все это, кстати, впоследствии очень помогло.

Потом помню другой случай. Это уже во время Финской было. Сижу я у себя как-то перед самым Новым годом. Вдруг звонок. Сталин.

— Что делаете? — спрашивает.

— Да вот, — говорю,— собираюсь Новый год встречать.

— А вас не интересует, как в Ленинграде поставлено дело противовоздушной обороны?

— Очень, — говорю, — интересует.

— А когда бы вы могли туда поехать?

— Дня через два, — отвечаю.

— Нет, — говорит, — поезжайте сейчас.

Ну, я и поехал. И провел там десять дней. А вы говорите — внезапность.

Да что там говорить. Двадцать первого июня вечером вызвал он нас с Щербаковым. Приехали мы к нему в Кремль. Было девять часов вечера, как сейчас помню. У него уже сидели Ворошилов, Тимошенко и Молотов.

Сталин сказал нам, что по данным разведки, по словам перебежчиков, сегодня должна начаться война. Он спрашивал о нашей готовности к этому.

Потом Ворошилов, Тимошенко и Молотов ушли. А мы с Щербаковым остались и сидели у Сталина до трех часов ночи. В три часа ночи, когда уже стала светло, — 22-е июня, — Сталин посмотрел на часы, подошел к окну и сказал:

— Ну, сегодня, кажется, войны не будет. Вы где отдыхаете?

Мы сказали, что в Барвихе, двадцать минут езды от Москвы.

Он говорит:

— Ну, поезжайте.

Вышли мы от Сталина, сели в машины, поехали к дачам. Только подъехали, даже в ворота не заехали. Чекисты стали нам ворота открывать и говорят:

— Война.

Мы развернулись — и обратно, в Москву.

К этому рассказу Пронина мне хочется сделать некоторые добавления. Я абсолютно верю в достоверность этого рассказа о встрече 21-го июня, потому что в воспоминаниях Кузнецова рассказывается, что Тимошенко, бывший тогда наркомом обороны, вызвал Кузнецова к себе 21-го июня в одиннадцать часов вечера и дал ему указание о боевой готовности № 1. Это указание могло последовать лишь после разговора со Сталиным о перебежчиках, о котором рассказывал Пронин. Так что показания Кузнецова и Пронина друг друга подтверждают.

Л.Х.: Дальше у нас с Прониным зашел разговор о начале войны. Я спросил, что было со Сталиным до 3-го июля? Потому что ведь был же такой разговор, что до 3-го июля первые десять дней Сталин вышел из строя и ничего не делал. Когда я его спросил об этом, Пронин сказал:

— А-а, знаю. Это Хрущев пустил слух о Сталине. А вы давайте посчитайте. Значит, 21-го июня я у него был, а 24-го июня в шесть утра мне Сталин звонил и вызывал к себе, и я у него снова был. А был я у него вот по какому поводу. Помните самую первую тревогу московскую, в ночь на 24-е июня? Откуда эта тревога взялась? А вот откуда. Тогда в газетах появилось сообщение, что тревога учебная. А на самом деле это была никакая не учебная тревога.

Летели наши самолеты, а посты ВОС дали донесение, что летят немцы. Начали стрельбу. От зенитных орудий при разрыве снарядов получаются такие белые облака. Только что война началась, никто ничего не знает — приняли эти штуки за парашютистов. И пришло сообщение от Краснопресненского райкома и от Киевского райкома, что немцы десант высадили за Киевским вокзалом. Мы сразу по тревоге —

раз — дивизию внутренних войск бросили туда. Пальба идет, страшное дело. Выскакиваю я с командного пункта обороны Москвы — он в Моссовете был — меня не пускают. Но я кое-как с трудом пробился. Приезжаем туда, на Киевский. Конечно, никаких парашютистов, ничего нет. Потом я вернулся в Моссовет, мне докладывают, что, мол, ошибка вышла.

В шесть часов мне звонит Сталин, вызывает к себе. Прихожу к нему.

— В чем дело? — говорит.

Я говорю:

— Вот обмишулились, товарищ Сталин.

— Как же так?

— Да вот, — говорю, — приняли за парашюты разрывы снарядов, обстреляли своих.

— А ваше мнение по этому?

— Я говорю:

— Не беспокойтесь, товарищ Сталин, все убеждены, что это была учебная тревога.

— А вы — точно?

Я говорю:

— Проверю и доложу снова. Через час я ему позвонил и докладываю:

— Точно, товарищ Сталин. Все считали, что это учебная тревога.

— Ну что ж, так и дадим сообщение в газете.

Так появилось сообщение в газете о том, что 24-го была учебная тревога.

К.С.: *А откуда самолеты, он не уточнял?*

Л.Х.: *Он не уточнял.*

«И, наконец, третьего июля Сталин уже выступал. Значит, прошло восемь дней. Ну, я его в течение этих дней не видел, — сказал Пронин. — Был ли он в состоянии прострации в эти дни, не знаю. Я рассказываю факты...»

К.С.: *В каком состоянии он был 24-го?*

Л.Х.: *24-го — в нормальном.*

Потом я рассказал, как мы собираемся делать начало фильма. Начать с парада 2-го мая сорок первого года в Москве, на котором Тимошенко подошел после своего выступления к немцам, к военным атташе и очень любезно с ними раскланялся. На что Пронин мне сказал:

— Это все дипломатия. Вот я вам расскажу такой случай. В тридцать девятом году, когда Риббентроп приехал в Москву, он был у Сталина. Значит, присутствовали Сталин, Молотов, Ворошилов, я и еще некоторые товарищи. За столом сидели Ворошилов, Риббентроп, Молотов и Сталин. И получилось так, что Сталин сидел рядом с Риббентропом. А ему не хотелось, видать, сидеть с Риббентропом. Он мне говорит:

— Пронин, поди сюда.

И посадил меня рядом — между собой и Риббентропом. Велись переговоры, разговоры разговаривали. Переводили немецкий переводчик и Павлов. А потом, когда кончились переговоры, Сталин предлагает Риббентропу идти смотреть картину «Трактористы». Он ее очень любил. Риббентроп отказался. Тогда Сталин стал настойчиво ему предлагать — пойдем, мол, смотреть. Тот:

— Нет, — говорит, — ни в коем случае. Встал и уходит. А прощается он таким жестом: делает гитлеровское приветствие. Риббентроп сделал такой жест, и Сталин неожиданно встал и сделал ему так, книксен сделал почему-то.

Пронин встал и дважды показал, как Сталин делал книксен.

— Почему, — говорит, — не знаю.

И не успел Риббентроп выйти и дверь закрыть за собой, он с переводчиками ушел, как Сталин говорит: «Объебли мы их», а потом помолчал минутку и говорит: «Но воевать придется».

В разговоре о том, что было между началом войны и выступлением Сталина 3-го июля, я спросил у Пронина: а, собственно, почему 22-го выступал Молотов, а не Сталин? На что мне Пронин ответил:

— Вы понимаете, обстановка была сложная. Никто ничего не знал. Не мог

Сталин выступать в такое время. Вы же поймите, что война началась 22-го, а 24-го Тимошенко — кавалерист, буденовец — взял и отдал приказ о наступлении по всем фронтам. А наша армия к тому времени вся расчленена и разбита была.

К.С.: *Т.е. смысл мотивировки в том, что Сталин не мог брать на себя ответственность за непроверенные и неуточненные сведения и подставил Молотова. Мало ли еще как что повернется...*

Л.Х.: *Да. То есть он сформулировал не так, но мысль была такая. Кроме того, тут характерен образ самого Тимошенко, кстати, и к Тимошенко, к Буденному, и к Ворошилову Пронин относится с величайшим пренебрежением и нелюбовью.*

К.С.: *Они совершенно разные люди.*

Л.Х.: *Хотя они совершенно разные люди, но их нечто объединяет. Кавалеризм, конногвардейщина, как Пронин это называет. Конногвардейцы, кавалеристы, буденовцы — вот три эпитета, без которых он ни одно из этих имен не называет. Если называет Ворошилова, то он скажет или «конногвардеец», или «буденовец», или что-нибудь в этом роде, понимаете?*

Потом, кстати, не забыть бы, пересказать его мнение о Тухачевском.

К.С.: *А вот вопрос, который, возникает в связи с этой ночью у Сталина. Видимо, он предполагал возможность войны этой ночью, но находился в полном неведении, в каком состоянии была армия. Потому что докладов на эти темы ему давно не доводилось слушать, он этого не хотел, нажимал на то, чтобы сделать все возможное, чтобы как-то оттянуть войну и чтобы немцы не могли устроить вокруг этого провокаций. Все у него было нацелено на то, чтобы этого не допустить, думал только в этом направлении, при полном отсутствии истинного представления о том, что все-таки сделано с армией после тридцать седьмого года и насколько она еще не пришла в порядок. Он опять выдавал желаемое за действительное.*

Л.Х.: *Более того, он понимал, конечно, что война будет, и понимал, что 22-е июня — равноденствие, самое большое светлое время суток, но где-то в глубине души страстно надеялся, хотел верить, что этого не будет. И вы знаете, как игрок ли или как ребенок, кто его знает, он хотел, чтобы ее не было.*

К.С.: *В этом весь смысл пакта был.*

Л.Х.: *Вот его [Пронина] рассказ дальше:*

— Этот случай уже относится к самому разгару обороны Москвы. Когда немцы после первого наступления подошли к Можайску и после Можайска пошли дальше, они были остановлены зенитчиками, которых сняли с противовоздушной обороны и поставили на борьбу с танками. И немцы, конечно, не подозревали, что между Можайском и Москвой ничего не было. А действительно, ничего не было между Можайском и Москвой, и если бы немцы, со своей тупостью, не приняли эти несколько зенитных орудий за настоящую оборону, а пошли бы, то они дошли бы до самого города.

А с городом была сложная ситуация. 19-го октября, вечером, мы со Щербаковым шли на заседание ГКО. И мы понимали, что речь будет идти о том, оставлять Москву или не оставлять.

Темно было. Все было затемнено. Мы шли со Щербаковым, а впереди нас, метрах в пяти или даже чуть побольше, шли Берия, Молотов, Каганович и Ворошилов. И мы со Щербаковым идем и слышим, как они разговаривают, уже в Кремле, и Берия говорит, что защищать Москву не надо. Вот, мол, Кутузов сдал Москву, и мы сдадим, нельзя защищать ее, невозможно.

Вошли в подъезд, они увидели нас и перестали разговаривать.

И вот поднялись мы наверх, на заседание ГКО. И шла речь о том, защищать Москву или не защищать. Все мы сидели, а один Сталин ходил. И вот он обрисовал положение и первым подходит к Молотову и спрашивает:

— Защищать Москву?

Молотов подумал и говорит:

— Защищать.

Подошел к Кагановичу:

— Защищать Москву?

— Защищать, — не думая.

Подходит Сталин к Берия:

— Защищать Москву?

Берия говорит:

— Конечно, защищать.

И все мы сказали, что Москву надо защищать. Тогда Сталин сразу же, при нас стал звонить командующим Уральским и Сибирским округами и вызывать в Москву войска только 19-го октября, после чего подошел к Кагановичу и сказал:

— Вот что, Каганович, голову сниму, если войска не будут доставлены в Москву вовремя.

— Все будет сделано, — сказал Каганович.

После чего Сталин стал диктовать постановление ГКО знаменитое: «Сим объявляется...», помните? «А я, — говорит Пронин, — сидел и писал. Сталин мне продиктовал это постановление, я его записал на бумажке карандашом, сразу же поехал на командный пункт, передали его по радио 19-го, а утром уже напечатали в газетах и разослали по всей стране».

Этот стиль «Сим объявляется...» я все никак не мог понять, откуда это идет. «Сим объявляется...» — это Сталин придумал.

Л.Х.: *Я его [Пронина] спросил:*

— Ну а когда же сняли осадное положение? Он говорит:

— Положение осадное так и не снимали. Забыли. Не то что забыли, а понимаете, не до этого было, потому что, честно-то говоря, мы могли снять осадное положение раньше и снять светомаскировку могли раньше. Топлива не было, и поэтому светомаскировку сняли только в конце сорок четвертого года. А снять могли раньше. Поэтому осадное положение и сейчас существует. Указа об отмене осадного положения до сих пор нет.

Продолжая разговор с Прониным о Сталине, я сказал, что вот есть в зарубежной печати и у нас кое-какие слухи, что Сталин последние годы страдал психическим расстройством, что этим, наверное, объясняется то обстоятельство, что он был так подозрителен, от всех скрывался, аресты были большие.

— Что я вам скажу? — сказал Пронин.— Я Сталина много раз видел. И в узком кругу, и на большой аудитории. Сложный он был, конечно, человек, нельзя о нем одним словом сказать. Конечно, суров был очень на совещаниях, в ЦК. Обрубал так, обрезал, что страшно аж делалось. Сколько раз он меня срезал. Думаю — все. А потом, смотришь, — ничего. А вот в узком кругу, в семье — совсем другой человек. Вот видел я его последний раз в сорок девятом году. Отдыхали мы со Щербаковым в Сочи, и пригласил нас Сталин к себе на Рицу...

К.С.: *С Поповым, очевидно. Щербаков умер в сорок четвертом году.*

Л.Х.: *Да, видимо с Поповым.*

...Пригласил нас Сталин к себе на Рицу. Вот три дня мы там у него пробыли. И на катерах катались, и завтракали вместе, и ужинали вместе. Прогулки в горы совершали. Я, понимаете, на гармошке играю. Вот я играл, Сталин пел. Очень так душевно себя вел. А ведь на работе-то — зверь.

И это — как Пронин играет на гармошке, а Сталин поет песни — на меня произвело очень сильное впечатление.

К.С.: Любил. Жданов на рояле играл, а этот на гармошке.

Л.Х.: И еще могу рассказать случай, — говорит Пронин. — Помню, как сейчас, в ноябре еще была бомбежка. Дневная бомбежка в Москве. Как раз мы находились в это время со Щербаковым в ЦК. И туда бомба попала. Стекла повыбивало, двери повыбивало, штукатурка обвалилась. Много раненых было там у нас, и даже убитый. Мы со Щербаковым выскочили и побежали в Кремль, потому что нашу машину разбило. Бежим мы с ним в Кремль по улице Куйбышева. Едет машина заместителя

министра заготовок Ершова. Мы ее остановили. Шофер не хотел везти. Тогда я говорю охране своей: давай выкидывай, мол, без шофера, сам доеду. Ну, тогда он согласился, довез нас до Спасской башни.

Прибегаем мы в Кремль. А бомбежка-то продолжается, стрельба идет. Шарах! Бомба в Кремль попала. А в это время шла колонна курсантов училища Верховного Совета, и человек пятьдесят их убило. А Щербакова контузило. Ну, мы из Кремля к себе в Моссовет позвонили. Машина за нами пришла. Только я приехал на командный пункт Моссовета, мне докладывают:

— От Сталина все время звонят. Сталин вас всюду ищет. Я скорей Сталину звоню, докладываю помощнику: мол, слушаю, чего нужно? «Сталин вам велит срочно приехать». Приезжаем мы со Щербаковым к Сталину. Сталин к нам бросился прямо. Говорит:

— Что с вами?

Мы говорим:

— Все в порядке, товарищ Сталин.

А вид у нас страшный. Мы все грязные, в известке, в штукатурке — после бомбежки-то. А Щербаков ранен. Ну, Сталин говорит:

— Садитесь, ужинать будем.

И вот он с нами сидел весь вечер, кормил, поил и все время шутил. О войне не говорил, о делах не говорил. Понимал, что у нас травма душевная, и хотел нас как-то отвлечь. Шутил все время. Возьмет арбуз, посолит и даст — на, мол, ешь. Возьмешь арбуз, а он соленый. Душевный был человек.

Понимаете, какая вещь. Вот как сейчас интересно получается. Когда плохо, то Сталин виноват, а когда хорошо, то все это — партия и правительство. А Сталин ведь и был — партия и правительство. Разумеется, было у него черное пятно. Аресты. Только вот в тридцать седьмом году аресты большие были.

Л.Х.: *А после войны?*

— А что — после войны? Только вот «Ленинградское дело» и «дело врачей». Так ведь это же немножко народу арестовали, несколько человек посадили. А возьмите Хрущева. Было у них пять секретарей МК, а остался один — Хрущев. А ведь без подписи секретаря МК никого бы не сажали. Так что уж ему помалкивать надо.

Л.Х.: *Очень интересно рассказал он о Молотове, о выступлении Сталина на пленуме ЦК — уже после войны, по поводу Молотова.*

Сталин говорил: понимаете, какая странная вещь получается. Вот нас, членов Политбюро, 11 человек. Собираемся мы. Двери заперты. Разговариваем. О чем бы ни поговорили — завтра на Западе знают. Видимо, товарищ Молотов — очень разговорчивый человек. А известно ведь, что жена его связана с сионистами, а все, о чем мы говорим, становится известным на Западе. Поэтому я и считаю, что нужно вывести товарища Молотова из Политбюро. Хотя товарищ Молотов и заявил, что он разводится со своей женой, но мы ее выслали, а его — выведем.

Очень убедительно говорил.

Л.Х.: *Я говорю:*

— Ну как же? Вы же знаете, что ни с какими сионистами она не была связана.

— Ну, это я сейчас знаю, а тогда очень убедительно говорил.

К.С.: *Я был на этом заседании. Интересна его реакция.*

Л.Х.: *Молотова?*

К.С.: *Нет, интересна реакция Пронина, потому что я тоже был на этом заседании.*

Л.Х.: *Спросил я Пронина о том, каковы были результаты немецких бомбежек. Он назвал мне совершенно точные цифры, из которых следует — он и сам это говорит — что Москве был нанесен пустяковый ущерб. Ни одно промышленное предприятие не пострадало, ни один военный объект не пострадал. В Кремль попало четыре бомбы. В Георгиевский зал попала 250-килограммовая бомба, но не разорвалась.*

К.С.: *Чем он это объясняет?*

Л.Х.: *Он объясняет это, во-первых, достаточно хорошим уровнем нашей противовоз-*

душной обороны и, во-вторых, слишком здорова Москва, чтобы бомбежки могли ей нанести серьезный ущерб. Потому что налеты были не массированные. Бомбежки носили чисто, так сказать, психологический характер.

История про 7-е ноября, про выступление Сталина на параде. Версия, которая нам всем известна, с записью его речи, она, оказывается, несколько иная. Выступление Сталина не должны были передавать по радио, боясь, что будет бомбежка. Но в последнюю минуту решили все-таки передавать.

— И я, — говорит Пронин,— позвонил на Центральный телеграф, откуда шла вся трансляция, и приказал начать передачу выступления Сталина. А мне там говорят: «Ничего не знаем, есть приказ — не передавать». А Сталин вот-вот начнет выступать. Я побежал, пока нашел Серова и Власика, чтобы они по телефону передали приказ транслировать выступление Сталина. Сталин уже начал выступать. И его не с самого начала начали передавать. Но так он еще не выступал никогда в жизни. С таким подъемом говорил, так душевно, что мы просто были поражены со Щербаковым. Я еще спросил у Щербакова: «Что он, коньячку что ли выпил?» А потом его — насчет съемок — Щербаков три дня уговаривал. Три дня его Щербаков уговаривал. А Сталин ему говорит: «Что я, артист, что ли?» Но уговорил все-таки Щербаков, через неделю его сняли. Так что это не Варламов уговорил Сталина, а Щербаков.

К.С.: *А что насчет Тухачевского?*

Л.Х.: *А насчет Тухачевского он сказал следующее.*

В вопросе о Тухачевском и прочих Сталин поручил разбираться Ворошилову и Буденному — этим «конногвардейцам», которые, конечно, Тухачевского не любили и которые, конечно, понимали, что тот выше их. И они виновны в том, что вынесли решение его расстрелять. В общем, он валит это все на Ворошилова и на Буденного.

Сталин: «Нас никто не слушает...»

Разговор с председателем Комитета по делам искусств Михаилом Борисовичем Храпченко

В день, когда заключили пакт о ненападении, Риббентроп тут же уехал, Сталин был на каком-то спектакле, туда вызвали Храпченко как председателя Комитета по делам искусств. Он пришел в ложу, где были Сталин и Молотов. Молотов спросил: «Скажите, товарищ Храпченко, вы знаете уже, что мы заключили пакт с немцами?» — «Да, я слышал». — «Ну и как вы — за или против?» — спросил Молотов. Вид у него был очень довольный, чувствовалось, что он необыкновенно рад тому, что был заключен этот пакт.

Храпченко помедлил с ответом, и Сталин вдруг сказал, указывая Молотову на Храпченко: «Мы с ним против, но нас же никто не слушает». — Этой мрачноватой шуткой и кончился разговор.

Когда мы делились с Храпченко своими впечатлениями о Жданове и Щербакове, Храпченко сказал, что, по его мнению, Щербаков, с которым ему пришлось много общаться, был человек очень точный и исполнительный. Все, что говорил Сталин, он проводил немедленно в жизнь с огромной точностью, аккуратностью и с невозможной быстротой, но от себя ничего не добавлял, не усиливал и не перебарщивал. А Жданов, как выразился Храпченко, всегда очень старался. Сколько ему с ним приходилось сталкиваться, всегда было ощущение, что Жданов очень старается пойти еще на шаг вперед, сделать больше, чем ему поручено. От этого многим в разное время не поздоровилось, когда Жданов добавлял что-то от себя, сверх того, что было поручено ему Сталиным.

И еще Храпченко рассказывал, что однажды был какой-то ужин у Сталина, на который он тоже попал по своей должности, и, обходя по очереди всех, — вернее, не

обходя, а приветствуя всех сидевших за столом тостами, — Сталин дошел и до него. Он думал, что Сталин его пропустит, но он не пропустил его, а сказал: «Выпьем за Храпченко как за такового», и вдруг Берия подал реплику: «А вы знаете, товарищ Сталин, что вот мы тут говорим, а он записывает». Наступила долгая пауза, во время которой вполне можно было считать себя, после этой реплики, конченым человеком. Сталин помолчал, никак не отреагировал на эту фразу и повторил: «Выпьем за Храпченко, как за такового». И Храпченко почувствовал, что на этот раз беда прошла мимо.

Что касается истории с оперой «Великая дружба»[1], то вышедший с ней крупный скандал Храпченко объясняет тем, что Сталин, очевидно, воспринял эту оперу как попытку противопоставить ему Орджоникидзе. Хотя это нигде не было написано и сказано впрямую, но в этом заключалась вся суть дела. А Берия к этой сути дела подвел, постарался организовать так, чтобы Сталин попал на эту оперу, а может быть, провел еще какую-то подготовку на сей счет.

И еще одна подробность по поводу Булгакова. Когда к Храпченко приехал Москвин и привез ему пьесу Булгакова «Батум» о молодом Сталине, Храпченко пьеса эта понравилась, но и он, и Москвин, конечно, понимали, что без прямого разрешения Сталина пьесу нельзя принимать к постановке. Пьеса самому ему показалась романтической и сильной. Он послал ее с письмом к Сталину. Написал, что вот Булгаков создал пьесу, по которой МХАТ хочет поставить спектакль и на это испрашивается разрешение. Прошло буквально два или три дня, как вдруг раздался звонок от Жданова. Жданов вызвал Храпченко к себе и сказал ему: «Товарищ Сталин прочел пьесу и поручил вам сообщить, что пьесу следует запретить к постановке и печати».

Едва он это сказал, как раздался звонок. Жданов взял трубку. У телефона был Сталин. — «Да, товарищ Сталин. Да, он уже у меня. Да, товарищ Сталин».

Жданов повесил трубку и еще раз, в самой жесткой форме повторил это двойное запрещение. Храпченко высказал по этому поводу свои догадки. Вряд ли, считает он, пьеса сама по себе могла вызвать какое-то возмущение, резкий протест Сталина. Она ничего такого в себе, по-видимому, не заключала. Он мог, конечно, не дать ее ставить, сказать, что это не нужно, но реакция была иная, резкая и возмущенная. Единственное объяснение, которое приходит в голову Храпченко, что в период работы над этой пьесой у Булгакова были какие-то разговоры с кем-то из мхатовцев или из других близких ему людей, в которых именно в этот период он высказывал какие-то взгляды или соображения, не соответствовавшие той оценке, которую он давал Сталину в пьесе, входившие в противоречие с этой оценкой. Может быть, какая-то домашняя болтовня, разговоры, которые поспешили сообщить Сталину. И вот это противоречие между тем, что говорится о нем в кругу Булгакова, и тем, что написано о нем в пьесе, — вот это противоречие, очевидно, и привело Сталина в крайнее раздражение.

И, наконец, Храпченко сказал мне, что, по его мнению, Сталин весьма высоко ценил Эренбурга, считая его человеком, способным сделать то, что будет поручено им, Сталиным. При чтении «Люди, годы, жизнь» Храпченко показалось, что Эренбург эту сторону дела как-то оставил в тени. Между тем, когда вскоре после войны, Эренбург написал «Лев на площади» и встал вопрос о том, ставить или не ставить эту пьесу — она была задержана реперткомом. Эренбург пришел к Храпченко с просьбой решить вопрос о том, чтобы пьесу все-таки поставили. Храпченко сказал — к этому времени он прочел пьесу, — что он считает, что пьесу можно поставить, но ведь с людьми, которые возражают против нее, надо все-таки поговорить, и ему надо на это два-три дня. «Ну да, — сказал Эренбург, — может быть даже и больше. Вам нужно ее,

[1] Опера композитора Вано Мураделли «Великая дружба» (премьера состоялась в Большом театре 7 ноября 1947 года) была посвящена дружбе народов Советского Союза. Подверглась критике за формализм в Постановлении ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 года (*прим. ред.*).

наверное, перепечатать на хорошей бумаге», — намекая на посылку пьесы наверх. Но в данном случае Храпченко, по его словам, не собирался посылать пьесу, посылать было некому, никто бы не решил. А Сталину посылать он не видел возможности. Ровно через два дня раздался звонок от Сталина, который сказал, что пьесу надо пустить. Оказывается, прежде чем идти к Храпченко, Эренбург послал пьесу Сталину, и тот прочел ее всего за два или три дня.

О Белове

Вдова командарма I-го ранга Белова — Александра Лаврентьевна Белова рассказала мне несколько подробностей, связанных с жизнью и гибелью мужа, на которые стоит обратить внимание.

В конце двадцатых годов Белов не то кончил, не то стажировался при Академии Генерального штаба в Берлине. А после этого несколько лет оставался там военным атташе. Это несомненно сыграло роль в его последующем аресте.

Сыграло роль — это уже мой личный домысел — и следующее обстоятельство, если оно действительно имело место. По рассказу Александры Лаврентьевны, в 31-м или в 32-м году, когда Белов стал военным атташе, а Гитлер еще только приходил к власти, он, ощущая всю ту опасность, которая связана с приходом Гитлера, и ту перемену всего политического баланса, который произойдет, если Гитлеру удастся захватить власть, написал Сталину, очевидно, в шифрованном виде, что он берется решить этот вопрос, убрав Гитлера, т.е. просто физически уничтожив его, и что он имеет к этому возможности.

Сталин на это не пошел, и, когда Белов то ли по этому поводу, то ли вообще по другому служебному поводу был вызван в Москву, Сталин сказал ему: «Что это у вас за предложения, что это за монархические замашки?» Так эта фраза звучит в передаче Александры Лаврентьевны. Допускаю, что Сталин сказал не «монархические замашки», а «эсеровские замашки» или, может быть, не «монархические замашки», а «анархистские замашки», это еще вероятнее.

Я задал Александре Лаврентьевне вопрос сложный и щекотливый, что ведь Белов был в группе людей, которые были трибуналом, судившим первую группу военных — Тухачевского и других, и которые впоследствии все, за исключением Буденного, погибли тоже. Она сказала, что, насколько она помнит из разговоров с Беловым, который вообще мало говорил с ней об этом, процесс велся в крайне быстром темпе. Все это заняло буквально несколько дней.

Проводивший процесс Вышинский страшно торопил всех, кто в нем участвовал в качестве членов трибунала.

По ее словам, после процесса на ее вопрос о том, в чем виноват Тухачевский и другие, он бросил ей странную фразу: «В том, в чем они виноваты, я тоже виноват», или «так же виноват, как они».

Вскоре Белов был снят с Московского военного округа и переведен в Белоруссию. Тучи над ним сгущались. Они были старые друзья с Ворошиловым, и он любил Ворошилова. Однажды Ворошилов вызвал его к себе в Москву, он был у него дома, и Ворошилов стал прощупывать Белова, не скажет ли он чего-нибудь о нем, Ворошилове, если подойдет тугая. Видимо, Ворошилов считался с такой возможностью в отношении самого себя. А Белов его очень хорошо знал и мог многое о нем рассказать. Когда Ворошилов прямо спросил его: «Слушай, если будут обо мне спрашивать, что-нибудь скажешь на меня?», на это Белов ответил: «Лучше я мышь проглочу, но не скажу».

Эта фраза имела свой смысл, потому, что Белов, вообще человек очень сильный физически, громадного роста, могучий, истерически боялся мышей. Эта фраза свидетельствует о его высшей готовности заслонить грудью Ворошилова, если понадобится.

Когда Белов был в Белорусском военном округе, стали одного за другим сажать

его людей. Петля стягивалась все туже. Наконец его вызвали в Москву, вызвали с решением арестовать. И в общем он это чувствовал. Он приехал в Москву, но его сразу не арестовали, он поехал в «Метрополь», остановился там и с горя напился. Это было поздно вечером.

Этой же ночью за ним приехали и отвезли его на Лубянку, в кабинет к Ежову. Как только его привезли или уже к этому времени, туда в кабинет явились Сталин и Ворошилов.

Насколько я понял из рассказа Александры Лаврентьевны, Белов, когда его привезли туда, к Ежову, еще не протрезвел, был пьян. Сталин обрушился на него с криком: «Белов! Ты мне веришь?» — «Да, верю, товарищ Сталин». — «Ах, ты мерзавец! Смеешь говорить, что веришь мне, что идешь за мной, а хотел меня убить. Почему ты хотел меня убить?» На этом кончился разговор.

Мое примечание: это первый случай, когда я из чьего-то разговора услышал о том, что Сталин с кем-то пошел на очную ставку, с кем-то из обвиненных лично увиделся. Если все рассказанное соответствует действительности, то, очевидно, это свидание Сталина с Беловым в кабинете, когда, очевидно, все в голове у Сталина было предрешено, было результатом ходатайства Ворошилова. Иначе я себе не представляю.

А теперь еще одно мое примечание. Мне кажется, что обвинение Белова в том, что он хотел убить Сталина, могло быть странным рикошетом от предложения убить Гитлера, сделанного Беловым за пять или шесть лет до этого. Особенно учитывая, что перед тем, как его отправили в Белоруссию, он какое-то время был командующим Московским военным округом и имел относительно большие возможности доступа к Сталину, чем другие военные.

Вскоре арестовали и Александру Лаврентьевну. Она была на 15 лет моложе Белова, и у них было трое маленьких детей в возрасте что-то два, три и четыре года. Она происходила из рабочей семьи, с Путиловского завода. Отец ее, старый путиловец, нес ответ перед партийным собранием. Выступая у себя на заводе, давая объяснение, как это он выдал дочь за врага народа, он сказал: «Я не верю, что Белов оказался врагом народа, он хороший человек, коммунист, это ошибка какая-нибудь». Тогда его стали снова обвинять в том, что он продал дочь врагу народа и так далее, и потребовали отказаться от своих слов. Он не отказался, его исключили и потребовали у него партбилет. Он партбилет вынул и, отдавая, сказал: «Ну, если у простого рабочего за то, что он высказал то, что у него было на душе, вы отбираете партбилет, — отбирайте, что с вами сделаешь».

Арестовать его не арестовали, он остался работать на заводе и умер там же, на заводе во время блокады Ленинграда.

Следователь, который допрашивал Александру Лаврентьевну, не разрешил ей, несмотря на все ее просьбы, увидеться с детьми. Она его просила, умоляла, говорила о том, что дети маленькие, но он отвечал: «Нет, нет, нет». И она была переполнена ненавистью к нему, ей это казалось пределом бесчеловечности. Но когда в очередной раз ее повели к нему на допрос, то пока за ней ходили во внутреннюю тюрьму, все перевернулось, и, когда ее подводили к дверям, его вывели из этих дверей — без ремня, с сорванными знаками различия и под конвоем. Следователь сам был арестован.

Остановившись на теме о том, как происходила, если можно ее так назвать, смена кадров в самом НКВД, она рассказала, очевидно, с чьих-то слов: когда уже Ежов пошатнулся, а Берия был назначен его заместителем, Берия требовал, чтобы каждый документ, который выходит из наркомата, шел через него, чтобы он был осведомлен о каждом документе, даже о тех, которые были подписаны наркомом. Вот здесь работники почувствовали, что над Ежовым сгущаются тучи. А потом, когда он был снят, однажды тот человек, который рассказывал это Александре Лаврентьевне, присутствовал при следующей сцене. Уже Берия был наркомом. Ежов, арестованный, растерзанный, без ремня, находился в его кабинете, и в его присутствии Берия из одиночек внутренней тюрьмы вызывал одного за другим людей и делал им очную

ставку с Ежовым, требовал от него документов, протоколов, письменных распоряжений, на основании которых были арестованы эти люди.

Таких протоколов, документов и распоряжений не было или они были уничтожены, и, видимо, Берия это знал заранее. В общем, это, видимо, разыгрывалась комедия обвинения Ежова в самоуправстве, в том, что то, что он делал, он делал по собственной инициативе.

Вы всегда будете вместе...

Два эпизода, рассказанные Евгенией Владимировной Серебровской — вдовой Александра Павловича Серебровского, заместителя Орджоникидзе

Незадолго перед арестом ее мужа они были как-то в Кремле, навещали вдову Орджоникидзе. Возвращались поздно ночью. Вдруг сзади голос:

— Здравствуйте.

Повернулись. Гуляющий Сталин. Сталин говорит:

— Счастье ваше, что узнал вас все-таки. А то вы так нежно обнявшись шли, что я мог бы подумать, что ваш муж с какой-нибудь девушкой идет, и было бы недоразумение.

Я ответила на это:

— Иосиф Виссарионович, муж с девушкой мог встретиться где угодно, но только не в Кремле. Сюда вы пускаете только по пропускам и только с женами, так что здесь это исключено.

Он в ответ посмеялся. Посмеялся, а потом сказал:

— Ну, что касается вас, Серебровская, это я пошутил. Что касается вас, вы всегда с ним будете вместе, даже на луне...

Тогда мне этот разговор понравился, а потом он уже вспоминался по-другому, когда сначала Серебровский, а потом и я оказались в тюрьме.

* * *

Ровно за 10 дней до ареста мужа — он лежал в это время в Кремлевке с резекцией ребра — ко мне на квартиру на улице Грановского, позвонил Сталин:

— Здравствуйте. Что вы такая печальная? Говорят, что вы печальная.

Я на это ответила: конечно, я печальная, потому что, вы же знаете, Иосиф Виссарионович, что муж мой, Александр Павлович, на операции.

— Нет, — говорит он, — вы такая печальная, что можно подумать хуже.

Я ничего на это не ответила ему.

— Говорят, вы пешком ходите? Где машина ваша?

Я ответила, что наша машина на ремонте, а мне особенно-то и ходить некуда. Кремлевка напротив.

— Завтра пришлю вам машину, чтобы пешком не ходили, чтобы не создавалось впечатление, что что-то случилось.

На этом мы расстались. А через десять дней после операции мужа с высокой температурой взяли прямо из Кремлевки в тюрьму.

<Продиктовано 10 сентября 1968 года>

Рассказ посла в ФРГ

Во время пребывания в Германии наш посол в ФРГ Смирнов рассказывал мне о своих встречах со Сталиным. Среди этих рассказов было несколько интересных деталей.

Ему после другой работы было поручено ехать в Иран, тут он впервые встретился со Сталиным и в разговоре повторял «Да, Иосиф Виссарионович. Я согласен, Иосиф

Виссарионович. Я прошу вас, Иосиф Виссарионович» и так далее. В какой-то момент ему показалось, что он что-то сказал не так. И хотя, перебирая в памяти, что он говорил — у него было ощущение, что он говорил именно так, но не то выражение лица, не то какое-то движение подсказало ему, что все-таки он что-то говорил не так. А это было в присутствии Молотова, и, когда они с Молотовым вышли, Молотов ему сказал: «Товарищ Смирнов, вы не обращайтесь так к товарищу Сталину — Иосиф Виссарионович. Мы все его называем — товарищ Сталин, мы его не называем — Иосиф Виссарионович».

И тут Смирнов понял, что именно было не так в их разговоре: Сталин не любил, когда его называли Иосиф Виссарионович.

Потом Смирнов был в Австрии, назначен туда политическим советником. И вот дело обстояло так, что наши войска уже заняли Вену, и в сущности вся власть там была в наших руках. Его вызвали в Москву, он докладывал об обстановке и потом сказал, что, по его мнению, можно бы и не пускать в Вену контрольный совет, что вся власть в наших руках, и мы можем вполне не делать этого и не делить Австрию на зоны. Сталин помолчал, посмотрел на него, а потом сказал: — «Смотри, какой мудрец нашелся. Нет, мы будем делить на зоны. Будем устанавливать контрольный совет. Надо подумать о будущем, о тех зонах, которые они займут раньше нас в Германии. Надо показать пример в выполнении союзнических обязательств. То, что вы предлагаете, не так уж мудро».

Рассказ писателя Шелеста

Георгий Иванович Шелест рассказывал мне о событиях сорок второго года. Он уже к этому времени четыре или пять лет находился в лагерях, работал в строительной бригаде. Их отправили в какой-то из районов Колымы достраивать, дооборудовать новый лагерь. Это было не то летом, не то осенью. Во всяком случае, когда они достроили лагерь, вдруг туда прибыла громадная партия заключенных. Причем прибыли они странно, в небывалом виде: во всем своем, гражданском, довольно еще не обтрепанном, не тюремном, некоторые в плащах, с орденами, партийными билетами, со всеми документами. Это были немцы Поволжья. Главным образом, немецкий партийный и советский актив.

Как выяснилось, Берия, по указанию Сталина, провел следующую операцию. Был объявлен добровольный набор в национальную дивизию немцев Поволжья, и все, кто записался, были собраны. Главным образом — коммунисты, советский актив, секретари райкомов, члены бюро райкомов, не призванные в армию командиры запаса, начальники и работники районных НКВД и так далее, и так далее. И вот всех этих людей погрузили в эшелоны и заявили им, что их везут в один из сибирских районов для формирования дивизии. А вместо этого, разобщив поэшелонно, разослали по разным лагерям. Изобразив дело так, что люди эти откликнулись на призыв сформировать дивизию в целях дальнейшего перехода к немцам.

Они приехали в ужасном состоянии, были очень тяжелые разговоры. Люди вырывали и бросали ордена, не знали, как быть с партийными билетами, и говорили — что ж теперь остается делать? Умереть? Вообще это было, как говорил мне Шелест, самое дикое и страшное воспоминание о его жизни в лагерях, хотя он видел достаточно страшного и без этого.

Из записей о Сталине

Мне лично что-то так и не верится в растерянность Сталина, о которой говорят, вспоминая первые дни войны. Все-таки в моих глазах, в моем ощущении — это не растерянность, а потрясение. Во всяком случае, я бы так назвал это состояние. Состояние потрясенности, может быть, шока. Во всяком случае, когда Сталин вышел

из этого шока через несколько дней после начала войны, то перед ним предстала действительность страшная, ужасающая, никак не соответствовавшая всем его прежним представлениям. Не соответствовавшая не только потому, что он не предвидел такого начала войны и до последнего момента считал, что ему удастся дипломатическими маневрами отодвинуть это начало, но и потому, что он не предвидел тех последствий, которые вызовет это неожиданное начало войны. Он не предвидел ни глубины немецкого вторжения, ни его силы, ни меры наших поражений, ни меры растерянности многих людей, ни меры территориальных и людских потерь, понесенных в первые же дни войны.

Надо полагать, что в эти дни его собственное душевное состояние было ужасно, и он испытывал чувство ответственности за все происшедшее и понимал масштабы этой ответственности. Он был вообще человек с очень обостренным чувством масштаба.

Какие же выходы были у него из создавшегося положения? Надо рассматривать две возможности по отношению к самой войне — продолжение войны, начавшейся столь ужасно и в столь невыгодных для нас условиях и с такими поражениями, или попытка заключить мир, на самых тяжелых, но все же на каких-то условиях. Мир, который был бы передышкой, который позволил бы впоследствии, при изменении обстановки на западе, как-то собраться с силами и в более выгодной ситуации продолжить войну.

Сначала такая мысль, когда она приходит в голову, кажется и неожиданной и не сочетаемой с личностью Сталина. Однако это неверно. В такой обстановке не могло не приходить мысли о мире на каких-то, пусть тягостных, условиях как об одном из возможных выходов из положения.

В политике, в политическом деятеле твердость означает твердость проведения какого-то плана, который проводится с твердостью и последовательностью. Если этот план связан с заключением похабного мира, то само заключение этого похабного мира может быть проявлением твердости, как это было во времена Брестского мира. Призывы к революционной войне, несмотря на их внешнюю храбрость и даже отчаянность, были признаком слабости, политической слабости, отсутствия твердого плана, которого сторонники продолжения революционной войны не имели.

Поэтому для меня лично мысль о том, что Сталину мог придти в голову и вариант заключения мира ради получения передышки, ради спасения того, что осталось, вообще не кажется странной, вполне сочетается с моими представлениями о нем как о политическом деятеле.

В конце-то концов, если быть справедливыми и отрешиться от привходящих эмоций, то пакт тридцать девятого года, пакт не очень нас украсивший, создавший массу идеологических сложностей в коммунистическом движении, был заключен как некое временное перемирие, дававшее возможность нашей стране собраться с силами для последующей борьбы с фашизмом. Если это не так, то тогда этому пакту нет и не может быть оправдания. Но это, видимо, так, что-нибудь иное предположить трудно. Политические обстоятельства, в которых был заключен этот пакт, были достаточно безвыходными или казались такими.

Ну, а ситуация в начале войны была во много раз безвыходней или могла казаться во много раз безвыходней. Так что аналогия вполне закономерна.

Я допускаю в мыслях, что в этом направлении мог быть произведен и какой-то зондаж. Я даже слышал об этом, хотя, как говорят, слухи ничего не стоят, если они не подтверждены абсолютно достоверными документами.

* * *

На процессе Берия выяснилось следующее неожиданное обстоятельство: один полковник, видимо, арестованный, но на этот процесс вызванный в качестве свидетеля, — полковник органов — сообщил, что через несколько дней после начала войны

он был вызван к Берия и тот ему передал задание, которое сам получил в свою очередь от Сталина: связаться с болгарским послом как с посредником и через него выяснить у немцев, на каких условиях готовы они остановить войну, согласиться на перемирие, впоследствии — на мир. По словам Берия, который в свою очередь передавал слова Сталина, среди прочих условий мы готовы были им уступить Прибалтику, Белоруссию по Минск и Украину по Днепр, то есть всю правобережную Украину.

Полковник обратился с этим к болгарскому послу, но тот отказался принять это поручение.

Когда эти показания были даны, в связи с ними был допрошен Берия. Берия показал, что действительно давал такое задание этому полковнику, и это было не его задание, а задание Сталина, что он был у Сталина, который в это время находился вместе с Молотовым, и в присутствии Молотова дал ему именно такое поручение. Насколько я понял, впоследствии это поручение не повторялось.

В ходе следствия пришла мысль проверить это. Решено было выяснить, где находится болгарин, который был тогда послом у нас. Если возможно — вызвать его в Москву. Связались с болгарами. Оказалось, что этот человек жив, но болен, приехать в Москву не может, однако он прислал вместо себя подробное письмо, в котором подтверждал, что этот полковник являлся к нему с таким поручением, сказал, что это поручение идет от Сталина, и что он, болгарский посол, ответил ему, что он отказывается быть посредником в этих переговорах с немцами, он просил передать Сталину, что не надо этого делать, не надо уступать этого немцам что Россию победить невозможно...

Таково было содержание письма бывшего болгарского посла. Перед людьми, проводившими следствие, возникла трудность, как выяснить, насколько это предложение в действительности исходило от Сталина, потому что вполне мог быть и такой вариант, что Берия, с его авантюристическими замашками, хотел этот зондаж произвести на собственный риск, а потом, если сложатся соответствующие обстоятельства, доложить Сталину как свою победу. То есть он мог говорить это от имени Сталина, не имея на то его указаний.

Сложность заключалась в том, что, по словам Берия, этот разговор втроем происходил в присутствии Молотова. Значит, нужно было допрашивать на эту тему Молотова. И, по тогдашним обстоятельствам, на это не пошли. Вопрос так и остался неясным.

Это я уже говорю от себя, размышляя над тем, что вероятнее: что это был собственный зондаж Берия или это был действительно зондаж Сталина в те первые дни, когда он пребывал в растерянности, что подтверждают с разных сторон разные лица. Я лично склоняюсь к тому, что это могло быть, что в этот период Сталин вполне мог поручить произвести такой зондаж. И мог даже искать для себя исторические оправдания в аналогии с позицией Ленина в восемнадцатом году, в период переговоров о Брестском мире.

* * *

Но так или иначе эта возможность, видимо, была отвергнута. И отвергнута довольно быстро. Оставалось воевать. Воевать в самых невыгодных, какие только можно представить себе, условиях с самым сильным, какого только можно представить себе, противником.

Перед лицом этой необходимости стоял Сталин, человек, который нес главную военную и политическую ответственность за неудачное начало войны, который сознавал эту ответственность и в конечном итоге пронес это сознание через всю войну. И даже счел своим долгом после победы, произнося тост за великий русский народ, во-первых, напомнить о том, что страна переживала во время войны моменты отчаянного положения, и, во-вторых, сказать о том, что другой народ мог бы после первых поражений сказать правительству: «Уходите, пусть другие придут на ваше место. Вы не справились с тем, что вам было поручено». Примерно смысл таков.

Причем сказал это Сталин ни в коей мере не вынужденно. Он сказал это на гребне победы, на гребне своей популярности. То был июнь сорок пятого года. Ни до, ни после, никогда не стоял так высоко его авторитет, как именно в тот момент, сразу после окончания войны.

Еще не была сброшена атомная бомба на Хиросиму, которая сказала нам о превосходстве американского вооружения, о том, что у американцев есть нечто, чего нет у нас и что уравновешивает наши силы и даже, в какой-то мере, обесценивает наши усилия. Этого еще не было, это был самый гребень победы. И вот на этом гребне Сталин сказал об ответственности правительства, т.е. о своей, таким образом, ответственности, потому что в его устах это ни в какой мере не звучало переваливанием ответственности на чьи-то чужие плечи. Он говорил о себе прежде всего.

В связи с этим очень кстати вспоминается, как в сорок восьмом году, когда я говорил с ним по телефону и когда он изложил по телефону свои предложения в связи с моей пьесой «Чужая тень», как бы надо было ее закончить, он сказал тогда, что: «Ну надо, чтобы какой-то ваш герой обратился в правительство, и правительство решило бы так-то и так-то...» Была фразеология, вполне соответствующая его ходу мысли, он имел в виду себя, а говорил — правительство.

Так он говорил и в своей речи, в своем тосте о великом русском народе; приносил благодарность этому народу в тот момент, когда все готовы были благодарить его за так удачно и победоносно завершенную войну. И именно в этот момент это произвело на всех нас особенно большое, даже огромное впечатление.

Сталин вообще редко повторялся, и он больше не повторял ничего похожего. Когда он это сказал, этим как бы был завершен этап истории. Он как бы считал, что невозможно закончить этот этап, закрыть его, не сказав то, что он считал нужным сказать по этому поводу. А это он считал необходимым сказать — о своем чувстве ответственности. Он считал, что после катастрофы сорок первого года народ был вправе не доверить ему дальнейшего. Но народ ему доверил. За это он благодарил народ.

Так ли это было в его самоощущении, во всяком случае, в том, как он об этом говорил, было так.

* * *

Теперь, если вернуться в сорок первый год, то рассмотрим реальную ситуацию. Итак, на нем лежит огромная ответственность за миллионы жертв, за неудачное начало войны, за все, что с этим связано и будет связано на всем протяжении войны. Какие два выхода у него есть? Или уйти от власти, или остаться у власти — что-нибудь среднее предположить трудно. И не такое время было, чтобы с кем-то делить власть, и не такой он человек был, чтобы с кем-то ее делить.

Итак, первое — уйти от власти, кончить жизнь политическим или физическим самоубийством, или и тем, и другим вместе. Я не верю в то, что этот человек не был лично храбрым или что он мог бояться смерти больше, чем какие-то другие люди, попавшие в его положение. Меня не разубеждают в этом и все те меры по своей охране, доходящие до патологии, которые предпринимал он в последние годы жизни. И это была патология — в этом присутствовало стремление сохранить жизнь товарища Сталина, не свою жизнь, а жизнь третьего лица, человека, который руководит страной и является вождем трудящихся всего мира, такого, без которого все пропадет и погибнет. Вот причина, лежащая в основе этой патологии.

Итак, Сталин бы нашел в себе решимость покончить жизнь самоубийством, приняв на себя ответственность за начало войны. Если бы он такое решение принял — это решение значило бы, что он уйдет, что на его место придет кто-то другой, — в той обстановке, судя по всему, Молотов. А что за этим последовало бы — остается только догадываться. Что бы мы потом ни узнали о Сталине, как бы ни переменилось наше отношение к нему за эти десятилетия, но если вернуться к тому периоду, к тому месту в жизни страны и нашей духовной жизни, которое он занимал тогда, надо признать, что его уход от власти, тем более самоубийство, да в конце

концов его отставка, навряд ли усилили бы наши позиции, национальные, государственные, военные, в борьбе с наступавшей германской армией. Наоборот, думается, это произвело бы самое тягчайшее впечатление и способствовало бы разложению фронта и разложению власти.

Это настолько очевидно, что, если мысленно представить себе такую возможность в то время, я убежден, что люди, причастные к власти и озабоченные тем, чтобы эта власть сохранилась и чтобы продолжалось сопротивление немецкому нашествию, эти люди сочли бы необходимым скрыть факт отставки или факт самоубийства Сталина. Они бы изобразили это как неожиданную смерть и были бы и с государственной, и с политической точки зрения правы.

Но Сталин выбрал второе — он остался у руководства страной, очевидно, отторгаясь от соображений личных, приняв только соображения государственные или военные, сделав выбор правильный. Так он и должен был поступить, исходя из интересов войны.

* * *

Но раз он остался у руководства страной, а страну постигла такая огромная неудача в начале войны, такие поражения, то он — и это, с его точки зрения, логично — не считал возможным брать ответственность за эти поражения на себя, человека, которому предстояло и дальше руководить войной и которому предстояло не разрушать, а укреплять свой авторитет, и так в какой-то мере подорванный началом войны. Следовательно, он сделал ответственными за неудачное начало войны других людей, в первую очередь — командование Западного фронта, наиболее неудачно действовавшего и подвергшегося самому сильному удару немцев.

С точки зрения военной этики, военной чести и т.д. и т.п. разумеется, Павлов и Климовских, командующий, начальник штаба фронта, да и ряд других генералов, особенно неудачно действовавших в начале войны, имели не меньшие моральные основания пустить себе пулю в лоб, чем Самсонов, потерпевший так называемую августовскую катастрофу в Восточной Пруссии в 1914 году, катастрофу, которая не шла по масштабам ни в какое сравнение с теми катастрофами, которые пришлось пережить нам на Западном фронте.

Вопрос о том, нес ли, скажем, Павлов ответственность за поражение, понесенное Западным фронтом, ясен — нес. Потребовать с него ответственности можно было — тоже ясно, как и с целого ряда других людей. Другой вопрос: нравственно ли было называть их предателями, зная, что они не предатели, а просто потерпевшие поражение и не лучшим образом справившиеся со своими обязанностями генералы. Но Сталин этим пренебрег. Масштабы поражений, масштабы неудач требовали, с его точки зрения, общепонятных и крайних в этой общепонятности формулировок — не просто неудачные или слабые действия, а — измена, предательство, трусость. Такие формулировки и были даны, и по этим формулировкам и было расстреляно несколько человек на Западном фронте, с публикацией этого в печати и в приказах.

Интересно — об этом я подумал уже сейчас, перечитывая приказы того времени, — что Сталин взял: командующего фронтом, начальника штаба, одного командарма, одного или двух командиров корпусов и двух или трех командиров дивизий — всего семь или восемь человек. Они были как бы выборные из большого количества людей разных рангов, разных званий. Люди, с которыми можно, по сути, поделить те же самые обвинения в тот момент. Выбраны не расширительно, все это было сосредоточено на одном фронте, не затрагивало другие фронты.

Думается, что в этом проявился элемент трезвого расчета, и в этом была своя логика.

В последующие два месяца войны пострадало большое количество авиационных генералов, в том числе людей, отличившихся в Испании. Почему именно они? Думается, это было связано с тем особенно ясно выявившимся неблагополучием

именно в авиации, которое, прежде всего, бросилось в глаза в первые дни войны. В этой области меньше всего ожидали того, что произошло.

Я допускаю, что здесь чаще выдавали желаемое за действительное, больше врали в докладах, меньше всего докладывали истинное положение вещей. Приверженность Сталина авиации особое внимание его к ней вплоть до наименования летчиков сталинскими соколами — все это было очень хорошо, пока все было неплохо. А вот когда стало плохо, когда именно авиация оказалась в самом неблагополучном положении по сравнению со всеми другими родами войск и это определило целый ряд наших поражений, в том числе поражение наших танковых войск в начале войны — вот все это и обрушилось на головы авиаторов. Но это уже более частный вопрос. Вернусь к более существенному.

Наиболее тяжелое поражение, которое мы понесли в сорок первом году — это Киевское окружение. За то, что там произошло, никто из людей, отвечавших за это, под трибунал не пошел. Дальше — Вяземская катастрофа Западного и Резервного фронтов. И оба командующих фронтами, и оба начальника штаба фронта тоже не были призваны Сталиным за это к ответу.

Сорок второй год — Керченская катастрофа. Командующий фронтом понижен в звании, представитель Ставки понижен в звании, но опять-таки никто не пошел под трибунал.

Харьковская катастрофа — те, кто нес ответственность за случившееся, тоже не понесли наказания.

Наконец, весна сорок третьего года, последняя наша крупная неудача — оставление Харькова и отступление на сто двадцать километров фронта, которым командовал Голиков. Тоже дело обошлось снятием командующего фронтом.

Итак, несправедливо было бы говорить, что Сталин всю ответственность стремился и в дальнейшем возложить на тех или иных генералов, по объективным или субъективным причинам проваливших те или иные операции или понесших крупные поражения, находясь во главе вверенных им войск.

И мне думается, что всему этому существуют, по крайней мере, два объяснения, связанных друг с другом. Первое — это политическая трезвость и понимание, что воевать — сколько бы ни пришлось воевать — придется с теми людьми, которые есть, других взять неоткуда, других может выдвинуть только сама война. И швыряться людьми, хоть на что-то годными, хоть в той или иной мере, большей или меньшей, но полезными, нельзя.

Мера неподготовленности к войне, мера недостач всякого рода в сорок первом — сорок втором году по линии вооружений, снаряжения, боеприпасов и т.д. были хорошо известны Сталину, и, видимо, он учитывал это, подводя итоги тем или другим неудачам и поражениям и соотнося эти поражения с мерой ответственности людей, перед которыми были поставлены задачи, в той или иной мере невыполнимые или не до конца выполнимые.

Само положение, сложившееся в результате нападения немцев, в результате катастрофы первого периода войны, снимало с людей, командовавших армиями и фронтами, часть ответственности за последующие поражения. Видимо, так это было и в глазах Сталина.

Второе объяснение, связанное с первым, — собственная ответственность Сталина, о которой он счел нужным сказать в конце войны, которую он чувствовал, и принимал во внимание при оценках действий подчиненных ему как главнокомандующему генералов. Он понимал, что в каждой неудаче или не полной удаче, за которую несут ответственность они, лежит и часть его собственной ответственности. Оставив себя у власти, не покарав самого себя за ту гигантскую неудачу, которой оказалось начало войны, Сталин, видимо, удерживал себя от того, чтобы карать людей за несравнимо меньшие неудачи, первоосновой которых была та неудача, за которую нес ответственность он сам. Та, главная, основная и первая.

Допускаю, что он возвращался в своих мыслях и к разгрому военных кадров

в 37—38 году. Он знал общие цифры несомненно. Он просто фактически помнил, кого была лишена армия. Кроме того, те люди, которые вернулись, — а их было около трети, он это тоже знал — воевали так, что это могло лишь подчеркнуть неоправданность репрессий 37—38 года.

* * *

Говорили, верней, не говорили, молчаливо думали — он знал, что так думают, что без них, без тех — не справиться на войне. Ничего, справились. Незаменимых людей нет.

Он понимал эту фразу в своем, в совершенно определенном и жестоком смысле. Говоря ее или мысленно возвращаясь к ней, он не думал ни о старости, ни о смерти кого-то; он думал о снятии или замене. То, что было в тридцать седьмом — было формой замены, только и всего. Ждать старости этих людей не приходилось, об их пенсиях не думал он, да и они сами не думали о своих пенсиях. Ждать их старости не приходилось хотя бы потому, что он был старше большинства из них, некоторых намного старше — на пятнадцать лет.

Он не любил обид и не любил обиженных. Людей лучше уничтожать, чем обижать. Начатое надо доделывать до конца. А те, что выпущены — не первые, не первостатейные, не те, что могли бы претендовать на большее, на самое большое, этих в живых не осталось, а другие, выпущенные второй категории и третьей, — они хорошо воюют. Да, хорошо. Он, впрочем, другого и не ожидал.

Но он не дал, не позволил им считать себя обиженными. Он не допустил и намека на создание атмосферы, в которой они могли бы считать себя обиженными вообще и тем более им персонально. Они были не обиженные, а прощенные, облагодетельствованные, поправленные. И поправил дело он. Другие испортили, а он поправил. Он внял их обращениям; они почти все писали ему. Они не знали о других, что писали ему все, но о себе они знали: писал и считал, что именно это помогло. Хотя помогло не это, во всяком случае, в большинстве случаев, не это.

* * *

Если Сталин ни в какой форме не нашел нужным возвращаться к этому вопросу, то, как свидетельствуют воспоминания некоторых людей, его отношение к Рокоссовскому, к Мерецкову и к ряду других людей, в то или иное время оказавшихся в положении Рокоссовского, было подчеркнуто внимательным, с подчеркнутым выражением доверия.

Думаю, что и эта деталь связана с тем чувством ответственности, о котором я уже говорил.

О Мехлисе и Запорожце

В отношении к Мехлису Сталин проявлял своего рода нравственное двурушничество. Это интересная психологическая черта. С одной стороны, он знал цену Мехлису, в чем-то не любил его и высмеивал. С этим связано множество фактов, приведенных мне разными людьми. А с другой стороны, он не давал его до конца в обиду. И даже после керченской катастрофы все-таки Мехлис не получил сполна то, чего заслуживал по общему мнению.

После Финской войны, где он тоже неудачно действовал в качестве члена Военного совета армии, кроме того, вообще неудачно высказывался на Военном совете, тем не менее он при довольно уничижительной оценке, которую Сталин ему тогда дал, пошел на Госконтроль, то есть был убран из армии. Но как только началась война, решительный момент, опасный момент, — Сталин назначил его немедленно начальником Политуправления армии взамен Запорожца. Назначил, очевидно, как

абсолютно преданного себе человека, который, по его мнению, в критический момент мог увидеть измену и доложить о ней, и принять против нее меры, находясь на этом посту.

Чем-либо иным трудно объяснить назначение Мехлиса на этот пост в начале войны.

Что касается Запорожца, то я сейчас прочел в Архивном управлении две резчайшие докладные записки Запорожца Сталину, непосредственно Сталину, кажется, в конце мая — в начале июня 41-го года: одна о неготовности новых укрепленных районов на территории Западной Украины, а другая записка о неготовности аэродромов к войне. В обеих записках указываются катастрофические факты, сводившиеся к тому, что, например, зенитные полки наши могут в полную силу стрелять только через три дня после начала войны, после того как в них явится приписной состав. Если начнется война, то в первый момент они могут стрелять только вполсилы, что аэродромы абсолютно не готовы ко взлету истребителей, что в укрепленных районах потребуется время для того, чтобы их привести в боевую готовность, что они тоже не укомплектованы воинскими частями, что нет амбразур и так далее и так далее. Целый ряд вопиющих фактов.

Эти две докладные записки наводят на мысль, что может быть и снятие Запорожца с этой должности в первые дни войны было связано с неприятными воспоминаниями об этих записках и, возможно, с ощущением, что надо убрать из Политуправления, с главного поста в нем человека, который предупреждал и теперь может ссылаться на то, что он предупреждал, и которого не послушались.

В облик Запорожца для меня это вносит совершенно новые черты. Я не представлял себе этого человека способным на такие акты, как эти записки, на которых можно было сломить голову в два счета.

Остается выяснить, собственная ли это была инициатива или подсказка. Допускаю, что Кирпоноса, допускаю, что и Хрущева, а может быть, и кого-то другого, из непосредственно военных, с которыми он имел дело там, в Киевском военном округе, но факт того, что этот человек так или иначе — кто бы его ни подготовил и кто бы его ни подтолкнул на эти записки — подписал их и направил Сталину, говорит о проявленном им в тот момент и в той атмосфере незаурядном мужестве, когда безопасным было делать вид, что все хорошо.

Да, комвойска кое-что доносили Сталину перед войной, но если он и не слушал их, то надо взять и вторую сторону дела: доносят, а сами ничего не делают, палец о палец не ударяют. Ну, кто им мешал привести войска хотя бы в относительную боевую готовность? Кто бы с них за это спросил? А в основе всего этого лежат кадры. Незнание, непонимание кадров. И конечно, то, что из пяти командующих фронтами, трех командующих направлениями, которые были в начале войны, ни один не остался к концу войны на должности командующего фронтом — это не случайность. Это свидетельство того, что кадры перед войной были продуманы и подобраны неправильно.

О странах народной демократии

Когда я думал о тех послевоенных процессах, которые проходили в Польше, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Болгарии, о процессах Паукера, Костова, Сланского, Райха, которые потом все оказались фальсифицированными и за которые задним числом возлагается и не может не возлагаться ответственность на Георгиу-Дежа, на Димитрова и Червенкова, на Готвальда и Ракоши, — я думал о том, почему Сталин толкал к этим процессам, и уж если не толкал, хотя, наверное, можно будет доказать, что толкал, — почему одобрял их и разрешал, ибо если бы не одобрял и не разрешал, их бы не было.

И рождается мысль, что это происходило, помимо других причин, еще и потому,

что он хотел крепче держать в руках людей, руководивших этими странами и партиями, хотел туже привязать их к себе и к своему собственному образу действий.

Хотел, чтобы у них за спиной осталось то же самое, что осталось за спиной у него. Чтобы они не были чисты, чтобы они были скомпрометированы тем, что произошло, и тем самым надежнее привязаны к нему, к его воле, к его политике, не могли бы пытаться вести независимую политику. Чтобы помнили, что ему есть о чем напомнить, если они будут делать не то, что он считает нужным.

При этом, насколько я понимаю, он оставлял для себя и запасные ходы: запросы, настояния, чтобы лучше разобрались: «Посмотрите, так ли это?.. Ах, так? Вы уверены в этом? Ну, действуйте тогда».

И это уже второй ход, для того чтобы самому не оказаться привязанным к людям, которых он накрепко прикрутил к себе. Как в театре — запасный выход.

Октябрь 1968 года

Из записей, сделанных во время поездки в Монголию

Сталин вызвал Малиновского, Захарова, который был тогда начальником штаба, и меня. Сказал, после того как поздоровался:

— Вам предстоит ехать на Дальний Восток. На вас лежит задача восстановить исторические права России на Дальнем Востоке, вернуть все, что было отнято, восстановить положение. Мешкать с этим нельзя. Это вы должны учесть и готовиться в возможно более сжатые сроки. Американцы и англичане проиграли войну здесь, в Европе, и мы не должны допустить, чтобы они выиграли ее там, на Дальнем Востоке. Они будут торопиться взять реванш. И если мы задержимся, то Япония может капитулировать без нас, без нашего участия. Этого допустить нельзя.

Наступление было первоначально спланировано на 18-е августа, а началось оно 8-го или 9-го, на следующий день после того, как американцы бросили свою атомную бомбу.

1964 год

О судьбе Абхазии

Как решалась судьба абхазского народа. Запись из третьих рук.

В 49-м году у Сталина на даче, здесь в Абхазии, был тогдашний первый секретарь обкома Абхазии Мгеладзе и тогдашний председатель совета министров Абхазии Делба.

Сталин занимался, видно, ближневосточными вопросами. Во всяком случае, Поскребышев развесил ему карту Ближнего Востока, довольно крупную, не специальную, не стратегическую, а общую карту. Когда Мгеладзе и Делба приехали по вызову Сталина, он с ними поздоровался, приветствуя их, не за руку, а продолжая ходить, куря трубку. Они тоже стояли, хоть он предложил им садиться.

Он походил возле карты, потом сказал:

— Сваны — грузины, абхазцы ближе к грузинам, чем сваны. Кому могло прийти в голову говорить, что абхазцы не грузины? Бедный Лакоба не мог этого понять.

На том и кончился разговор. И люди, которые присутствовали при этом разговоре, уехали с дачи Сталина и проводили соответствующую политику. Это было безоговорочно данное таким образом указание: считать абхазцев — грузинами. Стали закрываться абхазские школы, и вскоре были приняты различные меры к тому, чтобы абхазцев превратить в грузин, растворить, ассимилировать...

Гульрипши

Ошибка Черняховского

Очень характерно в воспоминаниях Мернова о Черняховском упоминание о том, что Черняховский считал, что он допустил ошибку, сказав Сталину подробно о группировке немецких войск в Пруссии и о том, что там сильные оборонительные укрепления.

Что значит — совершил ошибку? То есть он не приспособился к тому, чего хотел и чего не хотел слышать Сталин. Ошибку он совершил не в том смысле, что он сказал об этом, потому что об этом надо было сказать. Оценка противника, группировки его, его укреплений была необходимой предпосылкой к тому, чтобы развернуть свои предложения. Но Сталин этого не любил. Знал, что Восточная Пруссия — крепкий орешек, безусловно, но он не хотел об этом слышать. Он воспринимал это как стремление застраховаться трудностями или как желание больше выторговать себе при начале операции. И вообще не желал об этом слышать.

В том, что Черняховский это не учел, и состояла его ошибка. Или, вернее, это приходилось считать за ошибку, хотя по сути дела все это было совершенно верно.

Проход немцев по Москве

Решить, кто из героев книги будет[1] наблюдать за прохождением немцев по Москве. Может быть жена сына Серпилина?

Разговор об этом прохождении между Серпилиным и Иваном Алексеевичем; спор о значении этого.

Не хотел ли Сталин, кроме того что намеревался произвести этим проходом немцев по Москве внушительное впечатление, еще и показать всему миру, что вопреки распространяющимся слухам эти капитулировавшие немцы живы и целы и проходят по Москве во главе с генералами. Вот они, никто их не убил на месте, не уничтожил. Условия капитуляции соблюдены.

Таким образом, этим проходом немцев по Москве убиты сразу два зайца: и унижены немцы, и доставлено удовлетворение населению, подчеркнута победа и дано понять общественному мнению Запада прежде всего, да возможно и тем немцам, которым предстоит попасть в плен, что они остаются живы и целы. Возможно ведь, и немецкая печать — пусть в возмущенных тонах, каких угодно — напишет, что вот русские варвары провели пленных по Москве, что это незаконно, подло и так далее, но раз напишут, то будут знать, что те, кто сдались в Белоруссии, те остались живы и прошли по Москве.

Проход немцев по Москве. Дать в этот день все, чем живет Москва, суетное и несуетное — все подряд.

Аресты 41 года

Аресты весны и лета сорок первого года, происшедшие после обострения ситуации, после нападения Германии на Югославию и после выявившейся уже совершенно четко опасности войны, видимо, носили тот самый превентивный характер, который носили и другие акции такого рода. Арестованы были Штерн, Смушкевич, Рычагов, еще ряд командующих авиационными округами, некоторые другие генералы. А ряд людей был подготовлен к аресту. Как теперь выяснилось, должны были арестовать, например, Говорова.

---

[1] Речь идет о романе К.Симонова «Живые и мертвые» (*прим. ред.*).

Видимо, это была акция — в предвидении войны ликвидировать еще каких-то недостаточно надежных — с точки зрения Сталина или не его прямо, а соответствующих органов и анкет — людей.

Вместо того чтобы в преддверии войны собрать армию в кулак и думать о действительной опасности, об опасности, надвигавшейся на границах, о приведении войск к предельной боевой готовности, думали о том, кто еще может оказаться изменником, кто еще может оказаться на подозрении, кого еще надо изъять до того, как немцы нападут на нас, если нападут. Вот о чем заботился в это время Сталин. Наряду с другими, конечно. Но эти заботы отнимали у него, видимо, немало внимания.

* * *

Нелепо было бы, конечно, предполагать, что Сталин как верховный главнокомандующий в каждом случае не хотел бы обойтись наименьшими потерями.

Но дело в том, что стиль руководства сверху, шедший от Сталина, и в первую очередь та черта этого стиля руководства, которая была связана с систематическим, постоянным запозданием в переходе от наступления к обороне, в стремлении выжать из войск все, последние километры, на которых больше всего и теряли, и остановиться как можно позже, вопреки предложениям и докладам командующих армий и фронтов, — этот стиль руководства объективно вел к растрате сил, к неоправданно большим потерям в конце каждой операции и тем самым в итоге — и к затяжке начала последующей операции. Или к сокращению времени ее планирования и подготовки. Что опять в свою очередь в итоге приводило к лишним потерям.

Словом, эта черта в стиле руководства неотвратимо вела к потерям большим, чем они могли бы быть при другом стиле руководства.

Попробовать психологически вскрыть, почему он так поступал. Что в нем говорило, кроме безжалостности к людям и равнодушия к потерям. Стремление выжать из людей все, на что они способны? Мобилизовать внутренние ресурсы?

Непогрешимость

Сказать о психологическом влиянии неограниченной власти, вернее, того постепенно создающегося ощущения отсутствия реальных препятствий для выполнения задуманного и намеченного, которое возникает при неограниченной власти, как это ощущение разрушает личность.

Один из пиков такого ощущения был у Сталина в 37—38 году. В объяснение всех массовых репрессий того времени, а в особенности в объяснение той ликвидации партийной и военной верхушки, которую он в то время предпринял, можно высказать следующие соображения.

Конечно же, он готовился к войне и думал о ней. Конечно, он страстно хотел победить в этой войне с фашизмом. Конечно, он понимал до какой-то степени, что ликвидация — возьмем только этот вопрос — верхушки военных кадров наносит определенный ущерб делу обороны. Но он понимал это именно до какой-то — и до очень небольшой степени, потому что к тому времени у него настолько сложилось ощущение масштабов своего величия, всевластья, что ему казалось: был бы он во главе страны и коммунистического движения, был бы целиком и полностью обеспечен его авторитет, было бы целиком и полностью обеспечено выполнение его воли и его планов, — и остальное все приложится. Дело не в людях, которые будут его окружать, то есть не в их собственных способностях и талантах, дело в том, чтобы его окружали люди, которые будут безоговорочно и при этом — и из страха, и из веры, и из безграничного преклонения перед ним — тщательно выполнять его волю и его планы. Если будет это, то все остальное приложится, все будет в порядке. Он уже не придавал

значения способностям других людей, их инициативе, их возможностям что-то увидеть, чего он не видел, или что-то посоветовать, чего он сам не мог себе посоветовать.

А люди, которых он уничтожил и уничтожал, хотя и были способными людьми, но в его представлении отнюдь не незаменимыми. В то же время эти люди напоминали ему о тех временах, когда он не был еще безусловным авторитетом; их мировоззрение, их мироощущение сложилось именно в тот период, и, по его представлениям, они были в чем-то правы, такими и должны были хотя бы отчасти сохраниться, несмотря на всю меру его возвышения. У него не было оснований считать, что эти люди недостаточно преданы делу коммунизма или своей родине. Но у него имелись известные основания считать, что они менее преданы лично ему, чем те, кто всем обязан ему и только ему, чем те, кто сформировался от начала до конца под его непосредственным воздействием. Я допускаю даже и такую мысль, что 37—38 год был, в скрытой форме, связан непосредственно с подготовкой к войне, с тем, что он предвидел эту войну и в чем-то опасался ее. И опасался именно того, что в решительную минуту войны, когда армия — он понимал это — приобретет большее значение, чем в мирное время, а следовательно, и военачальники приобретут большую власть, что они могут стать такой силой, которая окажется опасной для него лично.

В это надо внести еще одну значительную поправку. В силу своего самоощущения он, очевидно, и в собственных глазах становился все неотделимее и неотделимее от коммунизма, от победы дела коммунизма в мировом масштабе, от Советской России, от партии. И эта подмена одного другим, сначала искусственная, становилась для него все более истинной. Допускаю и это. И люди, которые казались недостаточно преданными ему, в условиях, когда он стал олицетворять партию, и советскую власть, и вообще все на свете, таким образом, механически считались людьми, недостаточно преданными советской власти, партии, всему на свете.

Если задним числом заглянуть в души этих людей, в частности расстрелянных тогда военных, то, конечно, можно допустить, что у них были свои взгляды на Сталина, на Ворошилова, на то, кого он выдвигает в армии и кого задвигает, на полезность тех или иных его мероприятий, словом, были и критические взгляды, тем более, что в их памяти он не возникал как организатор победы во время гражданской войны, а являлся лишь одним из нескольких самых крупных военно-политических деятелей периода гражданской войны, каким он и был в действительности. Но одним из, и не более того.

Эта точка зрения на него, разумеется, ничего общего не имела с изменой делу партии и родине, а просто была до известной степени критической точкой зрения, которая в обстановке, созданной Сталиным к тому времени в стране, будучи сформулированной, ощущалась бы как измена.

Первое отрезвление пришло с Финской войной. Он совершенно искренне не ожидал такого хода этой войны, и то совещание, которое было весной сорокового года, с анализом итогов Финской войны, было попыткой посмотреть правде в глаза, хотя дело после этого и не было доведено до конца. Но во всяком случае, снятие Ворошилова, назначение Тимошенко и то, что Тимошенке были развязаны руки в смысле наведения порядка в армии после того развала, до которого ее довели 37—38 годами, — все это были серьезные и положительные факторы, свидетельствовавшие об отрезвлении.

Ряд мер, принятых к перевооружению армии, к ускорению производства новых танков и самолетов, «катюш» и так далее, тоже свидетельствовал о более трезвом взгляде на будущее, чем было до этого.

Сталину казалось, что война в Европе будет происходить иначе, чем она произошла. Самым страшным ударом по его планам был разгром Франции

в сороковом году. Этого он никак не предвидел и не мог предвидеть. Я лично думаю, не имея для этого никаких документальных оснований, что его план сводился к следующему — и таков был его план с самого начала, с периода переговоров с Риббентропом. Во-первых, выйти на как можно более передовые европейские рубежи, в непосредственную близость к фашистской Германии, сойтись с нею бок о бок. Это было сделано. Во-вторых, он предполагал, что немцы ввяжутся в другую, может быть победоносную, но тяжелую и изматывающую войну с Англией и Францией. И в-третьих, насколько я понимаю, он планировал, перевооружив армию, укрепив ее, переведя промышленность если не на военные рельсы, то в положение, при котором она быстро могла перейти на них, — ударить по фашистам, занятым войной на Западе, разгромить их, на их плечах пройти всю Европу, может быть вплоть до Испании — он всегда помнил о неудаче в Испании — и установить в ней социалистический строй.

Вот его программа максимум так, как она мне рисуется — без всяких к тому документальных оснований.

Судя по тому, как в ужасающих условиях сорок первого-сорок второго года мы тем не менее огромными темпами начали наращивать свою военную промышленность, выпускать танки, самолеты, артиллерию и так далее, видно, насколько серьезная подготовка шла к этому заранее.

Мне лично кажется, что он этот военный удар по фашистской Германии планировал на лето сорок второго года и именно поэтому так слепо и невероятно упрямо не верил в возможность нарушения этого своего плана, за которым для него стояла победа социалистического строя во всей Европе. Именно потому, что он не хотел отступиться от этого плана, потому что он спал и видел, как это будет, и был убежден, что будет так, как он запланировал, он не принимал во внимание сведения о надвигающейся войне в сорок первом году и так до конца и считал возможным, что все это провокация, что англичане, находясь в отчаянном положении, пытаются столкнуть нас с немцами, в то время как от этого преждевременного столкновения еще можно уклониться.

Я думаю, что если даже встать на его позиции и исходить из его собственных планов, его главной и тяжелейшей ошибкой было то, что он не пожелал в достаточной степени серьезно пересмотреть эти планы после разгрома Франции, то есть игнорировал реально сложившуюся обстановку, которая делала его планы нереальными и ставила нас под угрозу войны, причем войны, начатой не по нашей инициативе и на год раньше, чем он предполагал сам ее начать. А предполагал он ее начать, кстати сказать, — я глубоко убежден — под лозунгом освобождения порабощенной фашизмом Европы, а не под великодержавными лозунгами, хотя некоторые оттенки великодержавности в некоторых его действиях прощупывались уже к тому времени. Но все-таки это было не главным в нем. Во всяком случае, субъективно война, если не считать первого момента растерянности, о масштабах которой и о формах выражения которой я еще не составил себе представления, была в общем периодом наибольшего взлета его государственных и политических способностей.

И если брать психологическую сторону дела, то, думается, после долгого периода самоуправства, отвычки от сопротивления, рождавших действия произвола, доходившие до нелепости, он столкнулся с реальным и огромным сопротивлением фактов и обстоятельств. Гитлера мало было объявить врагом страны и человечества, его надо было разбить. Его нельзя было просто посадить за решетку, объявив врагом; его надо было разгромить и только потом можно было посадить за решетку. Рузвельту и Черчиллю ничего нельзя было приказать; с ними надо было вести дипломатическую игру и борьбу. Причем в этой борьбе и игре надо было добиться того, чтобы в целом ряде ее моментов эти два лидера капиталистического мира не противостояли ему, Сталину, как нечто единое. Надо было дифференцировать свое отношение к ним и их

отношение к себе и к ряду военных и политических вопросов, чего он, надо отдать ему должное, добился — Черчилль с его мемуарами достаточный тому свидетель.

В ходе войны выяснилось, что те военачальники, на которых он делал ставку до войны, как правило, не оправдали его надежд. Командовать фронтами нельзя было, оставаясь только проводниками его воли. Надо было иметь свою собственную. Фронтами нельзя было командовать, являясь только проводниками его ума. Надо было иметь собственный. Война показала это с достаточной очевидностью, и он, как потом выяснилось, только на время примирился с этим положением, и, насколько я понимаю из разговоров с несколькими командующими фронтами и другими высшими военачальниками, те взаимоотношения, которые у него, как у верховного главнокомандующего, были с командующими фронтами, были наиболее разумными и правильными взаимоотношениями со своими подчиненными за весь период его деятельности, начиная с тридцатого года, то есть со времени приобретения неограниченной власти. Были в этих отношениях и неправильности, но относительно меньшие по сравнению с другими периодами его деятельности. И это положительно сказалось на ходе войны.

Надо сказать также, что после первого периода войны, когда в сорок первом году были названы изменниками и расстреляны просто-напросто плохо воевавшие и не на место поставленные перед войной генералы и названы изменниками другие генералы, по несчастному ходу обстоятельств попавшие в плен, — даже уже во время тяжких неудач сорок второго года и самых тягчайших из них по отношению к высшим военным начальникам подозрительность не проявлялась и изменниками их не объявляли.

В этом смысле Сталин в период войны постепенно пришел к другому характеру отношений со своими подчиненными, чем это было у него раньше.

После войны, которая была как бы верхней точкой его политической и государственной деятельности, он еще вернулся к состоянию непогрешимости. Он в своем тосте за русский народ в июне 45-го сказал о войне правду, которую никто другой в стране не решался сказать, да и не дай бог никому бы ее сказать тогда. И поставил точку, подвел черту, больше он к этому не возвращался.

В его сознании начался обратный процесс. Внешний враг был разгромлен, и он как бы обернулся и посмотрел на страну и постепенно стал искать внутренних врагов. По разным поводам был снят ряд выдающихся военачальников, потом наступил разгром в артиллерии и в авиации. Несколько крупных людей погибло, другие на долгие годы уехали в лагеря. Потом возникло «Ленинградское дело», оказалось, что Вознесенский, Кузнецов и ленинградцы вообще решили противопоставить себя Сталину и захватить власть в стране. Потом дело постепенно дошло до находившегося уже на грани безумия процесса «врачей-убийц.

По дороге к этому был целый ряд ступенек, которые я пропускаю, и перед смертью Сталина, по моему ощущению, мы были на пороге возвращения к 37—38 году.

Таков в общих чертах этот цикл, ощущение которого надо найти возможности и способности дать в романе.

1964 год

Сергей Шаргунов

Катаев и война

1941

Валентин Катаев напророчил войну СССР с гитлеровской Германией еще в 1935-м.

Тогда он написал сценарий «Лицо героя», фильм по которому «Родина зовет», снятый Александром Мачеретом, вышел в 36-м, но был убран с экранов.

«Вражеская эскадрилья внезапно, точно вор, темной ночью, напала на советскую территорию, — пересказывала сюжет газета «Правда», сухо констатируя: сценарист и режиссер «постарались заглянуть в будущее». — Глаза долго-долго смотрят на портрет Сталина... Родина зовет! Это доминирует над волей и сознанием... Враг должен быть уничтожен. Не разбит и отброшен, а именно уничтожен... На крыльях его машин, точно щупальцы каракатицы, — фашистская свастика».

Лето 1941-го Катаев проводил в Переделкине. Наступление немцев встретил запоем.

В самом начале войны над их домом низко пролетел самолет, и маленькая Женя (дочь Катаева. — *Прим. ред.*), задрав голову, пролепетала:

— Война едет...

«Стреляли зенитки, — вспоминал другой «переделкинец» Аркадий Первенцев, — вечерами артиллеристы расшивали с треском ящики со снарядами. Во дворах, у сосен, зияли траншеи укрытий... Быстрое продвижение врага не способствовало оптимизму».

Уже 3 июля Эстер (жена Катаева. — *Прим. ред.*) и дети вместе с семьями других писателей уехали в эвакуацию: Берсут, Чистополь, позже Куйбышев...

Из Берсута (где Эстер некоторое время раздавала еду в столовой вместе с женами Пастернака и Лебедева-Кумача) в Чистополь плыли на пароходе. Безумно хотелось пить. Женю укусил дурной комар, и она заболела малярией на много лет.

В Чистополе Эстер поселилась в гостинице в одном номере с женой Долматовского Софьей и устроилась нянечкой в детсад-интернат, куда отдала Женю и Павлика. Оттуда как-то вечером Женя совершила побег. Она пришла укладывать братика, стала толкать его и шептать: «Павлик, плачь!». Мальчик заплакал. Собрались недоуменные взрослые. Под шумок девочка выскользнула на волю. Она пошла по улице, не зная, куда идти, но решив найти маму. На счастье, повстречался писатель Николай Ляшко, который подхватил ее и притащил в гостиницу — ночью Эстер вернулась и обнаружила сюрприз — дочку у себя в постели.

20 июля в «Литгазете» Катаев выступил в знакомом для себя жанре «приветствия англичанам» в связи с Соглашением о совместных действиях между СССР и еще месяц

Главы из биографии Валентина Катаева, написанной для серии «ЖЗЛ». Книга выходит в издательстве «Молодая гвардия» в начале 2016 года.

назад «империалистической» Британией: «Я знаю, что поют англичане, что написано на их знамени: «Никогда, никогда англичанин не будет рабом»... Я счастлив, что в эти великие дни мы вместе». 30 июля он заявил в «Литгазете», что вносит в «фонд обороны» свой месячный заработок.

Немцы наступали стремительно.

16 августа Первенцев записал в дневнике: «Пришли Катаев, потом Фадеев и Баталов[1]. Катаев, по обыкновению, был пьян до бесчувствия, падал и бил посуду. Противно смотреть. На груди орден Ленина». И далее о «Коньяк-Фадееве»: «Вместо того чтобы избивать и издеваться над писателями, он должен был бы хотя бы примитивно воспитать своих собутыльников типа Кагор-Катаева. Фадеев с жадностью пил водку и пиво».

Первенцев злился на более успешных коллег. Особенно его разъярило то, что 23 августа «братья-писатели» не пришли на спектакль по его патриотической пьесе «Крылатое племя»: «Позже я встретил пьяного Валентина Катаева вместе с Валей Барнетом[2] у подъезда кабака Жургаза... Я не очень обижен тем, что несколько знатных алкоголиков во главе с А.А.Фадеевым не отравляли коньячным запахом театра. Пьесу приняли хорошо и без этих представителей, без этих истребителей коньяка».

16 октября 1941-го советские войска покинули Одессу и переправились в Крым (как когда-то армия Деникина). В город вошли румынские войска.

Вернулся «Вертер» — художник Витя Федоров — и устроился в Одесский театр. Пётр Ершов, поэт и критик, один из лидеров «Зелёной лампы», выживший в 30-е, при оккупантах сделался деканом драматического отделения консерватории, начал выступать с докладами и публиковать статьи[3].

5 октября в «Огоньке» вышел рассказ Катаева «Их было двое»: младший командир «советский еврейский поэт» двадцатитрехлетний Вергелис ведет пленного ровесника голубоглазого стрелка-радиста Вилли Ренера. «В голове тяжело гудело. Ослабевшие ноги нетвердо ступали... Во рту пересохло. Очень хотелось пить и курить». Похмельные муки переданы со знанием дела... «Немец обернулся на ходу. С перепоя ему хотелось болтать».

А вот и болтовня:

«— Я облетел почти всю Европу... Я был в Бухаресте... В Бухаресте много публичных домов... Я также был в Голландии.

— Что же вы видели в Голландии?

— В Роттердаме отличные, богатые магазины... Кроме того я был в Польше.

— А что вы заметили в Польше?

— Польские девушки — змеи: они кусаются.

— А в Греции?

— В Греции душистый коньяк».

(Любопытно, что поэт и фронтовик Арон Вергелис впоследствии стал вторым мужем Евгении Катаевой, которой в 1941 году было пять лет).

«Ох, какое это было кошмарное время, — говорила героиня катаевской военной повести "Жена". — Вспомнить страшно. Украина занята. Белоруссия занята. Ленинград в кольце. Волоколамск. Истра. Подумайте только — Истра! Проносится слух, что немецкие танки в Химках». Этот слух охотно распространял сам Катаев.

В октябре к Москве вплотную подошли танки Гудериана. Перед эвакуацией писательница Мария Белкина писала в открытке на фронт мужу — критику Анатолию

---

[1] Владимир Баталов (1902—1964) — режиссер и актер.

[2] Очевидно, здесь описка, имеется в виду Борис Барнет — актер и режиссер, внук потомственного печатника, приехавшего в Россию из Великобритании, для которого позднее Катаев написал повесть-сценарий «Поэт».

[3] В марте 1944-го П.Ершов уехал в Германию, а оттуда сумел перебраться в США, где стал преподавать в Колумбийском университете и вспоминать в текстах о литературной молодости.

Тарасенкову: «Очень тяжелый день... Последние впечатления о клубе, пьяный "Белеет парус одинокий" целует мне руки и говорит какие-то странные вещи, а рядом сумасшедший Володя Луговской...» Вот как затем расшифровывала Белкина ту запись: «У плохо освещенного буфета стояли писатель Катаев и Володя Луговской, последний подошел ко мне, обнял. "Это что — твоя новая блядь?" — спросил Катаев. "На колени перед ней! Как ты смеешь?! Она только недавно сына родила в бомбоубежище! Это жена Тарасенкова". Катаев стал целовать меня. Оба они не очень твердо держались на ногах. В растерянности я говорила, что вот и билеты уже на руках, и рано поутру приходит эшелон в Ташкент, а я все не могу понять — надо ли?.. "Надо! — не дав мне договорить, кричал Луговской. — Надо! Ты что, хочешь остаться под немцами? Тебя заберут в публичный дом эсэсовцев обслуживать! Я тебя именем Толи заклинаю, уезжай!.." И Катаев вторил ему: "Берите своего ребеночка и езжайте, пока не поздно, пока есть возможность, потом пойдете пешком. Погибнете и вы, и ребенок. Немецкий десант высадился в Химках..."»

В 1985-м Катаев в новомировском эссе вспоминал «страшные дни, когда фашистские генералы уже рассматривали в свои цейсовские бинокли кремлевские башни».

Между тем, по мнению Первенцева, некоторые писатели готовились к «грядущему режиму». Он вспоминал встречу с Александром Авдеенко в октябре 41-го в клубе писателей.

«Я сравнил его с плутоватым Фадеевым, с пьяницей Катаевым...

— Я знаю, — сказал Авдеенко, — идут немцы, которым я нужен...

Он хотел остаться. И не потому, чтобы видеть героику города и страдать его страданиями. Нет! Он хотел лучше переметнуться в связи с изменением политической ситуации».

Говорят, той осенью в клубе писателей подавали отменные соленые грузди — грибной год войны...

7 ноября 41-го, несмотря на панику горожан и постоянные авианалеты, прошел военный парад на Красной площади с уверенной речью Сталина (он упомянул «перепуганных интеллигентиков») — ночью по его приказу были расчехлены и зажжены кремлевские звезды. В декабре атаки немцев захлебнулись, началось советское контрнаступление.

Но ощущение страшной опасности не отступало. В сентябре 42-го поэт Виктор Гусев, приехав из Москвы в ташкентскую эвакуацию, рассказал Всеволоду Иванову: «Катаев пьет так, что даже Фадеев должен был ему посоветовать уехать на время: «а то за тобой уже посматривают»». Иванов в своем дневнике связал то, что Фадеев и Катаев «пьют без просыпа» с большими успехами Гитлера.

1942

Однако миф о несокрушимости и победоносности гитлеровской армии кончился под Москвой.

16 февраля 1942-го Катаев написал в «Правде»: «Довоевались!» В статье «Сверхчеловеки» он не жалел средств для высмеивания «хваленого "немецкого воина"»: «Чрезвычайно обессиленный, умственно отсталый, исхудавший, опустившийся... Вшивый. Грязный. Вороватый. Блудливый. В жилете из газеты "Фёлькишер беобахтер", в штанах из газеты "Ангрифф", заплатанных сзади страницами "Майн Кампф"».

За десять дней до этого, 6 февраля 42-го Катаев рассматривал в «Правде» снимки, найденные у убитого немецкого офицера в районе Яропольца. Пятеро повешенных. «Они прямо смотрят смерти в глаза. Они знают, что умирают от рук гитлеровских палачей за родину, за Сталина. Они не боятся смерти... Секунда — и стол выбит из-под их ног. Это уже не люди. Это трупы... Русского патриота, человека сталинской эпохи, запугать нельзя».

18 февраля, тоже в «Правде», он вчитывался в приказ фашистского коменданта одного из районов Ленинградской области (к статье прилагалась фотография записки): «Каждый, который у себя есть одна корова, сдай в восемь часов один горшок с молоко». «Какой "лингвист" потел над этим приказом? — возмущался Катаев. — Растленная душонка, потерявший остатки совести и чести, проклятый родной страной и забывший родной язык белогвардеец, продавшийся фашистам?».

В ответ на «краски Геббельса» (название статьи Катаева от 19 июля 41-го) у нас найдутся свои... 19 марта 42-го «Правда» напечатала его первый военный рассказ — «Флаг». Немцы осаждают маленький гранитный остров. Когда боеприпасов и продовольствия уже не остается, советским воинам предлагают вывесить белый флаг капитуляции. Немецкий контр-адмирал видит это огромное знамя, темное от предрассветных сумерек, потом оно кажется ему красным от восходящего солнца... Скалы взрываются вместе с десантом, а оставшиеся бойцы отстреливаются до конца. «Флаг никогда не был белым. Он всегда был красным. Он не мог быть иным». Он еще полыхнет над Берлином...

Рассказ очень показательный для эстетики Катаева, в которой наш мир — красный, хотя и считается, что белый цвет вмещает все цвета радуги. Катаев был перепачкан красками, но главная — горячая краска жизни и смерти. Конечно, наш мир — это волшебный цветик-семицветик, но все же трепетные лепестки тянутся от багровой мясистой сердцевины.

Описание флага страны вообще удавалось Катаеву. С особой поэтичностью изображал еще в «Растратчиках»: «Высоко над Красной площадью, над смутно светящимся Мавзолеем, над стенами Кремля, подобно языку пламени, струился в черном небе дивно освещенный откуда-то, словно сшитый из жидкого стекла, насквозь красный флаг ЦИКа». И репортаж из Западной Белоруссии завершал словно бы стихотворной строчкой: «В ясном, фарфоровом небе реют прозрачно красные флаги». Вот и теперь, вдохновляя воюющих не сдаваться, опять погружался в тайны цвета: «Он был сшит из заветных шелковых платочков, из красных косынок, шерстяных малиновых шарфов, розовых кисетов, из пунцовых одеял, маек. Алый коленкоровый переплет первого тома истории гражданской войны и два портрета — Ленина и Сталина, вышитых гладью на вишневом атласе, — подарок куйбышевских девушек — были вшиты в эту огненную мозаику... Как будто незримый великан-знаменосец стремительно нес его сквозь дым сраженья, вперед, к победе».

То, что в рассказе «Флаг» Катаев занят собой и решает эстетические вопросы, переходящие в метафизические, уловил неугомонный Абрам Гурвич. «Холодный огонь неодушевленного эстетизма», — так он выразился в статье «Ответственность художника» 10 апреля 43-го в газете «Литература и искусство»[1] (по мотивам выступления на творческо-критическом совещании в Союзе писателей). «Это должен был быть рассказ о героических защитниках острова Н., но он стал рассказом об игре световых пятен». Вердикт Гурвич выносил суровый: «Незахваченный пафосом борьбы художник будет говорить не то и не так, и краски его будут мертвыми».

На той же полосе наставлял Шкловский: «Писать во время величайшей войны не о ней — не только бессовестно, но и нельзя».

Между тем, в разгар войны Катаев написал как никогда много стихов, далеких от исторических потрясений — о природе и женщинах...

Её глаза блестели косо,
Арбузных косточек черней,
И фиолетовые косы
Свободно падали с плечей.

[1] Так с 1942 по 1944 г. называлась «Литературная газета».

Пройдя нарочно очень близко,
Я увидал, замедлив шаг,
Лицо скуластое, как миска,
И бирюзу в больших ушах.

С усмешкой жадной и неверной
Она смотрела на людей,
А тень бензиновой цистерны,
Как время, двигалась по ней.

Первый его выезд на фронт случился весной 42-го — в Подмосковье, под Сычёвкой. Был Катаев и под Ржевом. Советские войска несли большие потери и безуспешно пытались выбить неприятеля. 23 марта в «Правде» появилась его фронтовая зарисовка разведки боем: рвутся немецкие мины, советские танки врезаются в снежную стену, из-за которой тюкают противотанковые ружья... По воспоминаниям Давида Ортенберга, Катаев потребовал, чтобы его посадили в танк и дали участвовать в атаке, при этом в дивизии из-за тяжелых боев оставалось всего три танка. «Долго ему в этом отказывали, наконец, после настойчивых просьб, разрешили». Катаев забрался в «тридцатьчетверку», но от боя его уберегли. Когда танк остановился, «вылез из него писатель разочарованным. А потом ему признались, что танк шел не на запад, на противника, а на восток, в наш тыл.

— Ругайте нас, не ругайте, — каялись танкисты, — но мы боялись, что вас убьют».

А вот Катаев полагал, что танк все-таки участвовал в бою. Встретившись с художником Виталием Горяевым, иллюстратором его «Паруса», он воскликнул: «Черт меня дернул попроситься в танк, идущий в бой!.. Вернулся весь избитый и ничего не увидел. Амбразура была загорожена круглыми спинами, а вокруг острые углы холодного металла. Ухватиться абсолютно не за что, и я весь в синяках и ссадинах, а говорят, был бой...»

А война не отпускала и Москву...

Был май, стояли ночи лётные
И в белом небе без движения
Висели мёртвые животные
Аэростатов заграждения.

В одну из бомбовых ночей Катаев и Пастернак дежурили с песком на крыше дома в Лаврушинском.

Это был их хрупкий заслон на пути войны — «озаренный зловещим заревом пылающего где-то невдалеке Зацепского рынка, подожженного немецкими авиабомбами, на фоне черного Замоскворечья, на фоне черного неба, перекрещенного фосфорическими трубами прожекторов противовоздушной обороны, среди бегающих красных звездочек зенитных снарядов, в грохоте фугасок и ноющем однообразии фашистских бомбардировщиков, ползущих где-то вверху над головой».

Пастернак жил на последнем этаже, а на крыше стояло зенитное орудие, и он пошутил: «Наверху зенитка, а под ней Зинаидка» (впрочем, его жена Зинаида к тому времени уже была в эвакуации).

«А у вас когда-нибудь погибал младший брат?»

Евгений Петров с самого начала войны постоянно бывал на фронте.

Жена с сыновьями уехали сначала в Берсут, потом в Ташкент. Он переселился в гостиницу «Москва», которая стала тогда «творческим общежитием» для писателей, журналистов и даже артистов. Там же получил номер и Катаев, работавший в

Радиокомитете и Совинформбюро на заграницу (братья передавали материалы для американского газетного объединения «NANA» — North American Newspaper Alliance).

Адмирал Иван Исаков, который уже осенью был тяжело ранен и потерял ногу, вспоминал: «Никто из тех, кто встретился в этот июньский вечер в гостинице "Москва", не думал, что следующий, кому предстоит дорого заплатить за стремление все увидеть и все понять, находится среди нас». Петров стал упрашивать Исакова взять его с собой в осажденный Севастополь, отбивавшийся от немцев днем и ночью — завоз подкрепления и вывоз раненых проходил под страшным обстрелом.

Накануне отлета у Петрова в «Москве» побывал Борис Ефимов.

«Он себя неважно чувствовал, — вспоминал художник, — лежал на диване, укрытый пледом. Вокруг него суетилась Варя, его милая подруга. В номере находились также его старший брат, Валентин Катаев, Евгений Долматовский и еще кто-то, не помню. На столе лежали карты и деньги — играли в покер... За столом зашел по какому-то поводу разговор об Александре Фадееве, в ту пору одном из руководителей Союза писателей. И дернуло же Долматовского шутливо переиначить его фамилию — вместо "Фадеев" сказать "Фадейкин".

— Не Фадейкин, а Фадеев! — неожиданно взревел Катаев. — Замечательный русский писатель!

И добавил трехэтажное матерное ругательство. Женя Петров буквально подскочил на своем диване.

— Немедленно убирайся отсюда вон! — закричал он на старшего брата.

Катаев как-то сразу съежился и сказал:

— Пожалуйста. Я только заберу свои деньги.

И, взяв со стола трехрублевку, как побитый, вышел из номера. Всем было неловко. Варя успокаивала Петрова, уложила его обратно на диван и укрыла пледом. Я посмотрел на Женю. Он был явно расстроен только что происшедшим инцидентом».

Ефимов постарался развеселить Петрова, и тот вроде бы оттаял.

— Ну, Женя, — сказал я, — счастливо. Вернетесь, расскажете, как там наш Севастополь».

Сумев получить нужные разрешения, через сутки Петров был на аэродроме, прилетел в Краснодар, а там со все той же горячностью настоял на Севастополе.

26 июня из порта Новороссийска вышел эсминец «Ташкент», лидер эскадренных миноносцев. Бомбы падали со всех сторон. Шедший впереди эсминец «Безупречный» взорвался и потонул, остановиться и подобрать немногих уцелевших было нельзя — сверху атаковали «юнкерсы». В Севастополе под разрывами бомб, снарядов, гранат и мин в полной темноте корабль забрал более 2100 раненых, женщин и детей — выше всяких возможностей.На обратном пути с 5 до 9 утра его непрерывно атаковали 90 самолетов, сбросивших более трехсот бомб — «Ташкент» получил множество повреждений и едва не затонул, многие погибли. Петров остался с ранеными до конца (поил их водой), несмотря на подоспевшие торпедные катера.

2 июля он вылетел из Краснодара в Москву, казалось, оставив угрозу гибели позади. С ним в пассажирском самолете «Дуглас» оказался и все тот же Первенцев, вспоминавший: «Летчик с бородкой. Фамилия Баев. Ждем Петрова. Приехал возбужденный. В 11.00 Баев ухарски отвернул "Дуглас" от земли, как будто вырвал пробку из бутылки. Баев передал управление штурману, а сам подобострастно болтает с Петровым. Ищет выпить. Тоска грызет мое сердце... Петров идет в кабину управления. Ложусь спать и моментально засыпаю. Удар. Я лежу на земле облитый кровью. Самолет, его обломки впереди. Кричу. Я изувечен. Пробую подняться, но, кажется, перебита спина, вытек левый глаз; я падаю на землю головой в пшеницу и бурьян. Чья-то рука тянется из-под обломков дюраля... Крики... Я приказываю снять с меня

пиджак, рубаху. Обматываю рубахой голову и чувствую, как она вскипает и пузырится кровью. Больница. Я зверь... Но ранен глубоко. Я завидую Петрову. Он обложен льдом в мертвецкой».

Корреспондент «Красной звезды» Михаил Черных рассказал о катастрофе в подробностях: «Штурману вздумалось пройти в пассажирское отделение. На его место стал пробираться Евгений Петров... Ни штурман, ни пилот не имели права разрешать Евгению Петрову проходить в отделение пилота. Пилот Баев, разговаривая с Петровым и давая указания ему, отвлекся от управления. Самолет летел на высоте 15—20 метров со скоростью 240 км в час. Впереди подымался широкий холм. Пилот заметил его, но уже было поздно. Самолет ударился о землю...»

«Его вытащили из-под обломков. Он несколько раз повторил: "Пить... Пить... Пить!" Ему поднесли кружку воды, он глотнул — и умер», — утверждал Эрлих.

Петрова похоронили в Ростовской области в селе Маньково-Калитвенское.

«И он навсегда остался лежать в этой сухой, чуждой ему земле», — написал Катаев, крайне скупой на слова о случившейся трагедии (тело в Москву не привезли, в тех местах лютовала война), однако хранивший в ящике стола фотографии, на которых был запечатлен мертвый среди похоронных цветов.

Евгения Катаева однажды увидела, как отец перебирает их и плачет.

— Как это можно не прийти на вечер памяти твоего родного брата? — сетовал как-то Виктор Ардов, присоединяясь к хору раздосадованных очередным своенравием Катаева.

Да вот так — можно. Память о брате была для Катаева — остро-болезненной, запрятанной, глубоко личной.

Когда погиб Женя, пьяный Катаев пришел в Малый Головин к бывшей жене Анне Коваленко и сидел на лестнице, отключенный.

В 68-м в повести «Кубик» Катаев вспомнил крещение в Одессе: «Я увидел его, поднятого из купели могучей рукой священника... и уже тогда меня охватило темное предчувствие какой-то непоправимой беды, которая непременно должна случиться с этим младенцем, моим дорогим братиком, и потом, через много лет, точно с таким же выражением зажмуренных китайских глаз на удлинившемся, резко очерченном лице мужчины с черным шрамом поперек носа лежал мертвый Женя...»

В 86-м он написал, что крещение происходило на дому: «Из церкви везли на извозчике немного помятую серебряную купель, куда налили подогретой на кухне воды... Я ужасно боялся, что мой маленький братик захлебнется...»

«Прощай, Евгений Петрович! Может быть, ты виноват в катастрофе, но смерть большое искупление...» — стонал изувеченный Первенцев, находивший причины всех несчастий в алкоголе.

«Красная звезда» напечатала статью, черновик которой был в полевой сумке погибшего. «Держаться становится все труднее. Возможно, что город все-таки удержится. Я уже привык верить в чудеса...»

2 июля эсминец «Ташкент» был потоплен при внезапной бомбардировке в порту Новороссийска. Адмирал Исаков писал, что случилось это «именно в те часы, когда Петров летел в Москву» и «сочетание трагических событий» было «необыкновенно».

3 июля Совинформбюро дало сводку о потере Севастополя.

Петров, как и Ильф, не дожил до сорокалетия.

Читаю этот горький петровский отчет и другие его трагично-пафосные корреспонденции времен войны — все-таки журналистские тексты Катаева того же времени гораздо более легкомысленны и водевильны, и дело, мне кажется, не в степени испытываемой опасности, а в настрое. Например, 5 июля, в день похорон Петрова, между прочим, главного редактора «Огонька», в журнале вышел катаевский очерк об артисте-осетине Туганове, ставшем конногвардейцем. Он блистал на сцене москов-

ского цирка вместе с «труппой донских казаков», пока не пришла война, на которую все они и отправились добровольцами. Однажды капитан по ошибке заехал в село, занятое немецкими автоматчиками. По наезднику открыли шквальный огонь. «Он свалился с седла и повис на стременах под брюхом лошади. Это был его излюбленный номер джигитовки». Когда лошадь вынесла его из села, циркач «вскочил на седло и умчался, как вихрь, в развевающейся бурке и в развевающемся алом башлыке. Немцы ахнули, но было уже поздно».

«Я никогда не видела такой привязанности между братьями, как у Вали с Женей, — вспоминала Эстер. — Собственно, Валя и заставил брата писать. Каждое утро он начинал со звонка ему — Женя вставал поздно, принимался ругаться, что его разбудили... "Ладно, ругайся дальше", — говорил Валя и вешал трубку».

Долматовский, присутствовавший при конфликте в гостинице «Москва», рассказывал, как много позднее, сидя у моря в Коктебеле, Катаев обернулся с лицом, искаженным болью:

— А у вас когда-нибудь погибал младший брат?

Эренбург вспоминал: «Пришло сообщение о смерти Петрова. Я пошел к Катаеву, у него был Ставский. Мы сидели и молчали». (Ставский погибнет в 43-м.)

Да, молчали. Катаев молчал. И молчал о случившемся всю жизнь... Он даже домашним ничего не говорил. Павел Катаев записал: «У меня сложилось убеждение, что отец готов говорить о живом брате, но никогда — о мертвом».

А вот воспоминания Эрлиха: «Мы с Валентином Катаевым достали ключ от осиротевшего номера в гостинице «Москва». Бродили по комнате, машинально притрагивались к ручкам и карандашам в пластмассовом стаканчике на письменном столе, которые так и не дождались на этот раз возвращения своего хозяина.

Мы долго не находили никаких слов. Наконец Катаев сказал:

— Завтра или послезавтра, не позднее, здесь поселится новый жилец.

Это значило: надо позаботиться о вещах покойного, и прежде всего об его рукописях.

— Да, — согласился я, — давай, я помогу перенести вещи к тебе в номер.

— Нет, не надо их здесь, в гостинице, хранить. Забери их лучше с собой, на Лаврушинский... Домой отвези. А когда будет комиссия по наследству, все передашь будущему председателю...»

В «Разбитой жизни» Катаев писал о янтарно-коричневых глазах брата, «как бы знающих что-то такое, чего никто, кроме него, больше не знает», и несколько манерно, вероятно, искусством камуфлируя боль, продолжал: «Он был обречен. Ему страшно не везло. Смерть ходила за ним по пятам...»

«Смерть долго гонялась за Петровым, наконец его настигла», — написал и Эренбург.

«В 1942 году в январе месяце я оказался в одном купе с Валентином Петровичем во время поездки в Ташкент, — вспоминал критик Валерий Кирпотин. — В Челябинске в купе подсела Герасимова. Катаев сильно скрашивал томительность поездки. Разговорчивый, веселый, гибкий, он легко подхватывал любую житейскую или литературную тему и весело, остроумно развивал ее. Говорили о погибшем брате, Евгении Петрове. Он его осуждал. Он бы избежал на его месте любой опасности». Так воспроизводит слова Катаева тот, кто относился к нему недоброжелательно.

Однако в январе Петров был жив (да и Герасимова в Ташкент не ездила, зато позднее рассказывала, как заступалась за Эстер в Берсуте, когда завистливые писательские жены требовали от той, нарядно-изящной, мыть полы. А дочь поэта Алексея Суркова Наталья передала мне родительский рассказ: однажды Эстер в подаренных мужем брильянтовых серьгах, с которыми не расставалась, стирала в корыте. Мимо

шла местная женщина, которая с издевкой окликнула: «Барыня!» — «Закончу стирать — и буду снова барыней!» — в тон ей ответила Эстер).

Но о чем бы и когда бы Катаев ни разглагольствовал, он и сам рисковал в поездках по войне под обстрелами, а впереди был даже полет на штурмовике...

Кирпотин выписал из их разговора в поезде (ну, может не январского, а осеннего) одну катаевскую юношескую историю времен «румынского фронта»: измотанный (прежде всего — психологически), холодной ночью лег в студеную воду, надеясь получить воспаление легких. Все это было «близко к передовой линии», — подчеркнул Кирпотин, недвусмысленно связав то «малодушие» с уползанием от новой войны в среднеазиатский тыл.

Такой эпатажный разговор в те адовы дни был сам по себе небезопасен... Зачем Катаев выставил себя пораженцем? Решил подыграть собеседнику, считая его трусоватым?

Или уничижение паче гордости? Может быть, тревожила память об отваге, ныли геройские раны, и бывший офицер гасил горечь злейшей самоиронией...

В Ташкент Катаев был командирован в августе и прибыл осенью. Перед командировкой руководитель Бюро национальных комиссий СП Пётр Скосырев просил его выяснить положение дел у всех эвакуированных и предупреждал о ненадежности и лукавстве «узбекских товарищей»: «Есть подозрение, что Алимджан[1] прямо заинтересован в непоявлении узбекских вещей в русской печати». «Приехал В.Катаев, — записал Всеволод Иванов. — Встретились в столовой — не поздоровались». (Скорее всего, Катаев разделял недовольство писательского руководства тем, что Иванов будто бы «дезертировал» — нарочно застрял в Ташкенте, хотя изначально направился туда просто сопроводить семьи.)

В Москве в Союзе писателей Катаеву выдали опросник, чтобы проинспектировать эвакуированных и выяснить их «бытовые условия». Он навестил детей и вдову Петрова, пил с жившими средь пустынь в немалом количестве писателями, вдыхал «густой осенний зной» и сочинял стихи... «Ахматова переживает вторую славу, надо обязательно зайти к ней и посмотреть, как это выглядит», — сказал по приезде Надежде Мандельштам. А еще недавно, пока не было Катаева, Эстер с детьми в Куйбышеве проведал Петров. Павлик запомнил, как дядя, худой человек в гимнастерке, снял его с грузовика. Катаев привозил детям «фронтовой» пористый шоколад. Они его любили. Вообще же, ели мало и делились пищей с местным полуголодным мальчиком во дворе.

Иванов записал в дневнике, что его приятель поэт Виктор Гусев «жаловался на Вальку Катаева, который не любит свою семью и семью Петрова, который суть загадочный человек». Много ли мог знать о чужих чувствах Гусев? Если он говорил об участливости и заботе, то Катаев, как слон, нес на себе не только свою семью, но и родных жены, постоянно помогал и вдове брата с племянниками. Но человек он и правда был загадочный. Обособленный. Закрытый. Сложно сказать, насколько он откровенничал с родными и был им понятен, если для них до самого конца оставалась тайной его служба у белых...

В Ташкенте Катаев — тосковал и любовался.

Это ведь в тех краях он признался Надежде Мандельштам, что, увидев верблюда, вспомнил ее мужа, и сразу потекла лирика:

Пустыни Азии зияют,
Стоит верблюд змеиномордый.
Его двугорбым называют,
Но я сказал бы: он двугордый.

[1] Хамид Алимджан (1909—1944) — ответсек Союза писателей Узбекистана, погиб в 1944-м в автокатастрофе.

Четверостишию явно не хватало посвящения «О.М.».

И там же написалась такая стихотворная «Лолита», которую спокойно печатали в советском собрании сочинений:

Есть у Гафур Гуляма дочь.
По очерку лица
Халида смуглая точь-в-точь
Похожа на отца.

Но только меньше ровный нос,
Нежнее кожи цвет.
И говорят пятнадцать кос,
Что ей пятнадцать лет.

Она в саду цветет, как мак,
И пахнет, как чабрец.
Стучи в резную дверь... но так,
Чтоб не слыхал отец.

Тем же 1942-м годом датировал Катаев четверостишие «Могила Тамерлана».

Бессмертию вождя не верь:
Есть только бронзовая дверь,
Во тьму открытая немного,
И два гвардейца у порога.

По мнению Павла Катаева (сына В.Катаева. — *Прим. ред.*), стихи посвящены Мавзолею Ленина на Красной площади, что, в общем-то, лежит на поверхности. Спустя годы возникнет перекличка, когда Катаев назовет свою повесть об Ильиче «Маленькая железная дверь в стене». Но тут было и пророчество о развенчании другого «гения и вождя», «великого полководца»...

Да уже и тогда, минуя любую цензуру, в военной повести «Жена», «памяти Евгения Петрова», героиня Катаева, переживая гибель мужа-летчика, увидела в трагическом бреду: «Слава и смерть складывали в пустыне войны свой мавзолей из гигантских, полированных плит. Смерть клала — черные лабрадоровые плиты. Слава клала — красные, гранитные. Я подвела Андрея к темной бронзовой двери. Дверь отворилась. Я поцеловала Андрея в закрытые глаза и гипсовые губы. И уже нечем было дышать».

Кстати, именно это — по-моему, самое пронзительное — место заметил критик Ермилов в газете «Литература и искусство», назвав «"изобретением" плоховато-эстетского пошиба», «чуждым простому и суровому величию наших дней».

Смерть побеждает славу.

Какие войны? Только разные двери, вот бронзовая — пустой прах, вот резная — пятнадцать девичьих кос...

В 49-м Катаев вернулся к тому же образу в романе «За власть Советов»: у Мавзолея «в красных и черных, гранитных и лабрадоровых плитах» у открытой двери «на часах стояли два курсанта»: «За этой бронзовой дверью мерцала таинственная, бархатная тьма».

«Бессмертию вождя не верь»...

1943

Немцы уже для всех очевидно проигрывали.
Катаев писал:

Голубой пожар метели
И победный шум знамён.
Волга в белой спит постели.
Грозно стынет синий Дон.

Льётся огненная лава.
Враг бежит, от страха пьян.
Где ж твоя былая слава,
Потрясенный великан?

Погоди-ка, погодика-ка,
То ли будет, то ли ждёт!
Волжский лёд тебя остудит,
Русский пламень обожжёт.

Вижу я, как у дороги,
У крутого бережка
Рухнут глиняные ноги,
Треснет медная башка!

Силой нашею проучен,
Ты рассыплешься навек
У таинственных излучин
Двух великих русских рек.

В феврале 1943 года чудовищная Сталинградская битва завершилась разгромом и пленением отборной группировки противника.

Летом состоялось самое крупное танковое сражение в истории — Курская битва. Стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая дальше только наступала.

Тем летом по дороге на фронт Катаев заехал в Ясную Поляну. В пруду купалась солдатская рота, и в этом ему привиделось что-то толстовское, будто из «Войны и мира».

Без обмундирования и нужных бумаг он прибыл в 12-й танковый корпус генерала Митрофана Ивановича Зиньковича. Встретили сурово: не шпион ли. Но недоразумение быстро разрешилось, писателя обрядили в военную форму.

Катаев вспоминал, что искал корпус Зиньковича по компасу, идя по неубранным полям, мимо мертвых танков. Вдруг он услышал звук бомбардировщика, а затем — оторвавшейся от самолета тонновой авиабомбы. Он прыгнул в ближайшую воронку и лежал, уверенный, что бомба падает прямо на него. «Я понимал, что наступили последние секунды моего существования на земле, и в эти последние секунды под ужасающий свист бомбы я не увидел, а как бы ощутил не только всю мою жизнь от самого рождения до смерти, но как бы соединился таинственным образом со всеми моими предками, как ближними, так и самыми отдаленными... Тесно прижавшись ко мне, стояли на коленях мои маленькие дети — Павлик и Женечка — и жена, которых я мучительно любил больше всего на свете и которых я видел последний раз в жизни...» Бомба взорвалась в стороне.

Из впечатлений Катаева о боях на Орловско-Курской дуге родился рассказ «Виадук». Бои за Орёл. Полевая жена генерала девушка Клава подала вареную гусятину и водку, но времени нет — генерал и гость поехали на передовую в сопровождении этой девушки и лейтенанта. «Дорогой лейтенант успел объяснить обстановку... По приказу Верховного Главнокомандующего, вся танковая часть должна быть переведена на тот берег и взять Золоторёво не позже 23.00, а переправа находилась под сильным воздействием немецкой артиллерии». Катаев, по рассказу, попал со всеми под сильный обстрел, в дожде помогал эвакуировать мирных жителей из трубы туннеля: «Я схватил за повода двух лошадей, жавшихся к стене, и выбежал вместе с ними».

Генерал спросил: есть ли у него оружие. Была «дрянь» — итальянский пистолет «Brevettato» и то без патронов.

«— Лейтенант, при первом удобном случае достаньте писателю приличный пистолет.

— Слушаюсь.

Лейтенант был очень вежливый молодой человек с утомленными глазами и сдержанным, тихим голосом... Вероятно, он был хороший сын и аккуратно писал матери».

Вскоре генерал, сбежав с насыпи, протянул рассказчику «какой-то красный предмет, похожий на печень».

«— Что это?

— Пистолет, который я приказал для вас достать лейтенанту.

И он сунул мне в руку маленький пистолет в кобуре, сплошь залитой кровью.

— С убитого немца? — спросил я.

— Нет, это пистолет лейтенанта... Лейтенант убит... Возьмите, — сказал генерал решительно. — Выполощите кобуру в ручье, а свой «Бреветато» выкиньте.

Я некоторое время стоял, не зная, что делать, и держал перед собой окровавленную кобуру с пистолетом лейтенанта. Это все было как во сне. Потом я вынул из кобуры маленький, ладный, чистенький, хорошо смазанный маузер и выполоскал кобуру в ручье».

Когда вернулись с передовой к генеральской палатке, рассказчик увидел, что после авианалета «миска гусятины была вся засыпана черной, рыхлой землей».

По воспоминанию Павла, пистолет с простреленной кобурой лежал в Переделкине в ящике письменного стола и был для него привлекательной игрушкой. С войны Катаев привозил и осколки — разложив на столе, рассказывал историю каждого и о местах, где подобрал. На том же столе «мал мала меньше, точно матрешки» стояли и снарядики. Но от них, так же, как от пистолета, Катаев вскоре избавился — все-таки дома подрастал мальчишка...

Митрофан Иванович Зинькович, по катаевской характеристике, «неслыханной храбрости человек», погиб через несколько месяцев 23 сентября 1943 года у города Григоровка при форсировании Днепра и получил посмертно звание Героя Советского Союза.

«Я приехал в танковую армию от "Правды", как раз когда Зинькович должен был прорываться на Орел.

— Что же вы хотите? — спросил он напрямик.

— Я хочу видеть, как воюют, но только по-настоящему.

— Можем показать, — сказал он слегка иронически, — но не забудьте, на фронте часто убивают...

— За день, за два авось не убьют.

— Убивают и за две минуты.

И правда, тут же, почти что на глазах, погиб чудный молодой офицер — он был при нашем разговоре.

А дальше взяли переправу».

5 августа Орёл и Белгород были освобождены (в честь чего был дан первый салют во время войны).

Катаев лежал с генералом и боевым охранением в полевых зарослях «на великолепной орловской земле» под непрерывным минометным обстрелом и пулеметным огнем «мессершмиттов». Он рассказывал снарядившему его в командировку Ортенбергу, что риск был велик, но почему-то это не тревожило: «Первый раз, когда я не почувствовал особого страха — впереди никого из наших не было, а только... восемнадцать немецких танков».

А мины ложились на поле густо и близко, так что генерал в сердцах сказал:

— Ну, чего вас сюда принесло?

Но Катаев трезво и опытно оценивал вероятность смерти. Он писал 13 августа в

«Красной звезде» в очерке «Во ржи»: «Немец бьет наугад, а все остальное уже дело случая... Все "безопасные" звуки, как бы громки они ни были, не задерживали на себе внимания, существовали где-то, как бы на втором плане. Все звуки "опасные" в свою очередь делились на просто опасные и смертельно опасные и в соответствии с этим занимали в сознании более или менее важное место».

И вот началась атака.

«— За родину, за Сталина! — крикнул чей-то хриплый голос.

И мы услышали протяжное, раскатистое "ура".

Грянули пулеметы, автоматы...

Неслись на запад немецкие грузовики, самоходные пушки, кухни, танки. В жизни я не видел более приятного зрелища!

...На душе было восхитительно легко. Я смотрел на потную рабочую спину генерал-майора, и почему-то мне вспомнилась «Война и мир» и Багратион, идущий по вспаханному полю, "как бы трудясь"».

Возвращаясь с фронта, Катаев купил у колхозницы бельевую корзину грибов — белые, подберезовики, грузди, маслята — которые с трудом увязал в шинель. Эти военные грибы он вспоминал всю жизнь.

Уже летом 43-го Эстер с детьми вернулась в Переделкино. В сентябре Катаев с ней и дочерью перебрался в Москву, а за городом оставили Павлика с бабушкой Анной и двоюродным братом Лёвой, чей отец погиб в начале войны в московском ополчении.

В начале июля Катаев принял участие в совещании в Союзе писателей «о юморе», где присутствовали и Эренбург, и Зощенко. О последнем Катаев говорил как об одном из моторов журнала «Крокодил» и призывал без оглядки смешивать смешное и страшное, легкомысленное и мужественное: «Я был на фронте под Сморгонью, как и Зощенко. Мы были между двумя очень серьезными боями. Человек начинает жарить анекдот невероятный — хохот стоит, все веселы, начинают танцевать, а потом в бой идут веселые».

Осенью он вернулся на дачу, оставив в Лаврушинском Эстер и Женю, которая пошла в первый класс. Помногу работал в своем кабинете на первом этаже, иногда выезжал в Москву и на фронт, и гулял по Переделкину с Павликом и Лёвой. Как-то на переделкинском поле они подобрались к зенитному орудию, которое вблизи оказалось муляжом.

Той же осенью Катаев на Калининском фронте. «Здесь русский город был», — писал он, оказавшись среди руин недавно освобожденного города Белого, через который лежали дороги на Смоленск, Вязьму, Ржев и Великие Луки.

Здесь думал я: ведь это вся Европа
Сюда стащила свой железный лом,
Лишь для того чтоб в зарослях укропа
Он потонул, как в море золотом.

Кто приподнимет тайную завесу?
Кто прочитает правду на камнях?
...И две старушки маленьких из лесу
Несут малину в детских коробках.

Затем — под Духовщиной, где тогда шли тяжелые бои и стоял вражеский полк, командир которого приказал повесить Зою Космодемьянскую. Отсюда для «Красной звезды» был привезен очерк «В наступлении», там и тут вспыхивавший метафорами: «Беспрерывно впереди, в кустарнике раздаются маленькие взрывчики, как будто кто-то бьет электрические лампочки. Это разрывные пули... Автоматчики ведут пленных немцев. Их только что взяли. Мокрые, грязные, похожие на арестантов, бредут они, низко опустив головы в серых пилотках. И дождь вокруг них блестит стальной решеткой».

Здесь, на фронте Катаев встретил Шолохова. «Я не сразу узнал его. Пилотка, шинель, пистолет. Ничего похожего на знаменитого писателя. Скорее всего, это пехотный капитан. С небольшой группой товарищей он пробивался по лесу к командному пункту. Над лесом с шумом проносились немецкие пикирующие бомбардировщики. Изредка свистели бомбы, и лес был потрясен разрывом крупной фугаски. Падали ветки, сбитые осколками. Впереди заливались пулеметы. Шел бой. Мы встретились как будто вокруг не происходило ничего особенного...»

8 сентября 1943 года состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, избравший Патриарха — участников доставляли в столицу на военных самолетах. Вместо прежних гонений на духовенство власть начала возрождение религиозной жизни. В Ленинграде было возвращено двадцать ведущих топонимических названий имперского времени (Советский проспект стал опять Суворовским и так далее). В официальных церковных документах, прошедших государственный контроль, стало встречаться наименование Москвы «Третий Рим». Катаев откликнулся на такие перемены стремительно. Уже в октябре 43-го в журнале «Красноармеец» появился прямо-таки дореволюционный рассказ «Отец Василий». Немолодой священник с глазами «твердыми и прозрачными, как лед», словно бы срисованный со старика из повести «Отец», рассказывает, как служил в храме «под немцами» и о проповедях, которые произносил: «Я говорил моим прихожанам о святом Александре Невском, победителе немецких псов-рыцарей на Чудском озере, я говорил им о Дмитрии Донском, победителе татар на поле Куликовом, я говорил о двенадцати языках, вторгшихся на нашу родину под знаменами Наполеона... И каждую службу я возносил молитвы о великом русском воинстве — о даровании ему победы и одоления над всеми его врагами и супостатами». Пономарем у отца Василия был партизан Никита Степанович, синеглазый, «с черепом лысым, как у апостола».

Отметим здесь, что Михаил Кедров, третий, младший брат умученных святых — архиепископов Пахомия и Аверкия (троюродный брат Валентина Петровича), после революции оказавшись в Польше, избежал репрессий и в 1948 году в Елоховском Соборе был рукоположен Патриархом Алексием Симанским во Вроцлавского епископа для Польской Православной Церкви. Умер в 1951 году и похоронен в Белостоке.

В 43-м в «Новом мире» вышла странно отстраненная от войны, вливавшаяся в уютный мир досоветской Одессы повесть «Электрическая машина». Петя Бачей экономил на гимназических завтраках и получил сберкнижку с суммой вклада — три рубля. Он встретил на улице Гаврика — о, эти русские Том и Гек! — они сняли деньги в Государственном казначействе с золотым орлом на фасаде и двумя портретами внутри — «царя в голубой ленте и царицы в жемчужном кокошнике» — и провели целый день в поисках страстно желанной таинственной «электрической машины»: если крутить ее ручку, загорится лампочка. В магазинах эта машина была отчаянно дорога, и в конце концов они купили «элементы Лекланше»: цинковые палочки и угольные пластинки, затем в аптеке — перекись марганца и пять фунтов нашатыря и кокс на угольном складе. Но дома весь мальчишеский пафос разбился о холодный скепсис Бачея-старшего:

— Лампочка не будет гореть... Слишком слабый ток...

Гаврик, поняв, что «это был обман, как и все в жизни», дал Пете в нос, за что получил в лоб.

Инженер-электронщик из Зеленограда Александр Трубицын обратил мое внимание на техническую сторону повести, меняющую ее смысл. Итак, Петя и Гаврик купили восемь элементов Лекланше.Напряжение каждого — полтора вольта. Следовательно, батарея из них дает двенадцать вольт, как современный автомобильный аккумулятор. Самая маленькая лампочка, которую вручил им приказчик «в виде премии», скорее всего именно 12-вольтовая. Емкость этих элементов, если судить по размерам, достаточно большая, т.е. лампочка могла светить долго. И если бы папа не был гуманитарием, он помог бы ребятам составить батарею, провести опыты, Петя со свойственным ему азартом блистал бы знаниями электричества и дома, и в гимназии.

Вот в чем подлинный драматизм «Электрической машины». Счастье было рядом, но не был сделан последний шаг.

В 43-м же в «Новом мире» вышла уже цитированная мною катаевская повесть «Жена» о встрече на войне с молодой красивой женщиной по имени Нина (фабула была основана на рассказе жены летчика Морозова, который Катаев услышал по радио).

Инженер-технолог, чей металлургический завод эвакуирован в Куйбышев, она получила вызов из «штаба фронта» и едет на могилу мужа Андрея, командира истребительного авиационного полка. Она сидит ночью в траве на расстеленной шинели автора, вглядываясь в «дымноголубой столб» вдали («немецкий прожектор из Орла светит») и рассказывает историю своей любви. При всем объяснимом героическом схематизме сюжета в повести есть то, что незаслуженно сделало ее малоизвестной (раскритиковали, вот и прошла мимо читателя) — человеческие чувства и переживания. Нина бесконечно возвращается мыслями в солнечный Крым, Севастополь, где они с Андреем полюбили друг друга и провели самые яркие дни: теперь муж убит, а Севастополь сдан... В повести есть просто превосхдные страницы. А 21-я глава уж точно достойна включения в любую военную антологию: утреннее блуждание по подмосковному лесу в предчувствии катастрофы, две бегущие старухи в серых платках, нарастающая догадка, возникшая из самого воздуха, — все наложено на «Седьмую симфонию» Шостаковича, которого женщина слушает в исполнении эвакуированной труппы Большого театра, и одновременно, как в кино, проступает другая картина: наступление маленьких бодрых барабанщиков («безумная флейта осторожно, как шакал, шла за ними по слоистым пескам»). Тут, несомненно, Катаев — уже мовист. Даром что «в ложе правительства поднимался со своего места, отставляя бархатный стул, товарищ Вышинский».

И это не Нина, это Катаев в Куйбышеве, куда приезжал, навещая семью, и 5 марта 42-го слушал первое исполнение «Седьмой симфонии» в театре оперы и балета.

В повести есть психологически интересный эпизод с рабочим Волковым, «неприятным стариком с дурным характером». Его тоже поначалу принимаешь за врага: груб, харкает на пол, часто пахнет водкой, запорол аж пятьдесят тысяч деталей на неналаженном им станке. Читатель ждет уж рифмы — «вредитель», и Нина ее, конечно, выкрикивает. Но тут же замечает бессмысленные стеклянные глаза «браковщика», кричит иначе: «Вы просто пьяны, отойдите от станка!» После выясняется, что эта «диверсия» простительна, не заслуживает кары, надо вникнуть в беду человека и общими силами перекрыть недостачу: в Тульской области немцы убили всю его семью, включая внучку Наташу пятнадцати лет...

«Жену» разругали. Например, в 44-м в журнале «Знамя» Берта Брайнина отмечала «отсутствие идейного стержня» в повести, особенно негодуя по поводу героини: «Трудно поверить, что такую бездумную овечку воспитала и вырастила наша действительность... Если автор хотел показать верную и крепкую любовь жены, то почему сразу после гибели мужа происходит столь быстрое сближение Нины Петровны с летчиком Петей, другом покойного? Читателю не совсем ясна и цель поездки Нины Петровны на фронт: то ли она едет на могилу мужа, то ли на свидание с Петей».

1944

В марте Катаев побывал под Уманью во время перехода через болота армии Конева.

В марте же был свидетелем боев за город Кодыма.

Говорил ли он тогда в поезде, два года назад, Кирпотину о том, что не стал бы рисковать, как Петров, или нет, но в путевых молдавских заметках в «Красной звезде» все время едва ли не мистически показывал себя в сложных полетах, словно бы ожидая повторения судьбы брата... «После Умани неожиданно сильный снежный буран.

Сквозь белые, газовые вихри с большим трудом находим аэродром. Когда приземляемся — вокруг уже ничего не видно». Перелет над Днестром. Сердцевина Молдавии. «Самолет идет на посадку. Но вдруг, не коснувшись земли, опять круто взмывает вверх». Наконец, Карпаты. «Мощный ветер ревет, как водопад» — это Катаев несется в штурмовике над Прутом.

С войсками 2-го Украинского фронта он наступал по тем районам Молдавии, где шел со своей батареей в Первую мировую. Пил винцо в хате, закусывая мамалыгой с брынзой. «Он прилетел самолетом, с одним блокнотом в кармане, пришел в нашу деревеньку, с доброй улыбкой спросил:

— Ну, как тут живем?» — вспоминал военкор Леонид Кудреватых.

В апреле 44-го советские войска вышли на рубежи крепко защищенного румынского города Яссы.

Тогда-то Катаев и попросился лететь на боевое задание. Он прибыл в 8-ю гвардейскую штурмовую авиадивизию и, пообщавшись с отчаянными летчиками, обратился к командиру Владимиру Павловичу Шундрикову: посадите меня в штурмовик. Тот наотрез отказался — слишком опасно. Но в тот день по радио передали благодарность Сталина за форсирование реки Прут и непосредственно «летчикам подполковника Шундрикова». Вечером начали отмечать, и среди застолья Катаеву удалось заполучить у командира разрешение на полет.

Пришлось сдержать обещание.

— Стрелять умеете?

— Я ведь артиллерист...

— Что увидите в воздухе, стреляйте.

— А если это будут наши?

— Наших не будет.

Полетели бреющим, на пятьдесят километров за линией фронта...

Кудреватых писал: «Валентин Катаев на самолете-штурмовике занял место стрелка, место в хвосте самолета, ничем и никем не прикрытое, продуваемое и простреливаемое со всех сторон. И слетал в роли стрелка на этом самолете на вражеские позиции, исполнил все положенные стрелку обязанности. А когда самолет, к счастью, успешно вернулся на свой аэродром, Валентин Катаев пересел на другую машину и улетел в Москву».

По горячим следам Катаев отчитывался так: «Я опускаю над собой прозрачный колпак и крепко его привинчиваю. Я сижу — глубоко и удобно — на широком брезентовом ремне, подвешенном между двумя бортами штурмовика против пулемета, обращенного назад».

Спустя двадцать лет он рассказывал: «Сверху, из самолета, я видел дороги, бегущие обозы фашистов, панику, горящие Яссы и аистов, которые летели на нашем уровне. Спокойно, как веслами, махали своими крыльями, белые с черным. Возвращались на родину».

«Я сидел на заднем сиденье спиной к спине летчика и, прижав к плечу приклад крупнокалиберного пулемета, всматривался в облачное небо ранней весны», — вспоминал он через тридцать лет.

2 мая 44-го в «Правде» появилась его миниатюра «Кузнец». «Славные советские конники» преследовали немцев и румын. Но остановились: стерлись и сбились подковы. Тогда, как из-под земли, возник старец-молдаванин, когда-то кузнец, ныне похожий на мертвеца, показал нехитрые инструменты — щипцы, молот, меха, «выкопал в земле маленький первобытный горн» и начал ковать... Конники полетели снова вперед. «Туманное солнце и нежная апрельская лазурь мигали в зеркальных клинках».

10 апреля 1944 года советские войска освободили Одессу.

В августе во время Ясско-Кишиневской операции была разгромлена Румыния.

А вот какие стихи сочинял Катаев в том году в Переделкине:

За стволы трухлявых сосен
Зацепившись вверх ногами,
Разговаривали дятлы
По лесному телеграфу.

— Тук-тук-тук, — один промолвил.
— Тук-тук-тук, — другой ответил.
— Как живёте? Как здоровье?
— Ничего себе. Спасибо.

— Что хорошенького слышно
У писателя на даче?
— Сам писатель кончил повесть.
— Вам понравилась? — Не очень.

— Почему же? — Слишком мало
В ней о дятлах говорится.
— Да, ужасно нынче пишут
Пожилые беллетристы.

— А писательские дети?
— Всё по-прежнему, конечно:
Павлик мучает котёнка
И рисует генералов.

— А Евгения? — Представьте,
С ней несчастье приключилось:
Нахватала в школе двоек
И от горя захворала.

Но теперь уже здорова,
Так что даже очень скоро
Вместе с мамою на дачу
На каникулы приедет.

Это для своих.

А вообще для детей в том же 44-м вышла книжечка «Бочка», состоящая из одного стихотворения, основанного на военном анекдоте:

Окопы немцев под горой,
А наши — на горе,
И вот мы занялись «игрой»
Однажды в январе.

Бойцы скатили с горы бочку с камнями, после чего перестреляли любопытных фашистов. На следующий день, когда наученные горьким опытом фашисты затаились, бочка с толом беспрепятственно докатилась до них и взорвалась.

16 сентября 44-го в газете «Литература и искусство» поэт Надежда Павлович недоумевала: «Война — не игра, не забава, и не стоит воспитывать в малышах такое представление о ней».

Тогда же под раздачу попал Корней Чуковский. Он написал стихотворение-сказку «Одолеем Бармалея», поначалу расхваленную, но в последний момент вычеркнутую из антологии советской поэзии лично Сталиным (немедля «Правда» назвала сказку «пошлой и вредной стряпней»). К слову, и сам Чуковский никогда не переиздавал эту странную, отдающую живодерством вещь. Звери политизированы и поделены на классово-правильных и неправильных. Они мучают и убивают друг друга, хорош и смельчак Ваня Васильчиков:

И всадил он Каракуле
Между глаз четыре пули...
Но взмахнул он что есть силы,
Острой саблей раз и два,
И от бешеной гориллы
Отлетела голова.
И, как бомба, над болотом
Полетела к бегемотам,
Изувечила хорьков,
Искалечила волков...
Ненавистного пирата
Расстрелять из автомата
Немедленно!

Не сомневаюсь в читательской искренности Катаева, сказавшего (по воспоминанию Кирпотина) на президиуме СП соседу по Переделкину, с которым оставался и впредь в приятельских отношениях: «Ваша сказка "Одолеем Бармалея" — дрянь!»

«Сын полка»

В 1965 году Театр на Таганке поставил спектакль «Павшие и живые» — артисты читают стихи военного времени. Критик Наталья Крымова вспоминала: «На просмотре я слышала за спиной глухие рыдания, в антракте увидела — это был Валентин Катаев. Жена его плакала открыто, не стесняясь».

Катаев рассказал сыну, что однажды на фронте встретил солдата-мальчика, в форме, пошитой по его росту... Одичавшего, обозленного, как волчонок, его подобрали в лесу разведчики, и он прижился. Потом в войсках Катаеву встретился еще один ребенок, и стало понятно, что это — типичная ситуация. Дети, которым некуда деться среди пожаров и пепелищ, прибиваются к солдатам.

Но, пожалуй, мне удалось найти наиболее вероятный прототип. Он возник еще 2 декабря 43-го в катаевском очерке «Труба зовет» в «Красной звезде» — о посещении Калининского Суворовского училища: «11-летний воспитанник Коля Мищенко два года воевал с немцами. Его отца и мать расстреляли немцы в 1941 году. Коля ушел в отряд белорусских партизан. Потом он вместе с партизанами перебрался через линию фронта. Здесь он вызвался провести группу наших разведчиков во вражеский тыл...».

«Отец читал маме эту повесть по мере написания, и мы с сестрой так же при этом присутствовали, — вспоминает Павел. — Очень хорошо помню папу во время работы... Он сидел, низко и как-то боком склонившись над столешницей, и быстро писал, заполняя страницу за страницей буквами, словами, фразами, соединяющимися в ровные строчки».

«Сын полка» появился в 1945-м в журнале «Октябрь» — сюжет хорошо помнят многие. Три солдата, возвращаясь с разведки, нашли в лесу в окопчике в вонючей зеленой луже спящего измученного ребенка.

«— Тише! Свои, — шепотом сказал Егоров.

Только теперь мальчик заметил, что шлемы солдат были русские, автоматы — русские, плащ-палатки — русские и лица, наклонившиеся к нему, тоже русские, родные.

Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощенном лице. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только одно слово:

— Наши...

И потерял сознание».

Ване Солнцеву двенадцать. Отец погиб на фронте в первые дни войны. Мать убили оккупанты. Бабушка и сестренка померли с голоду. Деревню спалили. Сбежал из немецкого «детского изолятора». Прятался в лесах. При всей упрощенности сцен, обстоятельств и характеров Катаев подтверждает образы доблестных богатырей какой-то точно найденной былинной интонацией. Если в повести и есть условность, то она неразрывно связана со сказочной поэтичностью. А главное, виден и вызывает сочувствие мальчуган-сирота с его страхами, надеждами, упрямством. Командир артиллерийской батареи капитан Енакиев отсылает его в тыл, но мальчик дважды с ловкостью чертенка ускользает от «профессора разведки» артиллериста Биденко, возвращается к бойцам и добивается своего: остается в полку. Он ходит по вражеским тылам со старой клячей, изображая «пастушка» и ведя за собой разведчиков, попадает в немецкий плен... Кошмар допроса, чудо освобождения, волшебно вкусная еда из солдатского котелка, фронтовая парикмахерская, баня, обмундирование, собственноручный выстрел из пушки «по Германии» — «На, паршивая! Получай!»... И еще одна картина, выпукло-жуткая: контрнаступление немцев превосходящими силами — неотвратимая гибель для капитана, замершего у орудия. Капитан спасает мальчика «боевым заданием» — доставить донесение в штаб, а сам принимает бой и под конец «вызывает огонь на себя».

Командир полка направляет Ваню в Суворовское училище.

Венчает повесть беспокойный сон суворовца. Бег по громадной мраморной лестнице, где поджидает старик-генералиссимус Суворов «с алмазной звездой на груди

и с серым хохолком над прекрасным, сухим лбом»: «Он взял Ваню за руку и повел его по ступенькам еще выше, туда, где на самом верху, осененный боевыми знаменами четырех победоносных войн, стоял Сталин с бриллиантовой маршальской звездой, сверкающей и переливающейся из отворотов его шинели.

Из-под прямого козырька фуражки на Ваню требовательно смотрели немного прищуренные, зоркие, проницательные глаза. Но под темными усами Ваня увидел суровую отцовскую усмешку, и ему показалось, что Сталин говорит:

— Иди, пастушок... Шагай смелее!».

Вот оно — обретение отца.

(В поздней версии повести усатый призрак растаял, как не было, а финальные слова говорил все тот же Суворов.)

Безотцовщина, нашедшая приют в Суворовском — жизненная правда: например, мой дед погиб под Ленинградом, а отца приняли в Суворовское в Свердловске, где в основном были такие же сироты...

Ежедневно Катаеву приходили письма от узнавших себя в «сыне полка». Павел вспоминает:

«— А ты его знаешь? — каждый раз спрашивал я в надежде на чудо.

Но чуда не случалось.

— Конечно нет! Его же не существует!

Такой ответ каждый раз меня ужасно разочаровывал».

Успех повести был огромен, быстро вышел фильм, где главную роль сыграл детдомовец Юрий Янкин, Ленинградский театр юного зрителя поставил спектакль... Катаев, первым показавший отражение той войны в ребенке, не без сарказма называл Ваню Солнцева «своим оброчным мужичком» (по примеру Пушкина, называвшего так Емельяна Пугачева в связи с работой над «Историей Пугачева»)[1].

20 февраля 45-го Президиум Союза писателей обсуждал, кого же выдвигать на Сталинскую премию. Надо признать: произведения подвергались достаточно квалифицированному разбору. Общее мнение по поводу катаевского «Отчего дома» выразил Леонов: «Когда прочитаешь эту пьесу, остается чувство неудовлетворенности... В сердце не остается...» Зато 15 марта 46-го при обсуждении «Сына полка» возражений не возникло: достоин.

Повесть получила Сталинскую премию второй степени в области литературы (первая степень — «Молодой гвардии» Фадеева). В номере «Литературной газеты», посвященном лауреатам, детская писательница Александра Бруштейн писала: «"Сын полка" читаешь залпом, как в жаркий день пьешь родниковую воду. Повесть В.Катаева, несомненно, останется жить для многих поколений грядущих читателей, как глубоко-художественный документ эпохи». Произведение включили в школьную программу, использовали для «громких читок» в библиотеках и школах.

(«Читал деревенским мальчишкам несколько дней подряд, они слушали меня, раскрыв рты со все выражающим увлечением...» — в 45-м хвалил «Сына полка» в письме Катаеву их общий с Булгаковым приятель писатель Юрий Слёзкин).

Одновременно Сталинской премии второй степени по драматургии удостоилась пьеса Владимира Соловьёва об Иване Грозном. Похоже, за текстом критика Юрия Осноса в «Литературной газете» скрывался нехитрый подтекст — перебросить мост к Сталину: «Соловьёв в своей пьесе «Великий государь» показывает Грозного как великого русского патриота, передового государственного деятеля, осуществляющего исторически необходимую задачу создания мощного, централизованного русского государства. Грозный в «Великом государе» — это человек, творящий волю истории и глубоко сознающий эту волю, и поэтому оправданный перед современниками и перед потомками». Рецензент обелял и репрессии против враждебных бояр, от чего страдали невинные, сентенцией воеводы Воротынского: «Казался мне порой жестоким нрав царя. Но прав был государь: когда окрест него кишат такие змеи, так и ужа, принявши

[1] Правда, не в пример катаевской, пушкинская книга изначально успеха не имела, и большая часть экземпляров осталась не распроданной.

за змею, убить не грех». Характерно, что еще 3 апреля 44-го Кирпотин записал в дневнике: «Катаев — намеком: Пьеса о Грозном. О народе забывают, пишут только о государях».

Одесса

Катаев жалел, что не попал в Одессу сразу после ее освобождения. Но туда попали его друзья военкоры Семён Гехт и Сергей Бондарин. Весной 44-го их арестовали и приговорили к восьми годам лагерей по 58-й «антисоветской» статье УК. По словам родственников Гехта, в вину ему ставилось чтение (и видимо, обсуждение) подшивок газеты «Молва», выходившей в занятой Одессе. К этой прессе обратится и Катаев, когда через год приедет в родной город.

В марте 45-го в четырех номерах «Известий» он напечатал очерк «Одесские катакомбы».

Валентин Петрович отправился с несколькими подпольщиками в катакомбы, образовавшиеся за сотни лет до этого в результате разработок ракушечника — камня, из которого построен город. В этих лабиринтах партизаны скрывались на протяжении всей румынско-немецкой оккупации: пекли хлеб, делали взрыватели для мин, печатали листовки, отсюда устраивали вылазки для диверсий: «Я то и дело хватался за блокнот и за карандаш, пытаясь как можно больше записать из того, что они рассказывали. Но потом я понял, что это — безнадежное дело. Об этом надо написать роман. И я дал себе слово непременно его написать».

В оптимистично-романтическом очерке Катаев умалчивал о том, что почти всех «катакомбников» разгромила румынская сигуранца, и о предательстве одного из чекистов-партизан Федоровича, из-за чего была схвачена и казнена главная группа во главе с капитаном госбезопасности Владимиром Молодцовым.

«Проходя мимо небольшой ниши в стене, я заметил несколько растрепанных, заплесневевших книг без переплетов. Я взял одну из них. Это была книга "Об основах ленинизма" И.Сталина. Я осторожно перелистал книгу и заметил, что многие места ее были отчеркнуты карандашом и на полях сделаны заметки».

Написать роман, приближенный к правде, было не так-то просто. Наиболее дерзко «катакомбники» действовали только в начале войны: взорвали румынскую комендатуру, расположившуюся в здании НКВД, где в 20-м году дожидался гибели Катаев, пустили под откос люкс-эшелон с администрацией для Одессы. Дальше были успешные «зачистки», которыми руководили бывшие белогвардейцы — начальник Восточного округа Румынской службы специальной информации Георгиу Ионеску (Георгий Андреевич Иванов, офицер царской армии, сотрудник деникинской контрразведки), его заместитель Ион Курерару (Иван Степанович Кунин, сотрудник деникинской контрразведки) и начальник отдела агентурной разведки Аргир Николау (царский и белогвардейский офицер Николай Васильевич Голушко).

В оккупированной Одессе происходило действие одного из лучших и самых страшных произведений Катаева — небольшого рассказа 46-го года «Отче наш».

Женщина приехала с четырехлетнем сыном к Чёрному морю за два месяца до войны и не выбралась. «Женщина была похожа на русскую. Мальчик тоже был похож на русского. У мальчика отец был русский. Но это ничего не значило. Мать была еврейка. Они должны были идти в гетто». Такое могло случиться с Эстер и Павликом... Вместо гетто они весь день кружили по морозному городу, а ночью замерзли насмерть на скамейке в парке. «Солдаты раскачали и легко бросили мальчика с подогнутыми ногами. Он стукнулся об женщину, как деревянный, и даже немного подскочил». А из уличного рупора, как и в прошлое утро, пропел музыкальный петушок и ангельский детский голос начал читать по-румынски «Отче наш»...

По сюжету следующей повести Катаева, в Одессе оказались отец (Пётр Бачей) с сыном Петей, приехавшие из Москвы накануне войны, отрезанные от нее войной, и войной разлученные...

Анатолий Цирульников

Страна между двумя берегами

Калмыцкая сказка

Часть IV. Черные земли

День пятый. Сегодня

Южнее излучины Волги, как сообщает Лев Гумилев, «лежит равнина, называемая Черные земли, ибо зимой тонкий зимний покров мешается с пылью и бывают черные вьюги. Эта степь с юга ограничена Тереком, который даже в нижнем течении внушает пусть не страх, но уважение...»

Мы едем с Арсланом по компасу Гумилева — на северо-восток.

Потомки отстаивают школы

Район называется Черноземельским. Через него гонят нефть, и за это, говорит Арслан, нас одаривают. «Чем?» — спрашиваю. Он машет рукой. Ну, чем могут одарить сельские школы, в основном маленькие, бывает всего по двадцать-тридцать учеников? Но Калмыкия знаменита тем, что это единственный из регионов России, который не перешел на «подушное финансирование». Поясним для читателя, не знакомого с этим «изобретением» модернизации: школа теперь получает средства в зависимости не от качества преподавания, а от количества учеников, что в значительной мере способствует уничтожению сельских школ, а с ними и деревни.

Уж как калмыкам удалось вылезти из петли удушающего подушного, не знаю, но потомки героев 1812 года отстояли школы, которые должны были исчезнуть.

Притом это не север — разброс между населенными пунктами не более ста-двухсот километров. Поселковые дороги плохие, но у многих — газели, уазики... «Мы, — посвящает меня в здешнюю педагогику Арслан, — не пошли на поводу федерального министерства, ни одну школу не сократили. Только структурировали. Если в школе семь учеников — она становится отделением большей школы. Одним словом, «реструктуризация»». Черт, слово-то какое, само за себя говорит, русский язык не обманешь. Развивать надо детей в школе, господа, а не подсчитывать, сколько их.

Когда-то в архивах я нашел рассуждения членов комиссии Государственной думы 1915 года о том, что не только государство и общество влияют на школу, но и устройство самой школы оказывает влияние на государственную и общественную жизнь. Пришло в голову это им во время войны. «Война, — замечали депутаты

Окончание. Начало см. «Дружба народов», 2015, № 11.

Государственной думы, — это "огненный экзамен", который держат перед лицом истории различные системы воспитания, обучения и образования».

Анализируя ход Первой мировой, в думе делали сопоставления. Детский сад кайзеровской Германии, который шумит, только когда это дозволено расписанием, двигается, когда раздается команда, играет, когда на дощечке значится: «Игра», — и механический сомкнутый строй германских колонн, расстрел намеченных районов по квадратам, армия-машина, торжество государственного начала над личностью. «Deutschland uber alles» («Германия превыше всего»), система обучения, блестяще формирующая рационализм, рассудочность, рассудительность в ущерб жизни сердца — и чудовищные зверства на войне, отсутствие жалости и сострадания к ближнему... Задавали непривычные для государственных деятелей вопросы: какова связь между миллионными армиями Англии, формируемыми из добровольцев, и пестротой английских школ, предоставленных компетенции местных самоуправлений? Наличием в английском языке одного слова education, объединяющего «обучение» и «воспитание», и частого употребления приставки self («само») — self-government — самоуправление, self-respect — самоуважение, self-control — самодисциплина?.. Английское «само» рифмуется с калмыцким.

«В России, — говорит Арслан, — демократии никогда не было. Но когда Петр I просил калмыков подготовить десять тысяч всадников, те очень быстро собирали их по селам. Не было воинской повинности. Не нуждались в муштре. У каждого калмыка была своя лошадь, своя сабля, свое ружье. Это решало исход боя».

Вот бы сегодня так на мирном фронте, думаю я.

Мишель Жульен, чистая калмычка

«У нас сегодня в республике, — подсчитывает Арслан, — примерно сто пятьдесят тысяч калмыков. А во всем мире — около миллиона. Пятьсот тысяч живет в Китае, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В свое время разработали программу возвращения ста тысяч калмыков на родину. Но проект не пошел, потому что желающих сюда перебраться почти не нашлось. Разница большая, — говорит Арслан. — Даже не в уровне жизни — в отношении к человеку. Китайские калмыки живут в новых двадцатиэтажных домах и при этом сохраняют традиционный образ жизни: летом кибитки, зимой — дом*а*. У них сохранилось вертикальное письмо, старокалмыцкая письменность. Ученые, учителя оттуда приезжают к нам преподавать.

Приезжали калмыки и из Америки — много вывезли наших невест. Французские калмыки оказывали нашим медицинскую помощь. Но это поколение калмыков в разных местах мира уходит, а у молодежи уже такого тяготения к Калмыкии нет. У нас была инициатива — в девяносто седьмом году хотели собрать всемирный форум калмыков. Чтобы приехала молодежь — увидеть свои корни. Но не вышло. Указ почему-то не подписали». — «А если снова попробовать?» Арслан пожал плечами.

Нормальные люди в двадцать первом веке собирают не земли (это делает власть со средневековым мышлением), а мозги и здоровый генофонд. Калмыки разыскивают в зарубежье родственников, особенно тех, кто эмигрировал после Второй мировой войны. В Америке есть город Хауэл, рассказывает Арслан, там компактно проживает калмыцкая община, есть хурул. «Самое интересное: они сюда за невестами приезжали, так что их жены из Калмыкии».

И во Франции живут калмыки.

«Мой брат родился с врожденным пороком сердца, — рассказывает Арслан. — Когда приезжали соотечественники, моя мама познакомилась с француженкой калмыцкого происхождения, Жульен. Она оказалась кардиологом, пригласила моего брата во Францию, сделала операцию — спасла. Мишель Жульен — чистая калмычка, потомок эмигрантов, которые в Первую мировую попали во Францию и остались там.

Потомки уже ее поколения — «болдыр», помесь. Они хотели моего брата женить на «болдырке», дочке Мишель Жульен. А у него здесь была девочка-калмычка, и он не остался. У нас много там земляков. Жан Джоркаев, футболист французский — калмык».

В долине плоской, как доска

Степь до горизонта. Одинокое деревце рельефно выделяется на однообразном пейзаже. Степь местами еще зеленая. Но уже осень. Немного кустарников, красноватая почва. Стада точками далеко вдали. Овечья отара — как белые камни. Птичий клин над степью слагается в геометрическую фигуру. Одиноко парит ястреб. Редко блеснет — вроде вода. Приблизишься — белая гладь высохшего озера. Солончак.

О калмыцкой степи емко, выразительно сказал поэт Семен Липкин:

В долине плоской, как доска,
Чернеют овцы и собаки —
Начертанные кем-то знаки
Неведомого языка.

За два с половиной часа догнали до райцентра.

«Мы живем во времена исчезающего на глазах вида», — так охарактеризовал ситуацию в районе замглавы Александр Борисович Шагаев. Я вздрогнул, подумав, что это он о нас.

Нет, пока о сайгаках. Двадцать человек — «сайгачий отряд» — пытается охранять древнюю степную антилопу от браконьеров, но ее численность все равно сокращается. Раньше земли, где живут сайгаки и люди, считались отборными, здесь никогда не было снежного покрова, поэтому сюда на зимовку перегоняли скот. Теперь Черные земли превращаются в единственную в Европе пустыню. «Но мы, — говорит замглавы местной администрации, — не рассчитываем на помощь. Собираем семена песчаного овса и высаживаем. Мы тут живем...»

Калмыки перестали быть кочевниками, но все же в степи можно обнаружить людей, рассказывает он, которые живут на автономном обеспечении. Взяли пропеллер от самолета, два аккумулятора — и свет есть. Выкопали колодец. Мимо идет газ — поставили котел в степи.

Калмыцкая порода скота — своеобразная. «У нас раньше особый скот был. Копыта имели такую структуру, что не вытаптывали растительного покрова. А в годы репрессий мы потеряли наших овец. Сюда завезли других. А плодородный слой — двадцать сантиметров; если больше снял — все: песок, пустыня...»

В то время как на глазах одного поколения степь превращается в пустыню, в правительстве рассмотрели десятки проектов ее преобразования. И сейчас рассматривают. «А пока мы все проектируем, рассматриваем, сколько сайгаков погибло...»

Разговор наш проходит в школе, в коридоре которой — картинная галерея. Написанная местными художниками история народа. «Сибирские морщины», «Выселение», «Мать-земля» (на картине изображена старая женщина, вернувшаяся после ссылки на родину). Портреты известных сказителей-джангарчи, иные, как Мукебен Масантов, погибли в сибирской ссылке.

— Дети из ученического научного общества «Черная земля» — наша надежда, — рассказывает Татьяна Михайловна Триго, которая руководит этим сообществом уже тридцать лет. Есть секции зоологии, ботаники, фенологии, лесного хозяйства, заповедного дела. Президент — ученица. Выпускники — биологи, этнографы, правоведы...

Я попал на заседание этого общества будущего, которое обсуждало, что делать с настоящим. Одиннадцатиклассница Инга Густомясова выступила с сообщением:

«Совиные в условиях опустынивания в поселке Комсомольском». Выводы исследования неутешительные. В условиях опустынивания биоразнообразие в регионе уменьшилось на двести видов! На очереди двести первый — уникальная древняя антилопа сайгак, которую изучила десятиклассница Регина Мукабенова.

На опустынивание повлияла распашка степи, подтверждают в своих исследованиях ребята. Чтобы образовался слой почвы в один сантиметр, требуются столетия. А уничтожен он может быть за один сезон. После 50% опустынивания наступает катастрофа.

Как сохранить окружающую среду, не превратить мир в пустыню, а свое здоровье — в труху? Казашка Алты Букенова, ее папа врач, в своем проекте показала, что лучшие лекарства — степные травы.

Мини-проекты начинаются с начальных классов. Исследовательская работа — не только копание в бумагах, а ответ на свои, родные вопросы.

В этой же школе я познакомился и с чеченским мальчиком Алиханом Алхастовым, вице-чемпионом Калмыкии по шахматам (помните его проект «Математика на шахматной доске»?). И с Аней Горяевой, которая проследила взаимосвязь русской, немецкой, калмыцкой и французской культур на основе личных имен. *«Сами мы имени не выбираем, — написала она, — за нас его выбирают наши родители. Но узнать происхождение своего имени хочет каждый. Какие вымерли имена, какие живут. Какие будут жить...»*

Сегодня, уходящее во вчера

«Замолвите слово за нашу маленькую республику».

«Основа благополучия калмыка — скот. Запаха овечьего пота боялись ядовитые тарантулы. Запаха конского пота боялись змеи. Даже волки не подходят к овцам, от которых идет запах шерсти. Как хорошо в степи весной, среди цветущих тюльпанов. Мять траву считалось грехом. Лебеди означали верность — пара лебедей привязана друг к другу, как люди».

Так говорили нам, точно рассказывали сказку, пришедшие в гимназию старожилы поселка, приветливые супруги Манджиевы. Они объяснили мне, как читать по бараньей лопатке. Спели песню собственного сочинения — о поселке, который хорошеет. В нем живут люди разных национальностей: русские, калмыки, даргинцы, казахи, чеченцы... Дружба народов, словом, в наше жесткое время.

Алексею Манджиевичу Манджиеву — восемьдесят лет. Он, как и жена, учитель, заслуженный деятель культуры. Нина Качановна, когда муж пел, подыгрывала ему на домре. Сын Аркадий Манджиев — известный в республике композитор, другой сын, Борис — руководитель театра. Все дети музыкальные. Как это получилось? Когда дети спали, мать играла на домре. И внуки пошли музыкальные.

За столом разговорились. Заместитель главы администрации района Александр Борисович Шагаев сказал простые, проникновенные слова. Про главную для них проблему — воду, которую возят в поселок из Ставропольского края. Про сайгака. «Мне обидно и хочется, чтобы вы замолвили слово за нашу маленькую степную республику — нельзя подходить ко всем с одной меркой. Тем более, нас и осталось-то... Мы — как сайгаки мамонтовой фауны и все же не растеряли свою культуру и хотим, чтобы сохранились наши школы, библиотеки, больницы».

Александр Борисович — один из тех, кого «и осталось-то...» Дед его был фронтовиком и очевидцем операции по выселению калмыцкого народа. Родственники Шагаева строили «дорогу жизни» Кизляр—Астрахань. В Сибирь калмыков везли по только что построенному мосту через Волгу, еще не испытанному. На скорости, разогнавшись от двух паровозов, мчавшихся спереди и сзади, товарняк пошел по мосту. Мост выдержал. А если бы нет?

Вчера

Эти страницы я откладывал, но больше не могу. Стоит прикоснуться к ним — все внутри горит. Слушаешь людей и не можешь уразуметь, как это могло случиться с ними?

Высланные навечно

«Мучаровой Марии Горяевне было тогда шестнадцать лет, по дороге в товарном вагоне умер отец. А поздней умерла мать Зои Бадмаевны Очировой, девочке было тогда семь лет. Хотя в вагоне топилась "буржуйка", холодный ветер проникал через щели и не давал согреться. Девочка сидела, прижавшись к матери, и не могла понять, почему они так долго едут и почему умирает так много людей. Но вот и конец пути: старики, женщины, детишки — немытые и несчастные, пропахшие мочой и помятые — вываливались из товарника, щурясь от яркого снега, повторяя тревожное и далекое, чужое слово «Сивр». Вот она, Сивр — Сибирь. Мать на работах заболела, ее увезли в дом инвалидов, дочка попала в детский приемник...

Можно ли забыть все, что пережили? — записывает ученица мысли то ли той чудом выжившей, давно повзрослевшей девочки, то ли свои собственные. — С возрастом боль становится оголеннее, острее, в ней что-то глубоко личное, индивидуальное, и одновременно общее, народное».

«Выселенные, но не сломленные»
Дельгира Ходжигирова,
9-а класс гимназии, г. Лагань

«За что?» — спрашивал 28 декабря 1943 года, и позже, каждый калмык.

«За что?» — меняясь в лице, кричали фронтовики.

Но никто не мог дать им вразумительного ответа. «Уверен, что на этот страшный вопрос вряд ли могли ответить и сами организаторы депортации калмыцкого народа, — пишет историк Владимир Убушаев, автор книги "Калмыки: выселение и возвращение. 1943—1957 гг." (Элиста, 1991). — Изучая в архиве материалы так называемой "Особой папки Сталина", я в этом убедился твердо... Серьезных документов и материалов, на основе которых можно было подвергнуть наказанию целый народ, не было абсолютно и не могло быть».

А что же было?

Кавалерийский эскадрон

Всего в 30—50-е годы депортации подверглось 3,5 миллиона граждан разных народов СССР. Для каждого находилась причина. Для калмыков — измена Родине, предательство, совершенное целым народом. Сталинские фальшивки некоторые принимают за чистую монету и сегодня. Поэтому обращусь к книге другого авторитетного исследователя этой темы, историка Николая Бугая, «Операция «Улусы»» (Элиста, 1991).

Предыстория обвинения калмыцкого народа такова.

Начав наступление в Крыму, немцы, воспользовавшись просчетами советского командования, в июле 1942 года вышли к Дону. Операция «Зигфрид» ставила целью прорыв на Кавказ и захват Бакинского нефтяного бассейна. Для защиты флангов и прикрытия тыла генералу-фельдмаршалу Паулюсу было необходимо достигнуть Волги в районе Сталинграда. В начале августа территория Калмыкии оказалась под

напором наступавшей фашистской группировки. Несмотря на отчаянное сопротивление советских войск, в том числе 110-й отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии, пять из тринадцати улусов республики были оккупированы. В занятых районах был установлен режим жестокого террора и насилия. Воины-калмыки продолжали отважно сражаться с фашистами на фронтах Великой Отечественной. Но когда республика была освобождена, верховная власть СССР выдвинула обвинение против калмыков в поголовном сотрудничестве с гитлеровскими оккупантами и предательстве интересов Родины. Этот миф основывался на том, что будто бы летом 1942 года 110-я Отдельная калмыцкая кавалерийская дивизия в полном составе сдалась в плен.

В действительности кавалеристы совершили подвиг. По иронии судьбы, первыми красноармейцами, упомянутыми в берлинской прессе как «проявившие сумасшедший героизм», были калмыки. Снаряженная за счет народных средств (как и в Отечественную войну 1812 года), калмыцкая дивизия отважно сражалась на Дону в июле 1942 года, прикрывая отступление наших войск. В течение двенадцати суток на линии фронта от станицы Багаевской до станицы Семикаракорской враг атаковал части дивизии силами немецкой пехоты и танковой группы и беспрерывно бомбил с воздуха. Тем не менее фашистские части на этом участке фронта так и не смогли пройти. Одному из героев, сержанту Эрдни Деликову, который, истекая кровью, с оторванными ногами продолжал вести огонь по гитлеровцам, крича «Бейте фашистских гадов! Калмыки не отступают!», посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Были и другие...

Большинство калмыцких кавалеристов полегли на поле брани. А после того как в дивизии осталось одиннадцать процентов личного состава, ее передали на пополнение частей 4-го гвардейского Кубанского кавалерийского корпуса.

Так были ли за обвинением в предательстве целого народа хоть какие-то факты? Да. Оккупационные власти вели беседы со стариками, обещая помочь в организации хозяйств калмыков на основе частной собственности, в создании калмыцкого национального правительства. Был сформирован «добровольный кавалерийский эскадрон» в составе... 150 человек. Но этого «кремлевскому горцу» и окружавшим его «тонкошеим вождям» оказалось вполне достаточно.

Наступили тяжелые времена, о которых поздней напишет Давид Кугультинов: «В то время гнев несправедливый, дикий, нас подавил... И свет для нас потух, и даже слово самое — «калмыки» произносить боялись люди вслух». За день до депортации «всесоюзным старостой» Калининым был подписан Указ №115/144 «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР». Согласно указу, около 120 тысяч граждан калмыцкой национальности выселяли в Сибирь. Впоследствии пришло уточнение — навечно.

Операция была детально спланирована и организована и началась одновременно во всех без исключения населенных пунктах Калмыкии на рассвете, чтобы до наступления темноты вывезти весь «спецконтингент» на железнодорожные станции. Против безоружных стариков, женщин и детей были выставлены 4 пушечных орудия, 18 минометов, 116 ручных и станковых пулеметов... Для перевозок использовалось 1255 машин. Для депортации маленького народа было мобилизовано не менее 10 тысяч воинского контингента (и это в разгар войны, когда каждый солдат и командир были позарез нужны истекавшему кровью фронту).

«Как вы поведете себя там, в Сибири...»

Заключительный этап карательной операции был направлен против воевавших на фронтах солдат и офицеров-калмыков. Фронтовиков, орденоносцев, Героев Советского Союза передавали НКВД и сгоняли на Урал, в Молотовскую область, в Широковский исправительно-трудовой лагерь.

На опустевшей родине прочесывали степи, выискивая случайно оставшихся людей. Согласно секретному приказу Берии от 15 апреля 1944 года, принимались «меры по *«зачистке»*» (вот откуда еще идет этот термин!) калмыков. Были депортированы все калмыки из Москвы и других городов. Журналисты, сотрудники ТАСС, депутаты Верховного Совета СССР — все. Ложью были инструкции НКВД о том, что на сбор семей дается 12 часов. Все зависело от доброй или злой воли военных. Иногда военные помогали растерянным людям.

«Помню, — пишет в своей книге историк Владимир Убушаев, — как в нашем доме в хотоне Утта-Номрун два пожилых солдата, родом откуда-то из Сибири, после проведенного обыска сами помогали заталкивать обратно в мешки теплые вещи... посоветовали упаковать швейную машинку, ставшую для нашей семьи в сибирской глубинке кормилицей. Пока мы с солдатами собирали в мешки вещи, молодой офицер, пришедший во главе опергруппы, ни во что не вмешивался, взял патефон и, уйдя с ним в дом дяди, с интересом слушал калмыцкие песни...»

Примеры человеческого отношения к участи бедных выселенцев были. Но больше было других примеров.

«На улицах всех ждут огромные американские военные машины, — свидетельствует писатель А.Балакаев. — Старушек и стариков, женщин и детей, словно арестантов, вооруженные до зубов солдаты выталкивают из родных домов, где жили их предки и откуда на фронт ушли сыновья, мужья и отцы. Всем приказывают садиться в машины, но никто не может забраться за высокие борта... Солдаты хватают за руки и за ноги, бросают в кузов. Я раньше никогда не видел такую дикость, грубость, жестокость... Ох, как скорбно и тоскливо, печально и жалобно мычали коровы, блеяли овцы, ржали лошади, плакали верблюды: от этой какофонии становится жутко и страшно, в жилах стынет кровь...»

Алексей Балакаев рассказывает, как на 3-й разъезд железной дороги Астрахань—Кизляр, сооруженной руками калмыков, свезли всех чабанов и гуртоправов, стоянки которых были разбросаны на обширной территории. «Я не хочу подробно описывать, когда тронулся с места наш эшелон, как за нами гурьбой бросился скот, как до последнего дыхания бежали собаки и замертво падали на рельсах. Я только хочу зафиксировать, каково бывает народу, целому народу, покидать родную землю и могилы ...»

В пути погибали целыми семьями, никого не оставалось от целого рода.

«Мне врезалась в память, — вспоминает инженер Б. Царенов, — трагедия одной семьи, имевшей глубокие корни в прошлом калмыцкого народа», и рассказывает о судьбе человека из станицы Платоновской, с необычным именем Пятеш Пранцузов. Его прадед участвовал в Отечественной войне 1812 года. Провожая, односельчане справили ему лошадь, седло, саблю и одежду и отправили с ним беглого верблюда, который не раз выручал калмыцких воинов, разгоняя французов в жарких сражениях. Верблюд вместе с воином благополучно вернулся в хотон и дожил до старости. Прадед женился и назвал сына Пранцузом, откуда и пошла их фамилия.

И вот правнук, Пятиш Пранцузов, благополучно пережил три российские революции, Первую мировую, гражданскую, голод 1921 года, еще более страшный голод 1932—1933 годов и дожил до... депортации. 28 декабря 1943 года семья Патиша с четырьмя голыми и босыми детьми была выслана в Сибирь, в далекое село Масловка Омской области. «Слепой глава семьи, его больная жена и заболевшие в пути малые дети, не вынеся лишений, умерли сразу по приезде на новое место один за другим. Некому было даже их похоронить в развалленной заброшенной избушке, так и пролежали до весны, пока не приехал новый комендант и не приказал закопать, завалив их вместе с прогнившей избушкой. Так трагически сгинули в сибирских лесах потомки славного героя далекой войны, мужественного защитника России...»

Более благосклонной была судьба Николая Болдыревича, отца Героя Советско-

го Союза В.Н.Очирова. Его рассказ пронизан чувством огромной благодарности к начальнику станции 9-го разъезда (что под Улан-Холом) Илье Антоновичу Довганю. Не побоявшись сотрудников НКВД, он уговорил отпустить к нему пожить до отправления трех калмыцких ребят, работавших на разъезде, организовал им при отправке более-менее сносные условия в одном из отходивших товарняков и снабдил в дорогу мешком муки, чаем и махоркой. Благодаря его человеческому участию ребята выжили и добрались до нового места расселения в Сибири. «Нельзя без слез читать те места рассказа-письма Н.Б.Очирова, где он рассказывает, как перед отправлением железнодорожного эшелона с калмыками старая больная женщина легла на рельсы и просила ее не трогать, пока поезд не наедет на нее».

20 лет — за похороны матери!

Людей размещали в лютый мороз, без теплой одежды и обуви, в шалашах, амбарах. Снятые с фронта воины-герои были отправлены в уральские лагеря. Бывший сержант 248 стрелковой дивизии 28-й армии, впоследствии заслуженный работник культуры РСФСР Я. С. Джамбинов вспоминал, что их поместили в полуземляные бараки, где до этого жили зэки. Не убрали даже ограждение из колючей проволоки и сторожевые вышки. Основными орудиями вчерашних фронтовиков стали ломы, кирки, лопаты и тачки. «Вечерами, — пишет поэт-фронтовик Давид Кугультинов, — саднило сердце, и было нестерпимо больно. Но гораздо сильнее боли физической я ощущал боль моральную».

Ошельмованный, изгнанный народ выстоял в борьбе с жестоким роком только потому, — считает переживший эту трагедию историк, — что смог опереться на помощь и поддержку сибиряков, русских людей. Вначале, вспоминали бывшие спецпереселенцы, некоторые в деревнях побаивались — ходили слухи, что приехали одноглазые людоеды. Но потом, «увидев и поговорив, женщина сжалилась над нами и пустила к себе на квартиру, где и так было тесно ей с детьми. Простая сибирячка, сама нуждаясь, делилась с нами всем, что имела», — вспоминает В.Н.Нахатинова.

«Неизгладим в памяти, — пишет В.Егоринов с конезавода «Ут-Сала» Ики-Бурульского района, попавший с братьями в Сибирь в двухлетнем возрасте, — образ моей первой учительницы Александры Андреевны Едуновой, которая специально оставляла меня после уроков, чтобы положить в мою тряпичную сумку краюшку хлеба или сухарь. Однажды насильно надела на мои ноги свои чулки, видя, как я в сорокоградусный мороз хожу в рваных кирзовых сапогах. Потом сшила из разных тряпок для меня шапку».

Обычные люди, сибиряки, стремились облегчить печальную участь калмыков, помогали, чем могли. А ведь даже простое человеческое участие к «врагам народа» было небезопасным. Раз в десять дней спецкоменданты-оперсотрудники НКВД проводили учет спецпереселенцев. Самовольная отлучка с места проживания без разрешения коменданта влекла уголовную ответственность до 10—15 лет лишения свободы. А за самовольный выезд (который приравнивался к побегу) из мест обязательного поселения — 20 лет каторжных работ. М.П.Манджиева была осуждена решением Особого совещания при МВД СССР к 20 годам каторжных работ за то, что без разрешения поехала к родным похоронить умершую мать.

А в какие края бежали униженные, не понимавшие, за что наказаны, фронтовики? Вы не поверите. По свидетельству бежавшего с товарищами из Кунгурского ИТЛ Т.М.Ладжи-Гаряева, они стремились «любым путем попасть на фронт. Доказать, что ты ни в чем не виновен, вот это была наша главная мысль». Назывались казахами, киргизами, бурятами — кем угодно, только бы получить право сражаться и умирать за родину! К слову сказать, калмыки в Красной армии считались хорошими солдатами и офицерами, и когда в начале 1944 года последовал приказ о снятии с фронтов

военнослужащих калмыцкой национальности, находились командиры, быстро менявшие национальность своим подчиненным.

Калмыки, наверное, единственный народ России, который не смог до сих пор восстановить численность своего населения.

Ничто не вечно под луной. Постепенно начались послабления. В национальной библиотеке в Элисте я встретил Ивана Нимгировича Басангова. Когда-то он был министром культуры Калмыкии, а сейчас на пенсии, работает над книгой. Он рассказал мне, каким образом после смерти Сталина народ понял, что грядут перемены. У Давида Кугультинова есть об этом стихотворение «Голос» — в 1956 году по всесоюзному радио передали калмыцкую песню. Этот «сигнал» был придуман комиссией по реабилитации. С довоенных времен существовала грампластинка с песней, которую исполняла Улан Лиджиева, известная певица, для калмыков она была — как Лидия Русланова для русских. И вот эту пластинку с ее голосом передали по радио.

Все плакали... Так они вернулись.

Был теплый день. Цвели акации.
Сибирь — за дымкой голубой.
Оставив там лежать полнации,
Калмыки ехали домой.
(Василий Шакуев)

В 1957 году была восстановлена, хоть и в урезанном виде, Калмыцкая область, позже республика.

Часть V. Страна Бумба

Вчера

Что может залечить раны? Для отдельного человека можно найти лекарство, а для целого народа? Чудодейственное снадобье, которое снимет с души тяжесть, вдохнет мужество, залечит раны.

У калмыков есть такое лекарство.

Когда пели «Джангар», плакала верблюдица.
...Счастья и мира вкусила эта страна?
Где неизвестна зима, где всегда — весна,
Где, не смолкая, ведут хороводы свои
Жаворонки сладкогласые и соловьи,
Где и дожди подобны сладчайшей росе,
Где неизвестна смерть, где бессмертны все...

Откуда взялось это чудо, а то, что это чудо, понимаешь с первой строчки увесистого тома песен, или сказок, именуемых «Джангар».

Когда именно был создан этот богатырский народный эпос, передаваемый из уст в уста, несущий на себе сотни наслоений, в точности неизвестно. Пятьсот ли ему лет, больше? Некоторые ученые полагают, что «Джангар» создан в середине пятнадцатого века, когда народ разгромил своих извечных угнетателей. Тогда образовалось мощное ойратское государство, и возник небывалый подъем национального самосознания.

Джангариада повествует о золотом веке предков калмыков — ойратов, о народе-богатыре и его стране Бумбе. Главная тема богатырского эпоса-сказки — единение и благополучие народа, защита страны. «В дни гражданской войны, — вспоминал

генерал-полковник Городовиков, — мне приходилось в Конной армии быть свидетелем необычайной силы воздействия "Джангара" на слушателей. Когда во время привала, после трудного и утомительного перехода, убеленный сединами джангарчи пел о героях народной эпопеи, которые скакали "дневки не делая днем, не спя по ночам", конармейцы-калмыки распутывали своих скакунов и с утроенной яростью мчались навстречу врагу».

Сказания «Джангара» приравнивались к священной книге, религиозной молитве. Сказители глубоко верили в их «охранительную», магическую силу. Очевидцы исполнения эпоса утверждали: «Когда пели "Джангар", плакала верблюдица».

На русский язык «Джангар» перевел поэт Семен Липкин. Согласен с утверждением, что он сделал не просто перевод, а создал самостоятельное эпическое произведение. Совершенно непонятно и необъяснимо, как это у него получилось.

В «Джангаре» нет апофеоза грубой примитивной силы. Герой побеждает бесчисленных врагов, которым «земля узка», ловкостью и смекалкой. Носителями этих качеств нередко являются дети, которые сражаются с полчищами великанов.

Сегодня

Ванна для младенцев

Мы продолжаем поездку по Черным землям, которые могли бы стать золотыми... В поселках сохранились совхозы. Есть фермерские хозяйства, подсобные. Но молодежь уезжает и не возвращается — нет перспектив. Нефтяная труба ползет, как гигантская анаконда, по территории района. У консорциума счет доходов на триллионы. «А вам что от этого?» — «Подарки новогодние», — отвечают местные жители. Наборы продуктовые ветеранам, первоклассникам — ранцы. Спасибо консорциуму за наше счастливое детство.

Есть и своя нефть. Но Норгалинское месторождение осваивают вахтовым методом, и местных туда не подпускают. Говорят, нет специалистов.

В общем, остается камыш. Море ушло, и выросло много камыша. Из него можно производить корм для скота, если бы найти инвестиции. Можно строить дома — саман делают из глины, а декоративное оформление из камышовых плит. Можно использовать воду из источника с уникальными свойствами, бишофитная ванна хороша для младенцев с кожными заболеваниями. Ну, так что же, построили водолечебницу? Нет, отвечают, осталось на бумаге.

Как будто метеорит упал

А может, и не нужно ничего строить, пусть будет только нетронутая степь?..

Государственный заповедник «Черные земли» занимает восьмую часть территории Калмыкии. В нем охранная зона и зона покоя, акватория, острова. Есть заповедное озеро, вернее болото, Маныч-Гудила, архисоленое. На островах — единственное место в Европе, где водятся розовые пеликаны, вообще много разных птиц. «Боремся за то, чтобы прикрыть охоту, — рассказывал мне в заповеднике заместитель директора Иван Садыков. — Весной летят северные утки, гуси, как правило, парами, одну выбил — все, пары нет» — «Прямо в заповеднике?» — «Нет, но на прилегающих территориях бьют».

В штате заповедника 98 человек, включая охрану и 12 научных сотрудников. Сотрудники помогают учителям, устраивают конкурсы ученических работ, проводят занятия с детьми.

«Главная тема — опустынивание. Не только Калмыкии, но всего региона — Волгограда, Астрахани, Дагестана, Чечни, — замечает Садыков. — Пески наступают. Я, — говорит, — езжу и вижу: огромные участки земель — пустыня».

Пески даже вокруг конторы заповедника. Откуда они взялись? Прерву ненадолго замдиректора заповедника и расскажу то, что услышал от крупнейших в этой области ученых, профессоров и академиков, так что при всей кажущейся немыслимости и невероятности происходящее нельзя назвать мифом.

Мы порой думаем, и учим этому детей в школе, что природные катаклизмы — следствие титанических причин: подвижки материков, извержения вулканов, падения метеоритов. Вовсе не обязательно. Иногда для катастрофы достаточно какой-нибудь овечки. Да, именно она, овца — одна из главных причин превращения степи в пустыню.

До депортации в этих местах разводили особую старинную породу калмыцкой овцы. Называлась курдючной. Привыкшая к кочевью, она не топталась на месте, перемещалась, не вытаптывая степь, ее круглые копыта не срезали травяного покрова. После высылки калмыков в Сибирь эту овцу отправили на скотобойню, а вместо нее завезли овцу совершенно другой породы. Из ее шерсти выходили отличные каракулевые шапки для членов политбюро, но она не была предназначена для кочевья, не двигалась, пока не съедала все вокруг, и у нее оказались острые копытца, срезавшие траву под корень. На месте выпаса образовывались голые пятачки, песок разносился ветром. И там, где раньше стояли животноводческие точки, пошло опустынивание. Как будто метеорит упал. Создали крестьянские хозяйства, нагрузка в них должна быть два с половиной — три гектара на одну овцу. А в действительности получается на один гектар — две овцы.

«В 50-60-х годах начались массовые распашки, — продолжает Садыков, — и вот в 80-х — уже открытый песок, пустыня. Это четвертая стадия деградации. А в целом процессом опустынивания охвачено 80% территории. Разница в стадиях.

Был период, опустынивание приостановилось. Из-за чего? В 90-е годы распались хозяйства, зарезали скот — и степь отдохнула. Но теперь началось опять, и последняя, четвертая стадия охватывает уже тридцать процентов земель».

Участвующие в разговоре его коллеги, научные сотрудники заповедника, говорят мне (не сразу догадываюсь, как это связано с тем, что мы обсуждаем): ни в коем случае нельзя вводить подушевое финансирование школы. Видимо, прямая аналогия с опустыниванием.

Сегодня

Но до пустыни мы побывали в оазисе. Две примечательные встречи: одна с сельским ламой, а другая с человеком, который построил на этих землях рай. Без этих людей картина здешней жизни была бы неполной. Разными способами они показывают, что из безнадежной ситуации можно вылезти.

Начнем с ламы и его предшественников.

Смеющийся Будда

Считается, что Смеющийся Будда до сих пор путешествует по миру, принося удачу. Похожего на него человека я встретил в Комсомольском — типичном, советских времен поселке, с памятником Ленина на площади. Указывает рукой — «Правильной дорогой идете, товарищи» — на хурул. Туда нам и надо.

Вот тут-то я и встретил Смеющегося Будду, каким я себе его представляю — огромного, как джинн, молодого мужчину, улыбающегося, вполне земного. Он — буддийский священник, лама. Но не монах, у него есть семья, маленькие дети. К тому же он — наш коллега, педагог, преподает в местной школе основы буддизма. Зовут Санал.

Ламой он стал семь лет назад. Кончил «тринуп гуманг» — буддийскую школу в Элисте (в Тибет китайские коммунисты не пустили). Четыре года учился в Индии, изучал обряды и осваивал начала философии.

«Может, России принять буддизм, тише станет?» — шучу я. Смеется: «Нет. Каждому своя карма».

Приходят в храм человек десять-пятнадцать в день. Дети тоже, бывает, заглядывают перед уроками — сами и с родителями.

В Калмыкии буддизм, но встречаются и элементы шаманизма. Верующие поддерживают традиции, но философии не знают.

«А молодежь, — спрашиваю, — серьезно относится к реинкарнации?» — «А как это определить? — отвечает Санал. — Каждый решает сам». И напоминает известную формулу трех «я». Первое «я» — что о тебе думают люди. Второе — что ты думаешь о себе сам. И третье «я» — какой ты на самом деле. Но Будда утверждает, что «я» нет вообще, это иллюзия, корень страданий.

На прощание Санал, которого я называю про себя «Большим ламой» (поскольку достаю ему до плеча), делает мне подарок. На палочке — трапециевидный лоскут ткани с буддийской иконой-танкой[2]. На ней — три божества, рассеивающие тупость. «Если эту вещь повесите дома, — инструктирует Санал, — Будда защитит вас и вашу семью. Очистит карму, поможет решить астрологические проблемы. Предсказывают, допустим, плохой день, а вы выходите с этой вещью на улицу, разворачиваете на четыре стороны света — и день для вас меняется».

Ну, кто откажется?

Как при коммунизме живем

На обратном пути с Черных земель, под вечер, заехали в село Адык, расположенное при дороге. Зашли в среднюю школу. Не маленькую по здешним меркам. Директор Василий Хардаевич Банджаев угостил чаем. До 90-х годов, рассказал, все выпускники оставались здесь. А после стали уезжать — негде работать. «Хозяйство развалилось?» — понимающе спросил я. «Что вы, — сказал директор, — как раз наоборот».

Оказывается, в селе, куда мы заехали, находится совхоз-миллионер, как говорили в советские времена: тридцать семь с половиной тысяч овец, крупный рогатый скот, лошади. Имеется племзавод. Сорок шесть животноводческих точек. Все рабочие места заняты.

Главная драгоценность в степи, вода — бесплатно. Хлеб — шесть рублей. Зерно для подворья — пять тысяч за тонну. Натуроплата по итогам года — ягнятами и сеном. Бесплатное питание в школе. Беспроцентные кредиты. Специалистов на море каждый год отправляют. Ну, кто из такого рая уйдет?

«У нас, — подробно перечисляет директор школы, как будто он директор совхоза (того не застали, был в отъезде), — своя мельница, пекарня, улица новых домов для специалистов, чабанские точки, пастбищный водопровод, свет — все есть».

Калмыцкий кибуц. Остров в океане.

«А опустынивания у вас нет, что ли?» — «Как это нет?» — чуть ли не обиделся директор.

Вокруг этого острова — то же самое, что везде. После войны здесь были отгонные пастбища Ставропольского края. Сажали бахчевые, при Хрущеве — кукурузу, очень много сажали, а гумусный слой тонкий, сильные ветры все вымели. На территории паслось девяносто тысяч овец — это в три-пять раз превышало норму, все вытоптали. В 90-е овец не стало, и выросла трава по пояс. А в начале двухтысячных — опять перенасыщенность. А лесомелиорации-то нет. Прежде сажали вяз, саксаул — низко-

[1] Танка — в тибетском искусстве изображение, преимущественно религиозного характера, выполненное на шелке или хлопчатобумажной ткани.

рослые и засухоустойчивые деревья, они не давали перекатываться песку. Лугомелиоративные службы «ремонтировали» пастбища, засеивали. Но этих служб давно нет. А лесомелиорацию государство поддерживает, но как? Выиграли тендер — сажают, а не выиграли — нет.

В личном хозяйстве овец держат знаете сколько? От сорока-пятидесяти до двухсот. Как реализуют? Приезжают с Северного Кавказа, покупают живьем и мясом — и обратно на Кавказ.

Часть ребят идут в чабаны, гуртоправы, пастухи, табунщики. Черные земли. Снега нет, ветер сметает. Летом солнце все выжигает. Нас спасает орошение.

В других местах нет этого. Что же делают? Едут в Астраханскую область, Волгоградскую, в Ставрополь, косят там — и вывозят сено. Расходы огромные.

А мы — как при коммунизме живем».

И внутри школы «коммунизм» — на общем фоне. Поговорил со старшеклассниками. Ребят в семьях — по четверо-пятеро, в два раза больше, чем в райцентре. В школе можно позаниматься спортом. Домой приходят в половине третьего. Два с половиной часа — на уроки. У телевизора не сидят, хотя у всех тарелки — сто программ. С ребятами из других школ встречаются на соревнованиях. Русский язык доминирует. Одна ученица — участница международной программы, предпочитает разговаривать по-английски.

Какая-то загадка: кругом пустыня, а тут — оазис. Припомнилось, как в Израиле в кибуце Лахомей Хагетаот я спросил старейшего основателя: что такое кибуц? «Молодой человек, — ответил он, — кибуц — это настоящий коммунизм. Только без коммунистов».

Кто же построил этот рай?

Человек, который не отдал землю

Он местный. Окончил эту школу. Работал председателем сельсовета, директором племзавода, прежде чем стал руководить совхозом. Тогда первой проблемой была вода. От Чаграйского канала у них сохранился аппендикс с советских времен. В те времена воровали трубы, сдавали как цветной металл. Директор совхоза сорок сторожей держал — устояли.

Землю в чужие руки не отдал, не пошел на приватизацию. Хотя на него сильно жали. А он, тогда еще молодой директор совхоза, не отдал, как ни давили с самого верха. Стоит запомнить его имя, в назидание потомкам и современникам — Болдырев Валерий Астаевич, депутат Народного хурала (парламента) Республики Калмыкия.

Школу прошел хорошую. Двадцать лет хозяйствует. Построил теплицу — их в Калмыкии единицы. Приличную гостиницу. Газифицировал село. Провел 45 км трубопровода. «Газ есть. Вода есть. Дорога есть. Что еще надо?» — восхищался за чаем у школьного директора наш водитель Валентин.

Уникальная ситуация, но она зависит от человека. Мне интересен этот человек. «Он какой по характеру руководитель?» — интересуюсь у школьного директора. Тот приводит пример. Тракторист на КамАЗ'е поехал пообедать — восемь тысяч заплатил за использование техники, за амортизацию, за бензин. Другой сена украл рулон — отдал телку. Все, больше воровать не стали.

Это невозможно, сомневаюсь я, у нас такой менталитет. «Ничего, можно изменить, — уверен школьный директор, ссылаясь на местный опыт. — В 90-е годы, когда ничего не было, уголь возили. Он дорогой, у населения денег нет. А потребность большая. И вот как стемнеет — ведрами носят. А теперь, сами видите, нет необходимости».

Это ведь не так уж трудно понять — от чего, вернее, от кого зависят процветание или развал. «Вот, — рассказывает директор школы про другое хозяйство, — был когда-

то большой совхоз, более 60 тысяч овец, первое место в России по поголовью. Больше двух тысяч га земли... Но теперь все колодцы вычерпаны. В школе осталось 18 детей. А совхоз был в два раза больше нашего. Они поразбивали его на фермерские хозяйства, поразда вали все, поразбирали. А когда все разделили, один работает, другой гуляет, третий в город поехал. Осталось триста человек». А у них в Адыге — больше тысячи.

Прощаемся со школьным директором, учениками и выезжаем из села. Все видно как на ладони. Ничего не надо доказывать. Под зелеными черепичными крышами частные дома. Новая улица с кирпичными домиками-коттеджами для специалистов. Физкультурно-спортивный комплекс — город позавидует. «Если бы везде так, — вздохнул наш водитель Валентин, — Россия бы другая была...»

Бывает, когда не сдаются люди. Директор этого совхоза не отдал землю. Другой кто-то встал поперек — и республика не закрыла ни одной сельской школы. Это не отменяет того, чтобы искать общие точки роста и пути развития. Но что следует из практики упрямого директора совхоза для других? Что можно и нужно распространять?

Я думаю, опыт воспитания человека. Похожего в чем-то на этого директора.

Завтра

Опыт образования и «выращивания» другой страны. Ее населяют в чем-то такие же, как мы, а в чем-то другие люди. Наши дети. Часто мы их не понимаем. Их занятия, времяпрепровождение кажутся нам пустым делом. Но если прислушаться, о чем они переговариваются, приглядеться к тому, что делают, возникают удивление и надежда. Возможно, что их общество окажется добрее и умнее нашего. Ведь они...

Дети-спасатели

Эта история из поселка Цаган-Аман Юстинского района, куда мы вскоре отправимся. Ученики гимназии Цагана Мунахеева, Баирта Бадмаева и Алексей Ликутин исследовали родные места и выяснили, что когда водоемы пересыхают, обнаруживается очень много мертвых мальков и моллюсков. Их надо спасать. И тогда ребята вместе с ученицей той же школы Олей Дорджиевой, дипломантом всероссийской олимпиады по экологии, организовали экспедицию по спасению мальков Волго-Ахтубинской поймы. Вот методика спасения, которая представлена, как положено в науке, без лишних эмоций.

«Основу материала составляли сборы молоди во временных и постоянно существующих пойменных водоемах и в протоке Цаганок. Основным орудием лова являлась мальковая волокуша. Пятилетний опыт работы нашего экологического отряда показал, что наиболее эффективный способ спасения мальков — соединение изолированных водоемов с помощью специально прорытых и расчищенных канав.

...Спасение молоди проводилось из двух временных водоемов во время паводка. Оба водоема безымянны, но мы условно назвали их «Полой-1» и «Полой-2»[1]. После расчистки канав и обеспечения беспрепятственного ската по ним молоди мы провели подсчет скатившихся мальков. Подсчет проводился два раза в сутки: в светлый период (10—11 часов утра) и в темный(22—23 часа).

Во втором водоеме специального подсчета скатывающейся молоди не проводили. Однако учитывая его большую площадь (примерно в 1,5 раза), мы полагаем, что из этого водоема скатилось не менее 5 млн. особей сеголетков различных видов рыб. Таким образом, спасательные работы даже в таком небольшом масштабе, проведенном нами, позволили сохранить почти 8 млн. мальков рыб».

[1] Полой — глубокая ложбина, где в половодье застаивается вода.

Читатель, вы поняли? 8 миллионов мальков спас за один год ребячий отряд!

Спасать есть кого**.** Алтана Когаева и ее друзья из той же школы сообщают: *увеличиваются асимметричные признаки у растений, лягушек, ящериц. Резко снизилась численность моллюсков, увеличилась их смертность в результате изменения гидрологического режима (ожог дыхательных путей рыб, аммиак, промышленные сбросы).*

Девятиклассник Эрдни Эрдниев выяснил.

«Наблюдаемое в последние годы снижение уровня воды в проточных (протоки Цыганок и Тахта) и стоячих (озеро Штаны) водоемах в результате зарегулирования волжского стока отражается на качественных и количественных показателях малакофауны[1]. Изменение гидрологического режима сказалось на численности всех видов отобранных моллюсков (за один год она уменьшилась в 1,3—3 раза). В оз. Штаны резко (в 1,5 раза) снизилась численность и отмечена высокая смертность (58,3%) лужанки речной как вида, который наиболее остро реагирует на ухудшение условий обитания».

Симпатичная девочка с непростым для произношения именем Самбууудаваайгин Иджилорон изучала волжскую популяцию миноги, которую включили в Красную книгу. Сравнила собственные данные с литературными источниками и выяснила, что *«миноги, существовавшие ранее, были гораздо крупнее нынешних».* Пишет, что *сам по себе факт занесения в Красную книгу ничего не решает. Необходим ряд мероприятий (мониторинг состояния популяции, усиление борьбы с браконьерством, объявление волжской популяции каспийской миноги федеральной собственностью).*

Оля Кособокова установила, что в поселке Аман *«90% насаждений находятся в сильно ослабленном или в усыхающем состоянии. Здоровых и молодых растений практически нет».*

В то время как взрослые губят, эти дети спасают: усыхающие растения, мальков, моллюсков, реликтовых муравьев liometopum microcephalum, занесенных в Красную книгу, малого суслика, который в свое время, оказывается, спас земляков. «*Наши старики рассказывают,* — информирует ученица Джиргала Манджиева, — *что в годы, когда Нижнее Поволжье охватил голод, и во время Великой Отечественной войны люди с ведрами, лопатами и капканами отправлялись в степь вылавливать сусликов. Многие выжили именно благодаря суслику. Кроме того, его жир — ценное лекарственное сырье при многих болезнях, в частности туберкулезе, широко распространенном в нашей Республике.*

...Трудно представить нашу степь без тюльпанов, полевых жаворонков, степных орлов, журавлей-красавок и, конечно, без малого суслика», — заключает девочка.

Я бы добавил — и без этих детей-спасателей.

Часть VI. Пожнешь пустыню

Сегодня, день шестой

Поутру с водителем Валентином (Арслана вызвали по делам) едем в Юстинский район. От Элисты километров триста. Последние полтораста — то гравий, то асфальт, то яма, то канава. Четыре часа ехали до Цаган-Амана...

Счастливый берег

В районной администрации было пусто. Разыскали единственного работника за столом, главного специалиста отдела образования Екатерину Борисовну. Она и рассказала о месте, куда мы приехали.

---

[1] Малакофуана — фауна моллюсков.

Райцентр Цаган-Аман — единственный в Калмыкии поселок на Волге. В детстве перебирались на тот берег «ракетой», а сейчас обмелело, появились острова, объезжать долго приходится. С каждым годом эти острова все больше и больше становятся, и для нас это проблема, сказала Екатерина Борисовна. Раньше плавали на левобережье сажать картошку. Она хорошо там растет. Лесничество было. Но недолго...

Судя по рассказу главного специалиста, район сильно отличался от тех, в которых мы были до этого. Здесь не занимались скотоводством, такой традиции никогда не было. Теперь совхоз «Волжский» — банкрот. Все позакрывалось: строительные организации, хлебобулочное производство, цех пельменей, деревообработка. Остались одна бюджетная сфера и торговля. У людей нет денег. Нет никакой инфраструктуры. Да и вообще, кажется, нет никакой деятельности (так я думал до встречи с учителями и детьми и, признаюсь, забегая вперед, ошибся).

Явный упадок виден даже по зданию администрации, расположенной в бывшем райкоме: стены и полы обшарпаны, начальника районо не найти. В общем, подумал я, — социокультурная пустыня.

Название поселка можно перевести, сказала главный специалист, как «счастливый берег».

Это этот-то?!

Проехались по поселку. «Ну, что вам еще показать? — спросила Екатерина Борисовна. — В гимназии работают интересные учителя — биолог и географ. Ведут исследовательские проекты ребят по Волге и запустыниванию».

Здасьте, подумал я, так это ж самое интересное.

Вчера, переходящее в завтра

Из исследовательского проекта учащихся Цаганаманской гимназии Елены Бадмараевой и Иджилины Горяевой «Современное гидрографическое и гидрохимическое состояние участка нижнего течения р. Волги в районе п. Цаган-Аман».

«В результате неумелого, неразумного, безграмотного хозяйствования Волга оказалась на грани экологической катастрофы. Район нашего села — единственный уголок Калмыкии, который расположен на берегу Волги, в ее низовьях. Ситуация здесь печальная: продолжается деградация природного комплекса. Изменяется русло реки, появляются островки, идет процесс интенсивного обрушения правого берега. Возникают серьезные проблемы с функционированием объектов водоснабжения, которые обеспечивают потребности половины населения Калмыкии, проблемы с ее экономикой, жилым фондом, охраной и воспроизводством рыбных запасов...

Целью нашей работы являлось изучение современного гидроэкологического состояния участка нижнего течения Волги в пределах Республики Калмыкия. Мы поставили следующие задачи: наблюдения за сезонными и многолетними изменениями уровня реки; измерения скорости течения реки; топографирование островов и береговой линии; анализ качества речной воды.

Как показало наше исследование, с середины 60-х гг. XX века по настоящее время на Волге происходит образование и срастание островов. Происходят постоянные колебания уровня воды, растет количество сульфатов, фосфатов...»

Школа, которая сопротивляется ржавчине

Цаганаманская гимназия, в которую мы заехали, — школа с экологическим уклоном. «Не от хорошей жизни», — заметила учительница биологии Нина Очировна Хаджаева. Более пятнадцати лет она и ее ученики ведут отслеживание островов — как они появляются, с какой скоростью и на сколько растут.

Всего три года назад появился остров прямо перед поселком и растет на глазах.

«Вот он, — показывает мне остров на мобильнике одиннадцатиклассница Булгун Нарзонова. — Вырос, как в сказке, стал местом отдыха, купания. Но там находятся наши насосные станции! И насосы забиваются песком. Теперь воду подают три раза в неделю, бешеные деньги платят за воду».

Одиннадцатиклассник Бадман Зараев, призер общероссийской олимпиады по экологии, считает, что причина образования островов на Волге — бездумная деятельность человека. Техногенные объекты — неправильно поставленные причал, насосная станция — изменили русло реки. Появляются аллювиальные отложения (более крупные камни ломают мелкие), и образуется песок.

А затонувшие судна, баржи... «Чтобы их вытащить, — говорит учительница,— нужны огромные деньги. Во время войны в районе нашего поселка затонуло семь барж, с тех пор вытащили только одну».

Директор школы Борис Сергеевич Горяев утверждает, что в их акватории есть баржа, которая затонула в 1903 году. «А если баржа, — поясняет учительница биологии Хаджаева, — то начинается круговорот воды и, соответственно, заносы» — «Раньше, — добавляет одиннадцатиклассник, — работали драги, перегоняли песок из более мелких мест в глубокие. А сейчас реку не чистят» — «Чего удивляться, — добавляет директор, — если Волго-Донской канал не чистят, о чем уж тут говорить...»

То, что дети и взрослые мне рассказывают, — не абстрактные рассуждения, это их жизнь.

«Мы решили сделать сравнительный анализ процесса появления островов у нас и в Астраханской области. И этот анализ показал: большинство причин — антропогенные. В селе Ветлянка Астраханской области около трех лет работал земснаряд — чтобы острова не образовывались. Это же большая река. Баржи ходят, везут нефть, лес, пиломатериалы. А острова появились — проход транспорту закрыт. И вот они вынуждены были три года чистить дно Волги. И говорят, что в результате острова исчезнут. Мы сравнили с нашей ситуацией и увидели, что разница не в нашу пользу — у них три насосные станции работают, на поле качают воду, на поселок. И в селе Копановке тоже нет проблем, острова есть, но они далеко от села».

Несколько раз в году, летом и осенью, учительница с учениками ездят по Волге и замеряют длину островов, исследуют динамику роста, изучают космические снимки. Начали они эту работу еще в 90-х, с тех пор остров в Цаган-Амане уже с правым берегом соединился. А начинался... «Сейчас даже трудно определить, где он начинался, так интенсивно зарастание идет. В разы увеличивается, — говорит мне на основе точных измерений одиннадцатиклассник Бадман. — Мы не понимаем — народ купается, радуется жизни и не представляет, что скоро мы окажемся без воды. Жить на Волге и не иметь воды...»

Происходит это на глазах одного поколения.

Волжская протока Тахта еще недавно была широкой и глубокой. Восемь лет назад начали строить питомник и рыбокомбинат — в Тахте было много рыбы. Прорыли каналы, зацементировали. «Это рядом с нашим палаточным лагерем, — рассказывает учительница Хаджаева, — мы каждый год туда ездим, измеряем протоку. А в этом году приезжаем — там, где глубина была больше двух метров, сейчас, смотрите, — показывает снимок, — по щиколотку. Причины мы тоже знаем, не все, конечно, но главная — экологическая безграмотность: миллионы вложили в рыбопитомник, а результат не предвидели. Нам не хватает ученых, — говорит учительница, — чтобы провести полный анализ ситуации, выявить все причины обмеления. Но некоторые нам хорошо известны. Загрязнение Волги. Низкий пропуск воды в Волгоградской ГЭС (где пускают воду, только если заплатишь). Засорение протоки — сотни деревьев падают в нее».

А кто очищает? Да вот эти дети и учителя. Собственными силами распиливают и вытаскивают деревья. Роют каналы. Спасают молодь. А те, кто отвечают за жизнь реки, по праздникам, наверное, собираются, поют: «Издалека до-олго, течет река Во-олга...»

Жатвы много

В школе триста восемьдесят детей. Из тех, кто пытаются спасать природу, — учительница биологии, учительница географии, школьный директор, не много. Но когда еще было сказано: «Жатвы много, а делателей мало». Те, что есть, пытаются что-то сделать.

Каждый год в экологическом лагере «Импульс» собирается около восьмидесяти учащихся, не только из Цаган-Амана, но из Астрахани, Волгоградской области, других мест, и изучают реку, помогают другим понять, что с ней происходит. Учителя с ребятами участвуют в международной программе, издают учебники, рабочие тетради...

В протоке Тахта дети посадили лотосы. Выращивали дома цветы из семян — в банках и аквариумах, в воде, под водой... Вырастили и посадили на Тахте в укромном месте — чтобы никто не тронул — на мелководье, чтобы лотосы закрепились. Приживутся ли?

Кристина Рот занимается лекарственными растениями. У них здесь очень богатое разнотравье, много краснокнижных растений, насекомых, птиц. Борис Сергеевич знает все места, где они растут и селятся. Озеро Рогатое. Большой Бакланий остров. Могутки. Озеро Штаны... «Есть хорошая работа ребят по орлану-белохвосту, — рассказывает учительница биологии Нина Очировна. — Он расширил свой ореол. Все больше гнездовий. Это говорит о том, что наша парковая зона — хорошая, и орлан на зимовье не улетает, мы с ребятами уезжаем из лагеря — он парит над берегом. Мы даже с ребятами спасали орленка. И лебедя-шипуна выпянчили и отправили на озера».

Директор школы дополняет: еще у нас савка краснокнижная. А во дворе школы живет сирийский дятел.

Ачир Манджиев, когда еще учился в шестом классе, обнаружил особенного калмыцкого суслика — песчаного, или желтопалого. Ребята стали искать и нашли целую популяцию. «Мы уже знаем расстояние между колониями. Мы удивились, увидев, что это другой суслик, не тот, что в степи», — говорит учительница. Тот самый суслик, о котором, помните, дети этой школы рассказывали, что во время войны люди выжили благодаря ему?

Десятиклассница Данара Мингтеева с шестого класса занимается канюком-курганником. Эта хищная птица из семейства ястребиных является как бы древней меткой степи, занесена в Красную книгу. Ребята хотят поднять процент выживаемости курганника, и Данара изучает стадии развития птенцов.

Ребята подарили мне изданный в Элисте сборник своих исследовательских и спасательных работ — всего не перечислишь. Экспедиции по следам Великого Шелкового пути, в которых они участвуют; капельное орошение, с помощью которого они пытаются остановить деградацию земли хотя бы на небольших участках; исчезающие виды животных, рыб, птиц, которых спасают от полного исчезновения...

Я попросил свозить меня на Волгу, чтобы увидеть своими глазами вырастающие там острова. «Ничего, что я вас отрываю?» — спросил учительницу биологии. «Ничего, — отвечает, — я уже тридцать лет в школе и двадцать работаю с ними. Многие из них призеры олимпиад, в МГУ поступают... Надо детям помогать. А то кто сельским детям поможет?»

Я спросил, чем могу быть полезен. Стесняясь, она ответила: если будете в министерстве, скажите, что нам бы 15 тысяч рублей на поездку в Москву для участия детей во всероссийской олимпиаде.

Мне стало стыдно.

Последний бастион

Несколько лет назад по телевизору показывали сюжет об исчезающем под напором пустыни городе. Свистит ветер, течет песок, города уже почти нет... Где же это было: в Азии? Африке? Зачем так далеко — теперь это можно увидеть под боком, в России.

На нашей машине ехать туда и думать нечего. Но нам повезло: в Цаган-Амане познакомились с директором Бергинской школы Сарынгом Ульяновичем Шоволдаевым. Он взялся доставить нас до Бергина, там у него дома переночуем и дальше, если найдем уазик, отправимся по пустыням в исчезнувшее село Смушково.

Впрочем, говорит директор, чего туда ехать? Пустыня уже в Бергине. Утром, как ветер поднимет песок, почувствуете. Видно, что ехать в Смушково ему не хочется, и он пробует вместо путешествия заманить нас верблюдами. Услышав, что меня это интересует, Сарынг Ульянович стал связываться по мобильнику с верблюжьей фермой, которая находится в пяти километрах от села. Впрочем, «находится» лишь номинально, верблюды ходят сами по себе неизвестно где. Директор звонит куда-то, выясняет: «Алё, не придут верблюды ваши? Нет? А пить когда они будут? Неделю не будут?»

Я намекаю директору, что верблюды — это неплохо, но нам бы все-таки попасть в съеденное пустыней Смушково. По схеме, которую нарисовал мне в блокноте Шоволдаев, путешествие вроде не длинное: шестьдесят километров по трассе, потом сорок по грунтовке до села Бергин, а затем сорок пять километров по бездорожью до Смушково.

Свернули с трассы и двинулись вслед за отважной «десяткой» школьного директора. Нда-а... Та еще дорога. Здесь уже не пыль, а песок. Еще до Бергина не доехали, как пошли американские горки. Дорога в Смушково представляет собой серпантин; слева бархан, справа бархан. «Ужас, — говорит Валентин, — первый раз такое вижу. Как будто в Сахаре едем».

Дышать становится труднее. На степь находит пустыня, кругом настоящие барханы. Школьный директор впереди нас прыгает по барханам на своей «десятке» — тоже не вездеход. А у нас машина чуть ли не пузом по земле елозит, Валентин беспокоится.

Встретили старого чабана на мотоцикле из совхоза «Полынский». Чабана зовут Михаилом Дюсенбаевым. Его сын, Дамир, учился в школе нашего директора, а родился в том самом съеденном пустыней селе Смушково, куда мы направляемся. Чабан завез нас на свою «точку» — домик в степи, еще не ставшей пустыней. Они здесь живут уже шесть лет втроем. «Мы тут в раю, — говорит жена чабана. — А в поселке барханы, ветер задул — жить нельзя. Нам тут лес нужен, он остановит пустыню».

К ночи добрались до поселка Бергин. Поселок как поселок. Свиньи ходят по дороге. Светит месяц. Свет, вроде, есть...

Бархан во дворе

В доме школьного директора уютно — стол с угощением, большой экран телевизора, забываешь о пустыне. Родители Сарынга Ульяновича тоже были выселены. Сарынг, пятый ребенок в семье (а всего было девять), родился уже тут. Учился в той самой школе, где теперь директорствует. В той старой школе было четыреста учеников, в селе — тысячи полторы-две народу. Жизнь кипела. Только в 90-е начали уезжать. Но совхоз и сейчас крепкий, двадцать тысяч овец, две тысячи лошадей, полторы тысячи коров, пятьсот верблюдов. «А свиньи — это пришло из Сибири», — говорит директор.

Люди живут здесь достойно. Первый председатель колхоза был уважаемым человеком, имел орден Ленина. После войны колхоз преобразовали в совхоз «Полынный», теперь кооператив с тем же названием. Руководит им местный житель, Феликс Хуцаев. Десять лет уже руководит, рассказывает школьный директор, а до того начальники часто менялись, все были не местные. «Неужели дело в том, что пришел человек из местных?» — спрашиваю. «Конечно, — отвечает Сарынг. — У него же ответственность перед людьми».

Но и Бергин, опасается Шоволдаев, ждет судьба Смушково, где еще двадцать лет назад были школа и клуб.

Самец агрессивным бывает, а богатырь — маленьким

Утром Сарынг Ульянович нашел-таки по мобильнику верблюдов. Поехали смотреть. Верблюдов тут разводили и прежде, когда пустыни еще не было. Но традиция утеряна. Пытаются восстановить. Из Монголии пригласили две семьи, живут в юртах и учат местное население ухаживать за верблюдами, доить, готовить молочную пищу, валять войлок... Несколько ребятишек, дети верблюдоводов, учатся в калмыцкой школе.

Верблюды, которых мы разыскиваем, — бактрианы. Огромные животные, до тонны весом. «Самец у нас, — рассказывает директор, — называется «бура», во время гона агрессивный бывает».

Искали-искали и нашли-таки. Сто верблюдов, представляете? Фантастическая картина. Ходят сами, без пастуха, круглый год, в жару и стужу, вожак ведет. Пытаюсь сфотографировать, как маленький верблюжонок пьет материнское молоко. Подбираюсь поближе. Как бы не так — уходят. Любознательные. Но очень пугливые.

В роду у Сарынга Ульяновича тоже встречались богатыри. «Моя мать из рода Эрдниевых. Ее дед весил шестнадцать пудов — двести пятьдесят шесть килограммов. Борьбой занимался. А когда заболел, — рассказывает Сарынг, — похудел сильно и все плакал — совсем, говорил, я стал маленьким и бессильным. Это когда от него всего сто пятьдесят килограммов осталось».

Смушково

«Вот он, наш знаменитый поселок», — показывает Сарынг на вынырнувшие из песка, почти засыпанные строения. Живут здесь четыре семьи: «Максим, Тамара... — считает директор, — нет, пять получается».

Вот история этого места, записанная в 2004 году ученицей Цаганаманской гимназии Еленой Бадмаевой.

«Смушковое было центральной усадьбой каракулеводческого совхоза. Здесь проживало 467 человек. Функционировали школа, больница, клуб, почта, магазин. Никто не думал тогда о перегруженности пастбищ, о том, что это зона рискованного земледелия и нельзя распахивать степь с небольшим слоем гумуса. Смушковцы думали, что они будут жить здесь всегда. В колодцах была пресная вода, и колодцев-то было предостаточно. Теперь же привозят пресную воду из колодца, который расположен в 4 км от села. Из 87 семей осталось 17. Не жизнь, а существование... Лишь кое-кто имеет корову. Телефонной связи нет. А посмотрели бы вы на кладбище. Оно заброшено. Его занесло песком. Но и на новом месте не лучше — ветер выдул песок, и начал разрушаться грунт: вот-вот покажутся останки. Чего же ожидают смушковцы? Помощи от правительства республики, России? Здесь не ЧП, а постоянное чрезвычайное положение!

...Опустынивание и люди неразделимы, — заключает ученица. — Люди — причина опустынивания, они же — его жертва».

И вот девять лет спустя я добрался до этих мест. Что изменилось? Уже не семнадцать семей, а пять. Самые упертые.

«Парень один, отсюда родом, — рассказывает Сарынг, — поехал в Москву на заработки, купил КамАЗ, пять лет назад вернулся на родину. Поставил стоянку, приобрел скотину, построил маленький домик. И еще один человек вернулся. Сейчас более-менее: можно получить под проценты в долг. 14% берет Россельхоз, а 12% — дотация от республики, получается всего два процента. Деньги с задержкой, но приходят».

Из-за барханов стали появляться смушковцы. Наш приезд для них — событие. Тут редко кто появляется. Однажды, вспомнил Сарынг, в район приехали из Москвы — снимать фильм про басмачей. В поселке Эрдниевском, у федеральной трассы, тоже пустыня, но им для фильма мешали столбы электропередач. Поехали в Смушково, здесь уже ничто не мешало.

Ландшафт как раз для того фильма: песок, несколько домов на барханах и ковыляющий среди песка, собирающийся в связи с нашим приездом «народ».

Подошел «парень» лет за шестьдесят, тот, что купил Камаз и вернулся на родину. Здесь, говорит, сплошные барханы были. Лесхоз засеял, пошел дождь, и вот выросли, — показывает на кусты саксаула и песчаного овса, торчащие кое-где среди песка. «Сколько людей живет?» — спрашиваю. «Восемь человек», — отвечает смушковский патриот. «А дети есть?» — «Нет, кто в городе, кто в селе», — говорит он так, будто Смушково уже не деревня, не село, а что? Первобытная стоянка? Напоминание о милой родине?..

Вот живет он в этом странном месте, Петр Текеев — в прошлом учитель истории, директор смушкинской школы. Тут, вспоминает он, было по пять, шесть, десять детей в каждом дворе. Все закрыли — школу, детсад, магазин, фельдшерский пункт, контору, почту... Он рассказывает словно про мертвый древний город, занесенный песками в Африке. Будто про утонувшую Атлантиду.

«Но вон там растительность поднялась», — показывает он на дальние барханы. «Значит, может подняться?» — «Запросто. Вот эти деревца я ограждал — и поднялись, вяз, клен... Года бы три-четыре без скота — уже лес был бы. Земля богатая, капля воды — сразу растительность поднимается».

Слушаю его и думаю: немного и надо — чуть-чуть дождя, глоток свободы — и поднимется.

Идем смотреть здешний храм, один человек вернулся и построил. Поднимаемся к хурулу на бархане. Маленький храм, вроде часовенки. Деревца с повязанными ленточками-молитвами. «Вот наш молельный дом, — говорит Петр. — Собираемся по праздникам, все, кто тут живет, восемь человек. Когда дождя нет, дождя просим». Ветер колышет ленточки желаний, звенят колокольчики... «Как думаете, будут еще сажать?» — «Вряд ли. Лесхоз распался. А раньше там, — показывает в пустыню, — был завод, делали кирпичи из красной глины, обжигали. Там вода пресная» — «Осталась?» — «Ничего нет, все песок засыпал».

Мы спускаемся вниз. Еще два человека вышли из домов, идут к нам. Интересуются: откуда? Из Москвы? Приехали пески наши смотреть? А что, хорошо тут, — улыбаются жители Смушково, — тишина, ветер дует.

Я переписал тех, кто вернулся в пустыню. Алексей Борисович Сомпаев, 1950 года рождения, приехал с родителями из Сибири в двухлетнем возрасте. Александр Улюмджиевич Ачиров, 1964 года рождения, уехал в девяностые годы, но приезжает сюда молиться и чем-то помочь. Петр Макеевич Такеев, 1949 года рождения. Семья Мушаевых. Тамара Санджиева...

Тамара пригласила нас в гости. Живет в доме за барханом. Сидим-разговариваем, пьем калмыцкий чай, едим густую, как масло, сметану, хлеб, который сами выпекают.

Хозяйка и соседи выставили на стол все, что у них было, — собственного производства и то, за чем изредка ездят в поселок. Наберем, говорят, еды на месяц и возвращаемся.

Смеются, шутят люди за столом. Живут в пустыне и шутят, а как же, говорят, без этого тут проживешь?

Я вспоминаю девочку из Цаганаманской школы, написавшую историю Смушково. Она написала, что песок ветром переносится в другие селения. Пустыня расползается. Ветер как бы сеет семена. Давно посеяно. Может быть, той зимой сорок третьего. Посеешь ложь, страх, лагерную пыль — пожнешь пустыню...

Что же делать? Возможно ли, после стольких потерь восстановить пастбища, вернуть земле плодородие?

Ответ профессионального сообщества — можно, но дело это долгое и трудное. Нужна комплексная кропотливая работа. Аэросев или наземный посев песчаного овса — кустарника, зацепляющегося в пустыне. Оставление земли под пар, террасирование или сохранение растительности вдоль русла водотоков. Нужны кадры специалистов, нужна сеть постоянных питомников и семенных плантаций. Восстановление «опустыненных водоемов» — замечательных озер и водохранилищ, которые когда-то снабжали питьевой водой поселки, использовались для полива фруктовых садов, парников, огородов, а теперь стали непригодными для хозяйственного использования.

Или уже поздно, произошла катастрофа, «опустынивание человека», его души, интеллекта, памяти?..

На развилке дороги

Возвращаемся в село Берин, а оттуда в Элисту. «Волков тут много появилось во время чеченской войны, — сообщает наш добровольный проводник, школьный директор Сарынг. — Сейчас по краю села ходят. А раньше служба была, у нас совхоз давал за волка овцу. Сейчас перестал давать. Бывает, приезжают люди, охотятся — экстрим-туризм». Сплошной экстрим, жизнь — экстрим.

Возвращаемся по крутым горкам на директорском автомобиле. Добираемся до села. В доме Сарынга пообедаем, пересядем на свою машину, не предназначенную для пустыни, и засветло докатим как-нибудь до трассы.

Дочка Сарынга, первоклассница, вернулась из школы и смеется, смеется. Показывает дневник, в нем кружок-наклейка «Отлично». Родственница-подружка тоже показывает кружки в тетрадке: «Спасибо за старание», «Молодец». И все уже про эту школу понятно...

Тепло прощаемся с хозяевами. Сарынг Ульянович провожает нас до развилки дороги, дальше — сами.

Вечер. На горизонте из проема сгустившихся облаков низвергаются снопы света, расходятся, образуя купол, небесную кибитку кочевника. Кто мы, если не вечные кочевники?

И опять — белые с розовой, кровяной жилкой озера, солончаки. Осенняя бурожелтая степь. Как пахнет она! Дышишь и не надышишься, пьешь свежий, чуть горьковатый полынный напиток и не напьешься. Но теперь я понимаю: эти песчаные гряды, заросшие холмики — знак надвигающейся беды. Равнина степи горбатится под напором всепроникающей пустыни. Степь будет лысеть и горбиться, пока не превратится в безвременье, где свистит ветер, течет песок...

Пустыня — не внешний враг, которого придумывают для оправдания бед и нищеты народа жаждущие власти. Она не приходит со стороны, она здесь, под тонким слоем почвы, ждет своего часа. Вытоптал траву, сковырнул корни — а ветер довершил дело, нанес барханов. И вот оно, застывшее в безвременье песчаное море...

Завтра

Из исследовательского проекта Олега Настаева, Цаганаманская гимназия.

«Упадок многих процветавших древних цивилизаций был вызван не внешними врагами, а медленным экологическим самоубийством — неспособностью сохранить земельные и водные ресурсы. Северная Африка, некогда снабжавшая зерном Римскую империю, теперь по большей части представляет собой пустыню. Ученые считают, что упадок некогда процветавшей в Центральной Америке культуры Майя, был вызван потерей плодородия почвы вследствие эрозии...»

Олег изучил проблемы землепользования в родном районе и пришел к выводу: дело близко к тому, от чего погибли Древний Рим и майя. Надо что-то делать. Но что школьники, учителя и родители могут сделать против пустыни, съедающей Смушково, Берегин и другие пока еще населенные пункты? Оказывается, могут.

Экспедиция для будущих граждан

Это была первая в истории современной России караванная экспедиция на верблюдах. Она получила название «По следам Великого шелкового пути», и ее организовал знаменитый путешественник Федор Конюхов. В международной экспедиции вместе с учеными-археологами, экологами, медиками, биологами участвовали 12 школьников поселка Цаган-Аман. Вот фрагмент отчета в то время старшеклассницы Гиляны Улюджаевой.

«Наблюдения проводились с помощью бинокля, кроме того велись фотосъемки и видеосъемки. Во время дневных маршрутов регистрировались все встреченные виды растений и животных.

...В ходе движения каравана мы иногда отклонялись от основного маршрута, чтобы осмотреть интересные стадбища и урочища. А в населенных пунктах проводили опрос местного населения».

Ребята имели собственные задания. Вот один из выводов, сделанных учениками.

«Считаем, что необходимо принять Закон о степи, в котором бы оговаривались взаимоотношения человека с природой, его обязанности по отношению к земле».

«Дни, проведенные в составе экспедиции, — заключает Гиляна, — стали откровением для большинства учащихся. Мы увидели и ощутили не только физическую, природную сущность нашей республики, но ее духовные начала. И это главное, что дала экспедиция будущим гражданам Калмыкии».

Часть VII. Ушедшее море

День седьмой. Сегодня

У въезда в Лагань нас встретили представители администрации и, пока ехали, рассказывали: район компактный, восемьдесят километров в диаметре. Живет 19 тысяч человек, в городе — семь тысяч. Пять сел. Население — калмыки, русские, татары, даргинцы...

Когда-то была развитая промышленная инфраструктура: машиностроительный завод, рыбокомбинат, мясокомбинат, пятнадцать строительных организаций. Были рыболовецкие колхозы. А когда море стало уходить (оно уходит раз в пятьдесят лет), рыбаки переквалифицировались в бахчеводов. «У нас, — сказали хозяева района, — арбузы были по 25 килограммов, а яблоки до Сибири доходили и дальше».

Все, о чем они рассказывают, в прошлом. В девяносто пятом году, после наводнения почва засолилась, зверосовхоз смыло вместе со зверями, и процветание закончилось. Земли нет — отдали Дагестану в аренду, а обратно взять не могут. От нефтяной трубы ничего не имеют. Кирпичзавод стоит. «А какой был район в советское время, — повторяют встретившие меня руководители, — один из богатейших. Пушнину на золото меняли...»

Что-то с того времени еще осталось: газ, вода, твердые покрытия. Фабрично-заводские дома, построенные для рабочих. «А на машиностроительном заводе, — вспоминает начальник управления образования и культуры Юрий Багаев, — я сам работал. Комплектующие поставляли из Горького, а у нас собирали — автоклавы, автомагазины, автофуры; было много чабанских точек. Мастера были, слесари, токари, инструментальщики, деревообработчики. Профессиональное училище работало. Сейчас в сельских школах нет специальности тракториста, через пять лет некому будет пахать землю».

Хотя он и изображает катастрофическую картину, но сам что-то делает по мере возможностей. Заключили договор с университетом, создали в школах филиалы учебного комбината, подобрали опытных инструкторов — и вот уже несколько рабочих мест возникло.

«Когда б вы знали, из какого сора...»

Если бы собрать людей, умеющих что-то делать лучше других, они бы научили еще кого-то. Все больше убеждаюсь: необходимо сообщество народных мастеров, связанных со школами, пронизывающее все общество, как в Якутии.

В Лагани мастера тоже встречаются. В районном доме культуры познакомился с талантливыми преподавателями прикладного искусства. У Светланы Гонтаревой сорок учеников, начиная с восьмилетнего возраста. Берет всех, занимается четыре раза в неделю рисунком, живописью, скульптурой и фигурной работой по гипсу. Работают и с местной глиной.

Елена Солганова учит детей создавать шедевры из соленого теста на картоне, из тополиного пуха на черной ткани. Другая мастерица, Светлана Державина, занимается с детьми соломкой. Сорняковыми травами, которые растут на здешних просторах. «Когда б вы знали, из какого сора...»

Вот из этого сора, с помощью горячей обработки, дети научились извлекать более восьмидесяти цветовых оттенков. «Вот собор Василия Блаженного, а это василек из отходов, видите, изящный какой?»

Маленький концерт

Местный ансамбль, которому уже полвека, показал танец буддистского божества — Зеленой Тары. Спели «ута-дун» — старинную протяжную калмыцкую песню, без сопровождения. Бабушка в национальном костюме высказала благопожелания. На русском объясняется с трудом, а как перешла на родной язык, так живо, бодро заговорила! «У нее, — пояснили мне, — есть даже сборник стихов».

В районном доме культуры шесть народных коллективов.

Девушки танцевали, держа в руках лотосы.

На сцене появился сказитель. Признался: хочет, чтобы из девяти школ хотя бы по два человека научились декламировать «Джангар», было бы восемнадцать сказителей. Сам он эпос не декламировал, а пел, и я представлял себе степь, всадника на коне...

Концерт завершил школьный ансамбль. Девочка в красном, с черным нагрудником, и мальчик в черном, с красным нагрудником. Здорово у них получалось — мелкое дрожание в танце...

Прокуратура под крылом

Спрашиваешь: что можно развивать в Лагани? Отвечают, как повсюду: туризм, охоту, рыбную ловлю.

«Государство должно взять под крыло школы, — говорит директор Лаганьской гимназии Спицкая. — А оно взяло под крыло суды, у нас здания судов дважды, трижды ремонтируют. Раньше суды, прокуратуры были незаметны. А теперь — школы, сады, больницы незаметны. Но мы же растим будущее страны, почему она не берет под крыло свое будущее?»

Помалкивает страна, будто воды в рот набрала...

Каждые пятьдесят лет море отступает, а потом наступает, принося с собой наводнения. Каспий опасен не только из-за погоды — из-за незнания. После наводнения построили дамбу — начали засоляться земли.

По протоке

Идем на катере в Каспий. Вода в протоке зеленая, застойная. Капитана суденышка, на котором мы отправились в плавание, зовут Александром Юрьевичем Красномеровым, спокойный бывалый человек. Рассказывает, что изменилось в мореплавании. Всюду контроль, вместо одной инспекции — пять, и всем давай.

Вода становится чище и темнее ближе к морю. Подплываем к посту пограничного контроля — деревянному строению с облупленной синей краской. Капитан привязывает трос, и начальник районного управления образования поднимается с нашими документами, отметиться. Наш старый облупленный катер кашляет, но тарахтит. До моря сорок километров.

Я поговорил с капитаном. Он на пенсии, как и катер. Тарахтит пока. Оклад капитана — пять тысяч тридцать рублей (я выматерился про себя). Государственное бюджетное учреждение «Севгафтрыбвод» — федерального подчинения, приписано к Астрахани. «Если бы было республиканского подчинения, вообще сгинули бы», — смеется капитан.

Биография Багаева такова. Окончил техникум в Москве, вернулся в Лагань, пошел рабочим на завод, думал теорию с практикой совместить. Начальство вызывает, говорит: нужен человек с высшим образованием. И отправляет учиться в Калмыцкий государственный университет по инженерной специальности, информатике, программированию, сельскохозяйственному труду, агрономии, психологии, педагогике — словом, на все случаи жизни. Получил диплом. Приехал на завод в девяносто втором году. А дальше завод начал разваливаться. И Багаев ушел (вот где пригодилось «на все случаи жизни»), работал учителем, заведовал домом для пожилых людей. Потом в администрации работал в отделе молодежи и спорта, начальником отдела образования. Новый глава района предлагал в мэры. Он отказался — неинтересно. Ему, говорит, с детства хотелось учителем работать. Тогда иди в школу, сказал глава. И он пошел — директором сельской школы. А потом пришел прежний руководитель района, и его вернули в команду...

Тем временем по протоке мы вышли в открытое море.

Иван Караул

В море мы встретили лодку с двумя рыбаками, отцом и сыном. Обветренные лица, загрубевшие руки. Иногда сутками не видят берега. Получают от хозяина гроши: 14 рублей за килограмм сома, 17 рублей — за сазана. Добыча на дне лодки — четверо

суток лова, объяснили рыбаки. Капитан наш вздохнул. «Обиделось море, — сказал, — рыбы совсем нет. Каспий уходит, но когда ты в нем — как будто уходишь с ним, чтобы вернуться снова. Каждые полвека, каждый век, уходит и приходит море, и дует моряна, и рыбаки идут в путину».

До наводнения у них были «байды», шести—двенадцатиметровые деревянные катера с двумя навесными моторами. «Соответственно и ловля была», — добавляет сын. «Стоит одну белугу поймать, — подхватывает отец, — она окупает и байду, и мотор. А сейчас? Белуга, осетр сюда даже не заходят. Море уходит, и все, видимо, уходят. А самим ловбилет получить нереально» — «А скооперироваться и билет выкупить?» — задаю наивный вопрос я. «Бесполезно, — вмешивается капитан, — не дадут. Нас ловят, как рыбу, четверо-пятеро проверяющих».

Пару лет назад еще были цены более-менее, говорят рыбаки. Потом предприниматели — сборщики улова резко снизили. Рыбаки бастовали в поселках. Людей догола раздели, хоть кричи «караул!» Рыбаки обращались в правительство, писали, телевидение приезжало — ничего.

То же, что полтораста лет назад, думаю я, вспоминая записки о каспийском рыбацком промысле. Самыми оплачиваемыми были, как и сегодня, надзиратели, охранники, а самыми низкооплачиваемыми — «неводные рабочие».

...Мы прощаемся с рыбаками и плывем дальше. Вон остров Иван Караул, показывают мне на что-то чернеющее в морской дали. Там часовня. Хотели трикотажную фабрику открыть, работающую с помощью воды, на солнечных батареях. Построили, и станки стояли, и вся система работала через солнечные батареи. Но — заглохло. Теперь на острове живет один сторож — сторожит дачные домики.

Еще один *прожект:* выстроить на острове посреди моря-океяна чудо-фабрику, которая почудит и заглохнет...

Возвращаемся в Элисту. Дождь. Я листаю проекты ребят.

Завтра

Они разные: о священнике-художнике Владимире Фаворском, иллюстраторе эпоса «Джангар». О возрождении храма Николая Угодника — покровителя моряков. О семейных ценностях лаганцев. О выселенных, но не сломленных. О рыбацком жаргоне и местных песнях о море и рыбаках. «У нас очень талантливые люди, мы же фосфор едим», — смеялась директор лаганьской школы.

Школьное научное общество «Дебют» опубликовало сборник ученических работ, некоторые из них я уже приводил. Жизнь можно улучшить, доказывают эти дети и взрослые.

Каким образом? Вот некоторые способы...

Школа контролирует рынок

Маленький, но очень разумный и полезный проект выполнила ученица Анастасия Чистова (под руководством Маргариты Дермяновны Батаевой, учительницы физики лаганьской гимназии).

Называется: *«Контрольная закупка "Школьные мелки"».*

В разных магазинах города купили пять упаковок школьных мелков различных производителей. Задача ученицы состояла в том, чтобы выяснить, какой мел лучший.

Используя расчетные формулы по физике, были определены прочность и плотность мела. Результаты опытов показали, что самый качественный мел имеет самую низкую цену. По итогам исследовательской работы ученики выпустили реклам-

ный листок: *«Лучший школьный мел продается в магазине "Йиси". Прежде, чем купить мел для урока, сделайте контрольную закупку в нашей гимназии!»*

Работа вместе с объявлением была напечатана в районной газете и вызвала живой интерес всех учителей и учеников района (не говоря уж о родителях).

А автор работы, Анастасия Чистова, заняла второе место на республиканской, а потом и всероссийской научно-практической конференции «Первые шаги в науке».

Моряна приглядывает за детьми, а дети за ней

Много проектов на морскую тему. Это неудивительно, ведь рядом море. И дочь морского царя ведет себя по-разному, сообщает в своей работе «Моряна в Лагани» девятиклассница Анжелика Полянская (руководитель Нина Николаевна Саликова, учитель географии). *«Она может спасти тех, кто по неосторожности упал в воду во время бури. Она приглядывает за детьми, резвящимися в воде, и помогает рыбакам в их морских промыслах. Но худо будет тому, кто ее рассердит или обидит морских обитателей...»*

Потому что не в легенде, а в жизни моряна — ветер, наподобие бриза, дующего с моря. Так в разговорной речи называют его жители северного Каспия. Сухой и теплый ветер, угнетающий растительность. Анжелика постаралась разглядеть его с разных сторон.

«Дуют моряны осенью и весной, вызывая ветровые нагоны, продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней. Моряна — это добро или зло?

Когда долго не бывает моряны, рыбаки говорят: «Ты подуй, подуй, моряна, пригони леща, сазана». Для рыбака это время хорошего улова, так как моряна гонит рыбу с моря к камышу. Но если задует штормовая моряна, то срываются сетки с якорей. Во время ветра волны достигают 1,5—2 метров и создают опасность для жизни. Моряна может дуть три, семь, десять суток».

Сделав ряд выводов о моряне и ее последствиях и высказав свои рекомендации по решению проблемы затопления вследствие сгонно-нагонных явлений в районе, Анжелика и ее соавторы обратились в администрацию города Лагани.

«Мы изложили свои предложения на бумаге и отнесли в земельно-кадастровый отдел, где их посчитали актуальными и значимыми, тем более что они решают и экологическую проблему, и проблему водоснабжения в городе Лагани».

Мосты и опоры

Неутомимая учительница физики Мира Дермяновна Батаева хочет, чтобы ученики, будущие граждане, брали на себя ответственность за то, что происходит вокруг. «Мы все, не только учителя, — говорила мне она, — хотим, чтобы они осознали, как меняется река, ее течение. Почему заносятся песком дома. И мост у нас развалился, опасно для населения переходить по этому мосту».

Мира Батаева и ее ученики провели расследование и предложили другую конструкцию моста. Они проанализировали природные факторы, геологические и климатические, измерили основные параметры моста, рассчитали давление в разных его частях и в целом (это долгая кропотливая работа, но интересно, что для нее оказалось вполне достаточно школьного образования, если оно, конечно, такое, как у этих ребят).

В результате своих опытов и расчетов ученики 8 класса пришли к следующим выводам: *«Разрушению моста способствовали действие постоянных сильных ветров, аномально низкие для нашей местности зимние температуры и жаркое лето, неровный рельеф дна — то есть при строительстве моста не учитывались гео-климатические факторы. Проекта моста не было: об этом свидетельствуют разные расстояния между опорами, выбор разнообразного материала в качестве балок. Не был произведен строгий математический расчет...»*

И в конце — предложения восьмиклассников*: в их ветреном крае, с учетом низких температур, большой толщины льда, постоянного течения воды в реке и нагонов воды во время моряны, лучше строить мост вантовый.*

Теперь вот о чем я думаю. Не о том, почему эту работу, сделанную детьми, не могли сделать взрослые. Не о безграмотной и равнодушной, плевать ей на всякие мосты, власти, не о горе-строителях, которыми наводнена страна.

Я думаю об этих удивительных ребятах и учительнице из маленького городка Лагани. В каждом поколении находятся такие, как они, а потому остается надежда, что мост построят.

Послесловие

В детской шахматной академии, где я провел последнюю ночь, разговорился со сторожем. Он сам завел со мной разговор. И говорил не о безработице, зарплате, инфляции, а о культуре. «Народ обездушел, единственное счастье для человека — культура, — сказал он. — Духовность вроде пришла, а не проросла. Интеллект — это не высшее образование, а состояние ума».

Если сторож — правда, шахматной академии — так мыслит, это что-то говорит о народе?

Перед отлетом в Москву в элистинском аэропорту познакомился с калмычкой-экологом, которая работает в нефтяной компании. Она рассказала мне, что мировые компании нашли шельф около села Смушково, вырыли скважины, провели изыскательские работы, и уже сдан отчет, прошли общественные слушания. Так что засыпанное пустыней Смушково может и ожить, что-то вокруг появится.

Степь может возродиться, если нам хватит ума и заботливости.

Каждый оставляет после себя что-то: голый пятачок песка, переносимого ветром, или крепко вцепившийся в землю куст. Волгу по щиколотку, уходящее или приходящее море, в котором ты — песчаный остров или протока. Что ни говори, а выбор всегда есть, он за нами. Есть записанная в судьбе кочевка — только пока неизвестно куда.

...Курить, обламывая спички, —
Одна из тягостных забот.
Прощай, любезная калмычка.
Уже отходит самолет...
(Ярослав Смеляков)

«А как, — спросил я встретившуюся в аэропорту калмычку, — нефтяники относятся к экологам? Кто они для них: вынужденная необходимость или...» — «Это зависит от хозяина, — ответила калмычка и уточнила: — От человека».

Я думаю о мосте, связывающем два берега. Старое и новое. Вчера и завтра. Без моста так и будем висеть между берегами, потому что в прошлое вернуться нельзя, а будущее туманно и пугающе, и кажется, что нет сил идти. Но и так, зацепившись за гнилое бревно, долго не протянешь. Старая скособоченная переправа. Внизу лед. При таянии он сдвигает опоры. И неизвестно, как поведет себя новая конструкция. Как пройдут испытания в этом ветреном крае.

Прогиб, риски, страшная высота... Но иного выхода нет. Не однажды это уже случалось. «Куда двинемся?» — вспомнил я вопрос одного из своих спутников. Он имел в виду калмыцкую историю, а прозвучало шире.

Этот вопрос сегодня задают себе многие.

Мы повисли между двумя берегами — памятью и забвением, немотой и речью, разумом и безумием, рабством и свободой...

Что выберем?

Москва — Элиста — Москва
сентябрь 2012 — август 2014

Александр Мелихов

Мы соль земли, мы украшенье мира

Мы твердим, что наука погибает, но в глубине души все-таки убеждены, что убить ее невозможно, ибо она коренится в самой человеческой природе, стремящейся к знанию, к истине, да и просто к выживанию, которое невозможно без более или менее (лучше более) адекватных представлений о реальности.

И это несомненно так. Невозможно выжить, пытаясь насыщаться песком и гулять по воде. Однако люди десятки или сотни, или Бог их знает, сколько тысяч лет выживали и без науки. Без гидродинамики и аэродинамики, без сопромата и химии, без этологии и генетики они научились строить лодки и корабли, ходить под парусом, приручать и выводить новые породы животных, возделывать землю, возводить здания, до сих пор собирающие миллионы туристов, — и так далее, и так далее, и для всего этого достаточно было не ученых, а смышленых наблюдательных ремесленников.

Более того, рядом с ними (с нами) распрекрасно выживали (и выживают) и тараканы, познаний которых тоже оказалось вполне достаточно, чтобы вроде бы даже и не нуждаться в эволюции, — им и так хорошо.

Греки после исчезновения Платонов, Евклидов и Пифагоров тоже вполне себе прожили не хуже прочих, не путая пшеницу с песком, а воду с камнем, не разучившись сеять и жать, строить, ткать, ковать и лудить. Что совершенно не требует дискуссий о природе теплоты и тяготения, о количестве простых чисел и о полноте постулатов Евклида, а также не говорит о греках ничего дурного, ибо природа людей влечет их вовсе не к науке, но к ремесленничеству (ради пользы) и к магии (ради утешения).

К чему они немедленно и возвращаются, чуть ослабевает влияние аристократического ученого сообщества, которое отнюдь не является чем-то естественным и неизбежным образом возрождающимся, — нет, *научное сообщество есть результат стечения материальных и психологических обстоятельств, которые, однажды распавшись, могут вместе больше и не собраться никогда*.

А вместе с этим сообществом исчезнут также и научные истины, ибо они не просто открываются, но в огромной степени этим сообществом и *конструируются*. Когда журналисты однажды добились-таки, чтобы Эйнштейн по-простому, по-рабочему сформулировал итог общей теории относительности, он ответил примерно так: прежде думали, что если убрать из мира все предметы, то пространство и время все-таки останутся, а он показал, что без предметов не будет ни пространства, ни времени. Я же хочу сказать, что без ученых не будет ни научных истин, ни научной логики. Я не оговорился: даже то, что нам кажется едва ли не врожденным человеческим

Мелихов Александр Мотельевич — прозаик, публицист, постоянный автор «Дружбы народов». Последние публикации в «ДН»: «Преодолеть ужас» (№ 7, 2012); «Закваска Брейвика и закваска Саррацина» (№ 11, 2012); «Подручный Орфея». Роман (№ 4, 2013); «Что нас не разочарует?» (№ 12, 2013); «Мой маленький Тадж-Махал». Роман (№ 6, 2014).

качеством, — та же логика, — ковалось и отделывалось упорным и скрупулезным трудом целых поколений аристократов духа: исчезнут аристократы — исчезнет и логика. Это открытие было, может быть, главным для меня культурным шоком, когда я поступил на математико-механический факультет ЛГУ.

Гимн ленинградского матмеха, исполнявшийся на мотив «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», начинался словами: «Мы соль земли, мы украшенье мира, мы полубоги — это постулат». Сомневаться в этом было невозможно. Главный кустанайский эксперт по математическим дарованиям, прочитав мою олимпиадную работу, сказал, что такой логики он еще не видел, но на матмехе вдруг выяснилось, что здесь и логика другая: то, что у нас в Кустанае считалось строгим доказательством, у этих небожителей в лучшем случае годилось в «эвристические соображения». На первом же коллоквиуме из целого потока никто из вчерашних звезд областного и районного масштаба не сумел доказать эквивалентность определений, если не путаю, предела функции по Гейне и по Коши — ироничный полубог каждый раз обнаруживал пробелы: «А это почему? А это почему?»

И я, наверно, битый час вдумывался в каждое слово, чтобы заранее предвидеть все вопросы и заранее на них ответить, и небожитель среднего звена признал, что да, можно поставить пятерку — только вы в одном месте начали доказывать то, что уже и так было ясно.

Вот те на! То было слишком мало доказательств, а теперь вдруг стало слишком много... Так где же нужно остановиться? Можно ли найти такой неделимый атом знания, по отношению к которому уже нельзя было бы задать вопрос «А это почему?», атом, истинность которого была бы самоочевидна?

Но кому самоочевидна? Гению, слабоумному, дикарю? Каковы *объективные* законы мышления, которые позволяли бы приходить к *неоспоримой* истине?

Ответа я так и не нашел.

Зато впоследствии мне пришлось работать на факультете прикладной математики, куда постоянно приходили теоретики-технари, самые большие умники на своей поляне. А их начинали рвать: и тут не доказано, и там не обосновано... Но они же применяли эти методы в своей отрасли, и самолеты как-то летали, антенны что-то ловили и передавали, станки крутились и вертелись — их теории, по крайней мере, не опровергались практикой...

Зато когда наш брат-прикладник приходил к каким-нибудь топологам или матлогикам, они точно так же начинали рвать и нас. Но ведь я и без небожителей, еще даже в Кустанае, пусть необоснованно, но как-то же получал правильные решения! Да что я, великие создатели новой математики, использующей бесконечно малые, относились к математике почти как к физике: проверяли новые методы «экспериментально», применяя их к задачам, уже решенным другим способом. В те годы был в большом авторитете Николя Бурбаки — псевдоним группы крупных и выдающихся математиков, пытавшихся достичь предела «обоснованности»; но и они признавали, что «путь к современному анализу был открыт только тогда, когда Ньютон и Лейбниц, повернувшись спиной к прошлому, решили временно искать оправдание новым методам не в строгих доказательствах, а в обилии результатов и их взаимной согласованности». Взаимной согласованности! То есть в круговой поруке сомнительных утверждений. А когда мне однажды попалось доказательство, которым великий Эйлер обосновывал свой собственный классический результат, то я увидел, что его бы выставили за дверь даже в Кустанае.

И я пришел к выводу, что доказательство — это всего-навсего то, что некая авторитетная социальная группа назовет доказательством. Найти же для всех самоочевидные основания всех оснований невозможно, *этот процесс не имеет конца и никогда не охватит все человечество.*

Даже и Гёдель что-то такое утверждал, хотя лично мне доказательство его знаменитой теоремы представлялось гениальным фокусом. Сколько ни городи аксиому на аксиому, все равно всего не перечислишь — что-то в этом роде, если по-простому. Но почему так получается, по-простому мне никак понять не удавалось. Пока я не утешил себя тем, что мир, который математики пытаются описать, имеет больше свойств, чем мы можем сформулировать теорем. Ведь множество теорем счетно, то есть их можно занумеровать, а скажем, множество всевозможных клякс на плоскости занумеровать невозможно, номеров не хватит. Хотя каждую отдельную кляксу можно рассмотреть и даже сфотографировать.

Словом, истинным мы просто-напросто считаем то, в чем у нас не хватает ума усомниться. *Доказанных утверждений не бывает, бывают только психологически убедительные*: истиной мы считаем то, что способно убить наш скепсис, а потому прочность истины зависит от силы нашего скепсиса. И ниоткуда не следует, что мы в своем скептицизме уже достигли последнего потолка — таких потолков в природе нет, как нет и самого высокого неба, выше которого подняться уже нельзя. В основе основ любая математика, любая физика, любая точная наука погружена в систему базисных предвзятостей, большей частью неосознанных, внутри которой все ее доказательства только и действенны. Строго же логически ни одно утверждение нельзя ни доказать, ни опровергнуть.

Поппер, правда, настаивал, что хотя доказать научную гипотезу действительно нельзя, опровергнуть ее все-таки можно. Однако и это неверно. Нет никакой возможности отличить опровергающий факт от проблемы, которую предстоит разрешить, — эта граница проводится совершенно произвольно в зависимости от того, оптимистическую или пессимистическую позицию мы займем по отношению к оцениваемой теории. А всякая по-настоящему глубокая идея может быть обоснована только при помощи себя самой.

Конечно, наука стремится построить истинную модель мира. И эта модель строится по тем же законам, что и панорамы в музеях военной истории: на первом плане настоящее бревно, чуть подальше картонный танк, но бревно было настоящее, а потому и танк кажется настоящим. А еще дальше вообще идет полная живопись — холмы, леса, дым, фигурки солдат...

Так и наука начинает со знакомых предметов, которые и составляют арсенал первичных аналогий: камешки, волны, облака... А когда дело доходит до вещей, которых никто не видел и не увидит — до каких-нибудь атомов, электронов, — их тоже начинают моделировать по образу и подобию камешков, волн, облаков... Возможно, и вся физика вырастает из четверки-пятерки базовых образов: камень, ветер, волна, огонь, облако — не обладая ими, наш мозг вообще не имел бы исходного материала для построения физических моделей. Это к вопросу, может ли машина мыслить: мыслить не мог бы даже наш мозг, если лишить его тела, и если бы наше тело было устроено по-другому, мы имели бы и другую физику. Что, если бы мы воспринимали мир исключительно при помощи запахов? Тогда бы у нас не возникло не только представлений «большой — маленький», «далекий — близкий», «внутренний — внешний», но даже и понятия об отдельных предметах, а следовательно и о натуральных числах.

Кстати говоря, даже и самым острым зрением мы не различали бы множество явлений, если бы не знали, как они выглядят. Когда-то в журнале «Наука и жизнь» любили печатать загадочные картинки — скопища разноцветных пятен, среди которых требовалось найти какую-то надпись. Сначала ничего не видишь — пятна и пятна. Но потом вдруг желтенькие пятнышки складываются в букву «с», затем к букве «с» начинаешь еще что-то пристраивать, покуда наконец не выступит надпись: СЛАВА КПСС. И после того как ты ее увидел, ты уже больше *не можешь* ее не видеть, она так

и бьет в глаза. Стало быть, если исключить предметы, которые *само собой* улавливает наше зрение из-за цветовых контрастов на границе, мы видим лишь то, что ищем, что заранее знаем. Ведь если бы мы не знали букв, мы бы никогда эту надпись и не сумели выделить из хаоса.

Бертран Рассел когда-то задал принципиальнейший вопрос: каким должен быть мир, чтобы он был познаваем? Если не путать познаваемость с предсказуемостью, с возможностью отыскания аналогий между ненаблюдаемым и наблюдаемым, ответ, мне кажется, таков: любой объект будет познаваем лишь при его тождестве с познающим субъектом, ибо отыскать аналогию не означает познать. И научиться предсказывать явление тоже вовсе не означает познать его.

Мы стали называть мир познаваемым только потому, что ученые мудро снизили критерии познания до уровня своих реальных достижений — потихоньку-полегоньку начали отождествлять предсказуемость и познание. Но познание того, что есть «на самом деле» — это тождество явления и его модели, а не способность модели давать верные прогнозы. Когда-то люди считали, что погодой управляют добрые и злые духи, и все-таки умели ее худо-бедно предсказывать в терминах хорошего-плохого настроения или соотношения сил этих духов. Но было ли это познанием «истинных» причин гроз и тайфунов?

Кстати, и уравнения теплопроводности Фурье, которыми мы до сих пор пользуемся, выводились из флогистонной теории, которая и в химии очень долго давала наилучшие результаты. Но можно ли назвать познанием тепловых процессов теорию, использующую несуществующую материю?

Уже, можно сказать, в наше время ученые моделировали электрон микроскопической частицей и достигали потрясающих результатов, хотя электрон точно не частица. Это снова означает, что вопрос «Что такое атом?» мы незаметно подменяем вопросом «При помощи каких манипуляций мы можем предсказывать его поведение?» Но ведь если бы нашим единственным органом чувств осталось обоняние, мы бы все равно научились как-то предсказывать то усиление, то ослабление каких-то запахов, даже не догадываясь о существовании лошадей, кошек и собак, которые эти запахи порождают

Итак, познание есть тождество модели и объекта, а познание самой модели в свою очередь требует ее тождества с познающим субъектом — по крайней мере, с какой-то его частью. Что-то в этом роде происходит, когда мы моделируем чужую психику посредством нашей собственной: мы называем это «понимать другого человека».

Этот итог подсказывает и ответ на вопрос Бертрана Рассела: *чтобы мир был познаваемым, он должен управляться психикой, во всем подобной человеческой.*

Но именно от этого, от антропоморфизма, от всех этих «корни ищут воду» и «камень стремится улечься пониже» последовательно и уходила наука, чтобы сделаться тем, чем она является. Наукой предсказывающей, а не познающей.

Но как же практические успехи науки? Они огромны и восхитительны. Только почему именно практический успех опять-таки следует считать критерием истины? Ученые — по крайней мере, наиболее самоуверенные и поверхностные — снова выбрали именно тот критерий, которому их «истина» и соответствует наилучшим образом, они снова подогнали критерий под результат. Особого греха в этом нет: все критерии каждой социальной группой создаются «под себя» — для глубоко верующего христианина истина познается откровением, а практические достижения суть не более чем соблазн. «Ах, вы руководствуетесь показаниями приборов? Значит вы обожествляете приборы. А мы предпочитаем верить собственной душе». Владимир Соловьев прямо писал, что материальные предметы познаются грубыми органами чувств, а явления мистические — более тонкими «щупальцами» души; но поскольку большин-

ство людей для мистики слишком грубы, то вполне естественно, что в массовом сознании материализм побеждает.

Знаменитый идеалист поспешил: материализм, сводящий человека к кратковременному скоплению молекул, всегда был слишком неутешительным именно для масс, так что сегодняшний разгул мракобесия со знахарством и ворожбой — всего лишь возвращение к норме, к торжеству жизни над наукой, ибо жизнь нуждается не просто в точных прогнозах, но в *утешительных* прогнозах. Что говорить, далеко не все исторические религии были утешительными. Скажем, загробное царство древних греков сулило мало хорошего, но все-таки и там жизнь не прекращалась, и притом были примеры, когда боги за особые заслуги кому-то даровали бессмертие, а позитивистская картина мира не знает никаких исключений. Не менее важно, что даже устрашающие мифы о злых духах неизменно ставили человека в центр мироздания: если какие-то могущественные силы старались ему повредить, он все равно оставался достаточно важной персоной, чтобы пребывать в центре их внимания. У позитивизма же нет любимчиков, для безличных законов природы человек ничуть не более важен, чем любое другое скопление молекул. При этом нет и тени возможности какими-то подвигами или жертвами умилостивить некие высшие силы — за полным отсутствием таковых.

Массовая же логика всегда будет служить утешению, не науке, но жизни. Мой же собственный ответ на вопрос «Что есть истина?» таков: *истина неотделима от механизма ее формирования*. Что выпускает мебельная фабрика, то и есть мебель, что порождает наш мозг — то и есть истина, а научная истина есть то, что порождается научным сообществом. Нет объективных законов мышления — есть физиология деятельности мозга, настроенного системой доминирующих нужд и предвзятостей. Мозг не может сформулировать некие окончательно правильные законы мышления, как диктатор не может издать закон, который сам не мог бы преступить.

Наш мозг вполне способен и научную логику использовать в метафизических построениях, практически отрицающих науку. Я много лет дружил с Григорием Соломоновичем Померанцем, который несколько раз с полнейшей простотой рассказывал мне историю своего духовного преображения. Он был страшно привязан к своей первой жене, которая, как я понимаю, еще и связывала его с миром обычных земных радостей, довольно далеких от него при его философской отрешенности. И когда во цвете лет она умерла, ему, как он выражался при полном отсутствии патетики, казалось, что с ним рядом по земле влачатся, пардон, его кишки. Но вот однажды он вдруг почувствовал, что смерть — то еще не все, что есть нечто более высокое...

И тут же на помощь пришла логика: ведь наука высказывается лишь о фрагментах мироздания, а из этих частных суждений невозможно вывести заключение о мире как целом; о мире как целом высказываются лишь мифологические и религиозные системы; но и там их нужно понимать не буквально, а метафорически, и доверять следует не внешним наблюдениям, но собственной глубине...

Вас не убеждает? А его последователей убеждает. И никакой иной доказательности, кроме психологической убедительности, не существует.

Астрологию же ее почитатели и вовсе считают наукой — в ней имеются и вычисления, и объекты в ней фигурируют вполне реальные: звезды, планеты...

Любопытства ради я пробовал испытывать на вменяемых вроде бы любителях астрологии примерно такую систему аргументов: для физики планеты и звезды ничем не отличаются от других предметов, порождающих поля той же природы, и воздействуют они точно таким же образом на все живые и неживые объекты; не может быть воздействий, оказывающих влияние лишь на социальную жизнь, — это означало бы, что человек не подлежит общим законам природы; но если даже так, если звезды и люди исключения в физическом мире, то почему открытие новых звезд не меняет прогнозов, а в них по-прежнему участвуют только те светила, что были открыты до

изобретения телескопа? Кроме того, в любой науке постоянно происходят уточнения результатов, обновления парадигм, возникают и решаются новые проблемы, — что осталось от теорий Демокрита и Гиппократа? А в астрологии ни уточнений, ни обновлений, ни списка нерешенных проблем, ни борьбы научных школ...

Но оказалось, что в глазах ее фанатов это-то и является главным достоинством астрологии: если в ней ничего не меняется, значит истина уже найдена, а вечные дискуссии в науке как раз и говорят о ее ненадежности!

Разве не логично?

Не только в метафизических — в самых элементарных социально-политических вопросах люди веками не могут прийти к согласию, поскольку *в естественных науках модели выбираются из соображений их практической эффективности, а при выборе моделей социально-политических люди пытаются решить сразу две взаимоисключающие задачи — добиться практической эффективности и выстроить утешительную или хотя бы психологически приемлемую картину мира.*

Как наука вырастает на фундаменте каких-то элементарных физических впечатлений, так и политические убеждения вырастают из элементарных и лично пережитых событий и образов, которые и выполняют функции первичных аналогий. Скажем, представление о нации вырастает из образа семьи — недаром и поныне самые пафосные пропагандистские образы националистов отсылают к семейным святыням: родина-мать, царь-батюшка, отечество, убивают наших братьев, бесчестят наших сестер...

Но если базовые аналогии физического мира у всех примерно одинаковы, то базовые образы мира социального бывают и прямо противоположными, и люди с радикально расходящимся запасом базовых впечатлений не могут прийти к согласию, даже если бы очень этого пожелали. Поэтому социальное согласие отнюдь не является результатом отыскания социальной истины, но, напротив, социальная истина является следствием социального единообразия.

Однако я отвлекся в своем стремлении показать, что *социальное согласие есть единственный универсальный критерий истины.* Именно поэтому мне не вполне близки идеи Полани о личностном знании: если бы роль личных предвзятостей в точных и естественных науках была решающей, личные модели мира не могли бы порождать коллективного консенсуса. А уж простого-то человека тем более волнуют не истоки знания, а его результаты. И сегодня, как, впрочем, и всегда, у магии гораздо больше шансов, чем у науки, захватить широкие массы. Ибо массы всегда живут по принципу «правда хорошо, а счастье лучше». А наука, как бы много она ни открывала, всегда еще больше закрывает. Она отрицает возможность добыть энергию из ничего, наложением рук исцелить смертельную болезнь, словом остановить бурю, по кофейной гуще узнать будущее, посредством блюдечка связаться с умершими, — согласитесь, эти чудеса будут куда позавлекательнее всех компьютерных томографов и мобильных телефонов. Поэтому борцы с лженаукой борются не с отдельными шарлатанами, одолеть которых было бы не так трудно, но с человеческой природой, для коей жизнь без надежды на чудо трудно выносима.

Не поленюсь повторить: сегодняшний разгул мракобесия — всего лишь возвращение к норме, ибо за все тысячелетия своего существования человечество только считанные минуты прожило без веры в чудеса, да и в эти минуты оно больше притворялось, что отказалось от нее, под давлением массированной пропаганды и — будем называть вещи своими именами — государственного террора. Ибо от веры в утешительные сказки человеческая масса никогда по доброй воле не откажется. Но если эту веру окончательно спустить с тормозов, цивилизация утонет в сладком океане утешительных обманов. *Роль тормозов и должна играть наука.*

Я опасаюсь, однако, что в моих соображениях относительно того, что научная истина есть социальная конструкция, неосторожный читатель расслышит перекличку

с идеями Фейерабенда-Лосева, — наука-де есть не более чем одна из форм мифотворчества. Ничего подобного: цели науки и мифотворчества ровно противоположны. В вечной борьбе между материальными потребностями в точном предвидении и психологическими потребностями в экзистенциальной защите, а также в иллюзии понимания — в этой вечной борьбе «души и тела» наука твердо становится на сторону точности, «тела», тогда как мифотворчество всегда служит психологии, «душе». И если даже в какие-то моменты постулаты науки могут показаться неотличимыми от мифологических («природа не терпит пустоты», «что верно для бактерии, то верно и для слона» и т.п.), то *отношение* к ним мышления научного и мышления мифотворческого неизменно остается совершенно различным: мышление мифотворческое старается оградить утешительную картину мира от разрушительных фактов — мышление научное стремится разыскать такие факты, чтобы умножить широту и точность прогностических моделей.

Таким образом, наука сумеет послужить плотиной против наводнения утешительных обманов лишь тогда, когда сохранит свои ценности, свой научный этос, заставляющий ученого наиболее усердно искать опровержения именно того, к чему наиболее страстно тянется его душа. Именно потому, что в природе вещей нет никакой «объективной истины», что любая научная истина исчезнет, если исчезнет породившее ее научное сообщество, — именно поэтому мы должны оберегать научный этос, предпочитающий утешению прогностическую точность и простоту прогнозирования.

Борец с эмпириокритицизмом любил вспоминать афоризм, восходящий вроде бы к Гоббсу: если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, они бы бешено оспаривались. Однако если бы даже при дележе земли или жилплощади у кого-то хватило ума и смелости оспорить формулу площади прямоугольника, против этого восстали бы прежде всего ученые, ибо у них есть ценности поважнее, чем жилплощадь или территория.

Именно поэтому *главная ценность научного слоя заключается не в том, что он производит, но в том, что он любит, к чему стремится*, а любит он нечто прямо противоположное тому, к чему стремится остальной мир. И потому научное сообщество должно разве лишь для виду соглашаться, но в душе глубоко презирать все авторитеты, которые ему навязывают сильные мира сего: верховенство материального производства, верховенство рынка или какое бы то ни было иное верховенство, кроме собственного бескорыстного стремления к точности. Только так в конечном счете наука и сможет что-то давать производству и рынку.

В последние годы зазвучало еще одно петушиное слово — *эффективность*. Но догадываются ли эффективные менеджеры, готовые вчера управлять лавкой, а сегодня академией, что наука и эффективность имеют между собою чрезвычайно мало общего? И наука появилась на свет так недавно именно потому, что древние народы гнались не за знанием, а за эффективностью.

Возможно, и обезьяны так и не могут превратиться в людей из-за того, что слишком уж озабочены эффективностью: они стараются не делать ничего, что не приближает немедленно к практическому результату. Если подвесить перед ними банан, наши мохнатые родственники станут прыгать до изнеможения и, лишь отчаявшись, примутся искать, на что бы взобраться. Если поблизости найдется ящик, они подтащат его ровно до того места, откуда уже можно с трудом допрыгнуть. А если ящик загрузить камнями, чтобы испытуемые не могли его сдвинуть с места, они примутся до изнеможения тянуть его, толкать, и только самые гениальные из этих прагматиков догадываются выложить камни. Притом ровно столько, чтобы можно было, надрываясь, доволочь ящик до нужного места — до такого, откуда опять-таки можно едва-едва допрыгнуть.

Многие великие державы древности до обидного (для рода человеческого)

походили на обезьян. В Египте была великолепно развита астрономия, но только для сугубой пользы — для прогнозирования разливов Нила. Египтяне знали приближенные формулы вычисления простейших площадей и объемов, но абстрактную геометрию не развивали. Не хватало воображения? Нам бы его столько: египетский мир богов и царство мертвых — сооружения еще более пышные, чем храмы и пирамиды, — вот куда была брошена их фантазия.

Зато древние греки заложили основы и логики, и геометрии, и теории чисел, отыскивая в их закономерностях закономерности мироздания, но — до низкой жизни, до эффективности эти аристократы духа не опускались, гордясь бескорыстной любовью к знанию: практическими делами занимались ремесленники, равнодушные к наукам, не приносящим немедленной пользы (стремление к пользе Сократ именовал рабской склонностью). Но разве, скажем, римлянам в их бесконечных войнах не пригодились бы пушки вместо катапульт? Для этого всего-то навсего требовалось изобрести порох. Правда, в те времена на него можно было лишь набрести случайно, ибо химия не только не существовала, но никто и не помышлял о ее создании: даже алхимиков впоследствии интересовали не бескорыстные законы взаимодействия веществ, а получение золота из неблагородных металлов и обретение бессмертия, — то есть стремились они или к ближайшей выгоде, или к чуду — опять-таки к эффективности.

И медицина, даже когда она уже начала нащупывать целебные средства опытным путем, все равно не собиралась отказываться от помощи чудес: к лекарствам прилагались еще и заклинания. Наука и родилась в том учреждении, которое не без успеха пыталось приватизировать мир чудесного — в церкви. Конфликт между наукой и церковью веками оставался внутренним церковным конфликтом, ибо простому народу во все времена было не до подобных изысканностей, а тогдашняя аристократия меча считала достойным делом исключительно войну и государственное управление. Вовлекли ее в научный мир, кажется, тоже прежде всего «чудеса науки».

Зато и распоряжаться учеными не должен никто, кроме ученых, — любой чиновник или менеджер может разве что их обслуживать, ибо, чтобы руководить учеными, нужно быть не просто умнее, но *идеалистичнее* — где вы такое встречали среди эффективных менеджеров?

Мне могут сказать, что и в нынешних академиках и директорах научных учреждений идеалистичности не густо, — если так, значит науке не помогут уже никакие припарки. Но реанимацию ее может осуществить лишь она сама. И, разумеется, лишь в том случае, если ее живые органы и клетки окажутся сильнее мертвых. Ну, а если внутри самой науки уже недостает бескорыстной любви к знанию, ее будет тем более не отыскать и снаружи.

Еще в девяносто втором году, когда либеральная пошлость только начала доставать своей самоупоенной убежденностью, что рынок есть высшее мерило красоты, истины и добра, — еще тогда я опубликовал в журнале «Нева» статью «Ученые или обреченные?», где пытался внушить новым господам, что наука не просто собрание отдельных, хотя бы и выдающихся, ученых, но это целый *жизненный уклад,* роль которого в жизни общества неизмеримо важнее любой «продукции». Я пытался даже тронуть сердца «демократов» тем, что именно в научной среде преобладают демократические убеждения, — и это, пожалуй, главное, что сегодня в моих глазах перестало быть достоинством.

Потому что ученым пристали не демократические, но *аристократические* убеждения, убежденность в том, что не менеджеры и не трудящиеся и торгующие массы, но именно они, ученые, суть соль земли и украшенье мира. Я уже не раз писал о роли духовной аристократии, но вопиющий в пустыне не должен экономить силы, поэтому возьму на себя труд высказаться еще раз в уверенности, что если читателю нечто подобное уже попадалось на глаза, то он почти наверняка почти все забыл.

Итак. Рынок и демократия ведут к диктатуре посредственности, если им не противостоит аристократия — общественный слой, взирающий на сегодняшний день

с точки зрения вечности, предпочитающий «долготу» — «широте», ставящий перед собой не тот вопрос, который сегодня считается главным: «Насколько широкого круга людей это касается?» — но вопрос, сегодня слишком уж непопулярный: «Многих ли это будет волновать через одно — два — три — десять поколений?»

Подобные ценности расхожий гуманизм заклеймит как аристократические и, следовательно, противоположные демократическим, ибо демократично только то, что служит повседневным нуждам так называемого простого человека. Однако подобная трактовка гуманизма и демократии основана на глубочайшем презрении к этому самому простому человеку и, в сущности, даже на отказе считать простых людей людьми. Прагматический взгляд на человеческую природу исходит из той посылки, что для человека физические ощущения неизмеримо важнее, чем душевные переживания, тогда как дело обстоит скорее наоборот.

Кто спорит — достаточно умелая и настойчивая пытка болью, голодом, страхом почти каждого заставляет рано или поздно забыть обо всех высоких фантазиях. Однако это вовсе не означает, что пытка вскрывает истинную сущность человека, — нет, пытка вовсе не обнажает, но *убивает* человеческую суть, способность относиться к плодам собственной, а тем более коллективной фантазии намного более серьезно, чем к реальным предметам.

Фантазии, грезы, сказки, легенды — они-то и живут долее всего. Поэтому, если Россия хочет жить долго («вечно»), ей абсолютно необходимы люди-легенды, события-легенды. Люди, нацеленные на дела, которые способны жить в памяти потомков, — эти люди и составляют национальную аристократию. Именно благодаря своей аристократии и выживают народы: их сохраняет не территория и не экономика, а память о великих предках (система легенд и фантомов) и надежда (греза) когда-нибудь оказаться их достойными. Да, народ сохраняют именно коллективные иллюзии, становящиеся смертельно опасными, если они уходят слишком далеко от реальности, и ведущие к распаду нации, если они исчезают вовсе.

Следовательно, те, кого действительно ужасает стон «Россия погибает!», должны признать первейшей национальной задачей развитие национальной аристократии, расширение круга людей, мечтающих оставить след в памяти потомков. И ученые могли бы сделаться ядром не очередной «демократической», растворяющей их в массе, но качественно новой Аристократической партии.

Такая партия жизненно необходима сегодняшней России, ибо из всего национального наследия — территория, хозяйство и прочая, и прочая — для исторического выживания нации наибольшую ценность представляет именно аристократия. В античные времена еврейский народ полностью утратил территорию, а затем и язык, но сохранил духовную аристократию, хранительницу грез, — и через две тысячи лет возродил государство на прежнем месте, восстановив и практически мертвый язык. Меньше века назад, уничтожив аристократию — духовную, интеллектуальную, большевики почти превратили Россию в другую страну. Нужно ли продолжать их дело демократическими методами?

Возрождение и защита аристократии есть часть одной из главнейших государственных функций — защиты слабых. Ибо в защите нуждаются не только малозащищенные личности (они хоть как-то да могут напомнить о себе), но и малозащищенные общественные потребности, те потребности, которые лишь очень немногими (аристократами) ощущаются как личные. В особой защите нуждаются именно те формы деятельности, которые прежде всего и обеспечивают народу долгожительство: это наука и искусство, чьи главные социальные функции — поражать воображение новыми знаниями, а также творить и поддерживать образы, способные чаровать даже и по другую сторону государственной границы, создавая тем самым и пресловутый национальный престиж.

Кто, скажем, уважает Италию за ее средней руки достаток? Ее чтут за Леонардо, Микеланджело, Ферми. А мы уже век проедаем авторитет Толстого, Достоевского, Мусоргского, Чайковского, Менделеева, Лобачевского, Ляпунова...

Но этот ресурс начинает подходить к концу.

Иссякание гениев более всего и должно беспокоить Аристократическую партию, ибо один национальный гений защищает свой народ от ощущения мизерности и никчемности лучше, чем двести дивизий и миллион миллиар-деров, — кто из них оставил след в вечности? А потому Аристократическая партия и была бы самой народной, ибо только она сознательно работала бы на вечность.

Она была бы и самой государственнической, ибо без поддержки государства у нас пока что невозможно осуществить ни один сколько-нибудь масштабный и долгосрочный проект.

Но она была бы и самой либеральной, ибо все великое достигается лишь свободным усилием человеческого духа.

Заниматься напрямую производством гениев, конечно, затруднительно, поскольку гений — это социальный статус, и присваивается он лишь тем, чьи достижения на себе как-то ощутила и масса, — чаще всего через легенду (реальные достижения того же Лобачевского в состоянии оценить дай Бог один из тысячи). Но восстановить и расширить хотя бы советскую систему отбора и поддержки особо одаренных детей и подростков можно, не отходя от кассы: интересы самых талантливых и должна отстаивать перед кассирами Аристократическая партия, постоянно напоминая, что каждый российский ученый, инженер, программист, завоевавший международное имя, укрепляет обороно-способность России, ибо работает на ее позитивный образ; невозможно не питать уважение и симпатию к стране, где стремятся и умеют взращивать таланты, — ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого.

И не нужно думать, что для Аристократической партии не хватит «кадров»: если их собрать по всей России, романтиков, мечтающих причаститься какому-то бессмертию, числом их выйдет целая Финляндия. Целый малый народ, составляющий незримое сердце большого народа.

Есть такая партия. Осталось лишь, как выражались еще недавно, сплотить ее ряды. И, кроме ученых, я не вижу ни одной хоть сколько-нибудь влиятельной и организованной социальной силы, которой бы это было по плечу и по уму, которая уже была бы столь близка и к осознанию своей особой миссии, и к аристократическому мироощущению. Им осталось только признаться самим себе: да, мы соль земли, мы украшенье мира.

Ощущение своей уникальной миссии и послужит экзистенциальной защитой самим ученым, которые нуждаются в защите от чувства мизерности и бессилия перед безжалостными законами природы в тем большей степени, что им эти законы известны лучше, чем кому бы то ни было.

В аристократический кодекс ученого я бы включил еще и запрет на любой политический энтузиазм. «А что, если это не так?!» — должен отвечать ученый любым политическим доктринам, следуя академику Павлову, именно этим возгласом ответившему товарищу Бухарину, развернувшему перед ним обольстительные дали исторического материализма. Ученому должна быть запрещена и жертвенность — не личная, личная жизнь его должна быть аскезой, противостоянием миру суеты, — но сословная; ученый должен помнить: что хорошо для науки, то хорошо для человечества, в мире нет ничего более высокого, чему бы следовало жертвовать.

Притом и от мира никаких чрезмерных жертв наука сегодня не требует. Человечеству достаточно отказаться от некоторой части банального, чтобы обрести шанс на небывалое. А именно прорывы в небывалое суть лучшая защита человека от чувства собственной мизерности, являющегося главной причиной самоубийств, алкоголизма, наркомании, немотивированной преступности...

И даже войн.

Именно достижения науки хотя бы изредка позволяют человеку ощущать себя великаном, как писали когда-то далеко не в самых плохих советских книжках для детей!

А великаны гораздо меньше нуждаются в самоутверждении на поле боя.

ЭХО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Роман Сенчин

Два «Возвращения»

Принято считать, что в военной прозе обязательно должны быть описания боев. Выстрелы, взрывы. В действительности в очень многих произведениях, которые относятся к военной прозе, к прозе о Великой Отечественной войне, в частности, самой войны мало, бывает, не звучит на страницах рассказа, романа, повести ни одного выстрела, но тем не менее мы понимаем, видим, всем существом чувствуем: это о войне, это — война.

Нередко в таких произведениях трагического не меньше, чем в описаниях самой кровавой мясорубки. Можно вспомнить, конечно, «Усвятских шлемоносцев» Евгения Носова, «Обелиск» Василя Быкова, «Звездопад» Виктора Астафьева, «Судьбу человека» Михаила Шолохова, «Двадцать дней без войны» Константина Симонова, «Живи и помни» Валентина Распутина... Подробнее остановлюсь на двух рассказах с одинаковыми названиями — «Возвращение» — Андрея Платонова и Гранта Матевосяна.

Рассказы, написанные людьми разных поколений (Платонову в 1945-м было далеко за сорок, Матевосяну — десять), имеют, по сути, одинаковый сюжет: возвращение с войны мужчины. Мужчины-победителя. Нет, наверное, в человеческой истории ничего более героического такой картины, но в рассказах мы видим драму.

Андрея Платонова часто вспоминают как одного из интереснейших стилистов в истории русской литературы. «Художественный язык Платонова не имеет аналогов», — утверждают многие и многие литературоведы. Действительно, Платонов — уникальный писатель, не разгаданный, не изученный, да и по-настоящему не прочтенный до сих пор.

Но порой стиль в некоторых произведениях Платонова застилает сюжет. Например, я отлично помню язык «Ювенильного моря», но о чем, собственно, оно — забыл напрочь, хотя и читал два раза... Многие его рассказы о Великой Отечественной (а Платонов был военным корреспондентом), по-моему, не стали творческими удачами писателя. Нехватку фактов, деталей автор старается компенсировать стилистической густотой, необычностью персонажей.

А вот в «Возвращении» все, как говорится, сошлось. Язык предельно лаконичный, но с первого же абзаца узнается неповторимый стиль и, если можно так выразиться, художественное мышление Платонова, герои рассказа — люди совершенно обыкновенные, взятые из миллионов словно наугад, и в то же время необыкновенные, уникальные, как, впрочем, и каждый человек, если на него посмотреть пристальнее. И потому их драме, распаду их семьи сочувствуешь до слез, а в финале рассказа до слез радуешься, что все наверняка выправится, наладится...

«Возвращение», на мой взгляд, не только лучший рассказ Платонова, но и один из самых драгоценных рассказов в русской литературе.

Вспомним сюжет... Гвардии капитан Алексей Алексеевич Иванов (назван он так автором наверняка неспроста — это одни из самых распространенных имен и фамилий в России) «убывал из армии по демобилизации». Убывает трудно, так как подходящего поезда все нет и нет, приходится даже возвращаться в часть. Армия, армейская жизнь

словно не отпускает Иванова... На вокзале он встречает девушку Машу, которая работала в столовой, а теперь тоже пытается добраться до родного города.

Подходит поезд, увозит их... Маше сходить раньше. Вместе с ней сходит и Иванов, двое суток проводит с девушкой. На прощание он говорит ей:

«— Дорогая моя Маша! Где вы раньше были, почему я давно-давно не встретил вас?»

Ответ Маши многозначителен и должен запомниться читателю, он, видимо, и есть стержень рассказа:

«— Я до войны в десятилетке была, а давно-давно меня совсем не было...»

Маше двадцать лет, она лишилась отца и матери и начинает жизнь будто с чистого листа. А Иванову нужно к семье — жене Любе и детям Петрушке и Насте, «которых он не видел четыре года».

Вообще странное чувство возникает, когда возвращаешься в родные места, к близким людям, которых не видел несколько лет. Кажется, все должно остаться, как было, и люди быть такими же, какими ты оставил их. А время идет, всё и все меняются... И капитан Иванов «не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста». «...Петрушка походил на маленького, небогатого, но исправного мужичка».

И повзрослевший сын встречает отца довольно сухо, вроде бы, тоже не совсем узнает его:

«— Ты отец, что ль? — спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе. — Знать, отец!

— Отец... Здравствуй, Петр Алексеевич!

— Здравствуй... Чего ехал долго? Мы ждали-ждали.

— Это поезд, Петя, тихо шел... Как мать и Настя: живы-здоровы?

— Нормально, — сказал Петр. — Сколько у тебя орденов?

— Два, Петя, и три медали».

Сын несколько разочарован: «А мы с матерью думали — у тебя на груди места чистого нету». — Дает понять, что и мать не бездельничала во время войны: «У матери тоже две медали есть, ей по заслуге выдали». И снова разочарованно удивляется: «Что ж у тебя мало вещей — одна сумка!»

Иванов пытается отшутиться, но наверняка вопрос сына не доставил ему удовольствия.

Встреча с женой: «Иванов приблизился к жене, обнял ее и так стоял с нею, не разлучаясь, чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека».

Тут появляется пятилетняя Настя. «Посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись руками в его ногу, а потом заплакала».

«Настька! — окликнул ее Петрушка. — Опомнись, — кому я говорю! Это отец наш, он нам родня!..»

Андрей Платонов — великий мастер писать детей. Именно «писать детей», а не «о детях», не «для детей». По сути, большинство и взрослых персонажей его произведений — дети в душе, люди, сохранившие в себе детство. И образы Петра и Насти, на мой взгляд, — вершинные в творчестве Платонова. Они не только потрясающе сильно написаны, но и малейшая деталь, тончайшая черточка их характеров, их поведения работает на финал, на последние строки рассказа...

Но до них еще далеко. Пока Иванов только вошел в свой дом, оглядывает знакомую обстановку, втягивает в себя запах родного жилища. Наблюдает за женой, детьми. А они — за ним.

«Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста: она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову».

Идет привыкание. Постепенное и трудное.

«Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя — с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом, и дети были

те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и быть должно. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем, — вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца-сына, слушал, как он дает команду и наставления матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему как к сыну недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер.

За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги, и помочь жене правильно воспитывать детей, — тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогачом у печки».

И тут, во время праздничного обеда, приоткрывается перед Ивановым неожиданная для него грань жизни семьи без него... Маленькая Настя отодвигает от себя тарелку с куском пирога, а на вопрос матери: «Зачем пирог отодвинула?», — объясняет: «А дядя Семён придет. Это я ему оставила. Пирог не ваш, я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет...»

«— А кто это дядя Семён? — спросил Иванов жену».

Получив ответ, что «ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили, он к нашим детям привык и ходит играть с ними», Иванов вроде бы забывает об этом человеке, но потом в доме обнаруживаются очки «дяди Семёна»...

Вечером, после того как дети уснули, Иванов начинает расспрашивать жену о «дяде Семёне» — Семёне Евсеевиче — подробнее. Точнее, допрашивать:

«— Ты его любишь, что ль?

— Алёша, я мать твоих детей...

— Ну дальше! Отвечай прямо! <...> А кто он по должности, где работает?

— Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе.

— Понятно. Жулик.

— Он не жулик. Я не знаю... А семья его вся погибла в Могилёве, трое детей было, дочь уже невеста была.

— Неважно, он взамен другую готовую семью получил — и бабу еще не старую, собой миловидную, так что ему опять живется тепло».

Постепенно Иванов выпытывает у жены, что Семён Евсеевич целовал ее, затем — что Люба «бывала совсем близкой». Уже не с ним, а с другим — инструктором райкома. «Один только раз... Больше никогда не было».

В общем, то же самое, что совсем недавно произошло между самим капитаном Ивановым и Машей. Но он об этом сейчас не помнит. Или не хочет вспоминать.

«— Войны нет, а ты в сердце ранила меня... Ну что ж, живи теперь с Сенькой и Евсейкой. Ты потеху, посмешище сделала из меня, а я тоже человек, а не игрушка...»

Петрушка, который не спит и слушает этот разговор, в конце концов, когда доходит до крика, не выдерживает и встревает. Пытается пристыдить отца, рассказывает вроде бы поучительную историю примирения соседей — Харитона и Анюты, у которых случилось то же самое. И отец вроде бы успокаивается, но утром уходит из дому.

Платонов не рассуждает о том, что стало главной причиной ухода Иванова — измена жены или что-то иное. Но мы можем догадаться: ему хочется начать жизнь сначала. На новом месте, с новой женщиной. Тем более что искать это место и эту женщину не надо — есть Маша и городок, в котором она осталась...

«Он еще ночью окончательно решил уехать в тот город, где он оставил Машу, чтобы снова встретить ее там и, может быть, уже никогда не разлучаться с нею. Плохо,

что он много старше этой дочери пространщика, у которой волосы пахли природой. Однако там видно будет, как оно получится, вперед нельзя угадывать. Все же Иванов надеялся, что Маша хоть немного обрадуется, когда снова увидит его, и этого будет с него достаточно; значит, и у него есть новый близкий человек, и притом прекрасный собою, веселый и добрый сердцем. А там видно будет!»

Конечно, легче всего осудить героя «Возвращения». Но попытаемся понять его, его чувства после того, как он вернулся домой, к своей семье. Вернулся не только солдат-победитель, истосковавшийся по мирным занятиям человек. Вернулся человек, кроме всего прочего, войной развращенный. Офицер, привыкший к своей значительности, к офицерскому окружению, ставшему средой его жизни. Платонов дает нам на это намеки в самом начале рассказа, очень коротко, почти протокольно сообщая о проводах Иванова в части, где он служил... Иванов узнал другие места и страны, кроме своего городка; наверняка за эти четыре года у него была не только Маша...

И вот он вернулся в маленький домик, где пахнет «тлением дерева», увидел жену «с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом», детей, которых непросто сердцем считать своими — четыре года они росли без него, именно «росли»: развивались, познавали мир, учились жить. И он, отец, в этом не участвовал.

Дочка плачет от страха, когда Иванов берет ее на руки, Петрушка же — настоящий глава семьи, он словно бы занял место отца. Недаром у Иванова проскакивают нотки неприязни к нему, сначала мысленно, а потом и вслух: «Ишь ты, сержант какой!.. Вот вырос у нас отросток...» А потом звучит и вовсе убийственное: «Большую волю ты дома взял. Да теперь уж всё равно, живи здесь за хозяина...»

Иванов попросту не видит своего места в семье, в этой новой, после годов войны и армейской службы, жизни. Из гвардии капитана он превращается в слабого, растерянного человека, который вскрикивает жалобно, «как маленький». И ему хочется вырваться отсюда обратно в тот большой мир, из которого он вернулся. Символом того мира может служить Маша, а точнее ее волосы, которые пахнут «природой». А здесь — «тление дерева»... Недаром во время тяжелого разговора с женой у Иванова вырывается: «Скучно мне, Люба, с тобою, а я жить еще хочу».

И он решает уехать, вернуться теперь уже к Маше, которая видела его в армии, воспринимала его офицером, гвардии капитаном, рискующим собой, сильным, решительным.

Спасают семью Иванова дети... Когда я читаю последние две страницы рассказа, у меня всегда появляется в горле комок...

Стоящий в тамбуре Иванов, прощающийся с городком «бывшим ему родным», бегущие к поезду фигурки... «...Пустой лежала деревенская дорога; лишь из города, из улицы, в которую входила дорога, бежали вдалеке какие-то двое ребят; один был побольше, а другой поменьше, и больший, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собою, а меньший, как ни торопился, как ни хлопотал усердно ножками, а не поспевал за большим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою.<...>

Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Бо́льший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у бо́льшего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу, — от этого он и падал так часто».

Сначала Иванов смотрит на детей с любопытством, гадая, успеют или нет добежать до последнего вагона поезда. Он не хочет сознаться, что это его дети. Но не выдерживает этой отстраненности.

«Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал

другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем. <...>

Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вослед его дети».

Рассказ «Возвращение» был опубликован в 1946 году в одном из самых популярных советских изданий — журнале «Новый мир». Опубликован, что называется, по горячим следам, тогда, когда раны войны были свежи и обильно кровоточили. Рано было говорить всю правду не только о той цене, какой была добыта победа, но и о трудности возвращения солдат в мирную жизнь. И закономерно, что рассказ вызвал бурю негодования. Об этом обязательно упоминают сейчас, когда речь заходит о «Возвращении», не скрывали этого и в 60 — 70-е годы, когда, после десятилетий перерыва, появились книги Платонова.

Вот передо мной второй том его избранных произведений 1978 года издания. Читаю в комментариях: «Рассказ без каких-либо объективных оснований был объявлен клеветническим». Да нет, основания были. И здесь дело не в строе, не в соцреализме, которому «Возвращение», конечно, не соответствовало. Настоящие, честные произведения редко когда и где бывают удобны и своевременны. Появись то же «Возвращение» в американской, английской, французской литературе в том же первом послевоенном году, наверняка и там возникли бы возмущенные отклики.

Да, финал рассказа дарит надежду, что теперь возвращение Иванова уже настоящее, что семья его сохранится, окрепнет. А может... может, и нет.

О возвращении с войны написаны сотни рассказов, повестей, романов. Остаются в памяти те, где возвращение показано не абсолютно радостным. Показано трудным. Не буду приводить множество примеров. Но вот, например, «Судьба человека» Шолохова, «Тишина» Бондарева. Тяжелые произведения.

Трудно вернуться и герою рассказа Гранта Матевосяна Овсепу...

Рассказ был опубликован в 2010 году в «Дружбе народов», спустя несколько лет после смерти автора — известного армянского писателя.Не знаю, было ли «Возвращение» напечатано по-армянски при жизни Матевосяна. Так или иначе широкому читателю рассказ при жизни автора известен не был. Быть может, из-за того, что сюжетно он очень похож на рассказ Платонова, автор держал его в своем архиве. Но, видимо, Грант Матевосян не мог его не написать: это его детские воспоминания о земляке, вернувшемся с войны.

Овсеп появляется неожиданно — жена Эмма во время войны получила на него похоронку, и вдруг чудо: муж жив.

Эмма вместе с женщинами их села занимается работой в поле, когда раздается далекий гудок отходящего от станции поезда.

«Поезд уже привез всех, кого можно было, и прошли те дни ожидания, когда женщины с замиранием сердца высматривали дорогу на станцию. И все же они сели и стали ждать, не появится ли кто. Четыре года они прождали — подождали и сейчас. И он появился. Сперва он был размером с кошку, потом стал расти и принял человеческий облик, и теперь женщины ждали, чей облик это будет. Он шел медленно, часто останавливался, а когда его уже вот-вот можно было узнать — присел покурить. Женщины, вытягивая шеи, поднялись со своих мест, зашагали навстречу, потом одна из них вскрикнула — и все встрепенулись и беспорядочно, как спугнутая птичья стая, ринулись к нему. А он, Овсеп, стоял и грустно улыбался, потом уронил шинель и вещмешок и, тяжело топая, побежал навстречу. Расцеловал всех почти одновременно: кого-то, наверно, раз десять, другого ни разу, — никого еще толком не узнавая, без возможности осмотреться. Когда шел к полю вместе с женщинами, обнимая их за плечи, спросил: «А где Эмма? Что она делает?». А Эмма плакала у него под боком.

— Жнете, — сказал он, как иностранец, который знает несколько слов на армянском и теперь проверяет, верно ли помнит название их работы».

Овсеп здоров, крепок, он скидывает «тяжелую от медалей» гимнастерку и

начинает скашивать пшеницу. Но бросает — «слишком однообразная работа, сердце не выдерживало». Женщины отправляют Овсепа и его жену домой.

По дороге, которая должна бы быть радостной (Овсеп даже берет жену на руки), происходит тяжелый разговор, который я позволю себе привести почти целиком — несмотря на внешнюю простоту слога, рассказ богат полутонами, в нем очень сильный подтекст.

«— Бывало так, чтобы ты меня забыл? — торопясь поскорее спуститься из его рук на землю либо остаться в них навсегда, спросила Эмма.

— Бывало.

— А после в этом раскаивался?

— Наверно, — сказал муж. Потом, помолчав недолго, сказал: — Не знаю, я про это еще не думал. — И поднял ее снова, чтобы поцеловать. Это был бы очень неискренний поцелуй, и Эмма его упредила:

— Наш ребенок умер.

Муж опустил ее на землю.

— Значит, был ребенок, да?

— Был. В два с половиной года умер...

Потом они шли молча. Мужчина старался ощутить грусть и для этого пытался представить себе своего ребенка, но никак не мог. Женщине только на миг припомнились волосики дочки, перехваченные бантом, потом она вспомнила про рыжего инспектора финотдела и заплакала.

— Мальчик был или девочка?

— Девочка.

— И ты завязывала ей белый бант?

— Завязывала.

— Красивая была?

— Хорошая была девочка.

— Расскажи хоть немного, какая она была.

Скорбь о ребенке зарубцевалась в душе Эммы. Давно уже в ее сердце не было той боли, которая не давала забыть моргающие глазки дочери, ее жесты и бесхитростно-умные вопросы. Перед глазами Эммы без конца, упорно до отвращения, вставала рыжая шевелюра инспектора, и она сбивчиво проговорила:

— Хорошая была девочка... Головка каштановая... На меня не была похожа, да и на тебя тоже не похожа... Глаза большие... Нет, рот был как у тебя. Я завязывала ей бант. Ей очень шло...

Потом, передернувшись, добавила:

— Большой белый бант завязывала...

— Жалко, — сказал муж и сам испугался того, что сказал: будто выражает соболезнование какой-то случайной попутчице, будто речь не о его ребенке. — Так, говоришь, хорошая была девочка?

— А-ах... — выдохнула Эмма, отстраняясь от мужа. — Был ребенок. И умер. — И с отвращением к себе и с ненавистью к этому идущему рядом мужчине, резко и сухо, враждебно выговорила:

— Я с другим была. С инспектором финотдела. Ты его знаешь. Он приходил к нам домой. Он первый начал, но если бы я не позволила, не стал бы. Поступай как знаешь. Хочешь уйти — уходи... Четыре года ни письма, ни фотографии, ни весточки, ни слова привета, никакой надежды... Четыре года... Я не знаю... Решишь разводиться — разводись... Ну что, все?

В эту минуту Эмма на все была готова: и надавала бы пощечин этому мужчине, перед которым она, бог знает почему, должна отчитываться; и убила бы себя, чтоб избежать позора этой минуты; и по земле бы каталась и выла, колотя ногами. Прошло еще немного — и она уже собралась идти назад, к женщинам в поле, чтобы сказать им: «Я ему изменила, он больше не мой муж. Кто сберег себя в чистоте, пусть ночью пойдет к нему, а я уйду отсюда... Я не знаю... не знаю, куда мне деваться... К черту...»

Муж чуть замедлил шаг, повернулся к ней вполоборота. Эмма увидела, как стала глубже ложбинка между бровями.

— То есть как это — «была с другим»?..

— Да вот так, — с последним остатком ожесточения выговорила Эмма. — Он приходил к нам в дом.

— Не понимаю... — пожал плечами Овсеп».

Кажется, что они не дойдут до порога. Разбегутся в разные стороны. Точнее, Эмма убежит прочь. Может быть, к инспектору. Но ее удерживают нити воспоминаний. Воспоминаний из времени до войны, когда они с Овсепом жили одной жизнью. И она пытается передать тепло того времени мужу — напоминает о его любимой фуфайке.

«— Твою фуфайку я сохранила. Помнишь, она на локте чуть-чуть протерлась? Я заштопала, так что она в целости... — произнесла Эмма и почувствовала, что это прозвучало нечестно: как попытка смягчить его сердце воспоминанием.

<...> Муж шагал с опущенной головой. У него и походка была молодая, и виски не поседели, и кожа на шее гладкая, без морщин, но он казался постаревшим. Так выглядят очень усталые мужчины. Эмме вдруг захотелось горячей водой помыть ему голову, потом грудь до пояса. Потом она стала бы мыть его волосатые ноги: закатала брюки выше колен и скребла бы их и терла в горячей воде. Сказала бы ему: «Ты кури, бог мой, душа моя, жизнь моя, солнце мое, ты себе кури — я помою». Эмма подумала, что они с Овсепом когда-то над этим смеялись, но еще подумала, что ничего другого не стала бы делать — только это: «Ты кури, умереть мне за тебя, — я помою».

Молчание Овсепа выводит ее из себя:

«Эмма загородила мужу дорогу:

— Ну прости, прости, прости!.. Что хочешь делай, только прости, только будь снова моим...

Если бы это он изменил ей, Эмма бы не простила, потому что Овсепа с его настоящим ей было мало. И с прошлым и настоящим вместе — тоже было бы мало. Эмме нужна была вся его жизнь, со всеми ее мгновениями — так сильно она его сейчас любила. Но Овсеп — глядите-ка! — подхватил жену на руки и понес: пах-пах, пах-пах... Что-то похожее в жизни Овсепа уже было: однажды он тащил на себе раненую санитарку, она умерла у него на руках, и он оставил ее и понес другого раненого... какое дело Овсепу до того, что на свете есть рыжий инспектор финотдела или что какие-то двое в этом мире спали вместе, а не врозь! И кто он такой, чтобы у него просить прощения! На свете столько всякой грязи, и охотников замарать тоже не меньше... И кому из них взбредет в голову у кого-то просить прощения!.. Пах-пах, пах-пах... И все же наивность женщины, которую он нес на руках, была ему по душе: было что-то детски-трогательное в ее мокрых глазах с покрасневшими веками, в уставшем от плача, обмякшем теле.

Овсепу захотелось сказать ей что-нибудь успокаивающее:

— Так значит, фуфайку ты заштопала? Цела, значит, фуфайка?..»

Они доходят до дома. На Овсепа лает большая собака, в которой он с трудом узнает Бобика, который был совсем крошечным, когда Овсеп ушел на фронт.

«— Боб! Боб, Бобик... У-у-у ты, псина... Р-р-р, гав, гав, гав... Ну-ка рявкни басом — р-р-р гав!...

Пес положил передние лапы на забор и старался вспомнить, кто этот ласково говорящий с ним человек. Овсеп приблизил лицо к самой морде собаки и неожиданно пролаял: «Гав!» Пес отпрянул и свалился под себя».

Овсеп с некоторым недоумением оглядывает родной двор, сад, обстановку дома. Ложится на кровать.

«Он спрятал лицо в подушку и, задыхаясь, долго-долго повторял: "Спасибо... спасибо..." Спасибо за то, что за дверью лает пес, за то, что калитка в заборе поет свою сердитую песню, за то, что у Овсепа есть постель, заправленная чистым бельем. И ведь это не просто пес, или калитка, или постель, это все — Бобик, Боб для Овсепа. И ему

казалось, что он плачет. Потом он долго вслушивался в покой дома. Было слышно, как часы размеренно бегут вслед за временем и как мышь скребется под половицей. Прошло еще немного — и Овсеп уже слышал только самые тайные шорохи. Слышал, как где-то под потолком паук прядет свою сеть: Овсеп слышал шелест паутины. Было так тихо, что казалось, слышно, как паук останавливается, а потом снова начинает лихорадочно трудиться».

Кажется, произошло настоящее примирение с прошлым, отсечение годов разлуки с их изменами и болью ради новой общей жизни. Но — нет, непросто от этого прошлого освободиться:

«И все же что-то не отпускало Овсепа, мешало ему заплакать. И будто кто-то чужой из потаенных углов дома смотрел ему в спину. Овсеп обернулся: на него ласково взглянули семь котят и сердито — олень на ковре. «Тик-так» — повела глазами кошка на часах. Ничего чужого вокруг не было, но какая-то тревога давила на сердце. Овсеп свесил ноги с кровати и стал искать по карманам кисет».

И тут он замечает чужую вещь — пепельницу (вспомним про очки в «Возвращении» Платонова).«Этой пепельницей пользовался посторонний. И в то же мгновение Овсеп вспомнил рыжую шевелюру инспектора. "Он первый начал, но если бы я не позволила, не стал бы". И тут же забор, тыквенные грядки, ласточкино гнездо, топор, самовар — все разом отодвинулось, ушло из сердца, из души Овсепа, и Боб лаял где-то далеко-далеко, в глухом ущелье...»

В душу Овсепа врывается вроде бы преодоленная война:

«Это было знакомое чувство. В День Победы, днем девятого мая, спустя двенадцать часов после сообщения о капитуляции, пулеметная очередь из подвала изрешетила тело ротного командира Соболева. На пару минут ротный остолбенел, потом пришел в бешенство: собрал все гранаты, какие нашлись в роте, и, хотя пулемет уже заставили замолчать, собственноручно забросал ими подвал. Он бросал одну, ждал, пока взорвется, и бросал новую, потом кинул штук десять сразу. Потом приказал взорвать здание, а сам придерживал повисшую на одной коже левую руку и все отплевывался. «Поглядите, братцы... Нет, вы только поглядите! Тьфу-у!.. Что наделал, а?.. Тьфу ты!.. Христом Богом прошу, ну оторвите вы ее, на что она мне такая...» И пока его везли в санчасть, твердил: «Все равно не получится, ничего уже не получится... Даже если получится, на что она нужна такая?.. Надо же, глядите, братцы, как он ее попортил, сукин сын!..» И морщился от отвращения: «Ладно бы вчера ранило, а то ведь... Тьфу-у!..». Потом начал ругаться и уже до самого конца, часа два без передышки, матерился. Это была и брань, и отвращение, и плач по тому, что нашел и тут же потерял. Так плакали только мужчины, умиравшие девятого мая...

Вошла Эмма, нагнулась взять посуду из шкафа, и Овсеп увидел линялый край ее юбки, поддетой снизу. Она была такая маленькая, чуть съежившаяся, ходила в обносках под платьем, в руках держала яички, а глаза мокрые, красные от слез, и ничего в ней не было от чудовища, в которого запустить бы мраморной пепельницей. Капитан Соболев был вдвое счастливее — он мог ругаться и швырять в подвал гранаты. Здесь пулеметчика не было. Здесь была только нужда, одна нужда — даже в застывшей сердитости оленя, и в настенных часах с римскими цифрами на циферблате, и в низком потолке, и в закопченной жестяной печурке — во всем... На кого тут кричать, что ломать, кого проклинать!..

И Овсеп взвыл. Он плакал безутешно, как ребенок, дрожа от отвращения, как умирающий капитан, сердясь и с непреодолимым желанием разбить что-нибудь. Выплакался до конца, пока не уснул».

Что будет дальше? Нет, не после того, как он проснется, не завтра и даже не через неделю... Впереди и у Овсепа, и у Эммы наверняка долгие годы жизни. Но удастся ли залечить те раны, что появились за четыре года разлуки, за четыре года войны?

И сколько таких возвращений было в те послевоенные месяцы...

Ольга Балла

Есть город золотой

«Пилигрим» Натальи Громовой можно прочитать по меньшей мере двояким образом, в двух перспективах (хотя текст максимально прямой, простой, в том смысле, что — без двойного дна): взглядом человека верующего и неверующего. Похоже, первый взгляд — взгляд самого автора. Мой взгляд — второй, им читать и буду.

Я представляю себе (во всяком случае, могу вообразить), как это могло бы быть прочитано глазами, умеющими видеть вещи в религиозной перспективе. Такая перспектива ясно задана как названием повести, так и ее финалом — финалом-выдохом после всех рассказанных в предыдущих главах испытаний и бед, — в котором главная героиня, вспоминая свою жизнь, идет по Иерусалиму, по Старому — вечному — городу. «Время — оно здесь. Лежит, свернувшись кольцами стен Старого города.» (Почему-то думается, что образ кольца отсылает к вечности — к древней, еще дохристианской, доиудейской древности, в которой время-уроборос заглатывает собственный хвост — и бесконечно повторяется, и не проходит.) Имя Того, к Кому люди нашей культуры обычно приходят в Иерусалим, в этом ключевом, смыкающем книгу послесловии ни разу не названо, но в этом и нужды нет (или, вернее, — все вокруг — Его имя), все и так вполне прозрачно. Иерусалим — вообще такое место, где все говорит о смысле. Или имеет большую, устойчивую традицию такого прочтения. Такое место, куда — независимо, наверно, от степени и характера своей религиозности, люди нашей (иудеохристианской в своих корнях) культуры затем и едут, чтобы собрать свою жизнь вокруг этой, насыщенной надличной памятью, точки — в обозримую цельность.

«Здесь, в центре Иерусалима, — пишет Громова, — повсюду — большие и маленькие белые пористые камни; ветер и Время продули в них множество отверстий. Они рассматривают тебя цепким глазом прошлого, и кажется, что если войти по кривому проходу в одно из них, то попадешь в иное Время. Это напоминало мне вглядывание в цепочки человеческих жизней, уходящих вглубь. Ты их знаешь близко и вдруг начинаешь понимать, как связаны они в толще Времени, как между собой переплетены, почему они такие, а не другие. Как входят в историю.

Для каждого Время нашло свое место. Те, кто сегодня живет рядом, — встают в пазы и становятся частью общей Книги».

Человек приходит к такой Истине, в свете которой все пройденное — включая невыносимое, тупиковое, даже ложное и слепое — получает собственное место в Целом. То есть смысл. То есть — оправдание.

«И крыши иерусалимского города, отраженные в небе, отражены на земле, а кроны деревьев отразились под землей корнями, и эти огромные сплетения земли и неба стали переплетом вечной Книги Бытия, которая открывается так просто и так ясно — здесь, в Иерусалиме».

Чего, казалось бы, яснее?

Был некоторый ложный путь, кружил, петлял, упирался в тупики, — наконец выправился, стал истинным. Стало видно далеко во все стороны света.

Но рассказанное можно прочитать и иначе, — тем более что в религиозном его толковании нет большой необходимости.

Наталья Громова. Пилигрим, или Восхождение на Масличную гору // «Знамя». — 2015, № 9.

А вот в общечеловеческом — очень даже есть.

Я бы сказала, что это — повесть-самопрояснение. Она — о добывании свободы и правды из случившегося под руками трудного вещества жизни. Еще проще: о чужом и своем. И об узнавании своего, и о выщупывании его из глухой и косной массы чужого.

Даже не важно, в какой степени этот текст, написанный от первого лица, автобиографичен. (Вообще-то кажется, что автобиографичен — по некоторой особенной незащищенности и, особенно, по его ключевой, переломной точке, в которой у героини, в катастрофической Москве октября 1993 года, в чудовищном постсоветском роддоме умирает едва родившийся младший сын. Это рассказано так беззащитно-прямо, что сразу думаешь — такого не сочинить.) В некотором смысле все, что здесь рассказано, могло произойти с каждым, с каждой — да, в сущности, если хорошо всмотреться, с незначительными вариациями, — с каждым и происходит.

А история рассказана как будто очень простая. Это история одиночества, во многих чертах действительно очень узнаваемая. История детства с его типичными уязвимостями и неуютами («Чувство экзистенциального одиночества появилось у меня еще в детском саду. Я как-то отчетливо поняла, что есть какое-то особое зло, которое ты видишь, даже осязаешь, но ничего не можешь с ним поделать. Оно было для меня настолько непреодолимым и ясным, что мне и в голову не приходило делиться этим с родителями») — и непонятно откуда взявшимся, но твердым и ясным, сопровождавшим героиню чуть ли не с самого начала знанием о Дожизни — более подлинной, чем все, что видится вокруг: «Это был абсолютно понятный мир, лишенный опасности. Там был открыт смысл слов, и люди говорили друг с другом беззвучно. <...> В Дожизни не было Времени. Там было — Всегда. Но как же я могла оказаться здесь, где все стремилось, летело, двигалось к своему концу? Где было страшно, больно, одиноко, а будущее неизвестно?» История книжной юности на фоне позднесоветских нелепостей. История неудачного замужества, трудной семьи, которая, хоть и не с первой попытки, распалась. История невозможностей и блуждания в тупиках, ложных и случайных шагов. История вообще не клеющейся жизни, нескладность которой — полная сперва самых счастливых надежд — началась с соединения (по существу почти вынужденного!) с довольно чужим и далеким по своему внутреннему устройству человеком.

«Центром нашей семейной жизни, протекавшей по большей части на кухне, был стол, за которым я читала ему Диккенса, том за томом, а он слушал, рисуя при этом какой-то галун или белогвардейский погон». (Молодой человек был специалистом по истории военной формы — униформологом, и это поглощало все его душевные и умственные силы.) «На этом чтении и строился наш брак. В то же время нас соединяло несказанное ощущение, что вместе мы словно длим общее детство, где весело и легко, бродят прекрасные единороги, и так будет всегда. Я хотела от него признания в любви по всем канонам. Но он только и сказал, что я для него — воплощение жизни».

(Вообще, наверное, это самое сильное, что в принципе возможно в таких случаях сказать и почувствовать, — только вот вышло не так.)

Эта чуждость как будто не сразу себя обнаружила — хотя, оглядываясь назад, героиня понимает, что могла бы догадаться и пораньше.

«Оказалось, что доброта Дон Кихота была просто бесконфликтностью и желанием быть для всех приятным. Она имела слабое отношение к реальности».

Дальше — хуже, хуже и хуже. С этим Володей, оказывается, вообще не о чем особенно говорить — да он и не слушает. «Десять лет проскочили абсолютно незаметно, но мы с мужем уже не понимали и почти не слышали друг друга». В какой-то момент он просто уходит к другой — «у меня там все очень серьезно», — оставляя героиню на развалинах ее хоть как-то устроенной жизни, и пока та думает, что с этими развалинами теперь делать — не менее внезапно возвращается. Но по-настоящему общей жизни уже никакой не будет.

Случайно обнаруживает свою чуждость и недоброту Володина мать, вызывавшая у героини повести симпатию, интерес, доверие — едва ли даже не большие, чем сам, погруженный в собственные интересы, Володя. «Я, затаив дыхание, ждала, может быть, она выйдет и будет говорить со мной. Ей я могла рассказать о том, что я придумала, прочитала, хотела бы написать, мне почему-то казалось, что ей это очень интересно. С ней начиналась та жизнь, которой у меня абсолютно не было с Володей». Эта женщина, казавшаяся такой расположенной, близкой, понимающей, вдруг проговаривается. «Так трудно жить, — говорит она кому-то по телефону, уверенная, что ее никто не слышит, — когда рядом чужой человек».

«Я зарылась лицом в подушку, чтобы сдержать рыдание. Мне стало ужасно страшно осознать себя "чужим человеком". Но почему-то я все равно любила ее. Только когда она смотрела на меня устало и ласково, в голове у меня кто-то снимал шляпу и говорил мне с усмешкой: "Ты — чужой человек". И тогда я делала шаг назад и становилась взрослее».

В повести присутствует еще один персонаж, странный, безумный: бывший милиционер Толя. («Я был обычный мент. После контузии стал по-другому все видеть».) Он возникает в ней пунктиром, на разломах, щедро предлагая героине «разнообразные образчики своего духовного опыта» — один экзотичнее другого. С него вообще — хотя речь совсем не о нем! — начинается все повествование. А зачем он тут? А я думаю, затем, чтобы своей дикостью, своей невмещаемостью ни в какие рамки здравого смысла указывать за пределы того, что этим самым здравым смыслом освоено. Чтобы эти рамки и пределы расшатывать и ломать.

И самое главное: это с ним наша героиня впервые заговаривает об Иерусалиме. О том, что, значит, под небом голубым есть город золотой. Причем именно в самом начале, когда — у нее как раз рушится жизнь — ей ни о чем подобном думать никаких сил недостает. Просто рассказывает Толе об этом городе — сама она его еще и не видывала! — вместо Володи, это он должен был бы рассказать, это он — что в 1990 году удавалось еще очень немногим — туда ездил. Толя затем и пришел. Но Володя-очевидец Иерусалима не придет и ничего не расскажет: он как раз ее бросил. Приходится самой — что знает.

«Иерусалим — город, обнесенный стенами из широкого желтого камня. В Иерусалим поднимаются, восходят — это называется «алия». На Масличной горе мертвая желтая кладбищенская пустыня, ступеньками теснятся плиты могил до самой вершины горы. Здесь находятся могилы еврейских праведников, и, когда протрубят трубы Страшного суда, они встанут и войдут в Иерусалим через овраг, где когда-то протекала река Кедрон. <...>

Но самое удивительное — это то, что в Иерусалиме сошлись три времени. Иудейское, Христианское и Мусульманское. И каждый видит только сегмент своего. Иудейский Мессия должен спуститься с Масличной горы и войти в Золотые ворота. Мусульмане прочли в Торе, что будут изгнаны этим Мессией, поэтому замуровали Золотые ворота и перед ними устроили мусульманское кладбище. Иудейский Мессия не может идти по могилам. Христианский Мессия уже спустился с горы, въехал в Золотые ворота. Все уже случилось в одном времени и не случилось в других временах».

Толя жадно слушает — по собственным причинам. Когда-то у него туда уехала любимая женщина, и это сломало ему жизнь навсегда.

«Я подумала, что Иерусалим, может, вовсе и не город. Это мечта затерявшегося в мире человека найти ответы на мучающие его вопросы».

И что-то остается от этого разговора. И начинает свою тихую, незаметную работу — разумеется, не озабоченную никаким соответствием никакому здравому смыслу. (И читатель тоже это сквозь все повествование, фоном, — помнит.)

Со смертью новорожденного сына героиня вернулась в одиночество — хуже всех прежних. Мучительная совместность с Володей еще длилась, но одиночество она только усугубляла.

Работала в школе. Растила старшего сына, умного, книжного, сложного мальчика. Старалась вернуться к жизни после смерти младшего. «Я лежала и думала,

что вместе с умершим малышом у меня забрали что-то еще. <...> мне было ясно, что я — неживая. Единственное, что выдавало меня за живую, — это то, что я не могла выдерживать взглядов и громкого голоса. У меня не было никакого покрова». Болела. Пыталась лечиться. Не слишком помогало.

И когда одиночество казалось уже совсем безнадежным, оно вдруг самым нежданным образом оборвалось.

«Однажды, — рассказывает Громова о коллеге, общение с которым поначалу выглядело как вообще невозможное, а потом толкалось в разные тупики и тоже многого не обещало, — мы ехали в метро с работы, перебрасываясь ничего не значащими фразами. Я что-то рассказывала со смехом о массажисте, о том, как он ищет связи тела со всеми прежними грехами. Наверное, я больна, но не знаю чем, потому что пережила несчастье.

Вдруг он сказал:

— Это видно.

Почему-то я растерялась. Что ему могло быть видно, почему он так на меня смотрел, и вообще разве ему есть до меня, до моего горя, до моей боли какое-то дело? Все это пронеслось в голове, но вместо того чтобы закрыть все окна, щели, двери, уткнуться в угол, в темноту, я сказала:

— У меня ребенок умер, — сама не зная, зачем это говорю.

С этого началось мое возвращение к жизни».

Сказала самое страшное, самое трудное. И с этого все началось — только вот рассказ на этом месте кончается (дальше — только вневременное послесловие об Иерусалиме). Наверное, началось все самое настоящее, о чем, конечно, нужен уже совсем другой рассказ — или (что, может быть, вернее) никакого.

Можно подумать, конечно, что перед нами — история о чуде: ведь одиночество тогда, этим выдохом правды, действительно как будто раз и навсегда кончилось? Тот человек, которому героиня призналась в самом невыносимом, — так ведь, похоже, с нею и остался, и хотя нам не рассказано об этом почти ничего, у нас есть возможность догадаться — да хоть по авторским интонациям, — что это получилось хорошо. «Книга жизни пишет меня; она смотрит в меня, и на ее страницах возникает растущее древо из детей и внуков и тот человек, который спас меня. И я верю, что его линия жизни будет идти до конца рядом с моей».

На самом-то деле и одиночество никуда не исчезает — а куда же оно денется? — оно просто становится осознанным, принятым, входит в берега, не разъедает жизни, но образует ее: «Но я ничего, в сущности, не знаю, кроме того, что — когда-то меня окликнула моя мама и я вышла в этот мир, мне дали имя, и я отправилась в путешествие, в котором, кто бы ни шел рядом, все равно ты всегда один».

Может быть, в Иерусалиме — отчетливее всего на всей видимой поверхности жизни — проступила та самая Дожизнь, о существовании которой героиня каким-то образом знала в детстве? Та, в которой и одиночество не страшно — а может быть, оно вообще бывает только здесь, в жизни, с ее склонностью возводить и укреплять границы? Скорее всего, так.

По всей вероятности, автор правее неверующего читателя; ближе к жизнеобразующей истине. Жизнь в этой оптике складывается у нее как путь пилигрима (оттого и название), к этой Истине ведущий, как восхождение на Масличную гору (а на нее, получается, в некотором смысле ведут все, даже ложные и тупиковые шаги — в той мере, в какой осознается их ложность и тупиковость?).

«Я стала все чаще думать, — признается героиня еще задолго до Иерусалима, — что не только тело или улицы города, но и весь наш мир есть Книга. И что я тоже — книга, которую я пишу вместе с Кем-то неведомым. Я стала замечать, что жизненные повороты это и есть главы моей судьбы, которые упорно мне о чем-то говорят». Неверующий же читатель, прожив вместе с автором эту историю, думает: Господи, а может быть, она (вот именно для меня) — просто о том, что всегда надо — выпрямляет, выталкивает из хаоса, помогает находить единственное свое, потому и надо — ну да, не всегда получается, иной раз не получается совсем, но надо, надо, надо — говорить, думать и, главное, делать — правду?

Александр Котюсов

Роман для людей

«Ты знаешь, кто такой Юрий Покровский?» — спросил меня ранним утром пятый айфон голосом знакомого московского редактора. — «Он в шорт-листе "Русского Букера"! Нижегородец! Найди мне его книгу! В Москве нет!»

Так не бывает. Ну или бывает, но только в кино. В Америке сейчас же бы заговорили о неограниченных возможностях и глобальном равенстве. Но мы не в Америке, а в России. И я не про Сэлинджера или Джека Лондона. Я про нижегородского писателя Юрия Покровского, чей роман «Среди людей» неожиданно для всех попал в финал одной из самых престижных литературных премий России.

Шорт-лист «Русского Букера—2015» представлен грандами отечественной литературы и теми, кто поступательно движется к писательским постаментам, чтобы занять на них достойное место. У каждого, пусть и в разной степени, приличный бэкграунд — публикации в ведущих литературных «толстяках» страны, книги, вышедшие в главных российских издательствах, номинации, премии. У Покровского ничего нет! Наберите в любом поисковике его ФИО и убедитесь — для миллионов читающих россиян еще вчера такого писателя не существовало. «Среди людей» — его первый роман, сразу же пробившего крышу современного литпроцесса.

Скромный, взрослый, с гвардейскими усами преподаватель института Юрий Покровский рассказывает мне удивительную судьбу своего романа. «Среди людей» был издан тиражом — 100 (сто единиц, не тысяч!!!) экземпляров. В магазинах книга не продавалась. Она туда даже не поступала, автор не ставил такой цели. В интернете роман также не выложен. «Издал для себя, дарю друзьям, остались последние тридцать штук», — протягивает Юрий Николаевич мне свой роман. — «Полгода назад проводил в областной библиотеке презентацию. В заключение директор неожиданно предложила выдвинуть роман на "Русского Букера". Стал отказываться, но она настояла. И вот, надо же, дошел до шорт-листа».

Мягкая обложка, незатейливая картинка. Роман «Среди людей» оставляет двойственное впечатление.

Сюжет книги чрезвычайно прост. Его можно смело охарактеризовать словами *бытовая проза жизни*. Конец 70-х. В центре повествования — Серёжа, девятиклассник. Мать, Анна Николаевна — врач в поликлинике, отец, Василий Петрович — полковник, служит в лётной части, ждет генеральскую звезду. Серёжа любит Надю, одноклассницу. Надя любит студента. Студент Надю не любит. А еще есть красавица Людмила Кодина, жена другого военного. Людмила старше Серёжи почти в два раза. Она нравится сразу и Серёже, и физруку школы Алексею. Алексей тренирует волейбольную команду. Серёжа в этой команде играет. Русская Санта Барбара. Маленький мир, все на виду, ничего не возможно утаить. Видно каждое движение, обнажены все чувства, слышно каждое слово. «Среди людей» — о самой что ни на есть банальной (и, кстати, не надо думать, что эпитет этот носит уничижительный характер) жизни жителей про-

Юрий Покровский. Среди людей: Роман. — Нижний Новгород: изд-во «Пламя», 2014.

винциального заурядного, заштатного, богом не меченного городка, которого нет на карте, потому что, во-первых, военный, а значит засекреченный, а во-вторых, зачем портить карту, таких городков в России сотни, одинаковых, безликих, похожих друг на друга как две звездочки на лейтенантских погонах. Дома словно из инкубатора, два десятка улиц, Дом культуры, одна школа, один торговый центр, одно кафе. И одна жизнь на всех — грустная, тягучая, как весь роман Покровского. В пяти километрах воинская часть. Летное поле, самолеты. Для летчиков жизнь заведена словно будильник, затемно подъем, каждое действие в такт стрелке, зубная паста, бритва, завтрак. Автобус минута в минуту собирает летчиков по городку, поцелуешь если не торопясь спящего сынишку, обнимешь жену перед уходом — пробежала стрелка на будильнике лишний круг, а то и два, опоздал... тащись пешком пять километров, хлебай дорожного киселя. «Это конечно, не город... но жить здесь можно, — вздыхает Анна Николаевна, — смириться нужно...».

Вот и весь сюжет. Впрочем, мириться с такой судьбой хотят далеко не все. Где-то невдалеке, на электричке час-полтора, областной центр Энск, с тысячами жителей, светящимися витринами, кинотеатрами, магазинами, кафе. Безымянный городок для многих лишь старт карьеры, а потом в Энск, там больше перспектив.

Ждет генеральскую звезду и кресло начальника Энского летного училища Василий Петрович. Хочется вырваться из этой серости Серёже, сбежать, найти работу в областном центре, снять квартиру вместе со своим другом, уехавшим вслед за родителями в Казахстан. Физрук Алексей мечтает о карьере тренера, делает все, чтобы его заметили, пригласили, доверили сборную области. Больше всех страдает Людмила, женщина с модельной внешностью, вышедшая замуж за военного и уехавшая вслед за ним, чтобы рожать детей, варить суп и безропотно исполнять супружеский долг. Проклинает городок Надя. В Энске тот самый студент, на пять лет ее старше, а ей вот только-только шестнадцать, и она еще не знает в своей жизни мужчин, и какая разница, что она небезразлична Серёже, ей нужен другой, как позже выясняется, просто похотливый самец. Но это уже позже...

И только местный врач Спартак Александрович никуда не хочет уезжать. Он приехал в городок из этого самого Энска, одинокий, брошенный всеми, никому не нужный в огромном городе, ярком, светлом, населенном людьми... но бездушном. Вот она, парадигма жизни. Впрочем, и здесь он чужой, в шейном платке и с трубкой, со своими замашками интеллигента, огромной домашней библиотекой и воспоминаниями о европейских столицах, в которых побывал. Да еще и с диссидентскими разговорами — мол, дряхлеющая власть... В семидесятые годы таких выделяющихся из общей массы уравнивали с окружающей средой достаточно быстро.

Главная беда (проблема, радость, счастье — ненужное зачеркнуть в зависимости от литературных привычек читателя) романа Юрия Покровского в том, что он написан крайне непривычным для современного читателя языком. Человеческим языком! После десяти страниц чтения начинаешь понимать, что держишь в руках книгу автора, впервые в жизни создавшего крупное художественное произведение, сквозь страницы которого проступает к тому же еще и облик институтского преподавателя: годами накопленная манера тихо и спокойно объяснять тему лекции не всегда внимательно вслушивающимся студентам видна невооруженным глазом. Пожалуй, читатель, избалованный российской прозой двадцать первого века, сочтет это серьезнейшим недостатком: роман Покровского — непрофессиональный! Он затянут, ему не хватает динамики. Он тяжелый для чтения, вязкий, требующий усидчивости. Герои Покровского находятся в состоянии непрерывной рефлексии, и этой самой рефлексии автор на страницах книги отводит

места существенно больше, чем действиям. И самое главное, рефлексия героев циклична, многие размышления повторяются. Вот о смерти без малого три страницы размышляет Спартак, у него подозрение на лейкемию. А вот еще пара страниц грусти Людмилы. Она глядит на себя в зеркало и видит, как подтачивает ее старость. А вот и Анна Николаевна в своей квартире размышляет о том же. Бо́льшая часть жизни позади, уже за сорок, а перспективы непонятны. А через несколько страниц и муж — тут начинает побаливать, там не хватает сил. И таких примеров в книге — через абзац. Возраст, дети, работа, семейные отношения. Страница за страницей накручивает Покровский на читателя думы своих героев, в один слой, затем в два, в три, повторяясь и повторяясь. В какой-то момент ловишь себя на мысли, что необходимо пролистнуть пару страниц, а перелистнув, ощущаешь, что не потерял нить повествования.

«Среди людей» — грустный бытовой роман, этакий положенный на бумагу телевизионный «ситком». Название ему подходит идеально. Книга о простых людях в обыденной обстановке. Приезжайте в любой провинциальный городок, пройдитесь по его улицам, посидите на лавочке рядом с пенсионерами, прокатитесь в автобусе, и вы напишете такой роман сами. Если, конечно, умеете писать. А еще видеть и слышать. И чувствовать. «Среди людей» — провинциальный роман провинциального автора. Говорю это искренне и без желания обидеть Покровского, тем более, что живу в одном с ним городе, хожу по одним улицам, дышу тем же воздухом.

Есть рестораны высокой кухни. Увенчанные мишленовскими звездами, с вышколенным персоналом, с продуманным до мелочей интерьером, с меню, над каждым блюдом которого колдовала бригада высокоплачиваемых поваров. Поход в такое заведение — дорогой и торжественный праздник, мы гладим брюки, надеваем чистую рубашку и потом долго промокиваем (впрочем, иногда излишне напоказ) над каждой ложкой, часто не понимая вкуса, но пропитываясь уважением к регалиям. Вот только чувствуем себя мы в таких местах не всегда комфортно. А бывает иначе — заходишь в маленькое домашнее кафе, в котором работников-то всего пять человек. Простой интерьер, в углу работает телевизор. У входа встречает хозяин. Он же официант, он же повар, он же завхоз. Заказываешь простое, недорогое блюдо... и тебя покоряют вкус и ощущение чего-то близкого и знакомого. Такой и роман «Среди людей». Он домашний, для своих, для тех, кто знает, кто любит, кто часто заходит. Чужие Покровскому не нужны, он написал книгу для друзей. В Букеровском списке книга эта как белая ворона, не по качеству своему, а по духу.

Впрочем, иногда автор отходит от выбранного стиля, пытаясь, например, расставить в книге акценты для привлечения внимания. Акценты излишне громки и порой диссонируют с общим звучанием романа. Вот, скажем, Людмила находит в своем почтовом ящике конверт с фотографией обнаженной женщины. Недавно она изменила мужу. Мало того — сама попросила любовника снять ее голой на видео. Она подозревает его в шантаже. Покровский стремится запутать читателя, но мы понимаем — конверт в почтовый ящик опустил Серёжа. Он выпросил у приятеля порнографическую открытку с изображением женщины, очень похожей на Людмилу. А вот история с синим костюмом в белую полоску. Анна Николаевна уходит от мужа. Тот стал чужим для нее, для сына. Впервые за долгие годы совместной жизни ее ударил — неудачно завершилась карьера, часть не подтвердила звание отличной, не упадет уже на плечи долгожданная генеральская звезда, повернулось спинкой такое желанное кресло начальника летного училища. Анна приходит к Спартаку, своему бывшему сокурснику, и предлагает ему жить вместе. Случай торжественный. Спартак надевает синий костюм в белую полоску —

и отказывает Анне. «Как ты жалок, Спартак», — ставит она точку в их так и не начавшихся отношениях. А через несколько страниц гуляющие возле домов мальчики видят машину, носилки и группу женщин. На носилках человек... «лишь краешек синего в белую полоску рукава и смутно белеющие скрюченные пальцы». Тот самый костюм. Подобных сцен, где литературный прием выпирает, в романе можно найти еще с десяток. Да, вот еще, кстати, автор недвусмысленно намекает, что Спартак-то нетрадиционной ориентации. Куда же в современном тексте без модной темы!

У романа нет хэппи-энда. В бытовых романах «энда» вообще не бывает... И если постараться самому себе задать вопрос: какова же главная мысль произведения, в чем суть его, чему, как говорили в моем пионерском (таком же, как у Серёжи) детстве, учит эта книга, то ответ не придет моментально. Видимо потому, что роман Покровского просто учит жить. Именно жить, а не приспосабливаться. Стремиться к чему-то, пусть незначительному, но стремиться. Учит тем самым истинам, которые нам прививали семья и школа. Вот только многие их забыли. Истины эти просты, и Покровский напоминает их — уважай своих родителей, люби своих детей, будь внимательным к окружающим, не груби, не заискивай, не совершай подлости. Относись ко всем, кто живет рядом с тобой так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Пожалуй, это, пусть и чрезвычайно простая, но главная мысль романа. Так сейчас не пишут, отвыкли.

В романе нет героев с большой буквы, никто не совершает подвигов, не поднимает целину, не бросается грудью на вражеский дот, не задерживает преступников. Жизнь идет своим чередом. Генерал ли ты, или лейтенант, медицинское светило или рядовой терапевт, директор школы или учитель физкультуры... для одних жизнь интересна, для других скучна, но движется она только в одном направлении. Уходят одни герои, на их место приходят другие, новые доктора, новые учителя. Новые школьники скоро полюбят новых одноклассниц. Будут супружеские измены, слезы, будут радости и разочарования. А еще будет весна. На земле проснется все после зимней спячки. И обязательно будут расти дети, главное человеческое счастье. Маленькими шажочками пробегает через всю книгу шестилетний сын Людмилы. Радуется первому снегу, строит, словно новую жизнь, ледяной дворец, не боится плохих парней, готов защищать свой дом от них, вооружившись еловой веткой. В нем будущее, в нем завтрашний день, в нем весна, капель, солнце, веснушки, щебет птиц. Он не рефлексирует. Мал еще. Или просто чист, как белый лист, который берет в свои руки Покровский, чтобы задуматься о его будущем.

Трудно загадывать, как сложится судьба книги. Станет ли она новым словом в отечественной литературе, или останется строчкой на сайте премии. В любом случае «Среди людей» займет свое место — как абсолютно нетипичный для нашего времени роман. Искренний по интонации, пронзительный по ощущениям, простой по сюжету и домашний по исполнению. Впрочем, может быть, мы просто перестали воспринимать простое и чистое... как простое и чистое...

Ольга Бугославская

Полная остановка или полный вперед?

Прошлое. Как о нем рассказывать? Можно его сфотографировать, вставить в рамку и повесить на стенку. Можно изобразить как движение из пункта А в пункт Б, от неведения к познанию, от заблуждения к истине. Можно, восстановив картину, постараться рассмотреть в ней руку Судьбы или других высших сил. А можно попробовать вообще обойтись без ограничителей и руководящих идей. И тогда, сметая плотины, на страницы хлынет сама жизнь.

Книга Татьяны Кузовлевой, вышедшая в ностальгической серии «Имена» нижегородского издательства «Деком», построена по принципу портретной галереи: каждая глава посвящена кому-то из известных ныне или в прошлом поэтов и других, как говорили раньше, деятелей культуры.

Воспоминания погружают нас в мир советской литературы, преимущественно официальной. С ее специфической иерархией, разного рода писательскими заседаниями, собраниями и совещаниями, рестораном ЦДЛ, госпремиями, заметками в Литературке, рекомендациями в Союз писателей, председателями разных организаций и их служебными «Волгами»... Надо признать, что, по истечении времени, выглядит все это отчасти фантасмагорично, то и дело заставляя вспоминать булгаковский Массолит. Но это не потому, что так изображено. Автор многое и многих описывает юмористически, но сами «основы строя» сомнению не подвергает. В книге эти реалии — нечто само собой разумеющееся, некая естественная среда. Автор смотрит на предмет, не дистанцируясь от него, поэтому сама книга не столько о прошлом, сколько как будто из прошлого. Она принадлежит тому времени, о котором повествует. Ценностная шкала, ориентиры, система координат — все оттуда.

В книге упомянуты и признанные поэты на все времена — Окуджава, Ахмадуллина. Просто советские поэты и литераторы, чьи имена и произведения давно не на слуху, например, Евгений Винокуров. Те, кого с некоторых пор принято причислять к советскому официозу, — Михаил Светлов, Юлия Друнина, Римма Казакова. И даже некоторые одиозные личности, как Владимир Луговской. Столь разновеликие фигуры на одной доске — тоже принадлежность другого времени. Но в этом есть и большой плюс. Новейшие ярлыки тоже нуждаются в ревизии. Возвращение на исходные позиции в какой-то мере помогают ее осуществить.

Взгляд Татьяны Кузовлевой на эпоху и людей мягкий, любящий, благодарный и, преимущественно, внеидеологический. Писательница наблюдает жизнь, избегая роли судьи или адвоката. Ей не так легко кого-то взять и просто полностью списать. Поэтому даже Владимир Луговской, автор печально известных строк, адресованных «врагам народа»: «К стенке подлецов! К последней стенке!», предстает здесь не приспешником палачей, а трагической фигурой, несущей в себе фатальное противоречие и внутренний разлом.

Способы изображения автор использует разные. Портрет Михаила Светлова составлен из личных впечатлений. Глава о Евгении Ласкиной — из адресованных ей писем. Фрагмент, посвященный Галине

Татьяна Кузовлева. Мои драгоценные дни. — Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2013.

Лариса Миллер. А у нас во дворе. — М.: АСТ: Corpus, 2014.

Нерпиной, представляет собой филологический разбор ее стихотворений. Но почти во всех случаях автор не столько пишет собственную картину, сколько как будто дорисовывает уже существующее монументальное полотно. Здесь тоже кроется привет из другой эпохи. Автор исходит из того, что ее герои настолько хорошо всем известны, что ни в каком представлении, конечно, не нуждаются. Достаточно к их биографиям, которые всем хорошо известны, добавить кое-какие штрихи, какие-то только автору известные подробности. В наши дни это верно в отношении лишь очень узкой аудитории.

Татьяна Кузовлева весьма иронична, она описывает множество анекдотичных ситуаций и забавных эпизодов: как Булат Окуджава водил машину, как Борис Васильев играл в «Монополию», а Римма Казакова принимала итальянскую делегацию... Эти люди — кумиры миллионов, выше — боги! Стоит даже немного сбить пафос, очеловечить образы. Ей это великолепно удается. Только это тоже, мягко говоря, уже не про сегодня. Известность даже самых ярких поэтических звезд тех лет уже совсем не та, что прежде. Сейчас разговор о них нужно начинать с самого начала, по крайней мере, если иметь в виду популярный формат, к которому относится серия «Имена».

«А у нас во дворе» Ларисы Миллер можно смело и ничего не боясь поставить в один ряд с лучшими образцами мемуаристики. Более того — это одна из самых обаятельных, одухотворенных и живых книг последнего времени. И, разумеется, недооцененных.

Единственный небольшой минус — это, собственно, название. Ассоциация с советской попсой порождает ожидания, совершенно не адекватные содержанию книги и ею уровню. Все равно что дать роману Набокова название «Три медведя».

Из придирок все. А хвалить можно бесконечно.

Воспоминания Ларисы Миллер обладают волшебным свойством: можно не иметь с автором ничего общего — никогда не жить в Замоскворечье, не учиться в Инязе и не писать стихов — но, читая, все равно узнавать себя буквально в каждой строчке. Это не книга об ушедшем, не иллюстрация той или иной философской идеи или мировоззренческой позиции. Это поразительно точная фиксация жизни с уходящей за горизонт перспективой. Жизни гораздо более сложной и разнообразной, чем любая идея.

И еще: «А у нас во дворе» — одна из лучших книг о детстве. Автор вспоминает себя в совсем раннем возрасте и при этом с поразительной достоверностью воспроизводит детский взгляд на мир, имеющий дар преображения. А отрефлексированные детские впечатления отливаются в меткие формулы: «Любая нелепость, любое уродство быта, существующее изначально, становятся предметами устойчивого, незыблемого мира»; «Так устроена память, что стоит произнести хорошо знакомое имя или название, как немедленно всплывает одна-единственная навеки прилепившаяся к этому слову картинка или деталь»; «Только в детстве вся жизнь состоит из самоценных мгновений, которые проживаешь без сверхзадачи, без умысла, а лишь потому, что выпало жить».

В отличие от Татьяны Кузовлевой, посвятившей свои воспоминания людям выдающимся, Лариса Миллер пишет преимущественно о людях никому не известных. Известность как критерий отбора — понятная дань книжному рынку, но с любой другой точки зрения этот подход небезупречен. Едва ли не самой эмоциональной и яркой частью книги Татьяны Кузовлевой является заключительная, где автор рассказывает не о знаменитостях, а о своем детстве и о своей старшей сестре Наташе. Вот уж где брызжет кипяток из раскаленного котелка, где стремительно нарастая сталкиваются взаимная любовь и острейшая ревность!

Лариса Миллер останавливается на тех людях и тех эпизодах, которые ломали стереотипное восприятие жизни, выбивали почву, не соответствовали ожиданиям, шокировали в хорошем или плохом смысле. Но при этом так или иначе настраивали оптику маленькой девочки на восприя-

тие многомерного и сложного пространства жизни, где бывает все. «Гордая высокая женщина в причудливой фетровой шляпе на голове», покончившая с собой. 14-летняя тезка главной героини Лариса — воровка-клептоманка, которая, однако, спасла своей маленькой соседке жизнь, не дав ей попасть под машину. Школьная учительница — преподаватель греческой мифологии, величественная и полная достоинства «олимпийская богиня», которая жила в сыром и темном полуподвале. Подружка-одноклассница, оказавшаяся доносчицей. История с несыгранной ролью в фильме «Первоклассница». Чуть было не состоявшееся исключение из Иняза. Эти крупные и мелкие драмы, их действующие лица для автора знаменуют этапы взросления, понимания себя и людей вокруг.

И, наверное, самым замечательным персонажем книги является мама главной героини. Можно сказать, мама, опередившая время. Задолго до всяких революций в педагогике проявившая чудеса понимания и бережного отношения к своему нежно любимому ребенку.

Девочка получает тройку в четверти и из-за этого ее не пускают на кукольный спектакль, который перед Новым годом устраивают в школе для отличников и хорошистов. Учителя! Педагоги! Знатоки детской души! Что делает обычная мама? Ругает ребенка за тройку и усаживает за письменный стол. Что делает замечательная мама из воспоминаний Ларисы Миллер? Покупает дочке целую пачку билетов в театры на детские спектакли и новогодние представления. Зимние каникулы превращаются в непрерывную сказочную круговерть, непрерываемый боем часов Золушкин бал.

Благодаря маме, послевоенная Москва — сад Эрмитаж, кафе, театры, кино... — осталась в памяти девочки городом «соблазнов», городом-праздником, созданным «для гульбы».

Москва детства населена множеством волшебных персонажей, которые обитают, как им и положено, в волшебных домиках. «Чудесный башмачник», умевший делать подобие хрустальных туфелек — «коричневые лодочки с бантиком и изящным каблучком». Портниха, проживавшая в крошечной квартирке с длинным зеркалом. Парикмахеры, которые «походили на лордов», и парикмахерские, напоминавшие дворцовые залы. Дама, занимавшаяся скорняжным промыслом, чья квартира ближайшим образом напоминала берлогу, «где тихой и темной жизнью жили меха и шкуры».

На первом плане — соседи по коммуналке, школьные подружки, «сказочные» парикмахеры, портнихи и башмачники, однокурсники, учителя и прочие «простые люди». Они, что называется, сыграли роль, заняли большое место. Так и бывает со всеми нами. И в этом же ряду — Алексей Толстой, Агния Барто, Ляля Черная... Отдельно и много сказано об Арсении Тарковском. А многие другие знаменитости — Калинин, Туполев, Эренбург, Александров и Орлова, Целиковская... — перечислены автором просто через запятую. Совсем не потому, что они неинтересны или не заслуживают внимания. Таково их место в судьбе автора. И это очень верная расстановка. В нашей жизни люди занимают места никак не в соответствии со своим общественным или иным статусом.

Громкая слава, заинтересованное внимание публики, влияние на умы, великие имена, многотысячные тиражи, выступления в огромных залах... остались в прошлом. Литературоцентричная традиция ослабла, ее стержень сломался. В воспоминаниях Татьяны Кузовлевой свет прожекторов направлен назад, туда, где жизнь — это поэзия, литература, а справа, слева и впереди — лишь какая-то неясная темень.

В мемуарах Ларисы Миллер отсутствует знак равенства между литературой и жизнью. Жизнь, бескрайняя, насыщенная, переполняющая собственное русло, происходит далеко не только в стенах домов творчества или ЦДЛ. Поэтому конец литературоцентризма — это еще не конец света. В этой книге тоже есть чувство тоски об утраченном, сожаления о том, что уже никогда не вернется, что «было лучше, а стало хуже». Но жизнь здесь не останавливается. Она меняется и мчится дальше.

Владимир Коркунов

Жизнь и ее цена

«По ночам мы слушали Москву, и нам говорили, что бои идут западнее тех мест, где мы находились в глубоком вражеском тылу, а немецкие листовки, которые мы повсюду находили, уверяли нас, что гитлеровцы взяли Москву. Тогда-то я и понял, что правда где-то посередине», — вспоминает прошедший плен, штрафбат, передовую Александр Ревич в эссе «Цена жизни» («ДН», 2005, № 5).

Сборник «Цена жизни», собранный Союзом писателей Москвы, дает возможность соприкоснуться с воспоминаниями, стихами и рассказами, письмами и статьями участников военных событий и их потомков.«Отечественная война — дело демократическое!» — сказал-воскликнул во вступлении Евгений Сидоров. Точное замечание — в книге немало точек зрения на войну, не просто Отечественную, а Великую. Важен концепт: на пересечении юбилея Победы и Года литературы проведен конкурс, итог которого — несколько десятков произведений, опубликованных в периодике с 2000 по 2015 годы в журналах, газетах и альманахах: «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Звезда», «Нева», «Знание — сила», «Новая газета», «Литературная Россия», «Информпространство», «Кольцо "А"», — объединенных под одной обложкой.

Появилась возможность осмыслить некий феномен, срез военного текста, воссоздающего образ войны. Разнородные литературные средства и жанры — мазки общей картины, пишущейся без малого 70 лет.

Интервью Константина Симонова с генералом Михаилом Лукиным открывает книгу. Судьба незаслуженно забытого человека (немецкий плен), вернувшего честное имя после смерти Сталина. Симптом эпохи.Честность и честь — слова одного ряда, и Лукин, обладавший этими качествами сполна, проявил себя героем. «Командовал теми нашими частями под Смоленском и Ельней, про которые в Истории Отечественной войны скажут, что долгое и упорное сопротивление окруженных, лишенных подвоза провианта и снарядов частей Красной Армии, как мало что другое способствовало тому, чтобы немцы не вошли в Москву» (Алексей Симонов, публикатор). Сухие факты оттеняет сохранившееся в памяти генерала: «Я отдал приказ — стрелять артиллерия имеет право только по приказанию командира полка по явно видимым целям и танкам, в других случаях артиллерия не имела право открывать огня. Снаряды — считанные». Это значит: создавать иллюзию благополучия; держаться, оставив за спиной полные уничтожающей мотивации слова начальства: «За сдачу Смоленска будете преданы суду революционного трибунала». И после: «Если Смоленск не возьмете, будете расстреляны». С одной стороны — смерть, с другой — расправа. Как устоять? Это воспоминания, где подвиг соседствовал с жестокостью (брошенная фраза: «черт с ними, с тылами» — как истина на рвущейся ниточке человечности). Не до извечного вопроса Раскольникова: право имели все и все были тварями дрожащими. И расстрелять, и представить к ордену — одновременно! (Кстати сказать полностью беседы Константина Симонова с генералом Михаилом Лукиным опубликованы в «ДН» № 10, 2015.

Иная тональность в эссе Риммы Казаковой о начале войны. Из пасторального

«Цена жизни». К 70-летию Великой Победы. — М.: Союз писателей Москвы, 2015.

детства с хулиганом-ухажером Сметанкиным («Раз война, может, этого проклятого Горку Сметанкина убьют — и точка!») до вынужденного взросления. Начинается детская зрелость с уходом отца, когда всё взрывается внутри «криком, рыданием, болью». Завершается детство — известием о гибели Горки.

Тексты в сборнике стилистически разнородны — есть будто накарябанные тупым карандашом по грубой бумаге, есть вылизанные едва ли не до блеска. Среди безыскусных, но ценой крови, а подчас и жизни в буквальном смысле слова вымученных стихов, вырываются потрясающие жуткой красотой метафоры. Родившийся в 1926 году Борис Дубровин — свидетель безумия, надругательства над мирной жизнью — признается: «Кровь мою,/ Что мерцала на стали,/ Кровь мою,/ Что стучала в виски,/ Санитарами/ Ливни смывали,/ Бинтовали/ Сухие пески.//<...> И, соленою кровью/ Умытый,/ Как мой вечный народ,/ Наяву/ Дважды раненный,/ Трижды убитый,/ Я четвертою жизнью/ Живу». Попытка выговорить, оторвать от себя, вытащить из нутра ужас, что виделся ежечасно, остался на оборотной стороне век и в замирающем под рев снарядов естестве. Тягуче-пасмурные строки, не выстраданные — выкровленные.

Блокада Ленинграда — одна из тем книги. Наиболее ярко показана через детское восприятие, что и немудрено — большинство нынешних очевидцев были в те годы юны. Смерть цепка и не упускает своего. Вот и дети осажденного Ленинграда играли с судьбой: «Днем, когда начинался обстрел и снаряды ложились в нашем районе, надо было успеть добежать до свежей воронки и собрать сверкающие, тяжеленькие, колючие, теплые еще после полета осколки. Коллекция из них была делом престижа и какого-то болезненного вожделения — присвоить смертоносный кусочек металла, возможно, предназначавшийся на твою погибель» (Владимир Арро). Кто не успевал, становился новой жертвой, более удачливые— кандидатами на тот свет от жутчайшего зимнего голода. (Не единичен сюжет: вышедшие из окружения умирали от кишечных болезней, дорвавшись до настоящей, не сдобренной обойным клеем, еды.) Гибли не только люди. Троллейбусы, застывшие на улице Гоголя, напомнили мальчику «большие сугробы. Или гробы».

Еще одна не раз мелькнувшая тема — ранения, боль, физические страдания. Надежда Оцеп выхватывает нетипичный эпизод: о пленнике-немце, получившем страшные ожоги. После издевок русские бойцы прониклись к его тихой (но острой) боли: «кормили(!) летчика супом и говорили какие-то успокаивающие слова. Ненависть сменилась жалостью».

Замедленное течение времени, братание с «тем светом» красной нитью проходят через рассказ Анатолия Генатулина «Тёмная ночь». Песня становится символом, ее строки — весточки из дома среди болезней, смрада, смерти, смерти, смерти... Звучит напев — и пульсирующий сигнал *оттуда*, а значит, есть и надежда. Не может не быть.

Один из самых ярких и самых дискутируемых текстов сборника — письма Виктора Астафьева, за которые (узнаешь, вчитавшись в предуведомление Алексея Тарасова) журналистов «Новой газеты», опубликовавших несколько, и издателя книги писем Геннадия Сапронова кто-то из читателей предложил расстрелять.Тот самый случай, когда правда, как заметил Александр Ревич, посередине. Да, существует закон личного пространства: сказанное в частной переписке не всегда корректно выносить на суд общественности. Но важно учитывать и другое: зачастую эти астафьевские исполненные боли и злобы вскрики и выкрики, гиперболы и даже передергивание фактов (как, скажем, в эпизоде с героем-летчиком Александром Покрышкиным) — осознанный психологический прием, литературная провокация, призванная пробудить эмоциональную память.

Протагонист повести Исая Кузнецова спустя полтора десятилетия после войны получает фотографию погибшей немецкой девочки и с ужасом осознает, что она — его дочь. Он перебирает вереницу своих любовниц, вновь и вновь возвращаясь к мыслям о юной тоненькой Габи.

Магнит, притянувший судьбы и страны. Чувство, донесенное до зрелости и окунувшееся в старость. И герой срывается в Германию (конечно, воспользовавшись заданием, как иначе советский человек мог пересечь идеологические границы?). Идиллия — любовь врагов. Но и она работает на контрапункт всей книги: ценность жизни как таковой.

Публицистика представлена очерками, дневниками и статьями, открывающими малоизвестное, порой замалчиваемое. Как контрудар генерала Снегова под Перемышлем (Виктор Кузнецов), который газета «Правда» ставила в пример (и это июнь 1941-го!). Позже — отход без потерь, вошедший в учебники по тактике. Отчего же случилось изъятие подвига из официальной хроники? Замалчивание длиной в десятилетия? Сухие строки: «У деревни Копенькова та наша группа была разбита. <...> На рассвете я был захвачен вместе с двумя несшими меня бойцами». Следом — отказ от предложения Власова стать частью армии «освободителей»; «крепость смерти», лагерь в горах... И освобождение в апреле 1945-го союзными войсками. Стоит ли сомневаться, что генерала приняли не как шолоховского Андрея Соколова, такого и быть не могло; раз побывал *там* — потенциальный предатель. Но и судьбу репрессированных за попытку подвига не разделил. Фильтрация СМЕРШа — с допросами, очными ставками, проверками показаний. И — свобода. Случай нечастый.

Не знаю, по какому принципу составители выстраивали композицию сборника (кроме логичного разделения на прозу, поэзию, публицистику), но из первой трети запомнилась идиллия предвоенного города Риммы Казаковой, а ближе к концу — строки Сергея Наровчатова: «Теперь уже не наши, а немецкие горят города, не наши, а немецкие стоны вокруг». И Федора Абрамова: «...я заснул во время войны, а проснулся в мирное время». Цикл замкнулся. Не жизни, но войны. Цикл не познанного до конца, но растасканного на цитаты Левиафана, пожирающего души и судьбы. Авторы-участники войны — герои не только потому, что отдали долг родине, отчаянно в XX веке меняющей имена, но и потому что донесли свою правду — до читателя. Многоголосицу правд. Выстраданных и запечатленных в памяти. Тем и ценна эта цена, и бесценна.

Последняя статья сборника — «60 вёсен после войны» Виктора Ярошенко содержит длинный, на две страницы, ряд слов «убит» и «убита». Вот она — истинная *цена* жизни. На костях, на крови убитых и, конечно, благодаря немыслимому подвигу выживших, мы можем сказать про себя: «жив, жива, жива, жив...» Это главный вывод, который хочется сделать после прочтения книги.

Естество безопорности

Из наблюдений над современной прозой

Рубрику ведет Лев Аннинский

Икар должен безвозвратно потерять опору, чтобы найти свою судьбу.

Потеря опоры — рок.

Мое поколение — послевоенные идеалисты — потеряли опору, когда коммунизм был объявлен химерой — хрущевская эпоха растворила его в кукурузном благополучии.

Следующее поколение — первое послесталинское — куда громче нас отреагировало на смену идеалов: оно объявило, что скорее обопрется на чердаки и подвалы, чем на очередные химеры.

Что должно было почувствовать поколение, пришедшее и им на смену? И где границы его появления на свет? Снятие Хрущева? Крах Пражской весны с иллюзиями человеческого лица Истории? Или — с другого конца их десятилетия — кровавая грань Афгана? Бойкот Олимпиады? Безопорное парение разваливающейся Державы над грудами ее обломков?

Эти не испытали шока от исчезновения опоры — они никакой опоры просто не обнаружили. Пропала вместе с координатами на границах страны, эпохи, духовной самостийности.

Исчезновение четках границ — не просто доступность мировых маршрутов: от цейлонского Коломбо до ганской Аккры и от американского Огайо до германского приюта «между Гамбургом и Ханновером». Ослабление пределов ощущается при каждом возвращении души в Москву, или в Серпухов, или в Челюскинскую — утерей четкости границы между родным и чужим: в роли наших прародителей оказываются половцы (чьи отношения с Русью были далеко не безоблачными), а в роли граничной чужести оказывается... рябина (пусть поклонники Цветаевой осознают: тут это символ не родной, а чужой земли)...

Родное и чужое почти неразличимо переглядываются через исчезнувшие границы. Давнее и нынешнее.

Наш век, шрамами врезанный в память поколений, переглядывается с древним Востоком и Античностью: время не рассечено кровавыми гранями, оно единобезгранично. Опереться на наш век... не получается:

«Вот мы и встретились с концом... а попрощались ли с началом?»

Время несется не вперед, а вспять.

И наконец, исчезает опора на ценности, казавшиеся такими незыблемыми! Счастье и несчастье меняются ролями. Петля или яд — что избрать?.

«Произнося "любить", ввиду имеют: "кровью истекать"».

Вот пейзаж легендарной Тарусы:

«При виде облака, бегущего по лесу, отцу подумалось со смутною тревогой, что день хорош, что этот мир чудесен, что жить осталось так немного...»

В горах на юге — темно. Поезд Москва—Фрунзе плавится от зноя:

«Задохнуться можно от тоски: за окном — верблюды и пески».

Солнце не лечит от стужи и не прогоняет тьму, оно сжигает того, кто, взлетев,

хочет взреять без опоры: оно плавит такому мечтателю крылья и обрушивает вниз, в бездну...

Нет опоры — только пустота, за которую надо держаться, только обломки того, во что когда-то верилось людям.

«Мы говорим, что не можем жить в пустоте, но живем».

И даже слагаем виртуозный калейдоскоп утраченного:

«...как говорили древние греки... айсоры... шумеры... как их?!?
на белом камне белая черта... час между волком и собакой,
когда черное неотличимо от красного, и все кошки серы,
и вера холодная, и андрей белый, и саша чёрный,
и михаил голодный, и демьян бедный... как церковная мышь...
и даже красная площадь черная и земля на ней всего круглей...
и не только... бегуны... попугаи... куранты... башни...
люди с пустыми квадратными глазами... страшно?
она белая, потому что она красная, потому что она зеленая...
нисколько: мы не знаем страхов...
мы все забыли...
мы забыли, как умирали...
потому что мы никогда не жили...»

Красное вместе с белым исчезает в реальности, когда-то гибелью метившей эти опоры. Исчезает в вечнозеленом...

Ориентируясь в этой вечной зелени, современная душа ищет... нет, не опоры. Она ищет объяснения тому, что происходит.

Если непрерывно происходят разрывы брачных уз, значит, дело не просто в том, что он ее или она его недостаточно любят, — это лишь следствие того, что в естестве человека заложен контраст между экономной женской эротической потенцией и мужской расточительной, превышающей всякие разумные перспективы продолжения рода человеческого. Это — природа. Естество.

Если искать виноватых в истории любви Анны Карениной и Алексея Вронского, то не найдешь. И она, и он ведут себя честно — в наличных обстоятельствах. Реализуют себя без остатка. В контексте социальных предрассудков ни ему, ни ей деваться некуда и опереться не на что — трагический исход заложен изначально, и самоубийство Анны — лишь неизбежный финал того, что она сама выбрала. Если изначально выбор мыслить не в плоскости социального безумия, а в глубине естества, то выбор предопределен, как и исход — бросок под колеса поезда; все прочее — лишь реализация этого выбора. Анна — во власти элементарного безысхода, а вот Татьяна Ларина находит выход в другое измерение, отдавая себя другому, и с ним находит другую точку опоры.

Если в этой элементарной реальности опереться не на что, надо почувствовать другую реальность. Если в наличной реальности все неразумно и беззаконно, а реальность все-таки существует веками и тысячелетиями, — значит, есть в бытии измерение, где держит основу Мировой Разум, и Законы неотменимы. И это — глубинное естество бытия.

Хотя мы все еще не можем его понять и познать.

А что мы можем?

Ждать. Ждать чуда, которое заложено в непознаваемой основе мироздания. Встать у двери и ждать.

Или — взмыть к солнцу: попробовать, чем это кончится.

Естество безопорности исследовала Оксана Савоскул и в легендарной Тарусе выпустила об этом книгу.

Книга называется: «Полет Икара».

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ДРУЖБА НАРОДОВ» ЗА 2015 ГОД

	№	Стр.
ЭХО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ		
Заочный «круглый стол»	V,	3
ПОДПОРЕНКО Ю. Художники о войне. (Культурная хроника)	V,	253
ПОЭТЫ И ВОЙНА (Архив)		
Хыбар о последнем слове. *Публикация А.Шараповой и М.Хакуашевой*	V,	247
Сердце — как крыло раненого орла. *Публикация и комментарий Л.Егоровой*	V,	250
Приговорен к бессмертной славе. *Беседы К.Симонова с генерал-лейтенантом М.Лукиным. Вступительная заметка А.Симонова*	X,	127
СИМОНОВ К. Наше время еще занесут на скрижали... *Записи в рабочих тетрадях: беседы и размышления*	XII,	142
ШАРГУНОВ С. Катаев и война	XII,	167
ПРОЗА		
АБАДЖЯНЦ М. Вероятность полёта. *Рассказ*	VII,	164
АЙЛИСЛИ А. Там, где ирисы не растут. *Повесть. С азербайджанского. Перевод автора*	XII,	81
АМОР М. Рассказы	III,	105
БИРЧАКОВА Н. Мысль изреченная. *Непритязательные заметки о Н.В.Гоголе, или Всеобщая теория всего*	IX,	7
БОЧКОВ В. Медовый рай. *Хроника женской тюрьмы в Аризоне и история заключенной Сони Белкиной по прозвищу Белка*	II,	7
БОЧКОВ В. Время воды. *Роман*	XII,	
ВЕНОК СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ		
МАРЧЕНКО А. Амо Сагиян и Сергей Есенин: праздник двойного юбилея	IX,	137
УСТИМЕНКО А. Хмарь стеклянной Бухары. *Повесть*	IX,	142
ВЕСТЕР В. После поминок. *Рассказ*	XII,	137
ГАММЕР Е. Туннель. *Повесть скоротечных минут жизни*	VII,	144
ГЕНАТУЛИН А. Бригадная похлёбка. *Рассказ.* (Дети войны)	V,	98
ГОЛЛЕР Б. Неназванное. *Несколько страниц о войне*	V,	131
ЗЕМСКОВ М. Слабоумие. *Повесть.* (Нерусские русские)	VI,	9
ИБРАГИМБЕКОВ М. Рассказы	X,	82
ИВАНОВ А. Мартышка посла Бурунди. *Рассказы*	III,	135
КИМ А. Гений. *Повесть о Смоктуновском*	VII,	81
КЛЕПИКОВА Е. Из жизни Марты. *Рассказы*	X,	96
КЛЮЧАРЁВА Н. Незабудки самого долгого дня. *Рассказ*	VI,	144
КУЗНЕЦОВ И. Треугольник имени Достоевского. *Рассказ*	VII,	130
ЛИДСКИЙ В. Рассказы	II,	165
ЛИСНЯНСКАЯ И. Двухместная жизнь. *Из дневников 2005—2008 гг. Публикация, комментарии и подготовка текста Е.Макаровой*	VI,	68
МАМЕДОВ А. Киноварь, или Перезагрузка в Тунисе. *Повесть*	X,	6
МАНОВИЧ Л. Будь тут, будь рядом. *Рассказ*	XII,	119
МЕДВЕДЕВ В. Заххок. *Роман*	III,	7
	IV,	6
МЕЛЁХИНА Н. По заявкам сельчан. *Рассказ*	I,	161
МОЩЕНКО В. Последний рейс машиниста Новикова. *Повесть*	X,	50
НЕКЛЯЕВ В. Кашинская квартира. *Рассказ. С белорусского. Перевод Н.Дебольской*	IX,	116
ОГНЕВ И. Два рассказа	III,	172
ПЕТРОСЯН М. Два рассказа	I,	151
СЕНЧИН Р. Идёт вода. *Из книги «Зона затопления»*	II,	103
СНЕГИРЁВ А. Вера. *Роман*	I,	8
ХАСАВОВ А. Рассказы	X,	115
ШАМШУРИН В. Рассказы	VI,	126
ШЕПЕЛЁВ А. Темь и грязь. *Рассказ*	XII,	127
ШУЛЬПЯКОВ Г. Красная планета. *Новеллы из романа*	VII,	9
ЯШУРКАЕВ С. Пасха. *Рассказ*	V,	121

ПОЭЗИЯ

АСИМ З. Ветка голоса. *Стихи* ..... VI, 141
БАСОВСКИЙ Н. Не оглядывайся назад! *Стихи* ..... II, 97
БЕРШИН Е. Эпоха обречённая моя. *Стихи* ..... V, 118
БОРОДУЛИН Р. Ушачский небосклон. *Стихи. С белорусского. Перевод И.Бурсова* ..... I, 103
БРУШТЕЙН Я. Воробьиное слово. *Стихи* ..... X, 47
ВАСИЛЬЕВ С. Летние каникулы. *Стихи* ..... VII, 78
ВОЛОСЮК И. Там о смерти ни слова. *Стихи* ..... IX, 134
ЗОРИН А. Над путеводным домом. *Стихи* ..... II, 162
ЗУБАРЕВА В. Взлётное поле. *Стихи* ..... II, 118
ИЗОТОВА Н. Былью была я сполна. *Стихи* ..... X, 94
КАБЫШ И. Севастопольские рассказы. *Стихи* ..... III, 3
КАГАНОВИЧ М. В святую землю, в край земной. *Стихи* ..... VII, 127
КАГАНОВИЧ М. Уходящая натура. *(Поэт о поэте)* ..... X, 113
КАЛИНИН М. Холодным воздухом провинций. *Стихи* ..... XII, 116
КАЦОВ Г. Как снедью хороши столы. *Стихи* ..... III, 132
КУДИМОВА М. Одиночества русского жребий. *Стихи* ..... I, 148
Лауреаты открытого Чемпионата Балтии по русской поэзии — 2015 ..... XII, 73
ЛИВИНСКИЙ С. Кусочек жизни в собственном соку. *Стихи* ..... IV, 3
МИЛЛЕР Л. Гонимые слова. *Стихи* ..... VI, 65
НИКОЛАЕВА О. Небеса уходят из-под ног. *Стихи* ..... X, 3
ОРЛОВ А. Наш век сырыми войнами рождён. *Стихи* ..... V, 167
ПОПОВ С. Летние тени. *Стихи* ..... IX, 195

ПОЭЗИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

СМОЛЕНЕЦ А.; АРСЕНЬЕВА Н.; КРУШИНА Р.; ИЛЬЯШЕВИЧ Ф.; ДУДИЦКИЙ А.; КЛИШЕВИЧ В.; КАВЫЛЬ М.; ЮХНОВЕЦ Я.; СОЛОВЕЙ А.; ЯСЕНЬ С.; СЕДНЁВ М. *Стихи. С белорусского. Перевод И.Бурсова* ..... III, 158
САЕД-ШАХ А. Непостижимое небо. *Стихи* ..... VII, 161
САЛИМОН В. О нашем времени ни слова. *Стихи* ..... I, 157
СВИЩЁВ М. Короткая вечность. *Стихи* ..... III, 101
СИНЕЛЬНИКОВ М. Золотые песчинки, комки, самородки. *Стихи* ..... X, 79
СИТНИКОВ К. Жив человек. *Стихи* ..... IV, 103
СМОГУЛ А. Всё сойдётся в назначенный срок. *Стихи. Вступительное слово А.Климова-Южина* ..... VI, 3
ТИМОФЕЕВСКИЙ А. Жду хороших вестей. *Стихи* ..... VI, 124
ТРИБУШНЫЙ Д. Из Донецка с любовью. *Стихи* ..... II, 3
ФАЛИКОВ И. Потерянное дитя. *Стихи* ..... VII, 3
ХЛЕБНИКОВ О. На исходе шестого десятка. *Стихи* ..... IX, 3
ЧКОНИЯ Д. Из книги «Стихия и Пловец». *Стихи* ..... IX, 112
ШАПОВАЛОВ В. Зазеркалье. *Реквием в антифонах. В память о Н.Бараташвили* ..... I, 3
ШАПОВАЛОВ В. Трактаты Чуйского тракта. *Стихи* ..... XII, 3
ШТЕЙНБЕРГ А. Рассказ бронебойщика. *Быль. Публикация Н.И.Штейнберг-Егоровой* ..... V, 128

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ «ДН»

Поэзия

ВИНОКУРОВ Е. Стихи и переводы ..... VI, 154
ШЕСТАЛОВ Ю. Стихи. *С языка манси. Перевод Е.Винокурова* ..... VI, 157
КОЛУМБ В. Стихи. *С марийского. Перевод Е.Винокурова* ..... VI, 158
ЖИГУЛИН А. Стихи и переводы ..... II, 185
ВАСИЛЬЕВ Ф. Стихи. *С удмуртского. Перевод А.Жигулина* ..... II, 187
ЛИСНЯНСКАЯ И. Стихи и переводы ..... I, 168
ГОДЖА Ф. Стихи. *С азербайджанского. Перевод И.Лиснянской* ..... I, 173
ШЕРАЛИ Л. Стихи. *С таджикского. Перевод И.Лиснянской* ..... I, 174

Эхо Великой войны

ОРЛОВ С. (26); ПАНЧЕНКО Н. (97); РЕВИЧ А. (204);
ЕВТУШЕНКО Е. (225); ТАНК М. *С белорусского. Перевод А.Парщикова* (238);
КУЛИЕВ К. *С балкарского. Перевод Ю.Нейман* (245). *Стихи* V

ПРОЗА.DOC

ГРОЗАК Б. Я еще не вернулся с войны. *Киевские истории* ..... V, 170
СТОЛЯРОВ А. Дайте миру шанс. *Повесть по мотивам реальности* ..... I, 111
..... II, 121

СОБЫТИЯ. СУЖДЕНИЯ. СУДЬБЫ

ГОЛУБКОВ Д. «Всё на свете — камень и песок». *Из записных книжек. Публикация М.Голубковой и В.Грачёва-мл.* ..... VI, 160
ОКЛЯНСКИЙ Ю. Праведник среди камнепада. *Документальная повесть* .... V, 27
ФАЛИКОВ И. Борис Рыжий. Дивий Камень ..... IV, 144

ПУБЛИЦИСТИКА

ВОЙСКУНСКИЙ Е. Балтийский Геркулес ..... V, 226
ВЯХЯКУОПУС Е. В Ташкенте шел теплый дождь... ..... VI, 209
ГОЛОВАНОВ В. Дочки-матери. (Эхо Великой войны) ..... VII, 193
ЗАПОЛЬСКИХ В. Аллилуйя таежная (Страна Россия) ..... I, 205
КАГРАМАНОВ Ю. Кого ждет «триумф воли»?
Противоборство идеологий на Украине ..... III, 200
МЕЛИХОВ А. Самозащита без оружия, или Новое изгнание из Эдема ..... II, 206
МЕЛИХОВ А. Мы соль земли, мы украшенье мира ..... XII, 215
ОГНЕВ В. Скитания Хаджи-Мурата. (Неснятое кино) ..... IX, 223
СТОЛЯРОВ А. Ярче тысячи солнц ..... VII, 173
ТАРАСОВ А. Одесса: обнять и заплакать ..... III, 210
ФРУМКИН К. Евромайдан и кризис национального государства ..... II, 226

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Кавказское испытание восхождением ..... X, 209

НАЦИЯ И МИР

АЛАВЕРДОВА Л. Типично по-американски.
(Глазами наших соотечественников) ..... VII, 200
АНАСТАСЬЕВ А. Амур: человек против рыбы ..... VI, 188
ДЗАНИЕР Л. Рассказы. *С итальянского. Перевод Е.Жаркова* ..... V, 205
МАЛАШЕНКО А. Заметки по национальному и иным вопросам ..... III, 183
САЛОХИДИНОВА Л. Русская печка ..... X, 204
СУЛЕЙМЕНОВ О. Независимость — это осознанная взаимозависимость ... IV, 228
ФЁДОРОВА А. География итальянского характера.
(Глазами наших соотечественников) ..... I, 175
ЦИРУЛЬНИКОВ А. Неопознанная педагогика. (Страна Россия) ..... II, 188
ШАПОВАЛОВ В. «Прошлое увижу наяву...». (Нерусские русские) ..... IX, 199
ШЕЙНИН Б. Мой Коканд ..... I, 191

КРИТИКА

АБДУЛЛАЕВ Е. Сад никаких времён.
Семь поэтических сборников 2014 года ..... III, 223
АБДУЛЛАЕВ Е. «Каратели», год 2015-й. (Эхо Великой войны) ..... VI, 242
АННИНСКИЙ Л. Перед неведомым. *Читая казахских авторов* ..... IX, 237
БАЛЛА О. Невозможность возвращения. (Эхо Великой войны) ..... V, 239
Знакомство по существу. *Олег Лышега. Памяти поэта* ..... X, 224
ЗУБАРЕВА В. «Я утаю и не предам перу...». *Тайна зеркальных дат в поэзии Б.Ахмадулиной* ..... IX, 230
К 90-летию Юрия Трифонова
АМУСИН М. Под знаком памяти ..... VII, 214
БАХНОВ Л. Ворованный воздух ..... VII, 224
ПУСТОВАЯ В. Пядь Патрокла (Эхо Великой войны) ..... X, 236
СЕНЧИН Р. Два «Возвращения» (Эхо Великой войны) ..... XII, 225
Согревающая проза или текст на чужом языке?
Литературные итоги 2014 года. Заочный «круглый стол» ..... I, 218
..... II, 232
ШПАКОВ В. Война без войны. (Эхо Великой войны) ..... VI, 237

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

ПУСТОГАРОВ А. Предсказанный ад ..... IV, 230
ЖАДАН С. Спроси, что про всё это думает Творец. *Стихи. С украинского. Перевод А.Пустогарова* ..... IV, 235

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

ЧКОНИЯ Д. Евтушенко. Два свидетельства ..... VI, 247

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПОГРАНИЧЬЕ

«Моя мама любит читать А.Пушкина и книги про овощи».
Белгородские школьники рассказывают о том, что читают их мамы ..... VI, 217
ПЕРЕЛЬМУТЕР И. Русская поэзия поверх барьеров.
Разговор ведет О.Балла (Нерусские русские) ..... VII, 233

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

АЛЕКСАНДРОВ Н. Оборона крепости. [*На кн. П.Алешковского «Крепость» (2015)*] ..... X, 245
АНАСТАСЬЕВ Н. Что в имени тебе моем? [*На кн. В.Соловьёва и Е.Клепиковой «Быть Сергеем Довлатовым: Трагедия веселого человека» (2014)*] ..... III, 248
АННИНСКИЙ Л. Потеряем? Или привяжем? [*На кн. А.Ганиевой «Жених и невеста» (2015)*] ..... X, 247
БАЛЛА О. Свидетель. [*На кн. Е.Карасёва «Вещественные доказательства» (2014)*] ..... IX, 246
БАЛЛА О. Есть город золотой. [*На кн. Н.Громовой «Пилигрим, или Восхождение на Масличную гору» (2015)*] ..... XII, 233
БУГОСЛАВСКАЯ О. Полная остановка или полный вперед. [*На кн. Т.Кузовлевой «Мои драгоценные дни» (2013) и кн. Л.Миллер «А у нас во дворе» (2014)*] ..... XII, 241
ВАСИЛЬКОВА И. Миф как миф. [*На кн. И.Ермаковой «Седьмая» (2014)*] ..... IV, 243
ГАБРИЭЛЯН Н. Вкус понтийской соли. [*На кн. О.Постниковой «Понтийская соль» (2014)*] ..... III, 246

ГРОДСКАЯ Е. А там — Средиземноморье! [*На кн. В.Коваля «Персональная выставка» (2014)*] ..... X, 249
ЕВСЮКОВ А. Немногословный женский взгляд. [*На кн. Л.Манович «Первый и другие рассказы» (2015)*] ..... IX, 250
ЕВСЮКОВ А. Риф июльским утром. [*На кн. В.Былинского «Риф» (2014)*] ..... X, 251
КАБЫШ И. На круги своя. [*На кн. И.Волгина «Персональные данные» (2015)*] .. X, 242
КОРКУНОВ В. Жизнь и ее цена. [*На сб. «Цена жизни». К 70-летию Великой Победы (2015)*] ..... XII, 244
КОТЮСОВ А. Рожденный ползать... [*На кн. М.Степновой «Безбожный переулок» (2014)*] ..... III, 235
КОТЮСОВ А. Селфи. Антигерой нашего времени. [*На кн. А.Геласимова «Холод» (2015)*] ..... VII, 240
КОТЮСОВ А. Семруг — птица счастья. [*На кн. Г.Яхиной «Зулейха открывает глаза» (2015)*] ..... X, 238
КОТЮСОВ А. Роман для людей. [*На кн. Ю.Покровского «Среди людей» (2014)*] ..... XII, 237
ЛОМОВЦЕВ Ю. «Театр жестокости» Клима Шергина. [*На кн. В.Шпакова «Стражник» (2014)*] ..... VII, 248
ЛЮСЫЙ А. Территория Пангеи. *Текстостерон для текстуальной революции.* [*На кн. М.Голованивской «Пангея» (2014)*] ..... III, 242
САФРОНОВА Е. Путь от старого маяка. [*На кн. Н.Ишмухаметова «В поисках Неба» (2014)*] ..... IV, 248
САФРОНОВА Е. Кто летает против правил. [*На кн. Г.Нерпиной «Свет и тьма» (2014)*] ..... IX, 252
СЕКРЕТОВ С. Обыкновенная трагедия. [*На кн. Р.Сенчина «Зона затопления» (2015)*] ..... IV, 241
СЕКРЕТОВ С. Счастье (не)за горами. [*На кн. А.Иванова «Ненастье» (2015)*] ..... IX, 244
ТУРБИНА Л. Параллельные срезы. [*На сб. произведений писателей Белоруси и России «С думой о Родине» и «Звездный родник» (2013)*] .... VII, 244
ХУЗАНГАЙ А. Бурятский бродяга Дхармы. [*На кн. Б.Дугарова «Азийский аллюр» (2013)*] ..... III, 239

АРМЕНИЯ НА СТРАНИЦАХ «ДН»

Эдуард АРЕНЦ. Невыносимая легковесность. *Стихи. Переводы Г.Арутюнян, В.Чембарцевой, Г.Баренца* ..... IV, 106

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Грант МАТЕВОСЯН. «Литература — это мучительная попытка мира облагородиться». *Переводы А.Тадевосян, О.Панфила. Под ред. Е.Мовчан* .. IV, 108

Клаудио ПОЦЦАНИ. Блюз Армения. *Стихи. Перевод Д. Матевосяна* ..... IV, 115
Серж ВЕНТУРИНИ. От Эренбуни до Еревана. *Перевод Л. Меликсетян* .. IV, 116
Геворг ГИЛАНЦ. Все дороги ведут. *Перевод С.Надеева* ..... IV, 117
Ованес АЗНАУРЯН. Автобус. *Рассказ* ..... IV, 125
Карине АШУГЯН. Может, в другой ещё жизни. *Стихи. Перевод Т.Лесновой* ..... IV, 133
Марго ГУКАСЯН. Матушки Алмаст армянского народа. *Перевод Э.Бабаханян* ..... IV, 135

ГРУЗИЯ НА СТРАНИЦАХ «ДН»

З о л о т ы е с т р а н и ц ы «Д Н»

Тициан ТАБИДЗЕ. Всё кончится... *Перевод Наталии Соколовской* ..... VIII, 3
Паоло ЯШВИЛИ. Поэзия. *Перевод Яна Гольцмана* ..... VIII, 79
Отар ЧИЛАДЗЕ. Стихи. *Перевод Наталии Соколовской* ..... VIII, 131

Анна КАЛАНДАДЗЕ. Шла горами Нино. *Перевод Аллы Ахундовой* ..... VIII, 156
Шота НИШНИАНИДЗЕ. Тамерлан. *Перевод Владимира Леоновича* ..... VIII, 204

Проза и поэзия
Гурам ОДИШАРИЯ. Очкастая бомба. *Роман. Перевод Тамары Гаидаровой* ..... VIII, 4
Звиад РАТИАНИ. Отцы. *Стихи. Перевод Владимира Саришвили* ..... VIII, 65
Бесо СОЛОМОНАШВИЛИ. Мама умерла. *Рассказ. Перевод Нино Цитланадзе* ..... VIII, 68
Бека КУРХУЛИ. Рассказы. *Перевод Анны Григ* ..... VIII, 80
Дато МАГРАДЗЕ. Джакомо Понти. *Главы из поэмы. Перевод Николая Голя* . VIII, 111
Нугзар ШАТАИДЗЕ. Два друга. *Рассказ. Перевод Ирины Модебадзе* .. VIII, 124
Иракли ЛОМОУРИ. Рассказы. *Перевод автора* ..... VIII, 132

Сны о Грузии
Борис МЕССЕРЕР. Дружбу нельзя предать ..... VIII, 157
Наталия СОКОЛОВСКАЯ. Зеркалка ..... VIII, 159
Михаил СИНЕЛЬНИКОВ. Нежность ..... VIII, 173
Олеся НИКОЛАЕВА. Грузинская рапсодия ..... VIII, 176
Олег ХЛЕБНИКОВ. След шаровой молнии ..... VIII, 191
Бахытжан КАНАПЬЯНОВ. Зов дня ушедшего и дня грядущего ..... VIII, 193
Вадим МУРАТХАНОВ. Все мы немного грузины ..... VIII, 199
Анна БЕРДИЧЕВСКАЯ. Ниточка, иголочка, петелька, узелок и янтарная капля ..... VIII, 202

Метафоры времени
Григол РОБАКИДЗЕ. Сталин как дух Аримана. *С немецкого. Перевод Сергея Окропиридзе* ..... VIII, 205

Публицистика
Георгий ЛОРТКИПАНИДЗЕ. Грузия на распутье. *От режима личной диктатуры к кулуарному правлению* ..... VIII, 220
Георгий НИЖАРАДЗЕ. На пути к Европе. *Перевод Динары Кондахсазовой* .. VIII, 233

Книжный развал
Лев АННИНСКИЙ. Излучение Кавказа ..... VIII, 243
Наталия СОКОЛОВСКАЯ. Великий подвиг книги ..... VIII, 245
Наталия МИМИНОШВИЛИ. Грузинский текст русской литературы .... VIII, 248
Ольга ЛЕБЁДУШКИНА. Срез ..... VIII, 250

Эхо
Гамарджоба, Сакартвело! *Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ* ..... VIII, 254

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

«Только детские книги читать...». *Заочный «круглый стол»* ..... XI, 3

Проза и поэзия
Дмитрий ШЕВАРОВ. Приключения книжного мальчика. *Два сюжета из будущей книги* ..... XI, 27
Григорий КРУЖКОВ. Крабр! *Стихи* ..... XI, 62
Марина ВИШНЕВЕЦКАЯ. Так устроен белый свет. *Стихи* ..... XI, 96
Елена ФЕЛЬДМАН. Пингвины по небу летят. *Стихи* ..... XI, 139
Сухбат АФЛАТУНИ. Колыбельная явь. *Стихи* ..... XI, 162
Сергей НАДЕЕВ. Белиберда, или Театр зверей. *Стихи* ..... XI, 169
Сергей БЕЛОРУСЕЦ. Ребячий класс. *Стихи* ..... XI, 187

Взрослые дети
Юрий ПЕТКЕВИЧ. Голубь в Казейках. *Повесть* ..... XI, 66

Взрослым о детях
Ксения ДРАГУНСКАЯ. Рассказы ..... XI, 99
Галина КЛИМОВА. Туфли. *Рассказ* ..... XI, 114

Леонид БАХНОВ. Пинг-понг 1963 года. *Рассказ* ..... XI, 119
Ольга СТОЛПОВСКАЯ. Саквояж. *Рассказ* ..... XI, 129
Ирина КРАЕВА. У речки с золотыми мальками. *Рассказ* ..... XI, 132

Эхо Великой войны
Тамара КУЗНЕЦОВА. Печали и радости моего военного детства ..... XI, 143

Былички
Андрей АСТВАЦАТУРОВ. Крапива ..... XI, 164
Василий БАБУШКИН-СИБИРЯК. Благодать ..... XI, 165
Александр ЦЫПКИН. Властелин бутылок ..... XI, 166
Сергей ПЕРЕЛЯЕВ. Невыросшая яблоня на голове ..... XI, 167

Сказки
Эрлом АХВЛЕДИАНИ. Притчи. *С грузинского. Перевод Александра Эбаноидзе* ..... XI, 172
Левон ХЕЧОЯН. Царь Хосров. *С армянского. Перевод Светланы Авакян* .... XI, 175
Алиса ГАНИЕВА. Вранье. *Сказка про мальчика, который плакал* ..... XI, 178
Андрус КИВИРЯХК. Поцелуй лягушку! *С эстонского. Перевод Нелли Абашиной-Мельц* ..... XI, 180
Наталья КЛЮЧАРЁВА. Последнее чудо ..... XI, 182

Детям о взрослых
Айно ПЕРВИК. Как работать президентом. *С эстонского. Перевод Лены Блюм* ..... XI, 189

Книга моей жизни
«Я очень рекомендую вам этот шедевр!» *Сочинения белгородских школьников* ..... XI, 199

Суть дела
Владимир ЕРМАКОВ. Друг без друга. *В поисках утраченного чувства* ... XI, 203

Культурный слой
Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Страна между двумя берегами. *Калмыцкая сказка*. XI, 209
..... XII, 187

Мир детской литературы
Юрий НЕЧИПОРЕНКО. Писатель сродни клоуну. *Личный опыт работы «в поле»* ..... XI, 235
Ольга БАЛЛА. Наука расставания ..... XI, 240

Эхо
Эвакуация. *Из мемуаров 1941 года. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ* ... XI, 252

ЭХО

Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ
Орёл и гуси ..... I, 238
Расцепление оцепленных ..... II, 251
Страшная школа жизни ..... III, 252
К определению русскости ..... IV, 252
«Артек»: светомаскировка, эвакуация, мобилизация ..... V, 254
Моя война... ..... VI, 254
Продолжаем жить? ..... VII, 251
Края света ..... IX, 254
Небо над душой ..... X, 254
Естество безопорности ..... XII, 247

Summary

Valerij BOCHKOV. The time of water
The new novel by Valerij Bochkov may be called a parable-novel or a metaphor-novel or a thriller and all of that would be true. But the main thing is that even the most squeamish reader will not be able to tear himself away from it.

Akram AILISLI. Where Irises Do not Grow
«Is there at least one person on the Earth who doesn't keep in his soul his own fairy tale having nothing to do with his everyday life?» — asks the author of this long short story. And one of the characters as if takes up: «Do you know what Buddha said before death? It's time to wake from the dream called the earthly life». Memory may inspire but it also may kill. Maybe it depends on how you have lived your life?

Poetry
International Baltic Competition of Poetry took place at Stihi.lv portal. «DN» congratulates the winners and publishes the poems by Vadim GROISMAN (Israel), Mikhail OZMITEL (Kirgizstan), Anna MARKINA (Russia) and Nadja DELALAND (Russia).

The Echo of the Great War
Under this heading «DN» presents here three pieces:
Konstantin SIMONOV. From the Rough Notebooks
This publication includes meditations of the famous writer on some historical events connected with the Great Patriotic War and records of the interviews with its participants and witnesses.
Sergei SHARGUNOV. Fragments from Valentin Kataev's biography written for the book series «Lives of the Outstanding People». Kataev and War. Kataev had foretold the war back in 1935th.
Roman SENCHIN. Two «Returns»
The author analyses two stories written by the writers of different generations. Andrey Platonov was in his forties in 1945. Grant Matevosyan was only ten. And though there are no shorts and explosions in their stories we know, we see, we feel: they are about the war.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

дружбанародов.com

на его странице в Живом журнале

http://drujba-narodov.livejournal.com/

и в Журнальном зале

http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»